Собраніе сочиненій

Владиміра Сергѣевича СОЛОВЬЕВА

Съ тремя портретами и автографомъ

Подъ редакціей и съ примъчаніями С. М. Соловьева и З. Л. Радлова

Второе изданіе

Томъ девятый



С.-Петербургъ

Книгоиздательское Товарищество "Просвѣщеніе", Забалканскій пр., с. д. № 75 1913

С.-Петербургъ, Забалканскій проспектъ, собств. дом. № 75.

 $m \qquad m \qquad m$

 \mathcal{U}

"Всемірная Библіотека".

Собранія сочиненій изв'ястных русских и иностранных писателей въ области изящной литературы.

Собраніе сочиненій

С. Т. Аксанова.

Критически провъренный текстъ, біографія, вступит. статьи, примъчанія, художественныя приложенія.

Ред. А. Г. Горифельда. 6 том. 6 руб., въ изищимтъ нерепл. 9 руб.

Coopanie coumenin

А. В. Амфитеатрова.

Съ портретомъ автора.

25 том. по 1 руб. 50 коп., въ изящи. колеви. пер. 50 руб.

Собраніе сочиненій

Л. Н. Андреева.

Съ портретомъ автора и вступ. статьей проф. М. А. Рейснера.

13 тон. по 1 руб. 25 кеп., въ изища кой. кер. 22 р. 75 к.

Соорание сочинений

C. A. AH—CHAPO.

5 томовъ не 1 руб 25 коп., въ изащи перени. 8 р. 75 к.

Собраніе сочиненій

Д. Я. Айзмана.

Съ портретомъ автора.

5 томовъ по 1 р. 25 г., въ извин. перепл. 8 руб. 75 коп. Собраніе сочиненій и писемъ Н. В. Гоголя.

Критич. провёрен. текстъ, біографія, вступит. статьи, примѣчанія, съ 30 худож. приложеніями. Подъредакц.

В. В. Каплана. 9 томовъ по Груб., въ взяща. перени. 16 руб. 50 ков.

Собраніе сочиненій

Н. А. Добролюбова.

Редакція, вступит. статьи, біографическій очеркъ и примъч. В. П. Кранкуфельда. 8 томовъ не 1 р., въ изящи. переля, 12 руб.

Собраніе сочинсній

9. М. Достоевскаго.

Многочисленные портреты автора, его автографъ, художественные приложения, 21 т. Цня 28 р., въ изище, кожени, пер. 38 р16, 50 коп.

Coopanie countenii

Н.Н.Элатовратскаго.

8 томовъ по 1 р., 50 коп., въ изящи. перепл. 16 руб.

Поля. собр. стехоть и несемъ А. В. Кольцова.

Критически провъренный тексть, бютрафія, вступит. статья, вримъчанія, художественный прилож. Подърей Арс. Ив. Введекскаго. 1 тока. Цева 1 р., въ извидаверял. 1 руб. 50 коп.

Moduce cospanie cornientà

И. А. Крылова.

Критически провъренный текстъ, біографія, вступит. статья, примъч., художеств. приложенія и др.

Подъ ред. В. В. Каллаша.

А тома не 75 кон., въ изящи.

Совраніе сочиненій

Б. А. Лазаревскаго.

6 томовъ во 1 р., въ изящи. перенд. 9 руб.

Собраніе сочиненій

А. И. Левитова.

Съ портретомъ автора и вступ. стат. А. 4. Измениова. 8. тометъ по 1 р., въ изящи. колена переня. 12 руб.

Полное собрание сочинения

М. Ю. Лермонтова.

Критически провъренный текстъ, біографія, вступит статья, примъчанія, художествен мриложенія и пр. Подъ ред. А. И. Введенскаго.

4 тома по 75 коп., въ изящи. коленкор. мереви. 5 руб.

Собраніє сочиненій

С. В. Мансимова.

Съ портретомъ автора и вступ. статьей П. В. Быкова. 20 томовъ по 1 р., въ изящи. перепл. 30 руб.

Собраніе сочиненій

В. С. СОЛОВЬЕВА.

Собраніе сочиненій

Владиміра Сергѣевича СОЛОВЬЕВА.

Съ 3-мя портретами и автографомъ.

Подъ редакціей и съ примѣчаніями С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова.

Второе изданіе.

Томъ девятый.

(1897 - 1900)



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Книгоиздательское Товарищество "Просвѣщеніе", Забалканскій проспектъ, соб. д. № 75.



Содержаніе.

	CTP.
Понятіе о Богъ. 1897 .	3
Судьба Пушкина. 1897	33
Польская національная церковь. 1897	63
Что значить слово "живописность?" 1897	73
Импрессіонизмъ мысли. 1897 .	77
Тайна прогресса. 1897	84
Теоретическая философія. 1897 - 1899.	
I. Первое начало теоретической философіи	89
II. Достовърность разума	130
III. Форма разумности и разумъ истины .	148
Письмо о Восточномъ вопросъ. 1898	169
Идея человъчества у Августа Конта. 1898	172
Жизненная драма Платона. 1898	194
Рецензія на книги А. Фуллье и Т. Рибо. 1898	245
Мицкевичъ. 1898	257
Идея сверхчеловъка. 1899	265
Особое чествованіе Пушкина. 1899	279
Противъ исполнительнаго листа. 1899	288
Значеніе гоззім въ стихотвореніяхъ Пушкина. 1899	294
Терм(нтовъ. 1899	348
Прегисловіе къ переводу "Исторіи матеріализма" Ф. А.	
Ланге. 1899	371
Предисловіе къ "Упырю" Графа А. К. Толстого. 1899	375
Три жарактеристики М. М. Тронцкій — Н. Я. Гроть. —	
П. Д. Юркевичъ. 1900	380
Памяти . Н. Леонтьева	4 01
Некрологи. 1883—1900.	
Кн. К. М. Шаховская	407
Францискъ Рачкій	409
Э. М. Дмитріевъ	412
А. М. Иванцовъ-Платоновъ	414
Я. П. Полонскій	416
В С. Соловьевъ ІХ	

VI Содержаніе.	
	CTP.
М. С. Корелинъ	418
Л. И. Поливановъ .	420
I. Д. Рабиновичъ .	422

В. Г. Васильевскій 424 Н. Я. Гротъ . . . 426 В. П. Преображенскій 428

В. В. Болотовъ . . . · · . 431

Понятіе о Богъ.

(Въ защиту философіи Спинозы.)

1897.

Понятіе о Богъ.

(Въ защиту философіи Спинозы.)

1897.

За профессоромъ Александромъ Ивановичемъ Введенскимъ должно признать р'вдкое ум'внье поднимать и ставить ребромъ философскіе вопросы наибольшаго жизненнаго интереса для мыслящихъ людей. Независимо отъ того или другого митнія о предлагаемыхъ авторомъ решеніяхъ этого рода вопросовь, отчетливая постановка ихъ есть уже серьезная заслуга въ философской литературъ. Такою заслугою кажется мнв и последняя статья почтеннаго профессора «Объ атеизмъ въ философіи Спинозы», помъщенная въ 37 книгъ «Вопросовъ философіи и психологіи», — хотя я ръшительно несогласенъ съ высказанными въ ней взглядами какъ на учение Спинозы. въ частности, такъ и на понятіе о Богъ вообще. Заслугой я считаю ясную и раздъльную формулировку вопроса: что собственно мыслится въ понятіи Бога, каковы тъ мысленныя условія, при наличности которыхъ это понятіе дъйствительно присутствуеть въ нашемъ умъ и при устраненіи которыхъ оно исчезаеть, оставляя на своемъ мъстъ только пустое слово? — Признаюсь, что статья А. И. Введенскаго задъла меня за живое сначала изъ-за Спинозы (который быль моею первою любовью въ области философіи), а потомъ и изъ-за другого, еще болье важнаго интереса.

T.

По опредвленію Спинозы, какъ напоминаетъ нашъ авторъ, Богъ естъ существо абсолютно-безконечное, то-естъ субстанція, состоящая изъ безконечно многихъ атрибутовъ, каждый изъ которыхъ выражаетъ собою въчную и безконечную сущность. Въ связи съ этимъ

Спиноза отрицаетъ у Бога дъятельность по цълямъ и произволъ, а слъдовательно личность въ общепринятомъ смыслъ слова. Отсюда проф. Введенскій заключаетъ, что философія Спинозы есть атеизмъ. Хотя въ своей «Этикъ» философъ ежеминутно говоритъ о Богъ, называя такъ свою абсолютную субстанцію, но онъ не имъемъ права этого дълать, ибо понятіе Бога у него отсутствуетъ.

«Несомивно, — говорить проф. Введенскій, — что всякій въ правв понимать Бога по-своему, но только не иначе какъ до извъстнаго предъла, именно до тъхъ поръ, пока мы не противоръчимъ тъмъ признакамъ, которые оказываются присущими Богу вообще, тоесть всякому Богу. Въдь пониманіе Бога должно быть подчинено тъмъ же требованіямъ логики, какъ и пониманіе любой вещи: о всякой бещи мы въ правъ мыслить только то, что не противоръчить содержанію ея понятія. И что право мыслить Бога по-своему тоже ограничено подобнымъ предъломъ, видно изъ того, что въ противномъ случав ничто не мъщало бы намъ условиться понимать подъ словомъ «Богъ» любую вещь, напримъръ матерію, и отрицать существованіе всякаго другого Бога, и при отсутствіи всякаго ограниченія въ правъ мыслить Бога по-своему насъ все-таки нельзя было бы обвинять въ атеизмъ. Но въдь это явная нельпость» (стр. 159).

Совершенно върно. Право всякаго понимать Бога по-своему имъетъ безспорно свой предълъ, полагаемый существенными признаками этого понятія, съ исключеніемъ которыхъ оно теряетъ всякое содержаніе. Но какъ же найти эти признаки? По мнънію А. И. Введенскаго, то общее, что приписывается Богу во всѣхъ дъйствительныхъ религіяхъ, въ чемъ всѣ эти религіи сходятся между собою, — это и будетъ выражать неотъемлемую сущность понятія. «Разсмотримъ же, — говоритъ онъ, — признаки, которые были бы общими и для Зевса, и для Перуна, и для Бога магометанскаго, и для Бога христіанскаго, и для бога фетишистовъ и т. д. Они-то и будутъ признаками, которымъ, не вдаваясь въ логически непозволительную игру словъ, уже никто не въ правъ противоръчить, какъ бы ни понималь онъ Бога въ остальныхъ отношеніяхъ.

«И первымъ общимъ признакомъ любого бога служитъ то, что онъ всегда въ большей или меньшей степени превосходитъ человъка. Христіанскій Богъ безконечно превосходитъ человъка; Зевсъ превосходитъ лишь значительно, а не безконечно; боги же фегишистовъ еще менъе превосходятъ его, чъмъ даже Зевсъ, — но всякій богъ

мыслится какъ болъе или менъе превосходящій человъка. Къ этому превосходству мы можемъ отнести и приписываемое богамъ безсмертіе. Вторымъ же признакомъ Бога вообще служитъ то, что Богъ всегда мыслится какъ личность (имъющая или одно лицо, какъ это бываеть въ большинствъ случаевъ, или же три лица, какъ Богъ христіанскій), дъйствующая по цълямъ, а слъдовательно и имъющая волю. Одни боги дъйствують по цълямъ нравственнаго закона, каковъ, напримъръ, Богъ христіанскій; другіе же, какъ Зевсъ, — болье или менье по цълямъ, возбуждаемымъ ихъ капризами; но всякій богъ непремънно мыслится въ любой религіи какъ дъйствующій по оогъ непремънно мыслится въ люсои религи какъ дъиствующи по цълямъ. Даже фетишисты приписываютъ своимъ фетишамъ дъятельность по цълямъ. Таковы два признака, которые мыслятся въ понятіи любого бога независимо отъ всъхъ религіозныхъ различій. Отбросить одинъ изъ этихъ признаковъ — значитъ уничтожить понятіе Бога вообще. Въ самомъ дълъ, если отбросить признакъ превосходства, то понятіе Бога не будетъ отличаться отъ понятія вывосходитва, то понятие вога не оудеть отличаться отъ понятия вы-дающагося человъка или даже любого животнаго, если допустить у послъдняго личность(?), дъйствующую по цълямъ. Отбросивъ же личность, дъйствующую по цълямъ, мы увидимъ, что понятие Бога перестанетъ отличаться отъ понятия материи или же отъ понятия какой-нибуць огромной, замътно превосходящей человъка силы при-роды, напримъръ — отъ урагана.

роды, напримъръ — отъ урагана.

«Игнорировать, т. е. уничтожить эти существенные признаки, составляющіе понятіе Бога вообще, и въ то же время употреблять слово «богъ» — значить играть словами; между тъмъ Спиноза поступаеть именно такъ. Въ понятіи Бога у него фигурируеть лишь одинъ изъ пазванныхъ признаковъ — превосходство, такъ какъ, по его опредъленію, Богъ есть существо абсолютно-безконечное. Но онъ упорно старается устранить второй признакъ — личность, дъйствующую по цълямъ, а равно и обладаніе волей, и тъмъ разрушаетъ понятіе Бога въ то самое время, когда оперируетъ надъ нимъ» (стр. 159—161).

Это разсужденіе, которому нельзя отказать въ ясности, вызы-

Это разсужденіе, которому нельзя отказать въ ясности, вызываеть, однако, весьма существенныя возраженія. Мы не думаемъ, чтобы всѣ боги дъйствовали по цълямъ, но зато сей признакъ, характерный для божества, по мнънію проф. Введенскаго, слишкомъ выдается въ собственномъ способъ мышленія почтеннаго ученаго. Задавшись цълью отвлечь извъстное понятіе о Богѣ отъ всъхъ существующихъ религій, онъ вовсе забываеть о религіяхъ, ръшительно

не подходящимъ къ этой цъли, а тъ религи, которыя не совсъмъ для него годятся, онъ подвергаетъ нъкоторой приспособительной операціи.

Въ южномъ буддизмъ, сохранившемъ первоначальное ученіе Шакьямуни и его апостоловъ и оставшемся господствующею религіей на островъ Цейлонъ, въ Непалъ и въ большей части Индо-Китая, — нътъ мъста для личнаго существа, какъ предмета богопочитанія. Принимать такое существо за причину міра представляется здѣсь величайшимъ заблужденіемъ и нечестіемъ. Айсварика, т. е. поклонникъ Исвары — личнаго Бога вообще, есть бранное слово для правовърнаго буддиста. Никакому Исваръ онъ не поклоняется и, допуская множество фантастическихъ существъ, болье или менъе дъйствующихъ по цълямъ, не ставить ихъ ни во что, а довъряетъ только Буддъ — человъку, спасшему людей своимъ ученіемъ и отръшенному отъ всякой личности, отъ всякой воли и всякой дъятельности въ абсолютномъ поков и безразличіи нирваны 1.

А. И. Введенскій можетъ, конечно, по приміру многихъ ученыхъ, назвать эту религію атеизмомъ (хотя это будеть невфрно), онъ можетъ предпочитать южному буддизму буддизмъ съверный съ его громаднымъ пантеономъ. Но отъ этого положение вопроса нисколько не измъняется. Почтенный авторъ утверждаетъ, что онъ отвлекь оть всьяг религій безь различія два существенные признака, одинаково и совивстно необходимые для понятія о Богв, — превосходство надъ человъкомъ и личную цълемърную волю; эти признаки должны быть налицо во всякой религіи безь исключенія. Но воть нашлась религія, и при томъ имъющая всемірно-историческое значеніе, которая ръшительно противорьчить такому утвержденію. Въ понятіяхъ правовърныхъ буддистовъ два признака, установленные А. И. Введенскимъ какъ необходимо совмъстные, ръзко и послъдовательно отдъляются одинь отъ другого. Эти странные люди, принявъ безъ всякаго затрудненія въ наслёдство отъ прежней религіи великое множество человъкообразныхъ и звърообразныхъ, болъе или менъе цъле-

¹ Если проф. Введенскій не довъряеть въ этомъ пунктъ сонму европейскихъ и русскихъ ученыхъ изслъдователей буддизма, пусть онъ обратится къ катехизису южнаго буддизма, офиціально одобренному первоосвященникомъ цейлонскихъ буддистовъ, и онъ увидить, что въ этой религіи нътъ мъста для личнаго Бога. Упомянутый катехизисъ, составленный американцемъ, открыто перешедшимъ изъ христіанства въ буддизмъ, существуетъ, кажется, и на русскомъ языкъ.

мърно, хотя и чудовищно, дъйствующихъ боговъ, отняли у нихъ разъ и навсегда признакъ превосходства надъ человъкомъ по существу и всякія высшія права надъ нимъ, а, съ другой стороны, они признали нъкоторый новый предметъ религіознаго отношенія, нъкоторое безусловно превосходное существо, бытіе или состояніе 2, но такое, которое необходимо характеризуется полнымъ отсутствіемъ воли, пъли, дъятельности и личности. Признавать такое ученіе атензмомъ было бы явною несправедливостью. Божественность нирваны не есть пустое слово, хотя совершенно ясно, что это понятіе противоръчитъ тому понятію о божествъ, которое проф. Введенскій считаєть безусловно обязательнымъ.

Я нисколько не сомиванось, что буддивить вообще, и южный буддивить въ особенности, есть религія односторонняя и недостаточная; чтобы не спорить о словахь, я готовъ его прямо назвать ложною религією. Но когда дѣлаются выводы изъ согласія въ чемъ-нибудь всюхъ существующихъ религій, то, очевидно, нужно принять въ соображеніе и эту, какъ бы она намъ ни претила. Утверждать же, что ученіе, которому 2000 лѣтъ традиціонно подчиняется сознаніе и жизнь тридцати или сорока милліоновъ людей, не есть религія, было бы ребяческою игрою словъ.

П.

Другая важная религія, противоръчащая выводу проф. Введенскаго, есть браманизмъ, — ученіе, для котораго верховный священный авторитеть составляють Веды (въ широкомъ смыслъ, со включеніемъ Упанишадъ). Браманизмъ есть религія очень сложная, или, пожалуй, совокупность религій, объединенныхъ общимъ священнымъ писаніемъ и хранящею его кастою браминовъ. На этой общей основъ совмъщается великое многообразіе върованій и культовъ, различнаго происхожденія и различныхъ эпохъ, съ представленіями иногда чудовищно-дикими, иногда утонченно-философскими. Входить во все это разнообразіе нътъ надобности, когда есть общая религіозная основа въ священныхъ Упанишадахъ, подобно тому, какъ для опредъленія

² Я нарочно выражаюсь неопредёленно, чтобы вёрнёю передать буддійскую идею. Употребленныя мною слова одинаково относятся къ нирвані и къ совершенному Будді, достигшему Нирваны, что согласно съ буддійскимъ требованіемъ не различать субъекта отъ объекта.

мусульманскаго понятія о Богь ньть надобности разбираться въ различныхъ минологическихъ представленіяхъ объ Али, калифъ Гакемъ и другихъ «имамахъ», а достаточно познакомиться съ Кораномъ и съ ближайшими къ Мухаммеду общепризнанными преданіями.

Священное ученіе Упанишадъ, снисходительно относясь ко множеству народныхъ боговъ и ихъ ритуальному почитанію, само ръши-

тельно возвышается надъ этою «религіей дѣль» и обращается къ единому истинному существу всего, къ безконечной душѣ міра, въ которой все есть одно и то же, въ которой упраздняются всякая отдъльность и особенность, всъ частныя и индивидуальныя различія. различня. Эта все-душа или все-духъ (атма) не есть такая чисто-отрицательная безусловность, какъ буддійская нирвана: священные тексты браминовъ приписывають абсолютной сущности всевозможныя положительныя качества, физическія и психическія, въ безконечной потенціи, — одного только не признають они за нею: дъятельности по опредъленной волъ и опредъленнымъ цълямъ; въроятно, авторы Упанишадъ не видъли въ этомъ положительнаго качества. За такой взглядь А. И. Введенскій должень признать ихь атеистами. Пусть они до изнеможенія повторяють: истинное божество есть все, и все есть истинное божество, выказывая себя отъявленными пантеистами въ самомъ точномъ и строгомъ смыслъ слова, — это имъ не поможеть, какъ не поможеть и то, что они приписывають божеству абсолютное мышленіе и всевъдьніе. Въдь и Спиноза признаваль наряду съ протяженіемъ и безконечное мышленіе какъ необходимый атрибуть абсолютной субстанціи, обладающей, по его убъжденію, сверхъ этого безконечнымъ множествомъ другихъ безконечныхъ атрибутовъ или существенныхъ свойствъ; однако все это качественное и количественное обиліе не препятствуєть нашему автору обвинять философію Спиновы въ атеизм'в единственно только за то, что онъ отрицаль у божественной субстанціи произвольную д'ятельность по ц'ялямъ. Но въ этомъ пункт'я н'ять никакого различія между спинозизмомъ и религіознымъ ученіемъ священныхъ Упанишадъ, и, слъдовательно, нужно или признать въ обоихъ ученіяхъ, какъ это всегда и справедливо дълалось, — пантеизмъ, или же вмъстъ съ философіей Спинозы обвинить въ *ателять* и браминскую религію, а въ такомъ случат придется, пожалуй, вовсе изъять изъ обращенія самое понятіе пантеизма. Проф. Введенскій мимоходомъ указываетъ сущность этого понятія въ имманентности божества вещамъ, или міру.

Но совмѣстима ли такая имманентность съ утверждаемымъ имъ вторымъ признакомъ въ понятіи Бога? Какимъ образомъ личность въ смыслѣ проф. Введенскаго, т. е. обладающая своей особой волей и дѣйствующая по цѣлямъ, слѣдовательно внѣ себя, можетъ быть въ то же время имманентна, т. е. внутренно присуща тому, что не есть она сама, а только предметъ ея дѣйствія? Чтобы не впасть въ игру словъ, нашъ авторъ долженъ признать безличнымъ божество, имманентное вещамъ, и, слѣдовательно, допустить, что пантеизмъ, утверждающій такое безличное божество, отрицаетъ самое понятіе Бога и есть то же, что атеизмъ, а въ такомъ случаѣ должно исключить изъ употребленія самый терминъ «пантеизмъ», какъ источникъ важныхъ недоразумѣній. Едва ли однако установленныя и общепризнанныя философскія категоріи уничтожаются такъ легко, какъ бумажныя деньги стараго образца.

III.

Не упоминая вовсе о религіяхъ буддійской и браминской, нашъ авторъ упоминаетъ о христіанской безъ соблюденія надлежащей точности. Сказавъ, что Богъ всегда мыслится какъ личность, проф. Введенскій прибавляетъ въ скобкахъ: имьющая или одно лицо, какъ это бываетъ въ большинствъ случаевъ, или же три лица, какъ Богъ христіанскій (стр. 160, курсивъ мой). Такъ какъ христіанскій Богъ безтълесенъ, то подъ словомъ «лицо» здѣсь можетъ разумѣться никакъ не физическій обликъ, а метафизическая и нравственная личность, и, слѣдовательно, выраженіе: «личность, имѣющая три лица», равносильно выраженію: личность, имьющая три личности. Но что же это значитъ? Не есть ли это соединеніе словъ, лишенное всякаго мыслимаго содержанія? Ни въ христіанской, ни въ какой-либо другой религіи такой странной формулы для понятія о Богъ мы не находимъ. На самомъ дѣлѣ въ христіанствъ Богь опредѣляется какъ единое существо, или естество (сущность, природа — одока фосус) въ трехъ нераздѣльныхъ упостасяхъ, или лицахъ — понятіе, которое хотя и превышаетъ обыкновенный человѣческій разсудокъ, вращающійся въ области вещей конечныхъ, но заключаетъ въ себъ опредѣленную мысль, свободную отъ логическаго противорѣчія и дающую полное удовлетвореніе высшимъ умозрительнымъ требованіямъ. Во всякомъ случаѣ, христіанское понятіе о Богѣ какъ тріединой сущности, превѣчной и всесовершенной, находится въ очень натянутыхъ

отношеніяхъ ко «второму признаку» проф. Введенскаго: ибо цѣль предполагаетъ несовершенство въ томъ, кто къ ней стремится, и дѣятельностъ предполагаетъ время, въ которомъ она происходитъ. Не должно забывать, что, по христіанскому ученію, во второмъ субъектѣ (упостаси) Св. Троицы — логосѣ — ближайшимъ образомъ относящемся къ міру, въ силу до вѣка предопредѣленнаго и отъ вѣка предначинаемаго воплощенія божество закрыто «зракомъ раба», и что къ этой упостаси можно безъ всякаго противорѣчія относить всѣ религіозные антропопатизмы, но никакъ нельзя отсюда заключать къ самому понятію о Богѣ по существу, подобно тому, какъ дѣлали монофизиты-теопасхиты, утверждавшіе, что само Божество страдало и умерло на крестѣ з.

Проф. Введенскій справедливо замічаеть, что право мыслящаго ума преобразовывать или «перестраивать» данныя религіозныя понятія должно имъть предъль. Это несомнънно: серьезный мыслитель не станеть подставлять подъ общепринятый терминъ какое угодно содержаніе, не станеть разумъть подъ особымъ словомъ все, что попало. Но найти здъсь настоящій, обязательный для ума предъль гораздо труднъе, чъмъ думаетъ почтенный профессоръ. Во всякомъ случат на предълъ, имъ указанномъ, остановиться никакъ невозможно. Уже въ основномъ въроучении христіанства прежнія религіозныя понятія о Богь подверглись коренной перестройкъ и въ томъ пунктъ, который представляется неприкосновеннымъ нашему автору. По христіанскимъ понятіямъ существенный признакъ Бога есть абсолютное совершенство не только въ нравственномъ, но и въ метафизическомъ смыслъ, т. е. для Бога неизбъжно быть превыше всякихъ ограниченій, между прочимъ, превыше времени, а слъдовательно превыше и той раздельной деятельности по целямъ, которая мыслима только во времени и которую однако нашъ авторъ рѣшительно приписываетъ Богу какъ такому, значитъ и христіанскому Богу.

³ Согласно православному опредъленію, въ силу истиннаго соединенія двухъ природъ во Христѣ можно говорить, что Богъ пострадаль, умеръ и воскресъ, именно въ томъ смыслѣ, что пострадавній, умершій и воскресшій былъ истиннымъ Богомъ; но нельзя говорить, что само Божество или божественное естество пострадало, умерло и воскресло, — что въ равной мѣрѣ и нелѣпо, и нечестиво. Короче, православная формула противъ монофизитской состоитъ въ томъ, что Христосъ страдаль, умеръ и воскресъ не по божеству, а по человъчеству.

Впрочемъ, я не буду настаиватъ на этомъ невольномъ противоръчіи между взглядомъ почтеннаго философа и нъкоторыми основами христіанскаго въроученія. Въ дальнъйшемъ своемъ разсужденіи А. И. Введенскій, начавшій со ссылки на всъ религіи безъ различія, приходитъ незамътно для себя и неожиданно для читателя къ такому заявленію, которымъ ръшительно упраздняются всъ религіи безъ различія.

IV

Хотя обвинение философіи Спинозы въ атеизмъ я считаю совершенно неоправедливымъ, но я спъщу отмътить, что это обвиненіе, какъ его высказываетъ А. И. Введенскій, не имъетъ ничего общаго съ тъми одіозными личными нападеніями, которымъ неръдко подвергался амстердамскій философъ за свое мнимое «безбожіе». Почтенный авторъ разбираемой статьи, держась неуклонно на высотъ теоретическаго обсужденія идей, старательно и обстоятельно оговаривается насчеть того, что Спиноза лично не быль атенстомъ, что его настроеніе имьло религіозный характерь, но что, развивая въ одностороннемъ, механическомъ направлении систему Декарта, онъ пришель къ воззрвніямь, исключающимь понятіе Бога, сохраняя однако по добросовъстной иллюзіи слово Богь для обозначенія предмета, нисколько на Бога непохожаго. Такъ ли это было относительно Спинозы, мы еще разберемъ далье; но теперь же должны замьтить, что съ самимъ А. И. Введенскимъ случилось нъчто подобное тому, что онь сообщаеть намъ о Спинозъ. Оставаясь на той же чисто-теоретической или идейной почвъ и нисколько не сомнъваясь въ искренней личной преданности почтеннаго профессора религіознымъ интересамъ и христіанскимъ принципамъ, мы находимъ, что одностороннее и прямолинейное развитіе Кантовыхъ идей невольно привело нашаго автора ко взглядамъ, отнимающимъ у религіи вообще ея существенное содержаніе и отличительный характеръ, — ея raison d'être. «... Понятіе Бога, — читаемъ мы на стр. 165, — не отно-

«... Понятіе Бога, — читаемъ мы на стр. 165, — не относится къ объекту, данному въ опытъ. Если бы оно относилось къ подобному объекту, то, конечно, оно должно было бы соотвътствовать своему объекту, и въ случаъ отсутствія соотвътствія между ними философія имъла бы право измънить это понятіе, не перемъняя его названія. Но въ понятіи Бога мыслится не то, что дано въ опытъ, а то, что удовлетворяло бы нашимъ религіознымъ потребностямъ, и во что мы, всл'ядствіе этого всего, только впримо какь въ существующее. Сталкиваясь же посл'в этого съ философіей, мы, разум'вется, обращаемся къ ней съ вопросомъ, правы ли мы въ своей въръ, т. е. существуеть ли то, во что мы въримъ».

Выходитъ, такимъ образомъ, что пока мы «только въримъ» въ Бога, мы еще не знаемъ, существуетъ ли Онъ въ самомъ дълъ, или нътъ, — въ религіи мы хотя и въримъ, но, по мнънію профессора Введенскаго, никакого удостовързнія въ дъйствительномъ существованіи предмета нашей въры не имъемъ и должны обращаться за такимъ удостовъреніемъ къ философіи, которая, не входя въ разсмотръніе нашихъ религіозныхъ понятій по существу или со стороны ихъ содержанія, занимается только вопросомъ, существують или не существують соответствующіе этимь понятіямь действительные предметы. Признаюсь, читая такое заявленіе, я испытываль впечатлъніе, какъ будто бы дъло шло о чемъ-то совершающемся на кольцахъ Сатурна или на Меркуріи, гдъ все происходить, можеть быть, наобороть тому, что намъ извъстно изъ здъшняго подлуннаго опыта. Я не стану, конечно, ссылаться на свой личный опыть; но въ области религи, какъ и въ другихъ областяхъ человъческаго духа, есть признанные «эксперты», свидетельство которыхъ по известнымъ вопросамъ имъетъ ръшительное значеніе, независимо ни отъ какихъ личныхъ мнъній. Вотъ, напримъръ, «показаніе эксперта», которое я привожу только въ этомъ качествъ, безотносительно къ его священному авторитету: «Что было съ начала, что слышали, что видъли очами нашими, что мы созериали, и что руки наши осязали, о Словъ жизни (π е ϱ и τ $\tilde{\varrho}$ \tilde{v} Λ $\acute{\varrho}$ γ ϱ v τ $\tilde{\eta}$ ς $\zeta \omega \tilde{\eta}$ ς); — и жизнь явилась, и мы видьли и свидьтельствуемо и возвъщаемъ вамъ Жизнь въчную, ту, что была у Отца и *явилась* намъ; — что *видъли* и *слышали*, возвъщаемъ вамъ, дабы и вы общеніе имъли съ нами: общеніе же наше съ Отпемъ и съ Сыномъ Его Іисусомъ Христомъ» (1 посл. Іоан. I, 1—3).

V.

По мићнію проф. А. И. Введенскаго, понятіе Бога не относится къ объекту, данному въ опытъ. Ап. Іоаннъ Богословъ съ особымъ удареніемъ настаиваетъ на томъ, что его понятіе о Богъ относится къ предмету, данному въ опытъ даже для виъшнихъ чувствъ. Конечно, нельзя видътъ, слышатъ, осязатъ самое существо Божіе, но

въдь это также невозможно и относительно всякаго существа какъ такого. Мы чувственно испытываемъ только *пеляемыя* воздъйствія существъ, которыя служатъ для насъ знаками и выраженіями ихъ собственнаго бытія и внутренней природы.

Независимо отъ кантовскаго понятія объ опытъ, которое я считаю ошибочнымъ, я нисколько не отрицаю важныхъ различій между опытомъ религіознымъ и тъмъ опытомъ, въ которомъ намъ даны предметы міра физическаго. Но въ томъ пункть, о которомъ идетъ ръчь, эти два вида опыта совершенно совпадаютъ. Наше убъжденіе въ дъйствительномъ существовании солнца возникаетъ нераздъльно съ тъми свътовыми и тепловыми ощущеніями, которыя мы относимъ къ дъйствію этого объекта; чрезь нихъ мы удостовъряемся въ реальномъ бытіи солнца и не нуждаемся ни въ какомъ подтвержденіи этой достовърности со стороны астрономическихъ теорій. Да никакая астрономія и не могла бы доказать намъ существованія солнца, если бы мы стали на точку эрвнія субъективнаго идеализма, или иллюзіснизма. Задача науки относительно этого предмета состоить лишь въ томъ, чтобы дать намъ новыя, болье ясныя, точныя и полныя понятія о той совокуппости явленій, которую мы называемъ солнцемъ; вопросъ же о томъ, соотвътствуетъ ди этимъ явленіямъ и понятіямъ какая-нибудь существующая вив нашего сознанія реальность, этотъ вопросъ о существовании предмета вовсе не ръшается и не ставится наукою, занятою только отношеніями явленій. Самый ученый астропомъ такъ же *принимаетъ на въру* объективное существованіе свътилъ небесныхъ, какъ и последній дикарь. И все телескопическія наблюденія, спектральные анализы и математическія вычисленія не дадуть ни одного серьезнаго аргумента въ пользу реальнаго бытія солица, если этотъ ученый дойдеть своимъ умомъ до точки зрънія субъективнаго идеализма; ибо все это научное богатство отлично размъщается въ предълахъ понятія о небесномъ тълъ какъ явленіи, связанномъ съ другими явленіями по строго-опредъленному порядку внутри нашего сознанія, безъ мальйшаго отношенія къ чему-нибудь BHE ero 4.

⁴ Предсказанія затменій и прочіе тріумфы точной науки могли бы опровергать разв'я лишь ник'ямь, впрочемь, не представляемую точку зр'внія "волюнтаризма", или арбитраризма", согласно которой явленія происходять какъ попало, по сл'япому и безсвязному произволу д'яйствующей силы, или д'яйствующихъ силь. Но къ субъ-

Несмотря на всъ различія въ другихъ отношеніяхъ, сказанное нами о достовърности солнца физическаго вполнъ примъняется и къ вопросу о достовърности солнца духовнаго. Наша увъренность въ дъйствительномъ существовани божества нераздъльно связана съ тыми явленіями, которыя даны въ религіозномъ опыты и которыя мы относимъ къ дъйствію божества на насъ. Это върно относительно всъхъ религій. Древній эллинъ не върилъ бы въ существованіе Діониса, если бы не испытываль его душевно-тълеснаго дъйствія въ опьянъніи. Въра въ христіанскаго Бога основана на его совершенномъ явленіи въ историческомъ опыть человьчества. И, разумьется, этотъ опыть, хотя онъ и имъль самое интенсивное и сосредоточенное свое выражение въ событияхъ земной жизни Христа, не исчерпывается однако ими одними. Никто не станеть отрицать дъйствительнаго религіознаго опыта у апостола Павла, у св. Франциска, или у св. Сергія. Есть, наконець, косвенный религіозный опыть, связанный съ довъріемъ къ другимъ, съ жизнью традиціи, съ родовою и духовною солидарностью. То же въдь можно замътить и относительно предметовъ міра физическаго. Не пользуясь телескопомъ, я однако ничуть не сомнаваюсь въ дайствительномъ существовании планеты Нептунъ и другихъ небесныхъ тълъ, невидимыхъ простымъ глазомъ.

Если увъренность въ дъйствительномъ существовании религіознаго объекта основана на религіозномъ опыть, то задача философіи въ этомъ отношеніи можеть состоять только въ томъ, чтобы преобразовывать и расширять этотъ опытъ, т. е. сдълать болье точными, ясными и полными наши понятія о данныхъ въ дъйствительной религіи фактахъ. Философія можетъ изучать религіозные предметы, но ни создать ихъ, ни дать намъ увъренность въ ихъ существованіи она сама по себъ не можетъ, какъ не можетъ этого сдълать астрономія относительно небесныхъ тълъ. Противъ этого было бы напрасно указывать на такъ называемыя доказательства бытія Божія, которыя частью основаны на логическихъ ошибкахъ, какъ показано Кантомъ, частью же (въ особенности доказательство телеологическое и

ективному идеализму, по которому міръ явленій есть *строго упорядоченная или закономігрная система* галлюцинацій, тріумфы науки не находятся ни въ какомъ отношеніи. Думать, что сбывающіяся предсказанія затменій говорять, что-нибудь въ пользу реальности этихъ явленій, значить уже предполагать реальное значеніе времени, т. е. именно то, что требуется доказать.

нравственное) почерпають свою силу изъ данныхъ внёшняго и внутренняго опыта и, следовательно, подтверждають нашь тезись. Конечно, наше удостовърене въ предметахъ религи не покрывается данными нашего религіознаго опыта, но столь же несомнънно, что ежо основывается на этихъ данныхъ и безъ нихъ существовати не можеть, точно также какъ достовърность нашихъ астрономическихъ знаній не покрывается темь, что мы видимь и наблюдаемь на небе, но несомитино основывается только на этомъ. Яркую иллюстрацію можно видъть въ знаменитомъ открытіи Леверрье. Во-первыхъ, это открытіе было обусловлено даннымъ въ опыть явленіемъ другихъ планеть и ихъ вычисленными на основаніи наблюденій орбитами; а, во-вторыхъ, дальнъйшія математическія вычисленія и комбинаціи, привединя парижскаго астронома къ необходимости новой планеты, не могли сами по себь никому дать увъренности въ ея дъйствительномъ существованіи, такъ какъ она могла бы оказаться такимъ же оши-бочнымъ заключеніемъ, какъ «противоземіе» писагорейцевъ. Все свое настоящее значеніе работа Леверрье получила только черезь свою опытную провърку, т. е. когда новая планета была дъйствительно усмотръна въ телескопъ. И въ самомъ дълъ, множество астрономовъ ежегодно открывають новыя астероиды и кометы, и для увъренности въ существованіи этихъ тъль фактъ ихъ наблюденія оказывается совершенно достаточнымъ. Вообще, главная роль въ успъхахъ астрономіи несомнънно принадлежить телескопу и спектральному анализу, т. е. усовершенствованнымъ способамъ наблюденія и опыта. Если бы такъ называемыя доказательства бытія Божія указывали намъ на тъ условія, при которыхъ мы могли бы испытать новыя воспріятія божественныхъ предметовъ, — подобно тому, какъ вычисленія Леверрье указали астрономамъ, куда имъ направлять телескопъ, чтобы увидать новую планету, — тогда, конечно, эти доказательства могли бы имъть важное значеніе для образованія религіозныхъ убъжденій.

VI.

Въ отличіе отъ теоретическихъ разсужденій о религіозныхъ предметахъ, во всякой дійствительной религіи божество, т. е. высшій предметь благоговінія или религіознаго чувства, непремінно признается какъ данное въ опыті. Вотъ первый признакъ этого понятія, не рискующій встрітить никакихъ instantia contrarii. Нир-

вана, передъ которою преклоняется и къ которой стремится буддійскій мудрецъ, есть для него не отвлеченное понятіе, а нѣчто уже испытанное другими и имѣющее быть испытано имъ самимъ. Чувствовать абсолютное въ себъ, какъ безусловную отръшенность отъ всякихъ опредѣленій, есть то состояніе внутренняго опыта, которое даетъ буддизму все его религіозное содержаніе и тѣмъ отличаетъ его какъ отъ другихъ религій, такъ и отъ теоретическихъ разсужденій о безконечномъ. Все-душа браминовъ познается въ дѣйствительномъ опытъ внутренняго сосредоточенія всѣхъ силъ человѣка, всего его психофизическаго существа, которое въ такомъ сосредоточеніи дѣйствительно соединяется и совпадаетъ съ самимъ предметомъ этой религіи, и въ такомъ «тождествъ субъёкта и объекта» абсолютное божество существенно испытывается человѣкомъ. Множество людей проходило и проходитъ черезъ религіозный опытъ пантеизма — чрезъ внутреннее воспріятіе или ощущеніе своего тождества съ всеединою субстанціей міра. Мыслители исключительно разсудочнаго характъра, не испытавшіе ничего подобнаго, называють такое въ опытѣ данное состояніе «фанатизмомъ» и «фантазіей», но это можетъ быть оставлено безъ всякаго вниманія, особенно если мы вспомнимъ, что для многихъ всякая религія и даже всякая «метафизика» есть фанатизмъ, фантазія и суевъріе.

Пантеистическое чувство общенія съ всеединою субстанціей, порождая цілыя религіозныя ученія, даетъ вмісті съ тімь глубокую религіозную одуше зленность міровоззрінію такихь умовь, какъ Спиноза и Гёте. Будучи народною религіей въ дальней Азіи, нантеизмь давно сталь въ Европъ излюбленною религіей метафизиковъ и поэтовь, для которыхъ онъ не есть отвлеченное попятіе, а данное опыта.

Но — что еще болъе важно и замъчательно — основанныя на религіозномъ опытъ идеи абсолютнаго, какъ безусловной отръшенности отъ всякихъ опредъленій (буддизмъ) и какъ всеединой субстанціи всякаго бытія (браманизмъ), несомнънно вошли въ качествъ подчиненныхъ элементовъ въ болъе содержательное, на болье глубокомъ и совершенномъ религіозномъ опытъ (въ истинномъ Откровеніи) основанное воззръніе христіанское. Я говорю не о различныхъ мистическихъ и гностическихъ ересяхъ, которыя хотъли этотъ восточный элементъ изъ подчиненнаго сдълать господствующимъ и возстановить язычество подъ христіанской оболочкой, — я говорю о совершенно правовърныхъ и авторитетныхъ въ церкви религіозныхъ пи-

сателяхъ — богословахъ, мистикахъ и подвижникахъ. Укажу прежде всего на тѣ сочиненія, которыя за ихъ высокое достоинство были приписаны мужу апостольскому, св. Діонисію Ареопагиту, и получили съ V вѣка общепризнанный авторитетъ въ церкви; затѣмъ, на писанія глубокомысленнаго и ученаго комментатора этихъ сочиненій, — св. Максима Псповѣдника, пострадавшаго за православіе въ борьбѣ съ моновелитскою ересью; наконецъ, на различныя произведенія святтихъ подвижниковъ, какъ древнихъ, такъ и болѣе новыхъ, вощедшія въ составъ сборниковъ разнаго объема съ общимъ названіемъ «Добротолюбія» ($\Phi\iota\lambda ox\alpha$ $\lambda\iota\alpha$). Конечно, вся эта литература не есть полное выраженіе христіанства, — она выражаетъ только одну его сторону; но распространенность и высокая авторитетность єтихъ писаній несомиѣнно доказываетъ, что выражаемая ими сторона христіанства имѣетъ для него существенное значеніе, и что съ нею необходимо считаться при опредѣленіи христіанскаго понятія о Богѣ.

Въ этомъ отношеніи следуеть отметить одинь основной традиціонный взглядь, въ которомъ все указанные писатели примыкають къ Ареопагиту. Правильное понятіе о Богь, по ихъ уверенію, установляется двумя путями: 1) чрезъ последовательное и безусловное отрицаніе у Бога всякихъ определеній (это называется деододіа атофатіхії и 2) чрезъ приписываніе Богу всёхъ положительныхъ свойствъ въ высочайшей степени или абсолютной потенціи деодоріа катафатіхії).

Предполагаемый Ареопагитъ, конечно, не былъ бы принятъ въ дъйствительный ареопагъ отцовъ и учителей церкви, если бы мистическіе взгляды этого писателя были такъ же далеки отъ положительнаго христіанства. какъ пантензмъ Спинозы; и тъмъ не менъе я сильно опасаюсь, что высокоавторитетный церковный богословъ имъетъ въ своихъ мысляхъ о Богъ все-таки болье внутренняго сродства съ амстердамскимъ философомъ, нежели съ петербургскимъ. Это я говорю не для упрека. Проф. Введенскій имъетъ полное и неотъемлемое право предпочитать разсудочно-схоластическія понятія о Богъ идеямъ созерцательной мистики. Упрекнуть же его можно только тогда, когда онъ свое право превращаетъ въ общую обязанность, implicite исключая изъ христіанской религіи элементъ. несомнънно ей присущій, хотя и не подходящій подъ требованія того или другого философствующаго ума.

VII.

Совершенно согласившись съ А. И. Введенскимъ въ томъ, что наше логическое право разумьть по-своему понятіе Бога должно имъть предълъ, зависящій отъ существеннаго содержанія дъйствительных религій, мы нашли, что указанный нашимъ авторомъ предълъ не совпадаетъ съ дъйствительнымъ, и что предложенные имъ непремънные признаки понятія о божествъ должны быть преобразованы, чтобы удовлетворять этому понятію, какъ присущему всемъ религіямъ. Прежде всего нужно было возстановить пропущенный проф. Введенскимъ и даже какъ будто отрицаемый имъ признакъ (основаніе понятія въ дъйствительномъ религіозномъ опыть), отличающій это понятіе какъ религіозное, т. е. какъ выражающее живое отношеніе къ предмету, отъ абстрактныхъ разсужденій о предметь. Затъмъ, изъ предложенныхъ нашимъ авторомъ признаковъ долженъ быть прямо принять только первый. Безспорно, мысль о Богь за ключаеть въ себъ понятіе превосходства надъ человъкомъ, какъ и сама религія по понятію своему есть благоговъйное почитаніе или поклоненіе, что предполагаеть превосходство предмета. Разумъется, здъсь можно говорить о превосходствъ лишь въ различныхъ отношеніяхъ и степеняхъ. Авторъ, кажется, слишкомъ ствсняеть этотъ признакъ, когда считаетъ невозможнымъ видъть Бога въ такихъ предметахъ, какъ «матерія» и «ураганъ». Дъйствительная матерія и дъйствительный ураганъ были и бываютъ предметомъ богопочитанія. Возможно, впрочемъ, что нашъ авторъ имъль въ виду лишь представленіе и гилотезы химиковъ и физиковъ о матеріи и ея явленіяхъ, каковыя, конечно, ни въ комъ не вызываютъ мысли о божествъ. Эти безкрылые миеы, создаваемые односторонними умами, очевидно, не превосходять человъка ни въ какомо отношении, чего нельзя сказать ни о дъйствительной матеріи, ни даже о дъйствительномъ ураганъ.

Что касается до второго признака — личной сознательной воли и цълеположнаго дъйствія, то онъ требуетъ коренного преобразованія. Если бы нашъ авторъ могъ высказать свой взглядь въ такой отрицательной формъ: божество не должно быть мыслимо безличнымъ, безвольнымъ, безсознательнымъ и безцъльно дъйствующимъ, — то мы съ нимъ сейчасъ бы согласились и нашли бы этотъ тезисъ лишъ требующимъ нъкоторыхъ разъясненій.

Признавать Бога бездичнымъ, безвольнымъ и т. д. невозможно потому, что это значило бы ставить его ниже человъка, или отрицать необходимый признакъ божества — превосходство надъ человъкомъ. Не безъ основанія считая извъстные предметы, какъ, напр., мебель, камни мостовой, бревна, кучи песку, безвольными, безличными и безсознательными, мы тъмъ самымъ утверждаемъ превосходство надъ ними личнаго, сознательнаго и по цълямъ дъйствующаго существа человъческаго, и никакіе софизмы не могуть измънить этого нашего аксіоматическаго сужденія. Но въ такомъ случав признавать божество безличнымъ, безвольнымъ и т. д. значило бы низводить его на степень низменныхъ вещей, не достигшихъ до общихъ и элементарныхъ преимуществъ человъческой природы, и мы ръшительно утверждаемъ, что никакая языческая религія и никакая пантеистическая философія никогда не впадали въ такую явную нелъпость. Но почтенный авторь ошибочно думаеть, что изъ невозможноти считать божество безличнымь следуеть необходимость признать его личностью, — или, говоря языкомъ формальной логики, онъ напрасно видитъ контрадикторное отношение тамъ, гдъ дъло идетъ объ относительной противоположности, и напрасно ставить дилемму тамъ, гдъ datur tertium quid.

VIII.

Слово лицо, личность вовсе не имъетъ такого твердо установившагося значенія, какое, повидимому, приписываетъ ему нашъ авторъ. Не гаворя уже о римской терминологіи, гдѣ persona означало не болъе какъ маску, въ настоящее время соотвътствующее слово на всъхъ языкахъ употребляется въ двухъ совершенно различныхъ направленіяхъ. Съ одной стороны, когда говорится о личномъ достоинствъ, правахъ, свободъ и т. д., — личность понимается какъ положительное начало самостоятельности, принадлежащее человъку, какъ существу духовному, въ отличіе отъ негативныхъ свойствъ матеріальнаго, страдательно-коснаго бытія. Но если такимъ образомъ личность человъка противополагается низшей безличной природь, то, съ другой стороны, личный характерь противополагается высшему достоинству и назначенію человъка, когда мы говоримь: это человъкъ личный, c'est un homme personnel, er ist nur einer persönlichen Gesinnung fähig. Смыслъ такихъ выраженій становится яснымъ, если мы сопоставимъ ихъ съ евангельскимъ словомъ: кто бережетъ душу свою, погубитъ ее, а кто теряетъ душу свою, спасетъ ее 3. Конечно, здъсь подъ этою спасительною потерей души разумъется не превращение человъка въ бездушную вещь, не самоубійство его метафизическаго существа, а только нравственное умерщвленіе его эгоизма. То. что въ этомъ евангельскомъ изреченіи называется душою, что мы обыкновенно называемъ нашимъ я, или нашею личностью, есть не замкнутый въ себъ и полный кругъ жизни, обладающій собственнымъ содержаніемъ, сущностью или смысломъ своего бытія, а только носитель или подставка (υπόστασις) чего-то другого, высшаго. Отдаваясь этому другому, забывая о своемь я, человъкъ какъ будто теряетъ себя, жергвуетъ собою, но на самомъ дълъ онъ утверждаетъ себя въ своемъ истинномъ значеніи и назначеніи, наполняетъ свою личную жизнь истиннымъ содержаніемъ, съ которымъ она нераздільно сливается, превращаетъ ее въ въчную жизнь. Напротивъ, обращая свои душевныя силы на самую свою душу въ отдъльности взятую, подставку жизни принимая за содержаніе жизни и носителя за цъль, т. е. отдаваясь эгоизму, человъкъ губитъ свою душу, теряетъ свою настоящую личность, повергая ее въ пустоту или безсодержательность. Эгоизмъ есть только мнимое самоутвержденіе человіческой личности; дійствительно же она утверждаетъ себя тогда, когда вольно и сознательно отдается другому высшему; эгоизмъ же на самомъ дълъ есть отдъленіе личности отъ ея жизненнаго содержанія, — отделеніе подставки, упостаси бытія отъ сущности $(o\tilde{v}\sigma\iota\alpha)$ разрывъ между существованіемъ и его цълью, между внъшнимъ фактомъ и внутреннею цънностью, между твиъ, что живеть, и твиъ, ради чего стоить жить. Такое отдъление обращеннаго на себя я отъ его жизненной сущности есть, безъ сомнънія, нравственная смерть и гибель души.

Но если такимъ образомъ самостоятельность или самосодержательность нашей личности есть только формальная, а существенно самостоятельною и содержательною она дѣлается, лишь утверждая себя какъ подставку другого. высшаго, — то правильно ли будетъ отвлеченное отъ нашей личной жизни понятіе переносить на это другое высшее, въ которомъ наша личность можетъ и должна сохраниться, только отдавшись ему и вступивъ съ нимъ въ неиспытанную

⁵ Передано въ самомъ сжатомъ видъ общее содержаніе евангельскихъ текстовъ: Мате. X, 39 и XVI, 25; Марк. VIII, 35; Лук. IX, 24, и XVII, 33; Іоан. XII, 25.

еще нами полноту соединенія? Не следуеть ли это высшее, т. е. божество, по необходимости признать сверхличнымо? Можно, правда, возразить, что божество, сверхличное по отношенію ка нама, къ нашей личности, остается тъмъ не менъе личнымъ само по себъ. Но въдь это сводится къ утвержденію, что божество, помимо отношенія къ намъ, есть такая же личность, какъ мы, а подобное антропопатическое понятіе о Богь можеть быть примънено развъ только къ низшимъ формамъ религій языческихъ, и по какому же праву станемъ мы требовать стъ философа. чтобы онъ согласовалъ свои понятія съ понятіями подитенстовъ? Если же мы изъ понятія личности исключимъ все то эмпирическое содержаніе, которое не подобаетъ божеству монотепстовъ, то никакихъ конкретныхъ положительныхъ признаковъ въ понятіи лица не останется, и получится лишь логическая положительность черезъ рядъ двойныхъ отрицаній: божество не безлично, не безсознательно, не безвольно и т. д.; а при невозможности связать съ этимъ опредъленіемъ никакихъ данныхъ самонаблюденія и психологическаго анализа. всё эти двойныя отрицанія могуть быть замвнены положеніемь не личнаго, а сверхличнаго бытія. Самый положительно-религіозный человькь, чуждый всякаго философскаго пантензма, сейчась же пойметь и согласится съ нами, если мы ему скажемъ, что божество хотя и мыслить, но совстмъ не такъ, какъ мы, что оно хотя имъетъ сознаніе и волю, но совсъмъ не такія, какъ наши, и т. д. Но въдь, обозначая божество какъ сверхличное, мы только выражаемъ однимъ словомъ всё эти религіозныя аксіомы, и это слово представляеть именно желательный логическій предъль, замыкающій понятіе о Богь, ограждая его и оть смышенія сь понятіемъ бездушнаго, коснаго бытія и отъ не менье дечальнаго смъшенія его съ понятіемъ объ эмпирической личности человъка. Обозначая божество какъ сверхличное, мы не подаемъ повода ни къ какимъ недоразумъніямъ, тогда какъ, приписывая личный характеръ существу всеобъемлющему, не подлежащему времени и, слъдовательно, неизмънному и т. д., — мы, несомнънно, играемъ словами и впадаемъ въ то самое quaternio terminorum, котораго такъ опасается почтенный профессоръ.

IX.

Признакъ сверхличности, хотя яснъе обнаруживается на высшихъ ступеняхъ религіознаго развитія, присутствуетъ однако и на

всёхъ низшихъ, давая намъ право принять его какъ общій признакъ самаго понятія о Богъ. При всей антропоморфичности и антропопатичности языческихъ божествъ, ни одно изъ нихъ не покрывается твердымъ и отчетливымъ представленіемъ о личности, какъ о существъ, которое не опредъляется всецъло своею данною натурой, но можеть быть свободно отъ нея. Камненоклонство, древопоклонство и звъропоклонство суть настоящіе религіозные культы, но можно ли по совъсти находить личность въ ихъ предметахъ, т. е. въ существахъ, непремънно и неразрывно связанныхъ съ этимъ камнемъ, съ этимъ деревомъ, или этимъ сортомъ деревьевъ, съ этимъ животнымъ, или этою породою животныхъ? И въ болъе высокихъ формахъ языческой религіи — развъ Геліосъ посылаетъ свои лучи потому, что ему такъ вздумается, а не потому, что онъ имъетъ свътоносную, солнечную природу? Развъ Гадесъ пребываетъ въ подземномъ царствъ вмъсто Олимпа по свободному предпочтенію и ръшенію, а не потому, что у него природа существа преисподняго? Можно ли серьезно видъть личность, дъйствующую по особымъ сознательнымъ и произвольнымъ цълямъ въ многогрудой великой Артемидъ Эфесской. рождающей и питающей всь растенія и всьхъ животныхъ безъ различія? Или въ той Изидъ, которая есть нъчто среднее между луной и коровой? Очевидно, во всъхъ этихъ существахъ природа и духъ, роковая необходимость и свобода — связаны между собою такимъ тъснымъ образомъ, который совершенно не покрывается нашими понятіями о личности, и если мы не можемъ признать эти существа безличными, и если ихъ природа превосходить нашу могуществомъ и прочностью, то мы должны уступить имъ некоторую долю сверхличности.

Чѣмъ выше поднимается обогащаемое и единичнымъ, и собирательнымъ религіознымъ опытомъ сознаніе человѣчества, тѣмъ яснѣе становится необходимость понимать основной объектъ его какъ сверхличный. Эта необходимость ярко подчеркивается въ основныхъ христіанскихъ догматахъ Троицы и воплощенія. Каждое личное существо какъ такое исчернывается однимъ своимъ лицомъ, и, слѣдовательно, единое существо въ трехъ лицахъ есть, тѣмъ самымъ, существо сверхличное. Далѣе, если бы Богъ самъ по сеоѣ оылъ уже личность, какъ ее понимаетъ проф. Введенскій, т. е. въ смыслѣ человѣческомъ, то ни въ какомъ особомъ вочеловѣченіи и воплощеніи не было бы надобности: личный по существу своему Богъ могъ бы.

оставаясь самимъ собою и не «становясь плотію», не присоединяя къ себъ человъческой природы, — быть доступнымъ человъку, открывать ему себя и вступать съ нимъ въ какія угодно отношенія.

X.

Матеріальная природа безлична, личность есть специфическая особенность человѣка, наконець, божество, само по себѣ, или какъ абсолютное, — сверхлично. Въ этомъ и пантеизмъ и даже буддійскій негативизмъ сходятся какъ съ христіанскимъ вѣроученіемъ, такъ и съ требованіями философскаго умозрѣнія. Понятіе о божествѣ какъ такомъ, или понятіе абсолютнаго, со всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія одно и то же Азіатскіе и европейскіе мистики, александрійскіе платоники и еврейскіе каббалисты, отцы церкви и независимые мыслители, персидскіе суфи и итальянскіе монахи, кардиналъ Николай Кузанскій и Яковъ Бёмъ, Діонисій Ареопагитъ и Спиноза, Максимъ Исповѣдникъ и Шеллингъ, — всѣ они единымъ сердцемъ и едиными устами исповѣдуютъ недомыслимую и неизреченную абсолютность божества.

Въ основномъ и первоначальномъ понятіи абсолютнаго какъ такого нѣтъ разногласія; оно начинается только съ тѣхъ вторичныхъ опредѣленій божества, которыя логически обусловлены его отношеніемъ ко всему, что не есть оно само. \cdot

Божество, какъ абсолютное, ничъмъ, кромъ себя, не обусловлено (оно есть саиза sui) и вмъстъ съ тъмъ оно все собою обусловливаетъ (оно есть саиза omnium). Все существующее имъетъ въ божествъ послъднее или окончательное основаніе своего бытія, свою субстанцію. Это понятіе о Богъ, какъ единой субстанціи всего, логически вытекающее изъ самаго понятія Его абсолютности или подлинной божественности (такъ какъ если бы безусловное основаніе чего бы то ни было находилось внъ Бога, то оно ограничивало бы Его и тъмъ упраздняло бы Его божество), — эта истина всеединой субстанціи, подъ разными именами исповъдавшаяся язычниками, подъ настоящимъ названіемъ Бога Вседержителя исповъдуется и христіанами, въ согласіи съ евреями и мусульманами. Изъ этой основной и необходимой части нашего сумвола въры Спиноза сдълалъ цълую философскую систему, и признавать его философію атензмомъ за то, что она останавливается на этой части и не идетъ далъе, было бы почти такъ

же несправедливо, какъ утверждать, что Эвклидъ не быль математикомъ, потому что онъ ограничился элементарною геометріей, не касаясь анализа и дифференціальнаго счисленія, или что Кеплеръ не былъ астрономомъ, потому что ограничивался статикою солнечной системы, не занимаясь ни вопросомъ объ ея происхожденіи, ни другими звъздными мірами.

Правда, остановка Спинозы на понятіи абсолютной субстанціи приводила его къ нъкоторымъ важнымъ заблужденіямъ. Видя во всемъ существующемъ лишь общія свойства и отношенія, а priori, more geometrico. выводимыя изъ понятія о бытіи и мышленіи безконечной субстанціи, онъ ее саму принималь за прямую и непосредственно производящую причину всего существующаго. Не отрицая нисколько собственной абсолютной жизни Бога Вседержителя, онъ опредъляль Ero заразъ и какъ natura naturans нашего міра явленій, понимаемаго реалистически какъ natura naturata, или адэкватное въ своей совокупности выражение абсолютной первопричины. При совершенной невърности такого взгляда, слишкомъ очевидной пынъ для нашего ума. мы не должны однако забывать, что философски такой взглядь могь быть действительно устраненъ только критическимъ идеализмомъ, который показалъ, что между абсолютною сущностью (предподагая таковую) и міромъ явленій непремѣнно стоитъ субъекть познанія, который уже по исключительно формальному характеру своихъ функцій не можеть быть признанъ абсолютнымъ. Такая точка зрвнія разрушаеть спинозизмъ какъ философскую систему, или полное мірообъясненіе, не превращая его однако въ атеизмъ.

XI.

Еще болѣе значенія имѣетъ другая односторонность въ философіи Спинозы или недостаточность въ его понятіи о Богѣ, какъ абсолютной субстанціи только. Кромѣ общихъ пребывающихъ и тождественныхъ себѣ свойствъ и отношеній предметовъ есть въ дѣйствительномъ мірѣ еще нѣчто противоположное этому, есть развитіе, процессь. Этотъ міръ не только существуетъ, но въ немъ нѣчто дѣлается или совершается. Сверхъ статической стороны мірового бытія есть сторона динамическая, или, точнѣе, историческая. Но если идея абсолютной субстанціи связываетъ съ божествомъ бытіе и сущность міра, то она не даетъ никакой основы для его быванія, или стано-

вленія ($\gamma \& \nu \& \sigma \iota \varsigma$, Werden), не вводить эту историческую сторону міра и человѣчества ни въ какое положительное соотношеніе съ божествомъ. Какъ только признано и понято значеніе этой стороны всемірной жизни, статическій пантеизмъ Спинозы перестаєть удовлетворять и религіозное чувство, и философскую мысль. Богъ не можетъ быть только богомъ геометріи и физики, Ему необходимо быть также богомъ исторіи. Но въ системѣ Спинозы для бога исторіи такъ же мало мѣста, какъ въ системѣ элеатовъ. За этотъ недостатокъ уже многіе упрекали Спинозу. Было бы несправедливо повторять эти упреки безъ слѣдующихъ существенныхъ оговорокъ.

- 1. Кромъ еврейской и христіанской религій и нъкоторыхъ отдъльныхъ философскихъ взглядовъ, во всъхъ прочихъ системахъ религіозныхъ и философскихъ мы не находимъ присутствія историческаго элемента. Совокупность міровыхъ изміненій большинствомъ върующихъ и мыслителей не понимается исторически какъ единый процессъ, черезъ который нъчто новое становится или совершается, — процессъ съ опредъленнымъ положительнымъ смысломъ и направленіемъ. Во всемъ язычествъ божество нигдъ и никогда пе понималось какъ богъ исторіи. Не говоря уже о типичныхъ анти-историческихъ воззрѣніяхъ индійской и китайской религіозно-философской мудрости, и въ болъе западныхъ странахъ мы встръчаемъ только или совершенную неподвижность, какъ въ застывшихъ божествахъ египтянъ или у спеленутой Артемиды Эфесской, или постоянное. но безплодное, ничего не достигающее движеніе, какъ у гомеровскихъ олимпійцевъ. Языческое непониманіе исторіи сохранилось и въ двоевъріи христіанскихъ народовъ; и даже въ европейской наукъ понятіе единаго и опредъленнаго историческаго процесса стало появляться только черезъ сто лътъ послъ Спинозы. Во всякомъ случат нельзя называть атеизмомъ отсутствіе въ понятіи о Богъ такого элемента, который быль чуждь большинству религіозныхь и метафизическихь ученій.
- 2. Признавая въ божествъ абсолютную полноту жизни, мы связываемъ съ нимъ или вводимъ съ нимъ въ нъкоторое соотношеніе міровой и историческій процессъ, находимъ въ божествъ окончательныя основанія какъ для собирательной исторіи человъчества, такъ и для личной исторіи каждой человъческой души. Мы утверждаемъ ръшающее присутствіе божества во всъхъ событіяхъ міровой и частной жизни; здъсь все нами признается какъ non sine numine factum.

Но это касается именно только факта: способь же божественнаго присутствія — quomodo factum — можеть быть для насъ совершенно невѣдомымь: мы знаемъ только, что этотъ способъ достоинъ божества, или соотвѣтствуеть его абсолютной сущности; мы знаемъ, что божество какъ такое участвуетъ въ космическомъ и историческомъ процессъ по-божески. Возрастающая полнота воспріятія реальнаго присутствія божескаго во всемъ человѣческомъ дана въ Откровеніи, но вѣдь и здѣсь растетъ только человѣческомъ дана въ Откровеніи, но вѣдь и здѣсь растетъ только человѣческом сторона. Намъ данъ фактъ совершеннаго соединенія божеской природы съ человѣческою во Христѣ, и мы можемъ понимать всю разумную необходимость или весь смыслъ этого факта; но способъ, quomodo, соединенія намъ не могъ быть открытъ, и доступенъ намъ только «яко зерцало въ гаданіи». Во всякомъ случаѣ, Богъ есть богъ исторіи не по Божеству Своему, а по человѣчеству, и, слѣдовательно, отсутствіе исторической стороны въ понятіи Бога еще не дѣдаетъ философа безбожникомъ, а развѣ только нехристемъ.

Разъ историческій процессъ мыслится какъ нѣкоторое соотношеніе двухъ сторонъ, божеской и человѣческой, совмѣстно въ немъ присутствующихъ, то никакъ нельзя всякое условіе и признакъ процесса, взятаго іп concreto, прямо переносить на одну изъ сторонъ, именно божественную, саму по себѣ или отдѣльно взятую. Не должно увлекаться аналогіей историческаго процесса съ обыкновенною человѣческою дѣятельностью, и, напримѣръ, изъ того, что человѣкъ, участвующій въ историческомъ процессѣ, дѣйствуетъ по цѣлямъ, нельзя заключать, что и божество, участвующее въ томъ же процессѣ, съ своей стороны также должно дѣйствовать по цѣлямъ. Это было бы въ сущности такъ же неосновательно, какъ если бы изъ общаго въ извѣстномъ отношеніи, или аналогичнаго дѣйствія солнечнаго свѣта и свѣта комнатной лампы мы вздумали заключить, что и солнце можетъ, подобно лампѣ, зажигаться шведскими спичками.

3. Замътимъ, наконецъ, что, хотя понятіе божества какъ абсолютной субстанціи и недостаточно для религіозно-историческаго взгляда, но что безъ перваго не было бы и второго. Въ самомъ дълъ, только понявъ божество какъ абсолютную субстанцію, какъ Вседержителя, можемъ мы почувствовать логическую необходимость связать съ нимъ всъ стороны существующаго, значитъ — и историческое становленіе. А если бы мы не понимали божество какъ абсолютное или всеединое, мы преспокойно могли бы, подобно деистамъ, полагатъ, что Богь — самъ по себъ, а мірь се всею своею исторісії — тоже самъ по себъ. Мнъ кажется несомивниымъ, что статическій панте-измъ Спинозы былъ необходимъ какъ предположеніе для возникновенія историческаго пантеизма Гегеля, а затъмъ и положительной христіанской философіи.

XII.

Мить остается еще сказать нъсколько словъ о попыткъ А. И. Введенскаго объяснить, почему Спиноза, будучи философомъ религіозно настроеннымъ, создалъ однако философію атеистическую. Настоящимъ виновникомъ оказывается Декартъ.

«Конечно, у Декарта, — говорить проф. Введенскій, — было не только названіе, но и понятіе Бога; ибо его Богь, какь бы онъ ни опредѣляль его въ своемъ образчикѣ геометрическаго изложенія, дѣйствуеть по цѣлямъ, напримѣръ, избѣгаеть обмана, — а не образуетъ только слѣпую, хотя и безконечную, субстанцію. Но, какъ извѣстно, этотъ Богь играль у Декарта всего только вспомогательную роль: при помощи этого понятія онъ связываль между собой то, что онь не умѣль связать другимъ путемъ, въ родѣ того, какъ Анаксагоръ пользовался помощью понятія разума только тогда, когда не умѣль объяснить что-либо механически. По справедливому замѣчанію Виндельбанда, «Декартъ такъ же относился бы къ понятію матеріи, какъ и къ понятію Бога, если бы первое могло оказать такія же услуги, какъ и послѣднее». А не странно ли, что философія, въ которой понятіе Бога играетъ всего только вспомогательную роль, и которая охотно обошлась бы безъ него, подготовить непремѣнно пантенстическое, а не какое другое направленіе? Не ясно ли, что съ одинаковою легкостью она можетъ подготовить и атеизмъ? Не забудемъ, что Ламетри при развитіи своего матеріализма ссылался на Декарта охотнѣе, чѣмъ на всѣхъ другихъ писателей» (стр. 181).

Декарта охотнъе, чъмъ на всъхъ другихъ писателей» (стр. 181).

«Если кто, — пишетъ далъе А. И. Введенскій (стр. 183), — вполнъ послъдовательно проводитъ отождествленіе реальныхъ отношеній съ логическими и всъ дъйствія и состоянія вмъстъ съ Декартомъ разсматриваетъ какъ слъдствія, а причины — какъ основанія, тотъ долженъ сполна усвоить и вытекающее изъ этого отождествленія чисто-механическое міросозерцаніе и долженъ провесть его еще съ большею послъдовательностью, чъмъ это сдълаль самъ Декартъ. А тегда субстанція, которая сдълается единой. утратитъ всякую дъя-

тельность по цѣдямъ, и у нея все обратится въ логически неизовжныя слѣдствія ея природы, то-есть она уже не подходитъ подъ понятіе Бога. Вотъ такими-то путями декартовская философія и подготовида атеизмъ въ ученіи Спинозы; это зависѣло отъ того, что начатое Декартомъ и послѣдовательно проводимое Спинозой отождествленіе реальныхъ отношеній съ логическими вело къ чисто-механическому міросозерцанію, сполна усвоенному Спинозой».

«Но, можеть быть, меня спросять, — замѣчаеть въ заключеніе нашъ авторь, — почему же другія системы, возникшія подъ вліяніемъ Декарта, Мальбранша и Лейбница, не приняли атеистическаго характера? Это зависѣло именно отъ того, что ни одна изъ нихъ не была чистымъ механизмомъ; въ окказіонализмѣ Богъ принаравливаетъ свою дѣятельностъ къ нашимъ хотѣніямъ, ибо дѣйствуетъ по поводу нихъ, и они еще разсматриваются при этомъ не какъ логически неизбѣжныя. Кромѣ того, у Мальбранша Богъ творитъ міръ, руководитъ идеями, то-естъ цѣлями. У Лейбница же все мірозданіе въ концѣ концовъ объясняется телеологически. Такимъ образомъ, въ ихъ системѣ не было чистаго механизма, то-естъ не было причинъ, породившихъ атеизмъ въ системѣ Спинозы, а потому не было и атеизма» (стр. 184).

Не вдаваясь въ вопросъ, можетъ ли философія Спинозы, съ ея безконечно мыслящею субстанціей, быть опредѣлена какъ чистомеханическое міровоззрѣніе, а также не касаясь рѣшительнаго, но все-таки загадочнаго, утвержденія автора, будто отождествленіе реальныхъ отношеній съ логическими неизоѣжно приводитъ къ чистомеханическому представленію о мірѣ, — укажу только на основное внутреннее противорѣчіе во всемъ этомъ объясненіи. Если система Декарта заключала въ себѣ возможность быть развитою и переработанною въ направленіи теистическомъ или во всякомъ случаѣ не атеистическомъ, и Мальбраншъ, будучи человѣкомъ религіознымъ, именно въ этомъ направленіи и развилъ философію своего учителя, то почему же Спиноза, также человѣкъ религіозный и нисколько не атеистъ, не поступилъ подобнымъ же образомъ? Въ силу какой необхоидмости онъ взялъ у Декарта исключительно то, что неизоѣжно приводило къ атеизму, чуждому его личнымъ чувствамъ и взглядамъ? Почему онъ не предоставилъ разработку атеистическихъ элементовъ картезіанства людямъ, по природѣ къ этому склоннымъ, хотя бы въ родѣ того позднѣйшаго матеріалистическаго писателя

Ламетри, на котораго указываетъ нашъ авторъ? Въдь вообще ученики изъ мыслей учителя берутъ и развиваютъ то, что болъе къ нимъ подходитъ. Напримъръ, между гегеліанцами нъкоторые богословы и піэтисты превратили систему учителя въ философскій комментарій къ ортодоксальной лютеранской теологіи, а ихъ коллеги другого характера вывели изъ той же системы самый радикальный атеизмъ. Такъ и относительно Спинозы нельзя избъжатъ дилеммы: или онъ вывель изъ картезіанства именно атеистическое, а не какое-нибудь другое воззръпіе потому, что по личнымъ своимъ убъжденіямъ и чувствамъ быль склоненъ къ атеизму, — чего однако не допускаетъ и проф. Введенскій, — или же должио признать, что философія Спинозы вовсе не была атеистической, а соотвътствовала въ сущности рели гіозно-созерцательному пантеистическому настроенію его ума.

То понятіе о Богѣ, которое даетъ намъ философія Спинозы, при всей своей неполнотѣ и несовершенствѣ, отвѣчаетъ однако первому и непремѣнному требованію истиннаго богопочитанія и богомыслія. Многіе религіозные люди находили въ этой философіи духовную поддержку. И настоящая краткая апологія внушена была прежде всего чувствомъ признательности за то, чѣмъ я былъ обязанъ спинозизму въ переходную эпоху моей юности, — не только въ философскомъ, но и въ религіозномъ отношеніи. Въ заключеніе я долженъ выразить искреннюю признательность и почтенному проф. Введенскому, который своею ясною и интересною постановкою вопроса побудилъ меня, не откладывая дольше, уплатить хотя часть стараго долга.

Судьба Пушкина. 1897.

I.

Есть предметы, о которыхъ можно имъть невърное или недостагочное понятіе — безъ прямого ущерба для жизни. Интересь истины относительно этихъ предметовъ есть только умственный, научно-теоретическій, хотя сами они могуть имъть большое реальное и практическое значеніе. До конца XVII стольтія всь люди, даже ученые, имъли невърное понятіе о водь, — ее считали простымъ тъломъ, однороднымъ элементомъ или стихіей, пока знаменитый Лавуазье не разложиль ея состава на два элементарные газа: кислородъ и водородъ. Го, что сдълаль Лавуазье, имъло большую теоретическую важность, недаромъ отъ него ведется начало настоящей научной химін; и этимъ его открытіе оказывало, конечно, косвеннос вліяніе и на практическую жизнь со стороны ея матеріальныхъ интересовъ, которымъ хорошая химія можеть служить болье успышно, чымь плохая. Но прямого воздъйствія на практическое житейское значеніе собственно воды анализъ Лавуазье не могь иметь. Чтобы умываться, или поить животныхъ, или вертъть мельничныя колеса, или даже двигать паровозъ, нужна только сама вода, а не знаніе ея состава или ея химической формулы. Точно также мы пользуемся свътомъ и теплотою совершенно независимо отъ нашихъ правильныхъ или неправильныхъ понятій, отъ нашего знанія или незнанія въ области астрономіи и физики. Во всъхъ подобныхъ случаяхъ для житейскаго употребленія предмета достаточно опытныхъ житейскихъ свъдъній о его внъшнихъ свойствахъ, совершенно независимо отъ точнаго теоретическаго познанія его природы, и самый великій ученый не имъетъ эдъсь никакого преимущества предъ дикаремъ и невъждою.

Но есть предметы порядка духовнаго, которыхъ жизненное значеніе для насъ прямо опредъляется, кромъ ихъ собственныхъ реальныхъ свойствъ, еще и тъмъ поняміемъ, которое мы о нихъ имъемъ. Одного изъ такихъ предметовъ касается настоящій очеркъ.

Есть нъчто, называемое судьбой, — предметь хотя не матеріальный, то темъ не менъе вполнъ дъйствительный. Я разумъю пока подъ судьбою тотъ факто, что ходъ и исходъ нашей жизни зависить оть чего-то кромъ насъ самихъ, отъ какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей должны подчиниться. Какъ факть, это безопорно; существование судьбы въ этомъ смыслъ признается всеми мыслящими людьми, независимо отъ различія взглядовъ и степеней образованія. Слишкомъ очевидно, что власть человъка, хотя бы самаго упорнаго и энергичнаго, надъ ходомъ и исходомъ его жизни имъетъ очень тъсные предълы. Но вмъстъ съ тъмъ легко усмотръть, что власть судьбы надъ человъкомъ при всей своей несокрушимой *извив* силъ обусловлена, однако, *изнутри* дъятельнымъ и личнымъ соучастіемъ самого человъка. Такъ какъ мы обладаемъ внутренними задерживающими дъятелями, разумомъ и волей, то опредъляющая наше существование сила, которую мы называемъ судьбою, хотя и независима отъ насъ по существу, однако можетъ дъйствовать въ нашей жизни только черезъ насъ, только подъ условіемъ того или иного отношенія къ ней со стороны нашего сознанія и воли. Въ составъ той необходимости, которою управляются наши жизненныя происшествія. необходимо заключается и наше собственное личное отношение къ этой необходимости; а это отношение, въ свою очередь, необходимо связано съ тъмъ, какъ мы понимаемъ господствующую въ нашей жизни силу, такъ что поняте наше о судьбъ есть также одно изъ условій ея дойствія чрезъ насъ. Вотъ почему имъть вирное понятіе о судьов важиве для нась, нежели знать химическій составъ воды или физические законы тепла и свъта.

Столь важное для всёхъ людей истинное понятіе судьбы издревле дано и всёмъ доступно. Но при особомъ развитіи если не ума, то умственныхъ требованій, какимъ нынёшнее время отличается отъ прежнихъ эпохъ, самыя вёрныя понятія никёмъ не принимаются на вёру; они должны вывести свою достовёрность посредствомъ разсужденій изъ даннаго опыта.

Для полнаго и методическаго оправданія того върнаго понятія о судьбъ, которое мы находимъ въ универсальной въръ человъчества, потребовалась бы цълая метафизическая система, подтвержденная сложными историческими и соціологическими изслъдованіями. Въ настоящемъ краткомъ очеркъ я хотълъ только ослабить нъкоторыя ложныя ходячія мнънія объ этомъ важномъ предметъ и съ помощью од-

ного яркаго и особенно для насъ, русскихъ, близкаго историческаго примъра намекнуть на истинный характеръ того, что называется судьбою.

II.

Въ житейскихъ разговорахъ и въ текущей литературъ слово судьба сопровеждается обыкновенно эпитетами болъе или менъе порицательными: «враждебная» судьба, «слъпая», «безпощадная», «жестокая» и т. д. Менъе ръзко, но все-таки съ нъкоторымъ неодобреніемъ говорятъ о «насмъшкахъ» и объ «проніи» судьбы. Всъ эти выраженія предполагаютъ, что наша жизнь зависитъ отъ какой-то силы, иногда равнодушной или безразличной, а иногда и прямо непріязненной и злобной. Въ первомъ случаъ понятіе судьбы сливаетси съ ходячимъ понятіемъ о природь, для которой равнодушіе служитъ обычнымъ эпитетомъ:

И пусть у гробового входа Младая будеть жизпь играть, И *расномущная* природа Красою вёчною сіять.

Когда въ понятіи судьбы подчеркивается это свойство — равнодушіе, то подъ судьбою разумѣется собственно не болѣе какъ законъ физическаго міра.

Во второмъ случаѣ, — когда говорится о судьбѣ какъ враждебной силѣ, — понятіе судьбы сближается съ понятіемъ демоническаго, адскаго начала въ мірѣ, представляется ли оно въ видѣ злого духа религіозныхъ системъ. или въ видѣ безумной міровой воли, какъ у Шопенгауэра.

Конечно, есть въ дъйствительности и то, и другое; есть и законъ равнодушной природы, есть и злое, сатаническое начало въ мірозданіи, и намъ приходится имъть дъло и съ тъмъ, и съ другимъ. Но отъ этихъ ли силъ мы зависимъ окончательно, онъ ли опредъляютъ общій ходъ нашей жизни и ръшаютъ ея исходъ, — онъ ли образуютъ нашу судьбу?

Спла, господствующая въ жизни лицъ и управляющая ходомъ событій, конечно, дъйствуетъ съ равною необходимостью вездъ и всегда; всъ мы одинаково подчинены судьбъ. Но есть люди и событія, на которыхъ дъйствіе судьбы особенно явно и ощутительно; ихъ

прямо и называють *роковыми*, или фатальными. и. конечно, на нихъ намъ всего легче разсмотръть настоящую сущность этой превозмогающей силы.

Хотя вообще мит давно было ясно, что ртшающая роль въ нашемъ существовании не принадлежитъ ни «равнодушной природт», ни духовной силт зла, хотя я былъ твердо убтжденъ въ истинности мремьяго взгляда, но примънить его къ нткоторымъ особымъ роковымъ событиямъ я долго не умълъ. Я былъ увтренъ, что и они непремънно какъ-нибудь объясняются съ истинной точки зртния, но я не видълъ этого объяснения, и не могъ примириться въ душт съ непонятными фактами. Въ нихъ ощущалась какая-то смертельная обида, какъ будто прямое дъйствие какой-то враждебной, злобной и злорадной силы.

Острѣе всего такое впечатлѣніе производила смерть Пушкина. Я не помню времени, когда бы культъ его поэзіи былъ мнѣ чуждъ. Не умѣя читать, я уже много зналъ изъ него наизусть, и съ годами этотъ культъ только возрасталъ. Немудрено поэтому, что роковая смертъ Пушкина, въ расцвѣтѣ его творческихъ силъ, казалась мнѣ вопіющею неправдою, нестерпимою обидою, и что дѣйствовавшій здѣсь рокъ не вязался съ представленіемъ о доброй силѣ.

Между тъмъ, постоянно возвращаясь мыслью къ этому мучительному предмету, останавливаясь на давно извъстныхъ фактахъ и узнавая новыя подробности, благодаря обнародованнымъ послъ 1880 и особенно послъ 1887 года документамъ, я долженъ былъ, наконецъ, придти къ печальному утъшенію:

Жизнь его не врагъ отъялъ, — Онъ *сеоею* силой палъ, Жертва гибельнаго гићва, —

своею силой или, лучше сказать, своимъ отказомо отъ той нравственной силы, которая была ему доступна и пользование которою было ему всячески облегчено.

Ни эстетическій культъ Пушкинской поэзіи, ни сердечиое восхищеніе лучшими чертами въ образѣ самого поэта не уменьшаются отъ того, что мы признаемъ ту истину; что онъ сеобразно своей собственной волѣ окончилъ свое земное поприще. Вѣдь противоположный взглядъ, помимо своей исторической неосновательности, былъ бы унизителенъ для самого Пушкина. Развѣ не унизительно для великаго генія быть пустою игрушкою чуждыхъ внѣшнихъ воздѣйствій, и при томъ идущихъ отъ такихъ людей, для которыхъ у самого этого генія и у его поклонниковъ не находится достаточно презрительныхъ выраженій.

Главная ошибка здёсь въ томъ, что геній принимается только за какое-то чудо природы, и забывается. что дело идеть о геніальномъ человъкъ. Онъ по природъ своей выше обыкновенныхъ людей, это безспорно, — но въдь и обыкновенные люди также по природъ выше многихъ другихъ существъ, напримъръ животныхъ, и если эта сравнительная высота обязываето всякаго обыкновеннаго человъка соблюдать свое человъческое достоинство и тъмъ оправдывать свое природное преимущество передъ животными, то высшій даръ генія мъмъ болье обязываетъ къ охраненію этого высшаго, если хотите сверхчеловъческаго, достоинства. Но не настаивая слишкомъ на этой градаціи, которая осложняется обстоятельствами другого рода, во всякомъ случать должно сказать, что геніальный человъкъ обязанъ по крайней мъръ къ сохраненію извъстной. хотя бы напменьшей, минимальной, степени нравственнаго человъческаго достоинства, подобно тому, какъ отъ самаго обыкновеннаго человъка мы требуемъ по крайней мъръ тъхъ добродътелей, къ которымъ способны и животныя, какъ, напримъръ, родительская любовь, благодарность, върность.

Утверждать, что геніальность совсёмъ ни къ чему не обязываетъ, что генію все позволено, что онъ можетъ безъ вреда для своего высшаго призванія всю жизнь оставаться въ болотѣ низменныхъ страстей, это — грубое идолопоклонство, фетишизмъ, который ничего не
объясняетъ, и самъ объясняется лишь духовною немощью своихъ проповѣдниковъ. Нѣтъ! если геній есть благородство по преимуществу,
или высшая степень благородства, то онъ по преимуществу, и въ высшей степени обязываетъ. Noblesse oblige. Съ точки зрѣнія этой
правственной аксіомы взглянемъ на жизнь и судьбу Пушкина.

III.

Менте всего желаль бы я, чтобы этотъ мой взглядь быль понять въ смыслъ прописной морали, обвиняющей поэта за его нравственную распущенность и готовой утверждать. что онъ погибъ въ наказаніе за свои гръхи противъ «добродътели», въ тъсномъ значеніи этого слова.

Сильная чувственность есть матеріаль генія. Какъ механическое движеніе переходить въ теплоту, а теплота — въ свъть, такъ духовная энергія творчества въ своемъ дъйствительномъ явленіи (въ порядкъ времени или процесса) есть превращеніе низшихъ энергій чувственной души. И какъ для произведенія сильнаго свъта необходимо сильное развитіе теплоты, такъ и высокая степень духовнаго творчества (по закону здъшней, земной жизни) предполагаетъ сильное развитіе чувственныхъ страстей. Высшее проявленіе генія требуетъ не всегдашняго безстрастія, а окончательнаго преодольнія могучей страстности, торжества надъ нею въ ръшительные моменты.

оуетъ не всегдашняго сезстрастія, а окончательнаго преодольная могучей страстности, торжества надъ нею въ рѣшительные моменты. Естественныя условія для такого торжества были и у Пушкина. Съ необузданною чувственною натурой у него соединялся ясный и прямой умъ. Пушкинъ вовсе не былъ мыслителемъ въ области умозрѣнія, какъ не былъ и практическимъ мудрецомъ; но здравымъ пониманіемъ насущныхъ нравственныхъ истинъ, смысломъ правды онъ обладалъ въ высокой степени. Умъ его былъ уравновѣшенный, чуждый всякихъ болѣзненныхъ уклоненій. Среди самой пламенной страсти онъ могъ сохранять ясность и отчетливость сознанія, и если его можно въ чемъ упрекнуть съ этой стороны, то развѣ только въ излишней трезвости и прямолинейности взгляда, въ отсутствіи всякаго практическаго или житейскаго идеализма. Вся высшая идейная энергія исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, ченіальнымъ перерожденіемъ жизни въ поэзію, а для самой текущей жизни, для житейской практики. оставалась только проза, здравый смыслъ и остроуміе съ веселымъ смѣхомъ.

Такое раздвоеніе между поэзіей, т. е. жизнью творчески просвътленною и жизнью дъйствительною или практическою, иногда бываетъ поразительно у Пушкина. Люди, незнакомые прежде съ біографическими подробностями о немъ, нашли, конечно, много неожиданнаго въ новъйшихъ изданіяхъ его переписки.

Одно изъ лучшихъ и самыхъ популярныхъ стихотвореній нашего поэта говоритъ о женщинѣ, которая въ «чудное мгновеніе» перваго знакомства поразила его «какъ мимолетное видѣнье, какъ геній чистой красоты»; затѣмъ время разлуки съ нею было для него томительнымъ рядомъ пустыхъ и темныхъ дней, и лишь съ новымъ свиданіемъ воскресли для души «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Давно было извѣстно лицо, къ которому относилось это стихотвореніе, и читатель Пушкина имѣлъ прежде полное основаніе представдять себь если не эту даму, то, во всякомь случаь, отношеніе къ ней поэта, въ самомъ возвышенномъ, идеальномъ освъщеніи. Но теперь, посль появленія въ печати нъкоторыхъ писемъ о ней, оказывается, что ея образъ въ стихотвореніи «Я помню чудное мітювенье» есть даже не то, что въ гегельянской эстетикъ называется Schein der Idee, а скорье подходить къ тому, что на юридическомъ языкъ обозначается какъ «сообщеніе завъдомо невърныхъ свъдъній». Въ одномъ интимномъ письмъ, писанномъ приблизительно въ то же время, какъ и стихотвореніе, Пушкинъ откровенно говорить объ этой самой дамъ, но тутъ уже вмъсто генія чистой красоты, пробуждающаго душу и воскрешающаго въ ней божество, является «наша вавилонская блудница, Анна Петровна».

Спѣшу предупредить возможное недоразумѣніе. Никому нѣтъ дъла до того, какова была въ дъйствительности дама, прославленная Пушкинымъ. Хотя я совершенно увъренъ, что онъ сильно преуве-личивалъ и что апокалиптическій образъ нисколько не характеристиченъ для этой доброй женщины, но дъло не въ этомъ. Если бы оказалось, что дъйствительное чудовище безиравственности было искренно принято какимъ-нибудь поэтомъ за генія чистой красоты и воспъто въ такомъ смыслъ, то отъ этого поэтическое произведение ничего не потеряло бы не только съ точки зрвнія поэзіи, но и съ точки зрвнія личнаго и жизненнаго достоинства самого поэта. Ошибка въ фальшь не ставится. Но въ настоящемъ случат нельзя не видъть именно нъкоторой фальши, хотя, конечно, не въ грубомъ смысль этого слова. Представляя обыкновенную женщину какъ высшее неземное существо. Пушкинъ сейчасъ самъ ясно замъчалъ и ръзко высказываль, что это неправда, и даже преувеличиваль свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни геніемъ чистой красоты, ни вавилонскою блудницею, а была «просто пріятною дамою» или даже, можеть быть, «дамою пріятною во всёхъ отношеніяхъ». Но замъчательно, что въ преувеличенномъ ея порицаніи у Пушкина не слышится никакой горечи разочарованія, которая говорила бы за жизненную искренность и цъльность предыдущаго увлеченія, — откровенный отзывъ высказанъ въ тонъ веселаго балагурства, въ полномъ контрастъ съ тономъ стихотворенія.

Болъе похоже на дъйствительность другое стихотворение Пушкина, обращенное къ тому же лицу, но и оно находится въ противоръчи съ тономъ и выражениями его писемъ.

Когда твои младыя лѣта Позорить шумная молва, И ты, по приговору свъта, На честь утратила права;

Одинъ среди толпы холодной, Твои страданья я дёлю И за тебя мольбой безплодной Кумиръ безчувственный молю.

Но свътъ... Жестокихъ осужденій Не измъняетъ онъ своихъ: Онъ не караетъ заблужденій, Но тайны требуетъ для нихъ.

Достойны равнаго презрѣнья Его тщеславная любовь И лицемѣрныя гоненья — Къ забвенью сердце приготовь;

Не пей мучительной отравы; Оставь блестящій душный кругь, Оставь безумныя забавы: Тебъ одинъ остался другъ.

Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, не пожалѣть о глубокомъ несчастіи этой женщины: у нея остался только одинъ другь и заступникъ отъ «жестокихъ осужденій», — да и тотъ называлъ ее вавилонскою блудницей! Каковы же были осужденія!

IV.

Если не признавать вдохновенія какъ самостоятельнаго источника поэзіи, то, сопоставляя стихотвореніе «Я помню чудное міновенье» съ прозаическимъ отзывомъ Пушкина, можно сдълать только одно заключеніе, что стихи просто выдуманы, что ихъ авторъ никогда не видълъ того образа и никогда не испыталъ тъхъ чувствъ, которыя тамъ выражены. Но, отрицая поэтическое вдохновеніе, лучше вовсе не говорить о поэтахъ. А для признающихъ вдохновеніе и чувствующихъ его силу въ этомъ произведеніи должно быть ясно, что въ минуту творчества Пушкинъ дъйствительно испыталъ то, что сказалось въ этихъ стихахъ; дъйствительно видълъ генія чистой красоты, дъйствительно чувствовалъ возрожденіе въ себъ божества. Но эта идеальная дъйствительность существовала для него только въ

минуту творчества. Возвращаясь къ жизни, онъ сейчасъ же переставалъ върить въ пережитое озареніе, сейчасъ же признавалъ въ немъ только обманъ воображенія — «насъ возвышающій обманъ», но все-таки обманъ и ничего болъе. Тъ видънія и чувства, которыя возникали въ немъ по поводу извъстныхъ лицъ или событій и составляли содержаніе его поэзіи, обыкновенно вовсе не связывались съ этими лицами и событіями въ его текущей жизни, и онъ нисколько не тяготился такою безсвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзіей и житейской практикой.

Дъйствительность, данная въ житейскомъ опыть, несомивнио находится въ глубокомъ противоръчіи съ тъмъ идеаломъ жизни, который открывается въръ, философскому умозрънію и творческому вдохновенію. Изъ этого противорьчія возможны три опредъленные исхода. Можно прямо отречься отъ идеала, какъ отъ пустого вымысла и обмана, и признать факть, противоръчащій идеальнымь требованіямь. какъ окончательную и единственную дъйствительность. Это есть исходъ нравственнаго скептицизма и мизантропіи — взглядь, который можеть быть почтепнымъ. когда искрененъ, какъ, напримъръ, у Шекспирова Тимона Абинскаго, но который не выдерживаетъ логической критики. Въ самомъ дълъ, если бы дурная дъйствительность была единственною настоящею, то какъ возможно было бы для человъка тяготиться этою единственною своею дъйствительностью, порицать и отрицать ее? Въдь такая оцънка предполагаеть сравнение съ другимъ. Существо, находящееся въ однородной средъ, — напримъръ человъкъ въ надземной атмосферъ или рыба въ водъ, — не чувствуеть давленія этой среды. Когда истинный мизантропь дійствительно страдаеть отъ нравственной негодности человъческой среды, то онъ тъмъ самымъ свидътельствуетъ о подлинной силъ идеала, живущаго въ немъ, — его страданіе есть уже начало другой, лучшей дъйствительности.

Второй исходъ изъ противорѣчія между пдеаломъ и дурною дѣйствительностью есть донкихотство, при которомъ идеальныя представленія до такой степени овладѣваютъ человѣкомъ, что онъ совершенно искренно или не видитъ противорѣчащихъ имъ фактовъ, или считаетъ эти факты за обманъ и призракъ. При всемъ благородствѣ такого идеализма его несостоятельность не требуетъ поясненій постѣ сатиры Сервантеса.

Третій и, очевидно, нормальный исходъ, который можно назвать

практическимо идеализмомо, состоить въ томъ, чтобы, не закрыван глазъ на дурную сторону дъйствительности, но и не возводя ее въ принципъ, во что-то безусловное и безповоротное, замъчать въ томъ, что есть, настоящіе зачатки или задатки того, что должно быть, п. опираясь на эти хотя недостаточныя и неполныя, но темъ не мене дъйствительныя проявленія добра, какъ уже существующаго, даннаго, помогать сохраненію, росту и торжеству этихъ добрыхъ началъ, и черезъ то все болье и болье сближать дъйствительность съ идеаломъ и въ фактахъ низшей жизни воплощать откровенія высшей. Такой практическій идеализмъ одинаково примънимъ и обязателенъ какъ для общественныхъ, такъ и для частныхъ, и даже самыхъ интимныхъ отношеній. Если бы вмъсто того, чтобы тышиться преувеличеннымъ контрастомъ между «геніемъ чистой красоты» и «вавилонскою блудницею», поэтъ остановился на тъхъ дъйствительныхъ зачаткахъ высшаго достоинства, которые должны же были заключаться въ существъ, внушившемъ ему хоть бы на одно мгновеніе такіе чистые образы и чувства, если бы онъ не отрекся въ повседневной жизни отъ того, что видълъ и ощущалъ въ минуту вдохновенія, а ръшился сохранить и умножить эти залоги лучшаго и на нихъ основать свои отношенія къ этой женщинь, тогда, конечно, вышло бы совствить другое и для него, и для нея, и вдохновенное его стихотвореніе имъло бы не поэтическое только, но и жизненное значеніе. А теперь. хотя художественная красота этихъ стиховъ остается при нихъ, но нельзя, однако, находить совершенно безразличнымъ при ихъ оцънкъ то обстоятельство, что въ реальномъ историческомъ смысть они, съ точки эрвнія самого Пушкина, дають только лишнее подтвержденіе Аристотелевыхъ словъ, что «поэты и лгутъ много».

Всв возможные исходы изъ противорвчія между поэтическимъ идеаломъ и житейскою двйствительностью остались одинаково чуждыми Пушкину. Онъ не былъ, къ счастью, ни мизантропомъ, ни Донъ-Кихотомъ, и, къ несчастью, не умвлъ или не хотвлъ стать практическимъ идеалистомъ, двятельнымъ служителемъ добра и исправителемъ двйствительности. Онъ съ полною ясностью отмъчалъ противорвчіе, но какъ-то легко съ нимъ мирился: указывая на него какъ на фактъ и прекрасно его характеризуя (напримъръ, въ стихотвореніи «Пока не требуетъ поэта», онъ даже не подозръвалъ — до своихъ послъднихъ, зрълыхъ лътъ, — что въ этомъ фактъ есть задача, требующая ръшенія. Ръзкій разладъ между твор-

ческими и житейскими мотивами казался ему чъмъ-то окончательнымъ и безповоротнымъ, не оскорблялъ нравственнаго слуха, который, очевидно, былъ менъе чуткимъ, нежели слухъ поэтическій.

Отношенія къ женщинамъ занимаютъ очень большое мѣсто и въ жизни, и въ поэзіи Пушкина; и хотя не во всѣхъ случаяхъ эти отношенія давали ему поводъ къ апокалиптическимъ уподобленіямъ, но вездѣ выступаетъ непримиренная двойственность между идеализмомъ творчества и крайнимъ реализмомъ житейскихъ взглядовъ. Въ общирной перепискъ съ женою мы не отыщемъ и намека на то «богомольное благоговъніе передъ святыней красоты», о которомъ говорится въ стихотвореніи къ Наталіи Николаевнъ Гончаровой.

V.

Въ Пушкинъ, по его собственному свидътельству, были два различныя и несвязныя между собою существа: вдохновенный жрецъ Аполлона и ничтожнъйшій изъ ничтожныхъ дътей міра. Высшее существо выступило въ немъ не сразу, его поэтическій геній обнаруживался постепенно. Въ раннихъ его произведеніяхъ мы видимъ игру остроумія и формальнаго стихотворческаго дарованія, легкія отраженія житейскихъ и литературныхъ впечатліній. Самъ онъ характеризуетъ такое творчество какъ «изнъженные звуки безуиства, лъни и страстей». Но въ легкомысленномъ юношъ быстро вырасталъ великій поэтъ, и скоро онъ сталъ тъснить «ничтожное дитя міра». Подъ тридцать леть решительно обозначается у Пушкина «смутное влеченье чего-то жаждущей души», — неудовлетворенность игрою темныхъ страстей и ея свътлыми отраженіями въ дегкихъ образахъ и нъжныхъ звукахъ. «Позналъ онъ гласъ иныхъ желаній, позналъ онъ новую печаль». Онъ понялъ, что «служенье музъ не терпитъ суеты», что «прекрасное должно быть величаво», т. е. что красота, прежде чемъ быть пріятною, должна быть достойною, что красома есть только ощутительная форма добра и истины.

Если бы Пушкинъ жилъ въ средніе вѣка, то, достигнувъ этого пониманія, онъ могъ бы пойти въ монастырь, чтобы связать свое художническое призваніе съ прямымъ культомъ того, что абсолютно достойно. Ему легко было бы удалиться стъ міра, въ исправленіе и перерожденіе котораго онъ, какъ мы знаемъ, не вѣрилъ. Въ тѣхъ условіяхъ, въ ксторыхъ находился русскій поэтъ XIX вѣка, ему удобнѣе

и безопаснъе было избрать другой родъ аскетизма: онъ женился и сталъ отцомъ семейства. Съ этимъ благополучно прэшелъ для него періодъ необузданныхъ чувственныхъ увлеченій, которыя могли бы задавить неокръпшій творческій даръ, вмъсто того, чтобы питать его. Это искушеніе оказалось недостаточно сильнымъ, чтобы одолъть его геній, онъ сумълъ во-время положить предълъ безмърности своихъ низшихъ инстинктовъ, ввести въ русло свою матеріальную жизнь. «Позналъ онъ гласъ иныхъ желаній, позналъ онъ новую печаль».

Но, становясь отпомъ семейства, Пушкинъ по необходимости тъснъе прежняго связывалъ себя съ жизнью соціальною, съ тою общественною средою, къ которой онъ принадлежалъ, и тутъ его ждало новое, болъе тонкое и опасное искушеніе.

Достигши зрѣлаго возраста, Пушкинъ ясно созналъ, что задача его жизни есть то служеніе, «которое не терпитъ суеты», служеніе тому прекрасному, которое «должно быть величавымъ». Такъ какъ онъ оставался въ обществъ, то его служеніе красотъ неизоъжно принимало характерь общественного служенія, и ему нужно было установить свое должное отношеніе къ обществу.

Но тутъ Пушкинъ, вообще слишкомъ даже раздълявшій поэзію съ житейскими отношеніями, не захотълъ отдълить законное сознаніе о своемъ высшемъ поэтическомъ призваніи и о томъ внутреннемъ преимуществю передъ другими, которое давалъ ему его геній, — не захотълъ онъ отдълить это законное чувство своего достоинства, какъ великаго поэта, отъ личной мелкой страсти самолюбія и самомнънія. Если своимъ геніемъ Пушкинъ стоялъ выше другихъ и былъ правъ, сознавая эту высоту, то въ своемъ самолюбивомъ раздраженіи на другихъ онъ падалъ съ своей высоты, становился противъ другихъ, то-есть на одну доску съ ними, а чрезъ это терялъ и всякое оправданіе для своего раздраженія, — оно оказывалось уже только дурною страстью вражды и злобы.

VI.

Самолюбіе и самомнѣніе есть свойство всѣхъ людей, и полное его истребленіе не только невозможно, но, пожалуй, и нежелательно. Этимъ отнимался бы важный возбудитель человѣческой дѣятельности; это было бы опасно, пока человѣчество должно жить и дѣйствовать на землѣ.

Въ отеческихъ писаніяхъ, — кажется, въ Лимонаріи св. Софронія, патріарха і русалимскаго, — я читаль такой разсказь. Къ знаменитому подвижнику пришелъ начинающій монахъ, прося указать ему путь совершенства. — Этою ночью, — сказаль старецъ, — ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенныхъ тамъ покойниковъ, а потомъ приди и скажи мнъ, какъ они примутъ твои хвалы. На другой день монахъ возвращается съ кладбища: — Исполнилъ я твое приказаніе, отче! Всю ночь громкимъ голосомъ восхваляль я этихъ покойниковъ, величаль ихъ святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божіими, свътильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли; приписаль имъ всё добродётели, о какихъ только читалъ въ священномъ писаніи и въ эллинскихъ книгахъ. — Ну. что же? Какъ выразили они тебъ свое удовольствие? — Никакъ, отче: все время хранили молчаніе, ни единаго слова я отъ нихъ не услыхалъ. — Это весьма удивительно, — сказалъ старецъ, — но вотъ что ты сдълай: этою ночью ступай туда опять и ругай ихъ до утра, какъ только можешь сильнъе; тутъ ужъ они навърно заговорятъ. — На слъдующій день монахъ опять возвратился съ отчетомъ: — Всячески поносилъ я ихъ и позориль, называль исами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками; приравниваль ихъ ко всемь злодеямь изъ Ветхаго и Новаго завъта отъ Каина-братоубійцы до Іуды-предателя, отъ Гивеонитовъ неистовыхъ и до Ананіи и Сапфиры богообманщиковъ, укорялъ ихъ во всъхъ ересяхъ отъ Симоновой и Валентиновой до новоявленной моноеслитской. — Ну что же? Какъ же ты спасся отъ ихъ гнъва? — Никакъ. отче! они все время безмолвствовали. Я даже ухо прикладываль къ могиламъ, но никто и не пошевельнулся. — Вотъ видишь, — сказалъ старецъ: — ты поднялся на первую ступень ангельскаго житія, которая есть послушаніе; вершины же этого житія на земль достигнешь лишь тогда, когда будешь такъ же равнодушенъ и къ похваламъ, и къ обидамъ, какъ эти мертвены.

Хотя для Пушкина также идеалъ совершенства предполагалъ подное умерщвленіе самолюбія и самомнѣнія:

Хвалу и клевету пріемли равнодушно, —

но требовать или ждать отъ него дъйствительнаго осуществленія такого идеала была бы. конечно. несправедливо. Оставшись въ міру,

онъ отказался отъ практики сверхъ-мірского совершенства, и было бы даже жалко, если бы поэтъ свътлой жизни погнался за совершенствомъ покойниковъ.

Но можно и должно было требовать и ожидать отъ Пушкина того, что по праву ожидается и требуется нами отъ всякаго разумнаго человъка во имя человъческаго достоинства, — можно и должно было ждать и требовать отъ него, чтобы, оставаясь при своемъ самолюбіи и даже давая ему, при случать, то или другое выраженіе, онъ не придаваль ему существеннаго значенія, не принималь его какъ мотивъ важныхъ ръшеній и поступковъ, чтобы о страсти самолюбія онъ всегда могъ сказать, какъ и о всякой другой страсти: я имъю ее, а не она меня имъетъ. Къ этому, по меньшей мърт, обязываль Пушкина его геній, его служеніе величавой красотъ, обязывали, наконецъ, его собственныя слова, когда, съ укоромъ обращаясь къ своему герою, онъ говоритъ, что тотъ

Быль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойцомь, Но мужемь съ честью и съ умомь.

Этой, наименьшей, обязанности Пушкинъ не исполнилъ.

VII.

Допустивъ надъ своею душою *власть* самолюбія, Пушкинъ старался оправдать ее чувствомъ своего высшаго призванія. Это фальшивое оправданіе недостойной страсти неизбѣжно ставило его въ неправильное отношеніе къ обществу, вызывало и поддерживало въ немъ презрѣніе къ другимъ, затѣмъ отчужденіе отъ нихъ, наконецъ, вражду и злобу противъ нихъ.

Уже въ сонетъ «Поэту» высота самосознанія смъшивается съ высокомъріемъ, и требованіе безстрастія — съ обиженнымъ и обиднымъ выраженіемъ отчужденія.

Ты — царь, живи одинъ!

Это взято, кажется, изъ Байрона: the solitude of kings. Но въдь одиночество царей состоитъ не въ томъ, что они живутъ одни, — чего собственно и не бываетъ, — а въ томъ, что они среди другихъ

пмъютъ единственное положение. Это есть одиночество горныхъ вершинъ.

Монбланъ — монархъ сосёднихъ горъ: Онъ его въччали.

("Манфредъ" Байрона).

Въ этомъ смыслѣ одинокъ и геній, и этого одиночества никто отнять не можетъ, какъ нельзя отнять у Монблана его 14.000 футовъ высоты. Такое одиночество генія само собою разумѣется, не нужно на него указывать или подчеркивать его. Но развѣ оно есть причина для презрѣнія и отчужденія? И солнце одно на небѣ, но оно живетъ во всемъ, что оно живитъ, и никто не увидитъ въ немъ символъ высокомѣрнаго обособленія.

Не подобало такое высокомъріе и солнцу нашей поэзіи. Къ инымъ чувствамъ и взглядамъ призывало его не только сознаніе своей геніальности, но и сознаніе религіозное, которое съ наступленіемъ зрълаго возраста пробудилось и выяснилось въ немъ. Прежнее его невъріе было болье легкомысліемъ, чъмъ убъжденіемъ, и оно прошло вмъсть съ другими легкомысленными увлеченіями. То, что онъ говориль про Байрона, еще болье примъняется къ нему самому: «скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки убъжденію внутреннему, въръ душевной».

Въ сознаніи своего генія и въ христіанской въръ поэтъ имълъ двойную опору, слишкомъ достаточную, чтобы держаться въ жизни на извъстной высотъ, недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни, — на высотъ одинаково далекой отъ нехристіанскаго презрънія къ ближнимъ и отъ недостойнаго уподобленія толпъ. Но мы видимъ, что Пушкинъ постоянно колеблется между высокомърнымъ пренебреженіемъ къ окружающему его обществу и мелочнымъ раздраженіемъ противъ него, выражающимся въ язвительныхъ личныхъ выходкахъ и эпиграммахъ. Въ его отношеніи къ непріязненнымъ лицамъ не было ничего ни геніальнаго, ни христіанскаго, и здъсь — настоящій ключъ къ пониманію катастрофы 1837 года.

VIII.

По мнѣнію самого Пушкина, повторяемому большинствомъ критиковъ и историковъ литературы, «свѣтъ» былъ къ нему враждебенъ и преслѣдовалъ его. Та злал судъба, отъ которой будто бы

погибъ поэтъ, воплощается здъсь въ «обществъ», «свътъ», «толпъ», — вообще въ той пресловутой средъ, роковое предназначеніе которой только въ томъ, кажется, и состоитъ, чтобы «заъдатъ» людей.

При всей своей распространенности это мнъніе, если его разобрать, оказывается до крайности неосновательнымъ. Надъ Пушкинымъ все еще тяготъетъ критика Писарева, только безъ ясности и последовательности этого замечательнаго писателя. Люди, казалось бы, прямо противоположнаго ему направленія и относящіеся къ нему и ко всему движенію шестидесятых годов съ «убійственнымь» пре-небреженіемь, на самомь діль приміняють къ своему кумиру— Пушкину— пріемь Писаревской критики, только съ другого конца и гораздо болье нельпымь образомь. Писаревь отрицаль Пушкина по-тому, что тоть не быль соціальнымь и политическимь реформатотому, что тотъ не быль соціальнымъ и политическимъ реформаторомъ. Требованіе было неосновательно, но фактъ былъ совершенно въренъ. Пушкинъ дъйствительно не былъ такимъ реформаторомъ. Теперешніе обожатели Пушкина, не покидая дурного критическаго метода — произвольныхъ требованій и случайныхъ критеріевъ, разсуждаютъ такъ: Пушкинъ — великій человъкъ, а такъ какъ нашъ критерій истиннаго величія данъ въ философіи Ницше и требуетъ отъ великаго чековъка быть учителемъ жизнерадостной мудрости язычества и провозвъстникомъ новаго или обновленнаго культа героевъ, то Пушкинъ и былъ такимъ учителемъ мудрости и такимъ провозвъстникомъ новаго культа ста госпой и нестранать ста госпой никомъ новаго культа. за что и пострадалъ отъ косной и низменной толпы. Хотя требованія здёсь другія, чёмъ у Писарева, но дурная манера предъявлять великому поэту свои личныя или партійныя тре-бованія— въ существъ та же самая. Критика Писарева можеть быть сведена къ такому силлогизму: Мај.: Великій поэтъ долженъ быть провозвъстникомъ радикальныхъ идей; Міп.: Пушкинъ не быль та-кимъ провозвъстникомъ; С.: ergo — Пушкинъ былъ никуда негоднымъ пошлякомъ. Здъсь въ заключеніи высказывается субъективная оцънка, грубо невърная, но логически вытекающая изъ приложенія къ дъйствительному Пушкину призвольнаго мърила, взятаго критикомъ, указывающимъ фактически върно, хотя совершенно некстати, на то, чего въ самомъ дъль не было у нашего поэта.

Сужденія новъйшихъ пушкиномановъ могутъ быть, въ свою очередь, выражены въ такомъ силлогизмъ: Мај.: Великій поэтъ долженъ бытъ воплощеніемъ ницшеанскихъ идей; Міп.: Пушкинъ былъ великій поэтъ; С.: ergo — Пушкинъ былъ воплощеніемъ ницшеанскихъ

идей. Формально этотъ спллогиямь такъ же правиленъ, какъ и писаревскій, но вы видите существенную разницу въ пользу покойнаго критика: тамъ въ заключеніи выражалась только ложная ощьнка, здѣсь же утверждается ложный фактъ. Вѣдь Пушкинъ въ дѣйствительности такъ же мало воплощалъ ницшеанскую теорію, какъ и практическій радикализмъ. Но Писаревъ, подводя Пушкина подъ мѣрку радикальныхъ тенденцій, ясно видѣлъ и откровенно объявлялъ, что онъ подъ нее не подходитъ, тогда какъ новъйшіе панегиристы пушкинской поэзіи, прикидывая къ этому здоровому, широкому и вольному творчеству ломаный аршинъ ницшеанскаго психонатизма, настолько слѣпы, что увѣряютъ себя и другихъ въ полной успѣшности такого измѣренія.

Дѣло не въ соо́ственныхъ взглядахъ того или другого критика. И писаревская, и ницшеанская точка зрѣнія могутъ имѣть свою относительную законность. Но дѣло въ томъ, что въ настоящемъ историческомъ Пушкивѣ обѣ эти точки зрѣнія не имѣютъ для себя никакого дѣйствительнаго приложенія, и потому обусловленныя ими сужденія о поэтѣ просто безсмысленны. Мы можемъ преклоняться передъ трудолюбіемъ и искусствомъ муравьевъ или восхищаться красотою павлиньяго хвоста, но нельзя на этомъ основаніи бранить жаворонка за то, что онъ не строитъ муравейника, и еще менѣе позволительно съ восторгомъ восклицать: какой великолѣпный павлиній хвостъ у этого жаворонка!

Къ фальшивой оцѣнкѣ Пушкина, какъ учителя древней мудрости и пророка повой или обновленной античной красоты, привязывается (довольно искусственно и нескладно) давнишній взглядъ на его гибель какъ на роковое слѣдствіе его столкновенія съ враждебною общественною средой. Но общественная среда враждуетъ обыкновенно съ тѣми людьми, которые хотятъ ее исправлять и перерождать. У Пушкина такого желанія не было; онъ рѣшительно отклоняль отъ себя всякую преобразовательную задачу, которая, дѣйствительно, вовсе не шла бы къ нему. При всемъ различіи натурь и характеровъ, Пушкинъ все-таки былъ болѣе похожъ на Гёте, чѣмъ на Сократа, и отношеніе къ нему офиціальной и общественной русской среды было болѣе похоже на отношеніе Германіи къ веймарскому олимпійцу, нежели на отношеніе аеииской демократіи къ Сократу, — да и Сократъ могъ свободно прожить среди этой демократіи до семидесятилѣтняго возраста.

Вообще, столкновеніе лица съ обществомъ должно быть слишкомъ принципіально глубокимъ, чтобы дълать кровавую развязку безусловно-необходимою, объективно-неизбъжною. Во всей исторіи человъчества это случилось, кажется, не болье одного раза, да и споръшель собственно не между лицомъ и обществомъ, а между Богомъ и «княземъ міра сего». Впрочемъ, насколько мнъ извъстно, даже самые ярые панегиристы Пушкина не вспоминали о Голгсев по поводу его дуэли; и дъйствительно, несчастный поэтъ былъ менъе всего близокъ къ Христу тогда, когда стрълялъ въ своего противника.

Пушкина будто бы не признавали и преслъдовали! Но имо же

Пушкина будто бы не признавали и преслѣдовали! Но *имо же* собственно не признавалось въ немъ, что было предметомъ вражды и гоненій? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемірной литературѣ найдется другой примѣръ великаго писателя, который такъ рано. какъ Пушкинъ, сталъ общепризнаннымъ и популярнымъ въ своей странѣ. А говорить о гоненіяхъ, которымъ будто бы подвергался нашъ поэтъ, можно только для красоты слога.

Если несколько леть невольнаго, но привольнаго житья въ Кишиневъ, Одессъ и собственномъ Михайловскомъ — есть гоненіе и бъдствіе, то какъ же мы назовемъ безсрочное пзгнаніе Данте изъ родины, тюрьму Камоэнса, объявленное сумасшествіе Тасса, нищету Шиллера, остракизмъ Байрона, каторгу Достоевскаго и т. д.? Единственное бъдствіе, отъ котораго серьезно страдаль Пушкинь, была тогдашняя цензура; но, во-первыхь, это была общая судьба русской литературы, а во-вторыхь, этотъ «тяжкій млать, дробя стекло, куеть булатъ», и, слъдовательно, для великихъ писателей менъе страшенъ, чъмъ для прочихъ. Внъшнія условія Пушкина, несмотря на цензуру. были исключительно счастливыми. Во всякомъ случав, можно быть увъреннымъ, что въ тогдашней Англіи ему за его раннія «вольности» досталось бы отъ общества гораздо больше, чъмъ въ Россіи отъ правительства, какъ это ясно видно на примъръ Байрона. Когда говорять о враждъ свътской и литературной среды къ Пушкину, забырять о враждь свътской и литературной среды къ пушкину, заом-вають о его многочисленныхъ и върныхъ друзьяхъ въ этой самой средъ. Но почему же «свътъ» болъе представлялся тогда Уваро-вымъ или Бенкендорфомъ, чъмъ Карамзиными, Вельгурскими, Вя-земскими и т. д.? И кто были представители русской литературы: Жуковскій, Гоголь, Баратынскій, Плетневъ или же Булгаринъ? Едва ли былъ когда-нибудь въ Россіи писатель, окруженный такимъ блестящимъ и плотнымъ кругомъ людей понимающихъ и сочувствующихъ.

IX.

Какъ поэтъ, Пушкинъ могъ быть вполнъ доволенъ своимъ общественнымъ положеніемъ: онъ быль всероссійскою знаменитостью еще при жизни. Конечно, между его современниками въ Россіи были и такіе, которые отрицали его художественное значеніе или недостаточно его понимали. Но это были вообще люди эстетически до него не доросшіе, что было такъ же непзовжно, какъ и то, что люди совсвиъ неграмотные не читали его сочиненій. Обижаться и негодовать въ одномъ случав было бы такъ же странно, какъ и въ другомъ. И на самомъ дълъ, Пушкинъ обижался и негодовалъ на общество не за это, не за эстетическую тупость людей мало образованныхъ, а за холодность и непріязненность къ нему многихъ лицъ изъ техъ двухъ круговь, къ которымъ онъ принадлежалъ, свътскаго и литературнаго. Но эта непріязненность, доходившая иногда до прямой враждебности. относилась, главнымъ образомъ, не къ поэту, не къ жреду Аполлона, а лишь къ тому, кто иногда, по собственному признанію, между дътей ничтожныхъ міра бываль, можеть быть, всьхъ ничтожнье. Въ общественной средъ Пушкина были, конечно, какъ и во всякой другой средъ, злостные глупцы и негодяи, для которыхъ превосходство ума и дарованія нестерпимо само по себъ. Вражда этихъ людей, возбуждаемая силою Пушкина. могла, однако, держаться и дъйствовать только чрезъ его слабости. Онъ самъ давалъ ей пищу и толкалъ въ лагерь своихъ враговъ и такихъ людей, которые не были злостными глупцами и негодяями.

Главная бъда Пушкина были эпиграммы. Между ними есть, правда, высшіе образцы этого невысокаго, хотя законнаго рода словесности, есть настоящія золотыя блестки добродушной игривости и веселаго остроумія; но многія другія ниже поэтическаго достоинства Пушкина, а нѣкоторыя ниже человѣческаго достоинства вообще, и столько же постыдны для автора, сколько оскорбительны для его сюжетовъ. Когда, напримъръ, почтенный ученый, оставившій замѣтный слѣдъ въ исторіи своей науки и ничего худого не сдѣлавшій, характеризуется такъ:

Клеветникъ безъ дарованья, Палокъ ищеть онъ чутьемъ И дневного пропитанья Ежемъсячнымъ враньемъ, — то едва ли самый пламенный поклонникъ Пушкина увидить здъсь ту «священную жертву». къ которой «требуетъ поэта Аполлонъ». Ясно, что тутъ приносилось въ жертву только личное достоинство человъка, что требовалъ этой жертвы не Музагэтъ. а демонъ гнъва. и что нельзя было ожидать, чтобы жертва чувствовала при этомъ благоговъніе къ своему словесному палачу.

Такихъ недостойныхъ личныхъ выходокъ, иногда, какъ въ приведенномъ примъръ, вовсе чуждыхъ поэтическаго вдохновенія, а иногда представлявшихъ злоупотребленіе поэзіей, у Пушкина, къ несчастью, было слишкомъ много даже и въ послъдніе его годы. Одна изъ нихъ создала скрытую причину враждебнаго дъйствія, приведшаго поэта къ окончательной катастрофъ. Это — извъстное стихотвореніе «На выздоровленіе Лукулла», очень яркое и сильное по формъ, но по смыслу представлявшее лишь грубое личное злословіе насчетъ тогдашняго министра народнаго просвъщенія Уварова.

По свидътельству большинства современниковъ. личный характеръ Уварова не могъ вызывать сочувствія. Но обличеніе чьихъ-нибудь личныхъ недостатковъ не есть задача поэзіи, хотя бы сатирической. А въ публичной своей дъятельности Уваровъ имълъ большія заслуги: изъ всѣхъ русскихъ министровъ народнаго просвъщенія онъ быль, безъ сомивнія, самый просвъщенный и даровитый, и дъятельность его — самая плодотворная. Для серьезной сатиры, внушаемой интересомъ общественнымъ, Уваровъ не давалъ повода, и, въ самомъ дълъ, Пушкинъ обличаетъ только частный характеръ министра, и его обличеніе представляеть скорье пасквиль, нежели сатиру. Но и правильная сатира, нападающая на общее и публичное эло, не подобала уже тому поэту, который ранъе торжественно объявилъ, что ему нътъ дъла до общественной пользы, и что борьба съ публичнымъ эломъ есть дъло полиціи, а не поэзіи:

Въ градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ, — полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у васъ метлу берутъ?

Если ради внъшней красоты стиховъ «На выздоровление дукулла» можно извинить ихъ написание и сообщение близкимъ друзьямъ, то обнародование ихъ чрезъ напечатание въ журналъ не имъетъ никакого оправдания. Между тъмъ такому вліятельному и не очень разборчивому въ средствахъ человъку, какъ Уваровъ, легко было стать скрытымъ руководителемъ и вдохновителемъ множества другихъ лицъ, оскорбленныхъ поэтомъ, и устроить противъ него дъятельный заговоръ злоръчія, сплетни и интриги. Цъль была — непрерывно раздражатъ и дразнить его, и этимъ довести до поступковъ, которые сдълали бы его положеніе въ петербургскомъ обществъ невозможнымъ. Но развъ не въ его власти было помъщать достиженію этой цъли, разсчитанной только на его нравственную слабость?

Χ.

Дурное двло обиды, для котораго Пушкинъ злоупотребляль своимъ талантомъ и унижалъ свой геній, было такъ естественно и потому легко для его враговъ. Они были тутъ въ своей сферѣ, исполняли свою роль; для нихъ не было паденія. — паденіе было только для Пушкина. На низменной почвѣ личной злобы и вражды всѣ выгоды были на ихъ сторонѣ, ихъ побѣда была здѣсь необходима. Но развѣ необходимо было Пушкину оставаться до конца на этой ему несвойственной, мучительной и невыгодной почвѣ, на которой всякій шагъ быль для него паденіемъ? Враги Пушкина не имѣютъ оправданія; но тѣмъ болѣе его вина въ томъ, что онъ спустился до ихъ уровня, сталъ открытымъ для ихъ низкихъ замысловъ. Глухая борьба тянулась два года, и сколько было за это время моментовъ, когда онъ могъ однимъ рѣшеніемъ воли разорватъ всю эту паутину, поднявшись на ту доступную ему высоту, гдѣ неуязвимость генія сливалась съ незлобіемъ христіанина.

Нътъ такого житейскаго положенія, хотя бы возникшаго по нашей собственной винъ. изъ котораго нельзя бы было при доброй воль выйти достойнымъ образомъ. Свътлый умъ Пушкина хорошо понималъ, чего отъ него требовали его высшее призваніе и христіанскія убъжденія: онъ зналъ, что должно дълать, но онъ все болье и болье отдавался страсти оскорбленнаго самолюбія съ ея ложнымъ стыдомъ и злобною мстительностью.

Потерявши внутреннее самообладаніе, онъ могъ еще быть спасенъ постороннею помощью. Послъ первой несостоявшейся дуэли его съ Геккерномъ императоръ Николай Павловичъ взялъ съ него слово, что въ случаъ новаго столкновенія онъ предупредитъ государя. Пушкинъ далъ слово, но не исполнилъ его. Ошибочно увърившись, что непристойное анонимное письмо писано тъмъ же Геккерномъ, онъ послалъ ему (черезъ его отца) свой второй вызовъ въ такомъ изысканно оскорбительномъ письмъ, которое дълало кровавый исходъ неизбъжнымъ. Между тъмъ, при крайней степени своего раздраженія Пушкинъ не дошелъ все-таки до того состоянія, въ которомъ прекращается вибняемость поступковъ и въ которомъ данное имъ слово могло быть просто забыто. Послъ дуэли у него найдено было письмо къ графу Бенкендорфу съ изложениемъ его новаго столкновенія, очевидно для передачи государю. Онъ нашель это письмо, но не захотъль отправить его. Онъ думаль, что чей-то пошлый и грязный анонимный пасквиль можеть уронить его честь, а имъ самимъ сознательно нарушаемое слово — не можетъ. Если онъ былъ тутъ «невольникомъ», то не «невольникомъ чести», какъ назваль его Лермонтовъ, а только невольникомъ той страсти гивва и мщенія, которой онъ весь отдался.

Не говоря уже объ истинной чести, требующей только соблюденія внутренняго нравственнаго достоинства, недоступнаго ни для какого внѣшняго посягательства, — даже принимая честь въ условномъ значеніи согласно свѣтскимъ понятіямъ и обычаямъ, анонимный пасквиль ничьей чести вредить не могъ, кромѣ чести писавпиаго его. Если бы ошибочное предположеніе было вѣрно, и авторомъ письма былъ лѣйствительно Геккернъ, то онъ тѣмъ самымъ лишалъ себя права бытъ вызваннымъ на дуэль. какъ человѣкъ, поставившій себя своимъ поступкомъ внѣ законовъ чести; а если письмо писалъ не онъ, то для вторичнаго вызова не было никакого основанія. Слѣдовательно, эта несчастная дуэль произошла не въ силу какой-нибудь внѣшней для Пушкина необходимости, а единственно потому, что онъ рѣшилъ покончить съ ненавистнымъ врагомъ.

Но и тутъ еще не все было потеряно. Во время самой дуэли раненый противникомъ очень опасно, но не безусловно смертельно, Пушкинъ еще былъ господиномъ своей участи. Во всякомъ случаѣ, мнимая честь была удовлетворена опасною раною. Продолженіе дуэли могло быть дѣломъ только злой страсти. Когда секунданты подошли къ раненому, онъ поднялся и съ гнѣвными словами: «Attendez. је me sens assez de force pour tirer mon coup!» — недрожащею рукою выстрѣлилъ въ своего противника и слегка ранилъ его. Это крайнее душевное напряженіе, этотъ отчаянный порывъ страсти окончательно сломиль силы Пушкина и дъйствительно ръшиль его земную участь. Пушкино убить не пулею Геккерна, а своимъ собственнымъ выстръломъ въ Геккерна.

XI.

Послѣдній взрывъ злой страсти, окончательно подорвавшій физическое существованіе поэта, оставиль ему, однако, возможность и время для нравственнаго перерожденія. Трехдневный смертельный недугь, разрывая связь его съ житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознанія, освободиль его нравственныя сплы и позволиль ему внутреннимь актомь воли перерышить для себя жизненный вопрось въ истинномъ смыслѣ. Что передъ смертью въ немъ дѣйствительно совершилось духовное возрожденіе, это сейчась же было замѣчено близкими людьми.

«Особенно замѣчательно то, — пишетъ Жуковскій, — что въ эти послѣдніе часы жизни онъ какъ будто сдѣлался иной: буря, которая за нѣсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстью, исчезла, не оставивъ въ ней слѣда; ни слова, ни воспоминанія о случившемся». Но это не было потерею памяти, а внутреннимъ повышеніемъ и очищеніемъ нравственнаго сознанія и его дѣйствительнымъ освобожденіемъ изъ плѣна страсти. Когда его товарищъ и секундантъ Данзасъ, — разсказываетъ кн. Вяземскій, — желая вывѣдать, въ какихъ чувствахъ умираетъ онъ къ Геккерну, спросилъ его: не поручитъ ли онъ ему чего-нибудь въ случаѣ смерти касательно Геккерна. — «Требую, — отвѣчалъ онъ, — чтобы ты не мстилъ за мою смертъ; прощаю ему и хочу умереть христіаниномъ».

Описывая первыя минуты послъ смерти, Жуковскій пишетъ: «Когда всъ ушли, я сълъ передъ нимъ и долго одинъ смотрълъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицъ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти... Что выражалось на его лицъ, я сказать словами не умъю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ, ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выраженіе поэтическое. Нътъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ разливалась, что-то похожее на видъніе, на какоето полное, глубоко удовлетворяющее знаніе. Всматриваясь въ него, мнъ все хотълось у него спросить: что видинь, другъ? И что бы онъ отвъчаль мнъ, если бы могъ на минуту воскреснуть?»

Хотя нельзя угадать, какія слова сказаль бы своему другу возродившійся черезъ смерть великій поэть, но можно навърное отвъчать за то, чего бы онь не сказаль. Онъ не сказаль бы того, что твердять его неразумные поклонники, делающіе изъ великаго человъка своего маленькаго идола. Онъ не сказалъ бы, что погибъ отъ злой враждебной судьбы, не сказаль бы, что его смерть была безсмысленною и безцальною, не сталь бы жаловаться на свъть, на общественную среду, на своихъ враговъ; въ его словахъ не было бы укора, ропота и негодованія. И эта несомнінная увіренность въ томъ, чего бы онъ не сказалъ, — увъренность, которая не нуждается ни въ какихъ доказательствахъ, потому что она прямо дается простымъ фактическимъ описаніемь его последнихъ часовъ, — эта увъренность есть последнее благоденніе, за которое мы должны быть признательны великому человъку. Окончательное торжество духа въ немъ и его примиреніе съ Богомъ и съ міромъ примпряють насъ съ его смертью: эта смерть не была безвременною.

— Какъ? — скажутъ, — а тъ дивныя художественныя созданія, которыя онъ еще носилъ въ своей душть и не успъль дать намъ, а тъ сокровища мысли и творчества, которыми бы онъ могъ обогатить нашу словесность въ свои зрълые и старческіе годы?

Какой внѣшній, механическій взглядъ! Никакихъ новыхъ художественныхъ созданій Пушкинъ намъ не могъ дать и никакими сокровищами не могъ больше обогатить нашу словесность.

XII.

Мы знаемъ, что дуэль Пушкина была не внѣшнею случайностью, отъ него не зависѣвшею, а прямымъ слѣдствіемъ той внутренней бури, которая его охватила и которой онъ отдался сознательно, несмотря ни на какія провиденціальныя препятствія и предостереженія. Онъ сознательно приняль свою личную страсть за основаніе своихъ дъйствій, сознательно рѣшиль довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнѣвъ. Одинъ изъ его ближайшихъ друзей, князь Вяземскій, въ томъ самомъ письмѣ, въ которомъ онъ описываетъ его христіанскую кончину, обращаясь назадъ, къ исторіи дуэли, замѣтаетъ: «ему нуженъ былъ кровавый исходъ». Мы не можемъ говорить о тайныхъ состояніяхъ его души; но два явные факта достаточно доказываютъ, что его личная воля безповоротно опредѣлилась

въ этомъ отношении и уже не была доступна никакимъ житейскимъ воздъйствіямъ, — я разумъю: нарушенное слово императору и послъдній выстръль въ противника.

Въ томъ внутреннемъ состояніи, о которомъ мы въ правѣ заключать изъ этихъ двухъ фактовъ, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и перемѣнить его ръшимость двасисмо два исхода. При такой рѣшимости, которая была несомиѣнна и для друзей, дуэль могла имѣть только два исхода: или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иныхъ поклоиниковъ поэта второй исходъ представлялся бы справедливымъ и желательнымъ. Зачѣмъ убитъ геній, а ничтожный человѣкъ остался въ живыхъ? Какъ же это, однако? Неужели съ этою «успѣшною» дуэлью на душѣ Пушкинъ могъ бы спокойно творить новыя художественныя произведенія, озаренныя высшимъ свѣтомъ христіанскаго сознанія, до котораго онъ уже раньше достигъ?

Дълать предположенія, забывая о дъйствительной природъ и собственныхъ взглядахъ человъка, составляющаго ихъ предметъ, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставить себя выше различія между добромь и зломъ, но какое же это имъетъ отношеніе къ дъйствительному Пушкину, который никогда на эту точку зрънія не становился, а подъ конецъ пришелъ къ положительнымъ кристіанскимъ убъжденіямъ, прямо не допускающимъ такого безразличія? Если Пушкинъ въ зръломъ возрастъ сталъ уже тяготиться противоръчіемъ между требованіями поэзіи и требованіями житейской суеты, то какимъ же образомъ могъ бы онъ примириться съ гораздо болье глубокимъ противоръчіемъ между служеніемъ высшей красотъ, священной и величавой. и фактомъ убійства изъ-за личной злобы?

Мы не создаемъ Пушкина по своему образу и подобію, а беремъ дъйствительно Пушкина съ его дъйствительнымъ характеромъ и съ тъми убъжденіями и взглядами, которые дъйствительно сложились у него къ этому времени. Уже въ шестой главъ «Евгенія Онъгина» есть ясное указаніе на то, какъ далеко былъ бы поэтъ отъ безразличія, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистнаго и презръннаго врага:

Пріятно деракой эпиграммой Вабъсить оплошнаго врага... — И т. д. Но отослать его къ отцаль Едва ль пріятно будеть вамъ.

Такъ говорилъ еще не перегоръвшій въ юныхъ страстяхъ авторъ «Евгенія Онъгина»; что бы сказалъ возмужалый авторъ «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавшись злой буръ, которая его увлекала, Пушкинъ могъ и хотьлъ убить человъка, но съ дъйствительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознаніе о безповоротно совершившемся зломъ и безумномъ дълъ. У кого съ именемъ Пушкина соединяется дъйствительный духовный образъ поэта въ его зрълые годы, тотъ согласится, что конецъ этой добровольной съ его стороны, имъ самимъ вызванной, дуэли — смертью противника — былъ бы для Пушкина во всякомъ случат жизненною катастрофою. Не могъ бы онъ съ такою тяжестью на душт попрежнему привольно подниматься на вершины вдохновенія для «звуковъ сладкихъ и молитвъ»; не могъ бы онъ съ кровью нечистой человъческой жертвы на рукахъ приносить священную жертву свътлому божеству поэзіи; для парушителя нравственнаго закона нельзя уже было чувствовать себя царемъ надъ толною, и для невольника страсти — свободнымъ пророческимъ глаголомъ жечь сердца людей. При той высотъ духа, которая была ему доступна и которую такъ явно открыли его послъднія мгновенія, легкихъ и дешевыхъ расчетовъ съ совъстью не бываетъ.

Для примиренія съ собою Пушкинъ могъ отречься отъ міра, пойти куда-нибудь на Авонъ, или онъ могъ избрать болье трудный путь невидимаго смиренія, чтобы искупить свой гръхъ въ той же средь, въ которой его совершилъ и противъ которой былъ виноватъ своею нравственною немощью, своимъ недостойнымъ уподобленіемъ ничтожной толпъ. Но такъ или иначе. — подъ видомъ ли духовнаго или свътскаго подвижника, — во всякомъ случать Пушкинъ послъ катастрофы жилъ бы только для дъла личнаго душеспасенія, а не для прежняго служенія чистой поэзіи. Прежде въ простой и открытой душть поэта полнота жизненныхъ впечатльній кристаллизовалась въ прозрачную «объективную» призму, гдъ сходившій на него въ минуты вдохновенія бълый лучъ творческаго озаренія становился живою радугою. Но такой лучезарный, торжествующій характеръ поэзіи имълъ неизбъжно соотвътствующее ему основаніе въ душевномъ строть поэта — ту непосредственную созвучность съ всемірнымъ благимъ смысломъ бытія, ту жизнерадостную и добродушную ясность, всть тъ свойства, которыми отличался Пушкинъ до катастрофы и которыхъ онъ не могъ сохранить послть нея. При томъ исходт дуэли,

котораго бы желали иные поклонники Пушкина, поэзія ничего бы не выиграла, а поэть потеряль бы очень много: вмъсто трехдневныхъ физическихъ страданій ему пришлось бы многольтнею нравственною агоніей достигать той же окончательной цъли: своего духовнаго возрожденія. Поэзія сама по себъ не есть ни добро, ни зло: она есть цвътеніе и сіяніе духовныхъ силь — добрыхъ, или злыхъ. У ада есть свой мимолетный цвъть и свое обманчивое сіяніе. Поэзія Пушкина не была и не могла быть такимъ цвътомъ и сіяніемъ ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысль своей поэзіи онъ уже не могъ бы, такъ какъ ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примиреніе съ потеряннымъ въ кровавомъ дълъ добромъ. Не то, чтобы дъло дуэли само по себъ было такимъ ужаснымъ зломъ. Оно можетъ быть извинительно для многихъ, оно могло быть извинительно для самого Пушкина въ пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора «Пророка», убійство личнаго врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, послъдствія которой не могли бы быть исправлены «между прочимъ», въ свободное отъ литературныхъ занятій время, — для возстановленія духовнаго равновъсія потребовалась бы вся жизнь.

Всѣ многообразные пути, которыми люди, призванные къ духовному возрожденію, дѣйствительно приходять къ нему, въ сущности сводятся къ двумъ: или путь внутренняго перелома, внутренняго рѣшенія лучшей воли, побѣждающей низшія влеченія и приводящей человѣка къ истинному самообладанію; или путь жизненной катастрофы, освобождающей духъ отъ непосильнаго ему бремени одолѣвшихъ его страстей. Беззавѣтно отдавшись своему гнѣву, Пушкинъ отказался отъ перваго пути и тѣмъ самымъ избралъ второй, и неужели мы будемъ печалиться о томъ, что этотъ путь не былъ отягощенъ для него виною чужой смерти и что духовное очищеніе могло совершиться въ три дня?

Вотъ вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совъсти должны признать, во-первыхъ, доброю, потому что она вела человъка къ наилучшей цъли — къ духовному возрожденію, къ высшему и единственно достойному его благу; а во-вторыхъ, мы должны признатъ ее разумною, потому что этой наилучшей цъли она достигла простъйшимъ и легчайшимъ въ данномъ положеніи, т. е. наилучшимъ способомъ. Судьба не есть произволъ человъка, но она не можетъ

управлять человъческою жизнью безъ участія собственной воли человъка, а при данномъ состояніи воли этого человъка то, что съ нимъ произошло, должно было произойти и есть самое лучшее изъ того, что вообще могло бы съ нимъ произойти, т. е. кажется возможнымъ.

Природа судьбы вообще и, слъдовательно, судьба всякаго человъческаго существа, не объясняется вполны тъмъ, что мы видимъ въ судьбъ такого особеннаго человъка, какъ Пушкинъ: нельзя химическій анализь Нарзана принимать всецьло за анализь всякой воды. Какъ въ Нарзанъ есть то, чего нътъ ни въ какой другой водъ, такъ, съ другой стороны, для полнаго отчета о составъ нашей невской воды приходится принимать во вниманіе такія осложненія, какихь не найдется ни въ Нарзанъ, ни въ какомъ-либо другомъ цълебномъ источникъ. Но все-таки мы навърно найдемъ и въ Невъ, и въ Нарзанъ, и во всякой другой водъ основныя вещества — водородъ и кислородъ, безъ нихъ никакой воды не бываетъ. При всей своей особенности судьба Пушкина покавываеть намъ — лишь съ большею яркостью тъ основныя черты, которыя мы отыщемъ, если захотимъ и сумъемъ искать, во всякой человъческой судьбъ, какъ бы она ни была осложнена, или, напротивъ, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихія, она разлагается на два элемента: высшее добро и высшій разумъ, и присущая ей необходимость есть преодолъвающая сила разумно-нравственнаго порядка, независимаго отъ насъ по существу, но воплощающагося въ нашей жизни только чрезъ нашу собственную волю. А если такъ, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше намъ будетъ замънить яснымъ и опредъленнымъ выражениемъ — Провидъніе Божіе.

Польская національная церковь.

Поднятый «Новымъ Временемъ» вопросъ о создани польской національной церкви съ женатыми священниками во главѣ вызвалъ въ польской печати нервное раздраженіе по довольно понятпымъ психологическимъ причинамъ. Однако, самая мысль о польской наийональной церкви уже показываетъ со стороны «Новаго Времени» признаніе національнаго значенія поляковъ въ Россійской Имперіи, чему и съ русской и съ польской точки зрѣнія можно только порадоваться. Независимо отъ этого благопріятнаго «симптома», страхъ передъ женатыми ксендзами, по существу дѣла, такъ же мало основателенъ, какъ и возлагаемыя на нихъ надежды: этотъ вопросъ не можетъ имѣть на дѣлѣ того важнаго значенія, которое ему принисываютъ.

Мєжду поляками люди благочестивые опасаются, что бракъ священниковъ поведеть къ отпаденію польскихъ пастырей и ихъ стадъ отъ католической церкви; люди, равнодушные къ религіи, но видящіе въ католичествъ единящую силу польскаго народа и общества, боятся національнаго распаденія на почвъ религіознаго раскола. Съ своей стороны «Новое Время» откровенно связываетъ бракъ ксендзовъ съ образованіемъ отдъленной отъ Рима польской церкви.

Но все это. очевидно, имѣло бы смыслъ только въ томъ случаѣ. если бы можно было разсчитывать на широкое и сильное движеніе въ духовенствѣ и народѣ польскомъ подъ знаменемъ женатыхъ ксендзовъ. Предположеніе совершенно химеричное!

Во всъхъ католическихъ странахъ встръчалось и встръчается недовольство единичныхъ духовныхъ лицъ обътомъ безбрачія.

Извъстны и случаи отдъленія отъ церкви по этому мотиву. Но сколько-нибудь серьезное церковное движеніе подъ такимъ знаменемъ есть дъло неслыханное. Нъкоторые, ослъпленные въроисповъдною враждой, католические писатели объясняли реформацию матримоніальными стремленіями Лютера; но исторія знаетъ въ точности, какое мѣсто принадлежитъ Екатеринъ Бора среди причинъ реформаціоннаго движенія. Лютеръ и въ заблужденіяхъ своихъ былъ прежде всего человъкъ религіозно-върующій, и на знамени реформаціи было написано: оправданіе върою и возвращеніе къ чистотъ евангелическаго ученія. И позднъйшія менъе значительныя церковныя движенія въ средъ католичества были въ самомъ возникновеніи своемъ связаны съ религіозными принципами, и даже новъйшее старокатоличество порождено было принципіальнымъ вопросомъ о предълахъ папскаго авторитета въ области догматической.

Съ какимъ же религіознымъ пли церковнымъ принципомъ выступаютъ ксендзы, желающіе жениться? Ни о какихъ принципахъ, кромѣ матримоніальнаго, отъ нихъ не слышно. Если бы теперь они п придумали что-нибудь ради приличія, то было бы ужъ лоздно, — никто не повѣрилъ бы ихъ искренности. Церковный вопросъ прямо былъ поднятъ ими на почвѣ брака и черезъ это забракованъ въглазахъ народа и всѣхъ благочестивыхъ людей.

О какомъ движеніи можно тутъ говорить? Желаніе жениться можетъ одушевлять только желающихъ и никого болѣв. А слѣдовательно, и отдѣлить отъ Рима женатые ксендзы могутъ только себя, а никакъ не Польшу. Конечно, и среди мірянъ найдутся отдѣльныя лица и даже группы, которыя — не по религіозному одушевленію, конечно, а по тѣмъ или другимъ практическимъ соображеніямъ. — предпочтутъ имѣть женатыхъ пастырей. Что же произойдетъ далѣе?

Если сами уже посвященные ксендзы, проповъдующіе о бракъ духовенства, захотять жениться, то они этимъ утратять свое достоинство и съ православной точки зрънія. Только люди совсъмъ несвъдущіе могуть думать, что различіе двухъ церквей въ этомъ пунктъ состоитъ въ томъ, будто одна позволяетъ священникамъ жениться, а другая — нътъ. Объ церкви одинаково безусловно запрещаютъ всъмъ лицамъ, принявшимъ таинство священства, вступать послъ этого въ бракъ. Это есть основной и неотмъняемый принципъ. Различіе же, чисто дисциплинарное, между двумя церквами состоитъ въ томъ, что восточная допускаетъ посвященіе лицъ, ранье этого женившихся, и даже возвела въ господствующій обычай, чтобы молодые люди, ищущіе священнаго сана, предварительно вступали въ

бракъ ¹, тогда какъ на Западъ, какъ извъстно, со времени папы Григорія VII, этого не допускается.

Итакъ, если ксендзы, иниціаторы новой реформы, не захотятъ ее окончательно дискредитировать, то они сами воздержатся отъ женитьбы, и задача будетъ въ томъ, чтобы молодымъ католическимъ семинаристамъ было разрѣшено по ихъ желанію жениться и послѣ этого получать священство. Но кто же ихъ будетъ посвящать? Только епископы могутъ посвящать священниковъ, но едва ли есть надежда, чтобы на сторонъ церковно-матримоніальной реформы оказался ктонибудь изъ польскихъ епископовъ.

Но, можеть быть, мы напрасно приписываемъ почтеннымъ ксендзамъ, жаждущимъ брака, такую осторожность и такую заботливость о добромъ мнѣніи православныхъ? Можетъ быть, руководители новаго «движенія» гораздо радикальные, и имъ ныть никакого дыла даже до тъхъ каноническихъ принциповъ, которые одинаково обязательны для католичества и для православія? Можеть быть, они не усомнятся разръшить себъ бракъ послъ священства, а другимъ сообщать священство и до, и посль брака, не спрашиваясь никакихъ епископовъ? Можетъ быть, за неимъніемъ готоваго епископа, имъ единомысленнаго, они сами саблають себь такого? Дело идеть, быть можеть, о созданіи въ Польшъ церкви пресвитеріанской, безъ епископовъ, или сь епископами самодъльными? А такъ какъ подобная церковь по своей совершенной безпринципности не имъетъ никакихъ шансовъ образоваться и распространиться естественно, путемъ религіознаго движенія въ народѣ, то не имѣется ли въ виду установить ее искусственно — путемъ административныхъ воздъйствій и мітропріятій, съ цітлями чисто-политическими?

Разсмотримъ винмательно и эти предположенія: есть ли въ нихъ что-нибудь возможное, и кому все это можеть быть почему-либо желательно?

II.

Кто не слыхаль у насъ такого церковно-католическаго разсужденія (мы слыхали его еще отъ Каткова): римско-католическая

¹ Для людей пожилых это не есть непремънное условіе. Одинъ изъ достойнъйших во всъхъ отношеніях представителей нашего бълаго духовенства, покойный ректоръ московской духовной академін, А. В. Горскій, имъя болъе сорока лътъ, получилъ священство, хотя никогда не былъ женатъ.

церковь сама по себъ не враждебна и не опасна Россіи, мы можемъ и должны жить въ добромъ миръ съ палой; намъ враждебно только большинство польскаго духовенства, поскольку въ немъ элементь національно-полишическій преобладаетъ надъ религіозно-церковнымъ, т. е. католическимъ. Отсюда прямое заключеніе: въ русскихъ пнтересахъ необходимо укръплять связь польскаго духовенства съ верховною властью шапы, какъ съ началомъ нейтральнымъ. сдерживающимъ и умъряющимъ національно-политическія увлеченія поляковъ. И въ самомъ дълъ, ясно, что, если ксендзы виноваты, положимъ. въ исключительно-польскомъ, анти-русскомъ фанатизмъ, то въдь у папы такого фанатизма быть не можетъ, и при мирныхъ и дружелюбныхъ отношеніяхъ правительства къ религіозно-церковнымъ интересамъ нашихъ католиковъ римское вліяніе на нихъ можетъ быть только желательною подмогой для государственной власти въ ея мирныхъ и справедливыхъ цъляхъ.

Именно такой взглядъ въ общихъ основаніяхъ былъ усвоенъ нашимъ правительствомъ при Бозѣ почивающемъ Государѣ Александрѣ Александръ Александръ Александровичѣ, когда было заключено соглашеніе съ римскою куріей, возстановлена правильная католическая іерархія въ польскомъ и западно-русскомъ краѣ и возобновлено постоянное дипломатическое представительство Россіи въ Ватиканѣ. Насколько намъ извѣстно, такая политика имѣла только хорошія послѣдствія, тогда какъ отступленія отъ ея духа со стороны нѣкоторыхъ мѣстныхъ администраторовъ къ добру не приводили. Происшедшія въ концѣ прошлаго царствованія столкновенія между католиками-крестьянами и мѣстными административными органами были вызваны, какъ обнаружилось на судѣ, именно такимъ отступленіемъ отъ мирнаго и законнаго отношенія къ народной вѣрѣ, и ни ксендзы, ни, тѣмъ менѣе, римская курія никакой прикосновенности къ дѣлу не имѣли. Разрушеніе христіанскихъ церквей и крестовъ не было предусмотрѣно въ соглашеніи 1883 г. и явилось, конечно, такою же неожиданностью для папы, какъ и для нашей верховной власти.

Но если мирное и дружелюбное отношение къ римскому престолу есть принципъ нашей политики, унаслъдованной отъ прошлаго царствования, ничъмъ не опровергнутый и основанный на томъ ясномъ соображени, что римскій первосвященникъ по универсальному своему значенію не можетъ раздълять и поддерживать какихъ-нибудь исключительныхъ мъстныхъ стремленій, могущихъ быть неудобными

или опасными для нашего государственнаго единства, то спрашивается: откуда же взялся прямо-противоположный взглядъ на дѣло? Почему вмѣсто воинствующаго полонизма опаснымъ врагомъ оказывается вдругъ римскій католицизмъ, отъ котораго будто бы намъвыгодно отторгнутъ Польшу черезъ учрежденіе національной польской церкви?

Посмотримъ сначала, въ какомъ смыслъ и въ какихъ размърахъ возможно самое созданіе такой церкви. Такъ какъ единственное предлагаемое для него основание противоръчить существеннымъ каноническимъ принципамъ вселенской церкви, одинаково принятымъ и на Западъ, и на Востокъ, то новое религіозное общество можетъ имъть характерь не церкви, а только секты. Основывать новыя секты въ Россіи не дозволяется. Но положимъ, по какимъ-нибудь особымъ соображеніямъ будеть на этоть разь допущено, какъ исключеніе, то, что желательно было бы, какъ общее правило, т. е. пол-ная свобода въроисповъданія, — и женатымъ ксендзамъ съ ихъ приверженцами будеть предоставлено неограниченное право публичнаго богослуженія и проповъди, право строить новые храмы, а также получать въ свое распоряжение тъ изъ римско-католическихъ приходовъ, гдъ большинство окажется на ихъ сторонъ. Тогда въ Польшъ, Литвъ и Западной Руси явится новая секта, признанная и даже покровительствуемая нашимъ правительствомъ? Никто, однако, не можетъ ожидать, чтобы это покровительство женатымъ ксендзамъ простиралось до религіознаго гоненія на ксендзовъ неженатыхъ и върныхъ Риму, или до прямого принужденія нашихъ католиковъ къ отступничеству отъ своей церкви и къ подчиненію шастырямъ, ею отлученнымъ? Следовательно, новая секта, кроме немногихъ людей, уже теперь расположенныхъ отдълиться отъ Рима во имя женатаго духовенства, будетъ пополняться только тъми, для которыхъ благовсленіе м'єстной администраціи есть рышающій мотивь вь дылахь религіозно-церковныхъ? Такихъ людей въ народъ польскомъ нътъ вовсе, а въ обществъ и духовенствъ они составляютъ не важное меньшинство. Въ лучшемъ для нея случав «національная» польская церковь получить такое же значеніе у нась, какъ «старокатоличество» въ Германіи, и едва ли нашимъ администраторамъ удастся то, что не удалось самому Бисмарку.

У насъ нъкоторые очень надъялись на «старокатоличество», какъ на переходную ступень отъ западной церкви къ восточному пра-

вославію. Отъ такой иллюзіп пришлось отказаться. Точно также и «національная польская церковь» будеть служить чему угодно, но только не сближенію поляковъ съ православіемъ и русскимъ народомъ.

Особенность восточнаго христіанства — не въ женатыхъ священникахъ, а въ благочестивомъ отношеніи къ религіозному и церковному преданію. Для католическихъ священниковъ отдёленіе отъ римской церкви и самовольная женитьба — прежде всего разрывъ съ преданіемъ, актъ, прямо противный духу православія, или благочестивой въры. Да и въ предълахъ того частнаго вопроса, съ которымъ связана эта затъя, — русской газетъ, конечно, извъстно наше народное отношение къ женатому и неженатому духовенству. Въ первомъ — уважается только его служеніе, а во второмъ — почитается личный подвигь жизни. Въ русскихъ святцахъ духовенство представлено только монахами; среди многочисленнаго и почтеннаго сословія женатыхъ іереевъ было, конечно, не мало святыхъ, но они не поразили народнаго воображенія, не остались въ народной памяти и не увъковъчены публичнымъ культомъ. Семейная жизнь для лица священнаго есть, по мнънію народа, уступка человъческой слабости, къ которой можно относиться снисходительно, но которая исключаетъ религіозное благоговъніе: настоящій носитель высшаго духовнаго начала для нашего народа есть только монахъ 2.

Національная польская церковь, съ женатыми ксендзами, сама по себѣ не встрѣтитъ православныхъ и русскихъ симпатій, не со́лизитъ съ нами поляковъ. Да и можетъ ли какая-нибудь національная церковь создаваться искусственно въ канцеляріяхъ и редакціяхъ? Единственная національная церковь польскаго народа естъ та, съ которой неразрывно связала его исторія, — т. е. церковь римско-католическая. Польша пережила реформаціонное движеніе, но не могла усвоить его началъ. Для нея, какъ и для романскихъ странъ Европы, между католичествомъ и антихристіанствомъ нѣтъ средины. Затѣваемое же подъ флагомъ національной церкви отдѣленіе отъ Рима, если бы оно могло осуществиться въ значительныхъ размѣрахъ, было бы переходомъ не къ православію, а къ антихристіанству.

² Народное почитаніе о. І. И. Сергіева (Кронштадтскаго) не составляєть, какъ изв'єство, исключенія изъ этого правила.

III.

Сегодня православная русская церковь празднуетъ явленіе чу-дотворной иконы Пресвятыя Богородицы Ченстоховскія. Эта древняя икона византійскаго письма, чтимая русскимъ благочестіемъ, есть вмъстъ съ тъмъ національная святыня Польши, Небесная Королева польскаго края и олицетвореніе его будущности для върующихъ патріотовъ, изъ которыхъ самый идеальный, графъ Красинскій, посвятилъ ей великелъпные стихи своего «Разсвъта». Безъ сомнънія, изобрътатели «польской національной церкви» забыли о маломъ: о Ченстоховской Богородицъ. Оно и естественно: какое отношение къ Приснодъвъ можетъ имъть апотеозъ женатыхъ священниковъ? Однако, практическій вопрось все-таки остается: какъ быть съ Ченстоховомъ? Отдать его насильно новой сектъ, отдълившейся отъ католической церкви? Предложеніе такой міры, въ виду ея неизбіжныхъ послъдствій, было бы равносильно покущенію на государственную измѣну, и никакого серьезнаго разговора объ этомъ быть не можетъ. А если Ченстохово волей-неволей нужно оставить въ поков, то новая секта женатыхъ ксендзовъ, не могущая быть церковью уже по самому происхожденію и основанію своему, не получить и національнаго значенія, будучи лишена главной національной польской святыни... Что же тогда отъ нея останется, кромъ нельпой претензін на словахъ и лишняго орудія смуты и разложенія народной въры — на дълъ?

Я охотно готовъ допустить, что нѣкоторые изъ участниковъ или защитниковъ этой затѣи имѣютъ искреннее желаніе сблизить поляковъ съ Россіей и православіемъ. Но въ такомъ случаѣ, какое изумительное ослѣпленіе. Искать для этого сближенія противозаконныхъ, неблагочестивыхъ и вызывающихъ новую вражду и распрю путей, когда уже вѣками существуетъ твердая основа не только сближенія, но единомыслія и единодушія на законной и мирной почвѣ общаго благочестиваго культа! Не въ сектѣ, грѣхомъ и для грѣха зачатой темными канцеляріями и кабинетами, а на Ясной Горѣ, гдѣ царитъ всенепорочная святыня христіанства, сойдутся и уже давно сходятся единоплеменные братья, враждебно раздѣленные внизу плотскими страстями и злобами, не достигающими до дѣвственныхъ высотъ истиннаго благочестія.

Среди всевозможныхъ взглядовъ на русско-польскія отношенія

совершенно затерянъ тотъ взглядъ, который, казалось бы, есть единственный приличный для патріотовъ «Святой Руси», — взглядъ вѣры и благочестія. Для этого взгляда вопрось прежде всего въ томъ: какъ смотритъ на русско-польскія отношенія Та, Чей древній образъ на Ясной Горъ изъ года въ годъ влечетъ къ Себъ и соединяетъ въ одномъ чувствъ несмътныя толны русскихъ-православныхъ и поляковъ-католиковъ? Вопросъ смъшной для невърующаго и соблазнительный для лицемъра, но всякій, для кого религіозная святыня есть живая действительность, знаеть, что этот смешной и соблазнительный вопрось есть единственно важный въ настоящемъ дълъ. А поставить его — значить и рашить, и если бы даже во всемь русскомъ обществъ не нашлось ни одного человъка, который сталъ бы на точку зрвнія Ясной Горы, то она отъ этого не потеряеть своего собственнаго значенія, и все-таки вопрось о польско-русскихъ отношеніяхъ будеть окончательно решонь исторіей не сь какой-нибудь другой, а только съ этой единственно истинной точки эрънія.

А если мы вспомнимь, что дѣвственная лилія христіанства имѣеть всѣ свои земные корни въ томъ народѣ, который нынѣ по волѣ Провидѣнія главною своею массой скученъ въ смежныхъ областяхъ русской и польской народности, то въ насъ зародится чаяніе, что и другой, еще болѣе глубокій вопросъ объ отношеніяхъ христіанскоеврейскихъ — рѣшится не въ низинахъ вражды и соперничества, а на той же Ясной Горѣ вѣчно-дѣвственной Богочеловѣчности, — и еще разъ повторится проходящее черезъ всю исторію чудо: камень, его жъ търегоша зиждущій, сей бысть во главу угла.

марта 1897 года.

Что значитъ слово "живописность"? 1897.

Импрессіонизмъ мысли.

1897.

Тайна прогресса. 1897.

Что значитъ слово "живописностъ"? 1897.

Какъ совершенно справедливо замѣчаетъ кн. С. М. Волконскій, «наша эстетическая терминологія довольно расплывчата и нуждается въ кристаллизаціи болье, чьмъ всякая другая; способствовать установленію правильнаго значенія словъ лежитъ на обязанности всякаго пишущаго». Этимъ объясняется «отвѣтъ» кн. Волконскаго, а также и слъдующія мои строки.

Ръчь шла о томъ, быль ли живописенъ дъйствительный историческій образь Іоанна Грознаго и наиболѣе характерныя явленія его царствованія — московскія казни и новгородскія избіенія. Кн. Волконскій утверждаетъ, что все это было живописно, хотя соглашается, что во всемъ этомъ не было красоты. Признавая живописность однимъ изъ видовъ красоты, я не допускаю, чтобы безобразное или лишенное красоты могло быть живописнымъ, хотя оно можетъ служить матеріаломъ и поводомъ для живописныхъ и прекрасныхъ художественныхъ изображеній, столь же мало похожихъ на свой историческій матеріалъ. какъ прекрасные цвѣты и плоды не похожи на ту навозную землю, изъ которой они произрастаютъ.

Если бы я сколько-нибудь колебался въ своемъ мивніи, что Іоаннъ Грозный и дъянія его живописны только въ своемъ художественномъ изображеніи, а вовсе не были такими въ своей исторической дъйствительности, то князь С. М. Волконскій своимъ отвътомъ укръпилъ бы меня въ этой мысли. Въ самомъ дълъ, его ръшительное заявленіе о живописности упомянутыхъ историческихъ сюжетовъ сопровождается такими объясненіями, которыя придаютъ ему обратный смыслъ и, слъдовательно, прямо подтверждаютъ мой взглядъ. На вопросъ, были ли живописны московскія казни, кн. Волконскій отвъчаетъ: «Да, были. также какъ и свъточи Нерона». — Была ли живописна девятитысячная масса утопленниковъ? — Да, была, также какъ масса

страждущихъ преступниковъ, рисовавшихся воображенію Данта, какъ флорентійская чума въ глазахъ Боккачіо, какъ инквизиція и Торквемада въ глазахъ Виктора Гюго з. Но вѣдь именно это и только это утверждаль и я. Да, Іоаннъ Грозный и дѣла его живописны въ воображеніи и въ изображеніяхъ у Антокольскаго, Самойлова. А. Толстого, какъ адъ живописенъ у Данта, какъ сжигаемые въ смолѣ мученики живописны у Семирадскаго, чума у Боккачіо, инквизиція у Виктора Гюго, и наконецъ, — прибавляю и мой примѣръ, почему-то обойденный кн. Волконскимъ, — какъ развивающаяся проказа живописна у Флобера. Но какимъ же образомъ изъ безспорной живописности всѣхъ

Но какимъ же образомъ изъ безспорной живописности всѣхъ этихъ предметовъ въ воображеніи и изображеніи художниковъ можно заключать, что они живописны въ дѣйствительности и даже молько въ дѣйствительности, въ изображеніи же не живописны, а прекрасны. «Картина, — утверждаетъ кн. Волконскій, — не можетъ быть живописна: картина можетъ быть прекрасна, но живописенъ тотъ предметъ, съ котораго она писана». И за этимъ рѣшительнымъ заявленіемъ слѣдуетъ указаніе на живописность «Свѣточей Нерона», то-есть, какъ ясно изъ контекста, картины Семирадскаго. Затѣмъ послѣ этого и другихъ примѣровъ, подтверждающихъ мой, а не его взглядъ, авторъ заключаетъ: «Все это было живописно и только въ силу живописности своей проникло въ искусство и заслужило увѣковѣченія».

Таково мивніе нашего автора, но гдв его доказательства? Гдв погическій мость между несомивннымъ свойствомъ живописности извъстныхъ предметовъ въ художественномъ воображеніи и изображеніи и твмъ же предполагаемымъ свойствомъ въ ихъ дъйствительности? Отчего талантливый и искусный писатель не пробуетъ прямо доказывать своего тезиса, т. е. доказывать, что адъ, чума, различные римскіе, испанскіе и московскіе ужасы живописны дъйствительно, какъ они существуютъ или существовали независимо отъ Семирадскаго, Данта, Боккачіо, Виктора Гюго и т. д. А что эти предметы живописны у этихъ художниковъ — никто не сомивался, и я съ своей стороны привелъ прямо самый крайній примъръ — заживо разлагающагося прокаженнаго, котораго знатоки признаютъ живописнымъ въ изображеніи Флобера. Позволю даже по этому поводу сдълать легкій упрекъ князю С. М. Волконскому: если уже онъ такъ внимательно отнесся къ моей маленькой рецензіи, что даже пашелъ нужнымъ отвъчать на нее, то въ интересахъ ясности ему слѣдовало бы

³ Всѣ курсавы въ этой статьъ принадлежатъ мнъ.

остановиться именно на крайнемъ, ръшающемъ примъръ и прямо отвътить: считаетъ ли онъ разлагающагося прокаженнаго живописнымъ въ дъйствительности, или только въ изображеніи художника?

Свое мнъніе о дъйствительной, а не воображаемой живописности разныхъ отвратительныхъ предметовъ, скоръе опровергаемое. Чъмъ подтверждаемое его собственными историко-литературными указаніями, кн. С. М. Волконскій связываеть, какъ мы видъли, съ болье общимъ тезисомъ, будто живописными могутъ быть только действительные предметы, а сами художественныя изображенія не могутъ называться живописными, а только прекрасными. Единственное основаніе для этого терминологическаго мнънія мы нашли въ сдъланной авторомъ выпискъ изъ трехъ словарей. Основание весьма непрочное. Воспроизводимое въ словаряхъ фактическое словоупотребленіе, житейское и литературное, можетъ быть и върнымъ, и ошибочнымъ, и правильнымъ, и неправильнымъ. Приводимое кн. Волконскимъ изъ Даля опредъленіе: «Живописный — достойный быть списаннымъ, картинный», есть только образчикъ плохого опредъленія. «Картинный» есть только синонимъ «живописнаго», а «достойный быть списаннымъ» или слишкомъ широко для опредъляемаго, — такъ какъ въ какомънибудь отношеніи все можеть быть достойнымъ списыванія, — или есть только тавтологія, если подъ достоинствомъ здѣсь разумѣется спеціально-эстетическое достоинство по отношенію именно къ живописи.

Когда дело идетъ о правильной и точной терминологіи, то нужно обращаться къ самымъ основаніямъ слова, именно къ его этимологическому происхожденію и къ догической связи соответствующихъ понятій. Живописный, живописность несомпънно производпыя слова отъ живопись, какъ музыкальный, музыкальность — отъ музыка. И какъ эти последнія слова означають известную сторону красоты, именно красоту, выражающуюся въ звукахъ, такъ первыя обозначають другую сторону той же красоты, именно проявляемую въ зрительныхъ очертаніяхъ и сочетанін цевтовъ или красокъ. Итакъ, живописность есть частное эстетическое понятіе, подчипенное общему понятію красоты. Поэтому, хоть не все прекрасное живописно, но все живописное тъмъ самымъ и прекрасно, — какъ не всъ животныя суть илекопитающія, но всякое илекопитающее тімь самымь есть животное. Предметы прекрасные въ зрительномъ отношеніи, т. е. живописные, не теряютъ этого своего качества въ своемъ изображеніи, но и предметы ни въ какомъ отношени не прекрасные и не живописные.

какъ адъ, чума, кровавыя казни, — могутъ въ воображении художника вызвать такія эрительныя сочетанія, воспроизведенія которыхъ на полотив или на мраморъ будетъ прекрасно въ смыслъ живописности. Наконецъ, художественныя произведенія, и не относящіяся къ области зрвнія, могуть быть въ переносномъ смысле живописны, или картины, поскольку вызывають въ воображении прекрасные образы видънныхъ предметовъ или прекрасныя сочетанія такихъ образовъ. Чтобы доказать правильность своей терминологіи, кн. Волконскій должень бы быль сначала опровергнуть эти элементарныя аксіомы, начиная съ того, что слово живописность происходить отъ слова живопись, означающаго нъкоторое изобразительное искусство. Впрочемь, если бы даже правильность терминологіи кн. Волконскаго и была доказана, то это было бы совершенно безполезно для его положенія о реальной живописности разныхъ ужасныхъ и отвратительныхъ явленій. Если бы живописность и была свойствомъ лишь действительныхъ предметовъ, а не ихъ изображеній, то отсюда не следовало бы, конечно, что всякій действительный предметь живописень, а поэтому утверждаемая нашимъ авторомъ живописность дъйствительнаго ада, дъйствительной чумы и дъйствительнаго Торквемады все-таки осталась бы висящимъ на воздухъ парадоксомъ.

За этимъ нѣсколько искусственнымъ терминологическимъ разногасіемъ относительно живописности скрывается, быть можетъ, болѣе серьезное разномысліе насчетъ отношенія красоты къ дѣйствительности, или того смысла, въ какомъ можно и должно признавать реальную объективность прекраснаго. Но уважаемый мой противникъ понимаетъ, конечно, что нельзя разбирать этотъ принципіальный вопросъ въ бѣглой замѣткѣ, такъ какъ правильное его рѣшеніе предполагаетъ систематическую постановку, по крайней мѣрѣ, двухъ философскихъ наукъ: метафизики и эстетики. Я надѣюсь, что онъ великодушно разрѣшитъ мнѣ отложить дальнѣйшее разсмотрѣніе дѣла года на три или четыре. А пока позволю себѣ кончитъ настоящую замѣтку заключительными словами той моей рецензіи на сочиненіе кн. С. М. Волконскаго, которая подала поводъ къ этому маленькому спору:

«Объ этомъ, впрочемъ, стоило говорить только въ виду общаго высокаго достоинства книги, заслуживающей полнаго вниманія и успъха. Мы надъемся очень скоро увидъть новое дополненное изданіе этихъ прекрасныхъ очерковъ».

Импрессіонизмъ мысли.

1897.

Стихотворенія К. Случевскаго, кн. 1-4. 1880-1890.

При всъхъ недостаткахъ своихъ произведеній К. К. Случевскій — настоящій, неподдъльный поэть, всегда своеобразный и иногда глубокій. Отсутствіе подражательности не только нам'вренной, но даже невольной и безсознательной есть черта, которая прямо бросаеся въ глаза при чтеніи его книжекъ. Самыя неудачныя страницы у него можно упрекнуть во всемъ, кромъ подражательности. А вмъсть съ тьмъ К. К. Случевскій есть впечатлительный шій изъ поэтовъ; на него производять впечатлъніе такія вещи, которыя вообще проходятъ незамъченными. И эти впечатлънія онъ переносить въ свои стихи. Но впечатлительность нашего поэта, по крайней мъръ, насколько можно о ней судить по его стихамъ, имъетъ особый характерь. Мы не найдемъ у него простыхъ художественныхъ воспроизведеній того или другого поразившаго его явленія изъ жизни природы или человъка. Всякое даже самое ничтожное впечатлъніе сейчась же переходить у него въ размышленіе. даеть свое отвлечнюе умственное отражение и въ немъ какъ бы растворяется. Это свойство, несомићино, господствующее въ поэзіи К. К. Случевскаго, хотя, конечно, не исчернывающее ея всецъло, я назваль бы импрессіонизмомъ мысли. Схватывая на лету всевозможныя впечатльнія и ощущенія и немедленно обобщая ихъ въ формъ рефлексіи, мысль поэта не останавливается на предварительной эстетической оценке этихъ впечатленій: авторь рефлектируеть въ самомъ своемъ творчествъ, но не провфряетъ его результатовъ дальнъйшею критическою рефлексіей. Отсюда чрезвычайная неровность и случайность его произведеній: если впечатлъніе имъло настоящую эстетическую цънность, если въ немъ быль элементь красоты, его прямое отражение въ мысли автора

даеть истинно поэтическія произведенія, если же нѣтъ, то выходять вещи въ дучшемъ случаѣ странныя, или причудливыя.

У К. К. Случевскаго именно вслъдствіе преобладающаго пипрессіонизма труднъе. чъмъ у кого-либо изъ другихъ поэтовъ, распредълить стихотворенія по ихъ содержанію и отличительному характеру. Самъ онъ принимаетъ для своей лирики такую, довольно смутную классификацію: «Думы и мотивы», «Картинки и фантазіи», «Мелкія стихотворенія», «Картинки изъ черноземной полосы». «Мурманскіе отголоски», «Лирическія», «Мгновенія». Кромъ чисто-топографическихъ обозначеній, каждая изъ прочихъ рубрикъ годилась бы для всъхъ стихотвореній: всъ они могли бы быть названы «Лирическими», «Мелкими», «Мелкими», «Меновеніями» и т. д. На мой взглядъ, произведенія К. К. Случевскаго, какъ лирика, могутъ быть основательно раздълены только на удачныя и неудачныя, хотя это напоминаєтъ отчасти извъстный отвътъ студента на экзаменъ изъ нравственнаго богословія, — что «любовь раздъляется на пскреннюю и неискрепнюю».

Приведемъ нъсколько удачныхъ образчиковъ мыслей-импрессій нашего поэта:

Я принесъ домой съ мороза Много звъздъ и блестокъ снъга! Дома такъ привольно, сладко, Всюду блескъ, тепло и нъга! Но безпутныя снъжинки Этихъ благъ не замъчаютъ, Обращаются въ слезинки И проворно исчезаютъ.

При всемъ различіи между двумя поэтами и при всемъ несходствъ самихъ стихотвореній по тону и содержанію, — эта вещица напоминаетъ одно изъ лучшихъ маленькихъ стихотвореній Тютчева: «Слезы людскія» — непосредственностью перехода внѣшняго впечатлънія въ мысленный образъ изъ человъческой жизни. Какъ у Тютчева струи осенняго дождя ощутительно превращаются въ безконечныя слезы людского горя, такъ здѣсь блестящія снѣжинки прямо переходять въ міновенно появляющіяся и исчезающія слезъї балованнаго ребенка, или «безпутной» женщины.

А вотъ у поэта, подпавшаго «не въ срокъ» подъ власть любви, вдругъ мелькнуло ощущеніе, что эта любовь есть призракъ, и эта мгновенная внутренняя импрессія, не остановившая реальнаго чув-

ства, закутавшись въ цълое, нъсколько растянутое, стихотвореніе, прямо выступаеть въ его послъднихъ стихахъ:

Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое, — Любви негаданной послъдній огонекъ! Ночь жизни такъ темна, покрыла все земное, Не отличить пути, и ты горишь не въ срокъ! Но чтмъ темнъе ночь, ттмъ больше блескъ сіянія; Я на него иду, и я идти хочу... Иду... мнъ все равно: свои ли я желанія, Чужія ль горести въ пути ногой топчу, Родныя ль подъ собой могилы попираю, Назадъ ли я иду, иду ли я впередъ, Неправъ ли я, иль правъ, — не въдаю, пе знаю, И знать я не хочу! Меня судьба ведеть... Въ движеніи этомъ жизнь такъ ясно ощутима, Что даже мысль о томъ, что и любовь — мечта, Какъ тысячи другихъ, мелькаетъ мимо, мимо, И легче кажется и мракъ, и пустота.

Мысль-импрессія другого рода, замъчательная по мъткости выраженія:

Мы ждемъ и даже не тоскуемъ; Для насъ не можетъ быть мечты, Мы у прошедшаго воруемъ Его завядшіе цепты...

Крайній сѣверъ, гдѣ пришлось побывать нашему поэту, снабдиль его многими впечатлѣніями. Говоря по-старинному, муза г. Случевскаго оказалась весьма чуткою къ своеобразнымъ и величавымъ красотамъ странъ Гиперборейскихъ. Вотъ одинъ изъ болѣе удачныхъ «Мурманскихъ отголосковъ»:

Утро. День воскресный. Влъдной багряницей Врызнуль свъть льнивый по волнь, объятой Теменью холодной. Будто бы зарницей, Въ небъ вдругь застывшей, блъдно-лиловатой, Освъщаеть утро хмурый ликъ Мурмана. Очерки утесовъ сквозь туманъ открылись... Сердце! отчего ты такъ проснулось рано? Отчего вы, мысли, рано окрылились? Помнять, помнять мысли, знаетъ сердце, знаетъ: Нынче день воскресный. На просторъ вольномъ, Какъ шатромъ безбрежнымъ, церковь покрываетъ Всю страну родную звономъ колокольнымъ:

И въ шатръ томъ, съ краю, въ холодъ тумана, Въ области скалистой молча притаплось Мрачное обличіе дальняго Мурмана... И оно зардълось, и оно молилось!

Импрессіонизмъ мысли не призванъ обращать въ стихи сильныя, глубокія и длительныя чувства. Изъ немногихъ стихотвореній К. К. Случевскаго, посвященныхъ любви, самое сильное называется «Изъ чужого письма» и говоритъ отъ лица жепщины. А въ немногихъ самоличныхъ своихъ вдохновеніяхъ изъ этой области нашъ поэтъ, върный и здъсь общему характеру своего творчества, ловитъ отдъльныя впечатлънія и закръпляетъ ихъ пногда съ большою тонкостью и изяществомъ.

Словно какъ лебеди бѣлые Дремлють и очи сомкнули, Тихо качаясь надъ озеромъ, — Такъ ея чувства уснули. Словно какъ лотосы нѣжные, Лики сокрывъ восковые, Спятъ надъ глубокой пучиной Грезы ея молодыя...

Или, напримфръ, это:

Нзъ-подъ тънистаго куста Съ подстилкой моховою, Фіалокъ темныхъ я нарвалъ, Увлаженныхъ росою! Онъ прохладны! Съ лепестковъ Въ жаръ полдня ночью въетъ... Глядишь на нихъ... Твой милый взглядъ Ихъ теменью темнъетъ!

А воть еще лучше въ томъ же родъ другая цвъточно-любовная мысль-импрессія:

Гдѣ бы ни упало
Подлѣ ручейка
Сѣмя незабудки,
Синяго цвѣтка, —
Всюду, чуть весною
Загудитъ гроза,
Взглянутъ незабудокъ
Синіе глаза.
Въ каждомъ чувствѣ сердца
Въ помыслѣ моемъ

Ты живешь незримымъ Тайнымъ бытіемъ... И лежитъ повсюду На дёлахъ моихъ Свётъ твоихъ совётовъ, Просьбъ и ласкъ твоихъ.

Впечативніе впечативнію рознь, и въ иномъ мгновенномъ прямо открывается и выступаетъ въчное. К. К. Случевскій, оставаясь импрессіонистомъ по формъ своего творчества, могъ, тъмъ не менъе, написать и такое глубокое и трогательное по содержанію стихотвореніе:

Промчались годы. Я забыль, Забыль я, что тебя любиль, Забыль за счастьемь въ гоньбѣ, Что нужень памятникъ тебѣ. Я жиль еще; любиль опять! И сталь твой образъ вновь мелькать, И съ каждымь днемъ въ душѣ моей Пришлецъ становится яснъй. Теперь я самъ, какъ погляжу, Тебѣ гробницею служу, И чьей-то мощною рукой Поставленъ думять надъ тобой.

Пришлось бы слишкомъ злоупотребить выписками, если бы я хотълъ привести всъ удачныя и характерныя стихотворенія г. Случевскаго. Ограничусь еще однимъ стихотвореніемъ, какъ самымъ глубокимъ и оригинальнымъ образчикомъ его поэзіи, и двумя строфами изъ другого, замъчательными по силъ стиха. Вотъ сначала эти строфы:

Мы отошли, — и вслёдъ за нами
Вы тоже рветесь въ жизнь вступить,
Чтобъ нами брошенными снами
Свой жаръ и чувство утолить.
И эти сны, въ часы мечтанья,
Дадутъ, пока въ васъ кровь тепла,
На ваши раннія лобзанья
Свои покорныя тёла.
Есть въ земной природѣ облики невидимые,
Гласу незамѣтные, всюду существующіе,

Отъ такихъ стиховъ не отказался бы и Лермонтовъ. А вотъ самая глубокая и значительная изо всъхъ мыслей-импрессій г. Случевскаго:

Горячо любимые, сильно ненавидимые, Міръ въ подлунно мъ міръ тайно образующіе Въ сильныя минуты, въ важныя мгновенія Жизни, эти облики сразу означаются: Въ обаяньи подвига, въ тягъ преступленія, Нежданно, негаданно духомъ прозръваются. То, чего нѣтъ вовсе, видимымъ становится; Въ тишинъ глубокой разговоры чудятся; Что-то небывалое сразу быть готовится, Если что-то сдълаешь, если что-то сбудется. Ну, и надо дълать!... При такомъ ръшеніи Цълый міръ обманный въ обликахъ присутствуетъ; Онъ зоветъ на подвиги, тянетъ къ преступленію — И совсъмъ по-своему на дъла напутствуетъ.

Жаль, что это замъчательное стпхотвореніе испорчено неосновательнымъ по смыслу и неуклюжимъ по формъ восклицаніемъ: «Ну, и надо дълать!»... Почему же надо, если эти тайные облики тянутъ иногда къ преступленію и напутствуютъ на злыя дъла? Если «обманный міръ» совсъмъ завладълъ нашею волей, то внушаемыя имъ дъла совершатся и безъ нашего «надо»; а если воля еще сохраняетъ свою самостоятельность, то ясно, что ей надо сопротивляться наважденію, а не слъдовать ему.

Въ задачу моей замътки не входитъ разборъ двухъ прекрасныхъ поэмъ г. Случевскаго: «Попъ Елисей» и «Въ снъгахъ», а также его полудраматическихъ и полуэпическихъ опытовъ. Послъдніе я нахожу неудачными. Объ этомъ, конечно, можно спорить. Но въ «Мелкихъ стихотвореніяхъ» есть безспорныя маленькія ошибки, которыя слъдуетъ непремъно исправить въ случать новаго изданія. Въ разсказъ «Дьячокъ» дважды упоминается о іеромонахъ въ панагіи, тогда какъ панагія есть отличительная принадлежность епископовъ, и іеромонахъ въ панагіи — все равно, что оберъ-офицеръ въ генеральскихъ эполетахъ, или камеръ-юнкеръ съ ключомъ.

Въ стихотвореніи «Ипатія и Кириллъ» Александрія почему-то называется «въ ряду столицъ младенецъ-городъ», хоть она тогда была старѣе, чѣмъ теперь Москва. — и въ описаніи города упоминается, наряду съ храмомъ и синагогой, костелъ. Этимъ польскимъ словомъ называютъ у насъ иногда римско-католическіе храмы въ отличіе отъ греко-россійскихъ, но что долженъ означать костелъ въ Александріи V вѣка — остается совершенно непонятнымъ. Впрочемъ, такіе досадные недосмотры слѣдуетъ ставить въ указъ не са-

мому поэту, а тъмъ его невнимательнымъ друзьямъ, которымъ онъ, безъ сомнънія, читалъ свои стихи прежде ихъ печатанія.

Не только эти случайныя погръшности, но и болье существенные недостатки въ стихотвореніяхъ К. К. Случевскаго не мъшаютъ ему обладать ръдкимъ уже нынъ достоинствомъ настоящаго поэта и быть однимъ изъ немногимъ еще остающихся достойныхъ представителей «серебрянаго въка» русской лирпки.

Тайна прогресса.

1897.

Знаете ли вы сказку?

Въ глухомъ лъсу заблудился охотникъ; усталый, сълъ онъ на камиъ надъ широкимъ бурливымъ потокомъ. Сидитъ и смотритъ въ темную глубину и слушаеть, какъ дятель все стучить да стучить въ кору дерева. И стало охотнику тяжело на душъ. «Одинокъ я и въ жизни, какъ въ лъсу, — думается ему, — и давно ужъ сбился съ пути по разнымъ тропинкамъ, и нътъ мнъ выхода изъ этихъ блужданій. Одиночество, томленіе и гибель! Зачёмъ я родился, зачёмъ пришелъ въ этотъ дъсъ? Какой миъ прокъ во всъхъ этихъ перебитыхъ мною звъряхъ и птицахъ?» — Тутъ кто-то дотронулся до его плеча. Видитъ: стоитъ сгорбленная старуха, какія обыкновенно являются въ подобныхъ случаяхъ, — худая-худая, а цвътомъ какъ залежавшійся цареградскій стручокъ, или какъ нечищенное голенище. Глаза угрюмые, на раздвоенномъ подбородкъ два пучка съдыхъ волосъ торчатъ, а одъта она въ дорогомъ платьъ, только совсемъ ветхомъ, — одни лохмотья. — «Слышь, добрый молодецъ, есть на той сторонъ мъстечко — чистый рай! Туда попадешь — всякое горе забудешь. Одному дороги ни въ жизнь не найти, а я прямехонько проведу, сама изъ тъхъ мъстъ. Только перенеси ты меня на тотъ берегъ, а то гдь мнь устоять поперекъ теченія, и такъ еле ноги двигаю, совсьмъ на ладанъ дышу, а умирать-то — у-ухъ какъ не хочется!» — Былъ охотникъ малый добросердечный. Хотя словамъ старухи насчеть райскаго мъста онъ совсемъ не поверилъ, а въ бродъ идти черезъ раздувшійся ручей было не соблазнительно, да и старуху тащить не слишкомъ лестно, но взглянулъ онъ на нее, — она закашлялась, вся трясется. «Не пропадать же, — думаеть, — древнему человъку! Лъть за сто ей навърно будеть, сколько тяготы на своемь въку понесла, ---

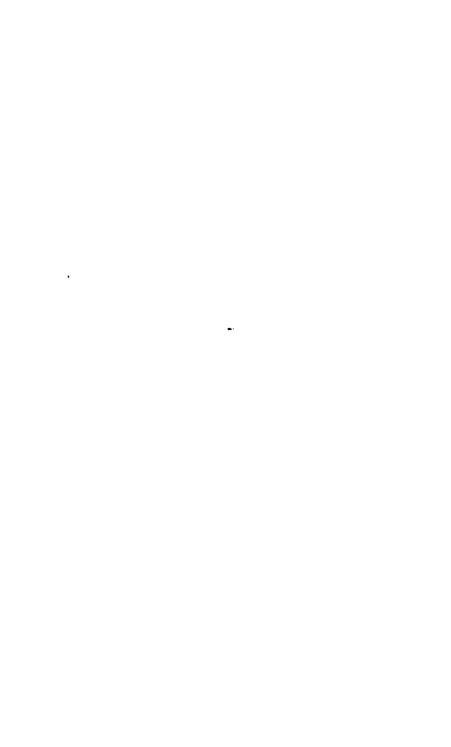
нужно и для нея понатужиться.» — «Ну, бабушка, полъзай на закорки, да кости-то свои къ нутру подтяни, а то разсыплешься, — въ водъ не соберешь». Вскарабкалась старушка къ нему на плечи, и почувствоваль онъ такую страшную тяжесть, точно гробъ съ покойникомъ на себя взвалилъ, — едва шагнуть могъ. «Ну, — думаетъ, — теперь ужъ на попятки стыдно!» Ступилъ въ воду, и вдругъ какъ будто не такъ тяжело, и тамъ съ каждымъ шагомъ все легче да легче. И чудится ему что-то несодъянное. Только онъ шагаетъ прямо. смотритъ впередъ. А какъ вышелъ на берегъ да оглянулся: вмъсто старухи прижалась къ нему красавица неописанная, настоящая царь-дъвица. И привела она его на свою родину, и уже онъ больше не жаловался на одиночество, не обижалъ звърей и птицъ и не искалъ дороги въ лъсу.

Въ какомъ-нибудь варіантъ всякій знаетъ эту сказку, зналъ ее и я еще съ дътства, но только сегодня почувствовалъ за нею совсъмъ не сказочный смыслъ. Современный человъкъ въ охотъ за бъглыми минутными благами и летучими фантазіями потеряль правый путь жизни. Передъ нимъ темный и неудержимый потокъ жизни. Время, какъ дятелъ, безпощадно отсчитываетъ потерянныя мгновенія. Тоска и одиночество, а впереди — мракъ и гибель. Но за нимъ стоитъ священная старина преданія — о! въ какихъ непривлекательныхъ формахъ — но что же изъ этого? Пусть онъ только подумаеть о томъ, чъмъ онъ ей обязанъ; пусть внутреннимъ сердечнымъ движеніемъ почтить ея съдину, пусть пожальеть о ея немощахъ, пусть постыдится отвергнуть ее изъ-за этой видимости. Вмъсто того, чтобы праздно высматривать призрачныхъ фей за облаками, пусть онъ потрудится перенести это священное бремя прошедшаго черезъ дъйствительный потокъ исторіи. Въдь это единственный для него исходъ изъ его блужданій — единственный, потому что всякій другой быль бы недостаточнымъ, недобрымъ, нечестивымъ: не пропадать же древнему человъку!

Не въритъ сказкъ современный человъкъ, не въритъ, что дряхлая старуха превратится въ царь-дъвицу. Не въритъ — тъмъ лучше! Зачъмъ въра въ будущую награду, когда требуется заслужить ее настоящимъ усиліемъ и самоотверженнымъ подвигомъ? Кто не въритъ въ будущность старой святыни, долженъ все-таки помнить ея прошедшее. Отчего не понесеть онь ее изъ почтенія къ ея древности, изъ жалости къ ея упадку, изъ стыда быть неблагодарнымъ. Блаженны върующіе: еще стоя на этомъ берегу, они уже видять изъ-за морщинъ дряхлости блескъ нетлѣнной красоты. Но и невърящіе въ будущее превращеніе имѣютъ тоже выгоду — нечаянной радости. И для тѣхъ, и для другихъ дѣло одно; идти впередъ, взявъ на себя всю тяжесть старины.

Если ты хочешь быть человъкомъ будущаго, современный человъкъ, не забывай въ дымящихся развалинахъ отца Анхиза и родныхъ боговъ. Имъ былъ нуженъ благочестивый герой, чтобы перенести ихъ въ Италію, но только они могли дать ему и роду его и Италію, и владычество міра. А наша святыня могущественнъе Троянской, и путь нашъ съ нею дальше Италіи и всего земного міра. Спасающій спасемся. Вотъ тайна прогресса, — другой нътъ и пе будетъ.

Теоретическая философія. 1897—1899.



СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Первое начало теоретической философіи.

I.

Достоинство нашихъ цълей и поступковъ зависить отъ ихъ сообразности съ тою тріединою идеей Добра, которая разсматривается въ нравственной философіи 1. Наша жизнь, чтобы имъть настоящій смыслъ или быть достойною духовной природы человъка должна быть оправданіемъ добра. Этого требуетъ и этимъ удовлетворяется наше нравственное существо. Кто ставить своею высшею цълью — въ полную мъру своихъ силъ участвовать въ историческомъ дъланіи добра въ міръ, пользуясь при этомъ всякою доброю помощью внутреннею и внъшнею, тотъ свободенъ отъ нравственнаго разлада, примиренъ съ жизнью, и голосъ совъсти говорить въ немъ лишь какъ желанный исправитель частныхъ уклоненій и заблужденій, а не какъ страшный обличитель всего жизненнаго пути.

Чтобы жизнь человѣка имѣла такой смысль, или была оправданіемъ добра, кромѣ естественны побрыхъ иувствъ стыда, жалости и благочестія, принадлежащихъ къ самой природѣ человѣческой, необходимо еще нравственное ученіе, которое не только закрыпляетъ эти чувства въ формѣ заповъдей, но и развиваетъ заложенную въ нихъ идею добра, приводя въ разумную связь всѣ ея, въ природѣ и исторіи данныя, проявленія и выводя изъ нея полноту нравственныхъ нормъ для направленія, управленія и исправленія всей личной и общественной жизни.

Такое ученіе, въ положительной религіи сообщаемое догматически и принимаемое на въру, подвергается отчету и провъркъ фило-

 $^{^{1}}$ См. т. VIII. Оправданіе Добра, въ особенности главы І—IV, VII и XVI.

софскаго мышленія — тыми и для тыхь, которые къ тому способны и имыють въ томь потребность.

Если нравственное ученіе необходимо для встхъ людей вообще, то изъ числа этихъ «всёхъ» мы не имъемъ никакого права исключать то непрерывно возрастающее меньшинство, которое хочеть и можетъ не только принимать, но и понимать нравственныя нормы, или отчетливо мыслить о нихъ. Хотя положительная въра, связывающая требованія добра и утвержденіе истины съ данными особаго религіознаго опыта, личнаго и всечеловъческаго, не можеть быть по существу замънена философіей, которая сама по себъ такихъ твердыхъ основъ не имъетъ, но столь же ясно и то, что весь законный авторитетъ религіознаго нравоученія, даже при полной върь въ него, никакъ не можетъ упразднить или замънить собою въ мыслящей части человъчества тъхъ формальныхъ умственныхъ требованій, которыя создають этику философскую. Въдь и сама религія, поскольку она неудержимо становится ученіемъ или системою, тъмъ самымъ неизбъжно впадаетъ въ различныя умствованія, не только допускающія, но и вызывающія контроль философскаго мышленія, — который затъмъ, конечно, не можетъ быть ограниченъ одною практическою или жизненною стороной нашего существованія. Всь ходячія указанія на ближайшую практическую безполевность, опасность и зловредность философскихъ умствованій, если бы даже они были върны, во всякомъ случать ровно ничего не доказываютъ, ибо кромъ практическихъ цълей жизни существуетъ въ нашемъ духъ самостоятельная потребность чисто-умственная, или теоретическая, безь удовлетворенія которой цінность самой жизни становится сомнительною...

II.

Въ области нравственныхъ идей философское мышленіе, при всей своей формальной самостоятельности, по существу прямо подчинено жизненному интересу чистой воли, которая стремится къ добру и требуетъ отъ ума отчетливъе и полнъе выяснить въ чемъ состоитъ истинное добро, въ отличіе отъ всего того, что кажется или считается добромъ, не оудучи имъ въ самомъ дълъ.

Мы, во-первыхъ, котимъ, въ силу нашей нравственной природы, жить сообразно истинному добру и для этого знать его подлинную сущность и настоящія требованія. Но наряду съ этимъ мы хотимъ

просто знать, знать истину ради нея самой. И эта наша вторая воля безусловно одобряется нашею совъстью, которая такимъ образомъ заранъе утверждаетъ коренное единство между добромъ и истиною, — очевидно необходимсе, такъ какъ безъ этого единства самое понятіе истиннаго добра, которымъ держится вся нравственность, не имъло бы смысла. Если добро какъ такое непремънно должно бытъ истиннымъ, то ясно, что истина по существу не можетъ быть чъмъто противоръчащимъ и чуждымъ добру.

Въ предисловіи къ одному своему сочиненію Бэконъ Веруламскій говорить, что онъ находить себя «сдѣланнымъ» для созерцаній истипы болѣе, чѣмъ для чего-нибудь другого. Онъ основываеть это на свойствахъ своего ума, достаточно подвижнаго для узнаванія сходства вещей и достаточно сосредоточеннаго и напряженнаго для наблюденія тонкихъ различій: обладая, какъ онъ увѣряеть, и желаніемъ изслѣдованія, и терпѣливостью въ сомнѣніи, и способностью наслаждаться размышленіемъ, и медлительностью въ утвержденіи, и легкостью въ отреченіи отъ заблужденій, и заботливостью о правильномъ расположеніи мыслей и знаній, — Бэконъ при этомъ не увлекался новпзною, не восхищался древностью и пенавиовлъ всякій обжинъ. Поэтому онъ полагалъ, что его природа имѣетъ иѣкоторую близость и сродство съ истиною 2.

Указанныя здѣсь качества умственнаго характера, дѣдающія ихъ обладателя особенно способнымъ къ теоретической дѣятельности суть большею частью хорошія правственныя свойства. Главное изъ нихъ — ненависть ко всякому обману — есть то же, что любовь къ правдѣ, и входитъ въ самое существо доброй воли. Все пространное описаніе Бэкона можетъ быть сокращено въ одно опредѣленіе: наибольшая добросовъстность въ дѣлѣ мышленія и познанія, — а это несомнѣнно есть опредѣленіе правственное. Значитъ, то, что сбли-

² "Me ipsum autem ad veritatis contemplationes quam ad alia magis fabrefactum deprehendi, ut qui mentem et ad rerum similitudinem (quod maximum est) agnoscendum satis mobilem, et ad differentiarum subtilitates observandas satis fixam et intentam haberem, — qui et quaerendi desiderium, et dubitandi patientiam, et meditandi voluptatem, et asserendi cunctationem, et resipiscendi facilitatem, et disponendi sollicitudinem tenerem, — quique nec novitatem affectarem, nec antiquitatem admirarer, et omnem imposturam odissem. Quare naturam meam cum veritate quandam familiaritatem et cognationem habere judicavi". (Impetus philosophici, De Interpretatione Naturae Procemium).

жаеть и роднить насъ съ истиною, есть то же самое, что сближаеть и роднить насъ съ добромъ.

Жизнь и знаніе единосущны и нераздільны въ своихъ высшихъ нормахъ; но вмісті съ этимъ сохраняется различіе практическаго и теоретическаго отношенія къ предмету: добрая воля и истинное знаніе, при всей своей неразрывности, остаются двумя различными внутренними состояніями, двумя особыми способами существованія и діятельности. Этому соотвітствуетъ какъ единство, такъ и различіе между нравственною и теоретическою философіей.

III.

Идея добра формально требуетъ отъ всякаго дъятеля, чтобы онъ оббросовъстно относился къ предмету своей дъятельности. Это требованіе имъетъ всеобщее значеніе и не терпитъ никакихъ исключеній. Въ силу его мыслитель-теоретикъ прежде всего обязанъ къ добросовъстному изслъдованію истины. Хотя бы онъ върилъ, что она дана или открыта, онъ имъетъ потребность и обязанность испытать или оправдать свою въру свободнымъ мышленіемъ. Философъ отличается отъ не-философа никакъ не содержаніемъ своихъ убъжденій, а тъмъ, что онъ считаетъ для себя непозволительнымъ принимать окончательно въ теоріи какое бы то ни было принципіальное утвержденіе безъ предварительнаго отчета и провърки разумнымъ мышленіемъ.

Хотя собственно — философскій интересь относится ни къ чему другому, какъ къ истинъ, но нельзя остановиться на этомъ, слишкомъ широкомъ, общемъ опредъленіи. Моралистъ, изъясняющій истинное добро, богословъ, толкующій истинное откровеніе Божества, также заняты истиною, и однако, не вст они бываютъ философами. Точно также интересъ къ истинъ вообще не составляетъ отличительнаго признака философіи по отношенію къ математикъ, исторіи и другимъ спеціальнымъ наукамъ, которыя вст стремятся къ истинъ. Если такимъ образомъ отличительный характеръ философіи не состоитъ въ томъ, что она относится къ истинъ, то онъ можетъ опредъляться лишь тъмъ, какъ она къ ней относится, съ какой стороны къ ней подходитъ, чего въ ней ищетъ. Мы называемъ философскимъ умомъ такой, который не удовлетворяется хотя бы самою твердою, но безотчетною увъренностью въ истинъ, а принимаетъ лишь истину удо-

стовъренную, отвътившую на всъ запросы мышленія. Къ достовъркости стремятся, конечно, всъ науки; но есть достовърность относительная и достовърность абсолютная, или безусловная: настоящая философія можетъ окончательно удовлетвориться только послъднею.

Отсюда нельзя заключать, что философія заранте увърена и ручается въ достиженіи безусловно достовърной истины; она можето ея никогда не найти, но она обязана ее искать до конца, не останавливаясь ни передъ какими предълами, не принимая ничего безъ провърки, требуя отчета у всякаго утвержденія. Если бы она оказалась не въ состояніи дать положительный отвъть на вопрось о безусловно-достовърной истинъ, то за нею осталось бы великое, котя и отрицательное пріобрътеніе: ясное знаніе, что все, выдаваемое за абсолютную истину, на самомъ дълъ не имъеть такого значенія. Или дъйствительнымъ мышленіемъ преодольть всь возможныя сомнънія въ принятой истинъ и тъмъ оправдать свою увъренность въ ней, или прямодушно признать все извъстное сомнительнымъ въ послъднемъ основаніи и отказаться отъ теоретической увъренности — воть два положенія, которыя достойны философскаго ума и между которыми ему приходится сдълать ръшительный выборъ.

Само собою понятно, какъ уже замъчалъ Декартъ, что заранъе составленное намърение всегда и окончательно сомнъваться — такъ же противно существу философской мысли, какъ и принятое напередъ ръшеніе устранить, во что бы то ни стало, всъ сомнънія, хотя бы съ помощью произвольныхъ ограниченій изследованія. Въ предрзятомъ скептициямъ, какъ и въ предвзятомъ догматизмъ, проявляются только два типа умственной боязливости: одинъ боится повърить, другой боится потерять въру (которая, очевидно, не очень кръпка у него), и оба виъстъ боятся самаго процесса мысшленія, который еще неизвъстно, къ какому концу приведетъ — къ желательному, или къ нежелательному. Но для философа по призванию нътъ ничего болъе желательнаго, чъмъ осмысленная, или провъренная мышленіемъ истина; поэтому онъ любить самый процессь мышленія, какъ единственный способъ достигнуть желанной цели, и отдается ему безъ всякихъ постороннихъ опасеній и страховъ. Къ нему еще болье, чыми ки поэту, приложима заповыды:

> Дорогою свободной Иди, куда влечеть тебя свободный умъ.

IV.

Итакъ, существенная особенность философскаго умозрѣнія состоить въ стремленіи къ безусловной достовърности, испытанной свободнымъ и послъдовательнымъ (до конца идущимъ) мышленіемъ. Частныя науки, какъ издавна замъчено философами, довольствуются достовърностью относительною, принимая безъ провърки тъ или другія предположенія. Никакой физикъ не побуждается своими занятіями ставить и ръшать вопрось о подлинной сущности вещества и о достовърности пространства, движенія, внъшняго міра вообще, въ смысль бытія реальнаго; онь предполагает эту достовърность вь силу общаго мивнія, котораго частныя ошибки онъ поправляєть, не подвергая его однако генеральной ревизіи. Точно также историкь самаго критическаго направленія, изследуя достоверность событій во временной жизни человъчества, безотчетно принимаетъ при этомъ ходичее понятие о времени какъ нъкой реальной средъ, въ которой возникають и исчезають историческія явленія. Я не говорю о множествъ другихъ предположеній, допускаемыхъ безъ провърки всьми спеціальными науками.

Отличительный характерь философіи съ этой стороны ясень и безспоренъ. Частныя науки въ своемъ исканіи достовърной истины основываются на извъстныхъ данныхъ, принимаемыхъ на въру какъ непреложные предълы, не допускающіе дальнъйшаго умственнаго испытація (такъ, напримъръ, пространство для геометріи). Поэтому достовърность, достигаемая частными науками, непремънно есть дишь условная, относительная и ограниченная. Философія, какъ дъло свободной мысли, по существу своему не можеть связать себя такими предълами и стремится изначала къ достовърности безусловной или абсолютной. Въ этомъ она сходится съ религіей, которая также дорожить безусловною достовърностью утверждаемой ею истины; но религія полагаеть эту безусловность не въ форму мышленія, а въ содержаніе въры. Религіозная въра въ собственной своей стихіи не заинтересована умственною провъркой своего содержанія: она его утверждаеть съ абсолютною увъренностью, какъ свыше данную, или открытую истину. Философскій умъ не станеть заранъе отрицать этого откровенія, — это было бы предубъжденіемъ, несвойственнымъ и недостойнымъ здравой философіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ, если онъ даже находить предварительныя основанія во пользу редигіозной

истины, она не можеть, не отказываясь оть себя, отказаться отъ своего права подвергнуть эти основанія свободной провъркъ, отдать себь и другимъ ясный и послъдовательный отчеть въ томъ, почему онь принимаеть эту истину. Это его право имъеть не субъективное только, но объективное значеніе, такъ какъ оно почерпаетъ свою главную силу изъ одного очень простого, но удивительнымъ образомъ забываемаго обстоятельства, — именно изъ того, что не одна, а ивсколько религій утверждаютъ безусловную достовърность своей истины, требуя выбора въ свою пользу и тъмъ самымъ волей-неволей подвергая свои притязанія изслъдованію свободной мысли, такъ какъ иначе выборъ былъ бы дъломъ слъпого произвола, желать котораго отъ другихъ — недостойно, а требовать — безсмысленно. Оставаясь въ предълахъ разума и справедливости, самый ревностный представитель какой-либо положительной религіи можетъ желать отъ философа только одного: чтобы свободнымъ изслъдованіемъ истины онъ пришелъ къ полному внутреннему согласію своихъ убъжденій съ догматами даннаго откровенія, — исходъ, который былъ бы одинаково удовлетворителень для объихъ сторонъ.

V.

Если, какъ сейчасъ указано, философское мышленіе не можетъ имѣтъ незыблемой опоры ни въ чувственномъ, ни въ религіозномъ опытѣ, которые являются для него какъ испытуемое, а не какъ основы испытанія, или критеріи истины, — то, спрашивается, на чемъ же основывается, чѣмъ держится и руководствуется само философское мышленіе, гдѣ ручательство его правильности и, слѣдовательно, достовърности его результатовъ? Первое, нами ощущаемое и фактически несомнѣнное основаніе теоретической философіи есть та безконечность человѣческаго духа, которая выражается здѣсь въ несогласіи мыслящаго ума поставить заранѣе какія-нибудь внѣшнія границы или предѣлы своей дѣятельности, — заранѣе подчиниться какимъ-нибудь предположеніямъ, не вытекающимъ изъ самой мысли, не провѣреннымъ и не оправданнымъ ею. Итакъ, первая основа философскаго мышленія или первый критерій философской истины есть безусловная принципіальность: теоретическая философія должна имѣть свою исходную точку въ себѣ самой, процессъ мышленія въ ней долженъ начинаться съ самаго начала. Это не значитъ, конечно, что философ-

ская мысль должна вновь создавать изъ себя самой все свое содержаніе, ничего не принимая извить. Если бы такъ, то дъятельность мысли должна бы начинаться до всякаго содержанія, т. е. въ состояніи чистаго ничтожества, и философія была бы самосозданіемъ всего изъ ничего. Но такая задача заключала бы въ себъ внутреннее противоръчіе и упраздняла бы сама себя. Ибо тутъ ради отрицанія всякаго предположенія пришлось бы какъ разъ начинать съ нъкотораго произвольнаго предположенія, именно съ предположенія, что человъческая мысль сама по себъ есть всемогущая творческая сила, существующая въ абсолютной пустотъ, чего на самомъ дълъ за нею не замъчается. А замъчается на самомъ дълъ вотъ что: съ одной стороны, мысль, какъ безконечная сила, но только не творческая, а провърочная, или контролирующая, а съ другой стороны, безконечное множество всего, подлежащаго этому контролю. Такимъ образомъ, истинное начало чистаго мылиленія, или теоретической философіи. состоить не въ томъ, чтобы отвергать все существующее, пока оно не будеть создано мыслыю изъ нея самой, а въ томъ, чтобы не признавать достовърнымъ никакого положенія, пока оно не будеть провърено мыслыю. Этотъ предварительный критерій истины говорить самъ за себя, ибо, отридая всякое произвольное или неоправданное предположеніе, онъ самъ, какъ и должно, ничего произвольно не предполагаетъ, а выражаетъ только наличное стремленіе къ философскому мышленію, или самый фактъ существованія «воли къ философствованію», какъ сказаль бы нъмець: я хочу мыслить философски, и потому устраняю въ началъ своего убъжденія все не философское, т. е. безотчетное и непровъренное.

Настоящая чистая мысль совпадаеть такимъ образомъ съ чистымъ фактомъ, т. е. наличнымъ, несомнѣнно, существующимъ *требованіемъ* философскаго мышленія какъ такого.

Если чисто-философская двятельность ума состоить въ томъ, чтобы все провърять, или ко всему прилагать мърило критической мысли, то спрашивается: въ чемъ же состоить самое это мърило или критерій истины? Ясно, что предварительный отвъть на этоть вопрось можеть быть лишь весьма общимъ и неопредъленнымъ, чтобы не быть связаннымъ съ какимъ-нибудь произвольнымъ или безотчетнымъ предположеніемъ. Мы можемъ пока сказать только, что мърило достовърности для мысли заключается не въ чемъ-нибудь внъшнемъ, а присуще ей самой, ея собственной природъ. На какомъ-ни-

будь представленіи или понятіи о предметь мысль можеть остановиться какь на достовърной истинъ, когда весь ея запрось исчерпанъ, когда дъло для нея совершенно ясно, и добытое знаніе вполнъ и окончательно ее удовлетворяеть. А что если она остановится раньше, не дойдя до конца? Это, конечно, можеть случиться и слишкомь часто случается съ мыслью Ивана Ивановича, или Петра Петровича. Если эта мысль, остановившись, простодушно заявить: я устала, не могу идти дальше! — то такая частная бъда къ дълу не относится, ибо помогать слабымъ есть задача практической благотворительности, а не теоретической философіи. Если же по самообольщенію, или по склонности къ шарлатанству остановившаяся мысль провозгласить: я дошла до конца, больше идти некуда, я уперлась въ ту стъну, около которой мужики на небо зипуны въшають, то ничто не мъшаеть другой болъе добросовъстной мысли хорошенько пощупать эту стъну, не есть ли она со всъмъ этимъ небомъ и со всъми мужицкими зипунами — только бумажная декорація?

Итакъ, въ мърить истины заключается понятіе добросовъстности: настоящее философское мышленіе должно быть добросовъстнымъ исканіемъ достовърной истины до копца. Но, требуя отъ мышленія добросовъстности, не вводимъ ли мы нравственный элементъ въ теоретическую философію, не подчиняемъ ли мы ее этикъ? Но развъ теоретическая философія обязалась заранъе — ни въ какомъ случаъ, ни въ какомъ смыслъ и ни съ какой стороны не допускать въ себя правственнаго элемента? Такое обязательство было бы, напротивъ, предубъжденіемъ, противнымъ самому существу теоретической философіи. Поскольку нравственный элементъ требуется самими логическими условіями мышленія, онъ не только можетъ, но долженъ быть положенъ въ основу теоретической философіи. Такъ оно и есть въ настоящемъ случаъ.

Попробуемъ мысленно устранить это требованіе отъ философскаго мышленія — быть добросовъстнымъ исканіемъ истины до конца, попробуемъ серьезно утверждать, что философское мышленіе не нуждается въ добросовъстности и послъдовательности. Что собственно значило бы такое утвержденіе? Дозволеніе въ исканіи истины обманывать себя и другихъ, т. е. стремиться къ истинъ посредствомъ лжи, есть совершенная безсмыслица, пока цълью остается сама истина; слъдовательно, устранить требованіе добросовъстности отъ философіи можно, только допустивши въ нее другіе интересы по-

мимо и вопреки интересу истины. Кто позволяетъ своему мышленію уклоняться отъ изысканія чистой истины, кто находить возможнымъ кривить душою въ этомъ дѣлѣ, тотъ, конечно, имѣетъ для этого какой-нибудь мотивъ, значеніе котораго перевѣшиваетъ въ его умѣ интересъ къ истинѣ; если онъ не остается ей вѣренъ до конца, то, разумѣется, лишь въ силу чего-нибудь такого, что для него важнѣе и дороже, чѣмъ она. Но философія отличается отъ всего другого, и философскій умъ — ото всякаго иного лишь тѣмъ пменно, что интересъ чистой истины есть здѣсь самое важное и цѣнное и ничему другому подчиненъ быть не можетъ; слѣдовательно, отказъ отъ добросовѣстнаго исканія истины до конца есть отказъ отъ самой философіи.

Такимъ образомъ наше требованіе или первоначальный критерій истины есть собственно не болѣе какъ аналитическое сужденіе, которое можетъ быть сведено къ простому тождеству: философское мышленіе должно быть вѣрнымъ себъ, или, еще проще: философія есть философія, A = A. Очевидно, въ требованіи умственной добросовѣстности нравственный интересъ совпадаетъ съ теоретическимъ.

Требованіе отъ философа этого рода добросовъстности, или неуклоннаго исканія истины, не только весьма часто нарушается на практикъ, но иногда принципіально оспаривается подъ разными благовидными предлогами; поэтому я и счелъ необходимымъ указать на логическую сущность этого требованія, рискуя показаться педантичнымъ. Но лучше быть принятымъ за педанта, чъмъ за контрабанписта.

VI.

Имъть въ виду съ начала и до конца мыслительнаго процесса одну чистую истину безъ всякихъ произвольныхъ предположеній и стороннихъ цѣлей — такое основное требованіе и послѣ того, какъ оно принято въ принципѣ, можетъ вызывать сомнѣніе съ другой стороны. Гдѣ ручамельство дѣйствительнаго исполненія, и гдѣ доказательства неисполненія этого требованія въ каждомъ случаѣ? Тутъ уже спрашивается не о самомъ мышленіи въ его внутреннемъ направленіи, а о наружныхъ признакахъ, по которымъ можно было бы оцѣнивать его качество, уже выразившееся объективно. Но хотя бы такіе признаки и существовали, нѣтъ ни надобности, ни возмож-

ности опредълять ихъ заранъе: въдь прежде, чъмъ стать предметомъ чужой оцънки — снаружи, мышленіе подлежитъ непосредственно внутренней самооцънкъ. Оно такъ же автоматично (самозаконно), какъ и нравственная воля:

Ты самъ свой высшій судъ!

Въ самомъ мыслящемъ умѣ есть знаніе о существенной доброкачественности или недоброкачественности своето мышленія въ каждомъ дѣйствительномъ случаѣ, а со стороны ему можетъ бытъ предъявлено лишь такое общее требованіе съ такою общею санкціей: мысли дебросовѣстно, будь вѣренъ самому себѣ, не уклоняйся до конца отъ чистаго стремленія къ истинѣ, — иначе твое мышленіе не дастъ ничего прочнаго и удовлетворительнаго. Другими словами: только настоящее подлинное философствованіе создаетъ настоящую доподлинную философію, только идущій къ истинѣ приходитъ къ ней, А — . Вотъ единственный основной критерій, а по однимъ наружнымъ признакамъ не только философскія мысли, но и лошадей на базарѣ безошибочно не распознаешь: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ найдется довольно цыганъ, ловкихъ зубы заговаривать.

Вся обязанность теоретическаго философа како такого состочить лишь въ ръшении и способности отвлекаться въ своемъ дълъ ото всъхъ возможныхъ интересовъ, кромъ чисто-философскаго, забыть сперва о всякой другой волъ, кромъ воли обладать истиною ради нея самой.

Но хотя теоретическое мышленіе можеть и должно оставить въ сторонъ отношеніе своего предмета къ практической воль, это не значить, однако, чтобы оно могло брать свой предметь внѣ всякаго отношенія. Такое требованіе мыслить предметь въ его абсолютной безотносительности не имъло бы смысла, ибо самый актъ мышленія о предметъ есть нѣкоторое соотношеніе между нимъ и мыслью, отъ котораго отвлечься значило бы для мысли отвлечься оть самой себя. Безъ этого соотношенія предметъ былъ бы совершенно невъдомъ и немыслимъ, т. е. его вовсе не было налицо, не о чемъ было бы говорить, и не могъ бы возникнуть самый вопросъ о достовърности мышленія въ смыслѣ знанія, или вопросъ о томъ, имѣется ли и при какихъ условіяхъ имѣется право принимать существованіе предмета въ мыслы, или соотносительно съ мыслью — за свидѣтельство его подлиннаго существованія и сущности?

VII.

Теоретическая философія, отвъчая чисто-умственному интересу, ставить вопрось объ истинъ въ ея отношеніи къ знанію, или разсматриваеть свой предметь не со стороны его нравственнаго, или вообще практическаго, а лишь со стороны его умственнаго достоинства, которое состоить прежде всего въ достовърности; и такъ какъ предметь не существуеть для насъ иначе какъ чрезъ наше знаніе о немъ, то вопрось о достовърности предмета есть собственно вопрось о достовърности знанія о немъ.

Существуетъ множество различныхъ знаній житейскихъ, научныхъ, религіозныхъ, имѣющихъ свою относительную достовѣрность, совершенно достаточную для практическихъ цѣлей. Но основной вопросъ теоретической философіи имѣетъ въ виду достовѣрность самого знанія по существу. Знаніемъ вообще называется совпаденіе данной мысли о предметѣ съ его дѣйствительнымъ бытіемъ и свойствомъ. Какимъ образомъ возможно вообще такое совпаденіе и чъмъ удостовъряется его дъйствительность въ каждомъ случаь?

Несомнънно, мы обладаемъ нъкоторымъ родомъ знанія, достовърность котораго безусловна и не подлежитъ добросовъстному оспариванію; такое знаніе мы и должны взять исходной точкой при разръшеніи гносеологической задачи. Но при этомъ нужно быть осторожнымъ. Нельзя начинать съ какого-нибудь отвлеченнаго опредъленія этого рода знанія, ибо ко всякому такому опредъленію непремънно примъшаются предвзятые понятія и взгляды, которые сдълають наше разсуждение въ дучшемъ случав неудовлетворительнымъ, а въ худшемъ — обманчивымъ. Начиная съ общаго опредъленія, мы волейневолей нарушимъ основное требование добросовъстнаго мышления не допускать произвольныхъ или непровъренныхъ предположеній. Всякая отвлеченная формула имбеть слишкомъ растянутую границу, и нътъ возможности закрыть ее для мыслей-контрабандистокъ, которыя вмъстъ съ несомнънно законнымъ всегда готовы провести и неоправданныя на умственной таможит истины, и даже прямо фальшивыя деньги — заблужденія. Итакъ, необходимо начать сперва простымъ описательнымъ указаніемъ основного и безспорнаго знанія, взявши его in concreto.

Сегодня, послъ ранняго объда, я лежалъ на диванъ съ закрытыми глазами и думалъ о томъ, можно ли признать подлиннымъ Платоновъ

«Алкивіадь Второй». Открывъ глаза, я увидалъ сперва висящій на стънъ портретъ одной умершей писательницы, а затъмъ у противоположной стъны желъзную печку, письменный столь и книги. Вставши и педейдя къ окну, я вижу посаженные подъ нимъ турецкіе 5обы съ красными цвътами, дорожку садика, далъе проъзжую дорогу и за нею уголъ парка; является какое-то сначала неопредъленное, бодъзненное ощущение, но сейчасъ же опредъляется какъ воспоминание о прекрасной молодой ели въ паркъ, которую сосъдний мужикъ Фирсанъ воровскимъ образомъ срубилъ для своихъ личныхъ цълей; я чувствую сильную жалость къ бъдному дереву и крайнее негодование на глупость этого Фирсана, который легко могь бы безъ всякаго нарушенія божескихъ и человъческихъ законовъ добыть необходимыя ему для никольскаго кабака деньги, попросивши ихъ у меня. «Въдь встрвчался со мною, въ лицо знаетъ, кланялся анаеема!» шаюсь настаивать передь владъльцемъ парка на дъйствительныхъ мърахъ для его охраны. Видъ сіяющаго дня успокапваетъ нъсколько душевное волненіе и возбуждаеть желаніе пойти въ паркъ наслаждаться природой, но вмъстъ съ тъмъ чувствуется расположение писать о гноссологическомъ вопросъ; послъ нъкотораго колебанія второе намъреніе побъждаетъ, я иду къ столу, беру перо — и просыпаюсь на диванъ. Придя въ себя и удивившись яркости и реальности сновидвнія, я подошель къ окну, увидвль, конечно, то же, что и во снв, испыталь снова тъ же ощущенія и послъ нъкотораго колебанія между двумя желаніями — идти гулять, или заниматься философіей, остановился на последнемъ и сталъ писать (начиная со словъ «теоретическая философія, отвъчая чисто-умственному интересу») то, съ чъмъ сейчасъ познакомился читатель, для успокоенія котораго спъщу теперь замътить, что остальная часть дня проведена мною въ бодрственномъ состояніи, и что снова заснулъ я лишь ночью, легши въ постель.

Изъ описаннаго здёсь со всевозможною точностью факта при внимательномъ взглядѣ легко вывести двоякое свидѣтельство: о присутствіи въ нашемъ знаніи элемента безусловной, непосредственной и неоспоримой достовърности и о непреложныхъ границахъ такой достовърности.

VIII.

Если бы во время только что описаннаго сновиденія меня спросили: знаю ли я, что действительно вижу то-то, думаю о томь-то,

испытываю такое-то чувство и желаніе, принимаю такое-то рѣшеніе, исполняю такое-то движеніе, — словомъ, переживаю вст описанныя состоянія, — я, конечно, сказаль бы: да, знаю, и при томъ съ безусловною достовърностью, не требующею доказательства и не подлежащею оспариванію. И затъмъ, проснувшись, я долженъ бы былъ по совъсти подтвердить этотъ мой отвътъ относительно прошедшаго сна. Пусть этого не было на яву, но это было. То, что (was? quid) мет видълось, не было дъйствительностью въ данный моменть, но что (dass, quod) оно меть видьлось — есть фактъ дъйствительный и безусловно достовърный. Конечно, эта достовърность принадлежитъ сновидънію лишь въ процессъ его явленія, — дальнъйшее воспоминаніе можеть быть по существу совершенно обманчивымь; но въ такомъ случат самый фактъ воспоминанія, хотя бы объективно-ложнаго, остается все-таки безусловно достовърнымъ въ указанномъ смысль, т. е. какъ наличное субъективное состояніе. Вообще во сив ли, на яву ли, испытывая извъстныя внутреннія состоянія и дъйствія: ощущенія, представленія, душевныя волненія, желанія, ръшенія и т. д., — мы вмёстё съ тёмъ знаемъ, что испытываемъ ихъ, и это знаніе факта, непосредственно и нераздъльно связанное съ самимъ фактомъ, съ нимъ и при немъ неотлучно находящееся и потому справедливо называемое со-знаніемъ, con-scientia, Bewusstseyn (т. е. Bei — wusstseyn), должно быть признано безусловно достов † рнымъ, ибо зд † сь знан † е непосредственно совпадаетъ со своимъ предметомъ, мысль есть простое повтореніе факта, сужденіе есть выраженіе чистаго тождества: A = A.

Пока не нарушено это непосредственное тождество между сознаніемъ и его предметомъ, мы находимся на почвъ безусловной достовърности и не можемъ ошибаться. Пока знаніе покрываетъ только наличный фактъ, оно причастно всей его несомнънности; между такимъ знаніемъ, т. е. чистымъ сознаніемъ, и его предметомъ нельзя продъть и самой тончайшей иглы скептицизма.

Безусловная самодостовърность наличнаго сознанія есть коренная истина философіи, и съ ея утвержденія начинается каждый обширный кругъ философскаго развитія. Въ преддверіи древней философіи, въ нѣкоторыхъ изъ Упанишадъ съ дѣтскимъ восторгомъ возвѣщается эта истина, яснѣйшее ея изложеніе находимъ у родоначальника средневѣковой философіи, блаженнаго Августина, и ею же черезъ двѣнадцать вѣковъ начинаетъ новую философію Декартъ.

Свою безусловную достовърность чистое сознаніе, или знаніе о психической наличности, искупаеть крайнею теснотой своихъ предъловъ. Это знаніе при своей безспорности само по себъ очень скудно и никакъ не можетъ удовлетворить стремленію ума къ истинъ. Что мнъ до того, что я съ абсолютною достовърностью знаю тотъ фактъ, что мною испытывается то-то, или то-то, что мнъ представляются такіе-то и такіе-то предметы, когда это безспорное знаніе не только не открываетъ мнъ сооственной природы испытываемаго и представляемаго, но даже не можеть отвътить на вопросъ: во снъ ли, или на яву все это мною испытывается и представляется, ибо та субъективная дъйствительность, за которую одну только ручается сознаніе, равно достовърна въ обоихъ случаяхъ. А какъ только мы хотимъ распространить это свидътельство сознанія за предълы внутренней наличности, такъ сейчасъ же теряется его безусловная достовърность, и открывается съ возможностью ошибокъ законное основаніе для всякихъ сомнъній.

Вы видите передъ собой пылающій каминъ и съ безспорнымъ правомъ утверждаете безусловную достовърность этого факта, т. е. присутствіе извъстнаго зрительнаго представленія съ опредъленными признаками цвъта, очертанія, положенія и т. д., — объ этомъ, но только объ этомъ, свидътельствуетъ ваше сознаніе, непосредственно повторяющее самый фактъ. Но если вы идете далъе и начинаете утверждать, что всь ощущаемыя вами теперь свойства камина, а равно и другія свойства и отношенія, которыя въ настоящій моменть не испытываются, но въ которыхъ вы темъ не менье уверены, какъ-то твердость и въсъ мрамора, изъ котораго сдъданъ этотъ каминъ, химическій составъ и т. д., — что всь эти свойства принадлежать некоторому реальному телу, существующему независимо отъ вашего теперешняго представленія, засвидътельствованнаго непосредственнымъ сознаніемъ, то вы, очевидно, переходите изъ области достовърнаго факта въ область спорныхъ предположеній, о которыхъ чистое сознаніе какъ такое, т. е. самый факть сознанія, не даеть никакого прямого показанія, и ошибочность которыхъ можетъ скоро обнаружиться. Вы несомнънно видите этотъ каминъ, но, можетъ быть, лишь въ сновидении, какъ я въ описанномъ сне несомненно ощущаль себя видящимь различные предметы и подходящимь къ окну и потомъ къ столу, между тъмъ какъ неподвижно лежалъ на диванъ съ закрытыми глазами. Итакъ, въ этомъ случат ваше утвержденіе относительно матеріальной твердости и самостоятельной реальности видимаго вами камина оказалось бы явно ошибочнымъ, ибо всё согласны въ томъ, что сонныя грёзы не творять твердыхъ и непроницаемыхъ тёлъ, и никто еще не приписывалъ независимаго бытія тёмъ или другимъ частямъ сновидѣнія, внё самаго явленія.

Но и помимо сна, предполагая бодрствующее состояніе, чистое сознаніе факта, что вы видите этоть каминь, не заключаеть еще само по себъ никакого свидътельства и никакого ручательства насчеть собственнаго бытія этого предмета: онъ можеть оказаться оптическимь фокусомь, или галлюцинаціей.

Тотъ несомевнный фактъ, что человъкъ, утверждающій данную наличность извъстнаго предмета, можетъ однако въ нъкоторыхъ случаяхъ оказаться совершенно обманутымъ, т. е. принимающимъ призракъ предмета, напр. камина, за его реальность, — этотъ фактъ нисколько не подрываеть безусловной достовърности чистаго сознанія въ его собственныхъ предълахъ: ибо во всякомъ случав остается здъсь безспорнымъ существование для даннаго сознания въ данный моменть того представленія, которое обозначается словомь каминь и которое имъетъ извъстные опредъленные признаки зрительнаго очертанія, положенія и т. д., одинаковые при сновиденіи, при галлюдинаціи, при оптическомъ фокуст и при нормальномъ воспріятіи, ибо каминъ всегда есть каминъ, а не шахматная доска и не самоваръ, вижу ли я его во свъ, или на яву, въ зеркалъ, или прямо передъ сообю. Во всьхъ этихъ случаяхъ имъется налицо одинаково достовърный фактъ: данное сознание непосредственно занято извъстнымъ опредъленнымъ представленіемъ. Свидътельство чистаго сознанія этимь фактомъ и ограничивается и, слѣдовательно, не можеть оши-баться. На вопросъ о подлинной дѣйствительности, или, напротивъ, только видимости даннаго предмета непосредственное сознаніе не можето давать ошибочнаго отвъта, во-первыхъ, потому, что оно не даетъ на этотъ вопрось никакого отвъта, а во-вторыхъ, потому, что не ставитъ и самаго вопроса. Пока я непосредственно сознаю присутствіе передъ собою камина, я не спрашиваю: что это такое?

Самая возможность какого бы то ни было «обмана чувствъ»

Самая возможность какого бы то ни было «обмана чувствъ» именно и обусловлена первоначальною прямотою наличнаго сознанія, т. е. тъмъ, что оно не различаетъ заранъе видимости предмета отъ его дъйствительности, будучи занято лишь самимъ представленіемъ въ его фактической наличности, одинаковой и въ томъ и въ другомъ

случать. Если бы этого не было, если бы уже въ самомъ наличномъ сознаніи фактически испытываемыхъ состояній заключалось какоенибудь различеніе кажущагося отъ дъйствительнаго, то этимъ, очевидно, предотвращалась бы возможность всякихъ ошибокъ на этотъ счетъ: видя сонъ, я тутъ же всегда замъчаль бы, что это сонъ; подвергаясь галлюцинаціи или иллюзіи, я сразу бы видълъ, что это галлюцинація или иллюзія, — слъдовательно, не успъваль бы даже имъ подвергнуться въ смыслъ психологическомъ, а испытываль бы только физіологическую аномалію.

Но на самомъ дѣлѣ въ чистомъ сознаніи нѣтъ никакого разлитенія между кажущимся и реальнымъ, — для него все одинаково дѣйствительно, — а когда привходящая рефлексія принимаєтъ эту оезусловную самодостовѣрность субъективной наличности за указаніе на внѣшнюю реальность, то происходятъ тѣ ошибки сужденія, которыя издревле давали поводъ къ скептицизму, имѣющему однако своимъ предметомъ не данныя сознанія, никакому сомнѣнію не подлежащія, а только тѣ или другіе выводы изъ нихъ.

Мы не имъемъ права утверждать заранъе, чтобы вообще пс было никакихъ основаній и признаковъ для различенія кажущагося отъ подлинно существующаго, сновидънія отъ реальности, галлюцинаціи отъ дъйствительнаго происшествія, — мы увърены, напротивъ, что такія основанія и признаки должны существовать; несомнънно только, что они не находятся въ наличности сознаваемаго факта, и что на нихъ не можетъ распространяться присущая этой наличности непосредственная самодостовърность. Мы знаемъ, что привходящая къ фактическому сознанію работа ума подвержена ошибкамъ, и если отъ нихъ удастся освободиться и достигнуть полной достовърности, то это уже будеть другая достовърность, выходящая за предълы элементарной самоочевидности субъективнаго факта. Къ счастью, простое сознаніе (въ изъясненномъ смыслъ) есть основной и первоначальный, но не единственный родъ знанія.

XL

Если дъйствительное и абсолютно-самодостовърное сознаніе нисколько не ручается, какъ мы видъли, въ каждомъ частномъ случаъ за отдъльную и независимую отъ него дъйствительность данныхъ въ немъ фактовъ, каковы ощутительныя представленія протяженныхъ

тъль, пространственныхъ движеній и т. п., то мы, конечно, не имъемъ права утверждать, что дъйствительность внъшняго міра самого по себъ дана въ наличномъ сознаніи. На самомъ дълъ дана извъстная совокупность фактовъ ощутительныхъ, представляемыхъ. мыслимыхъ, называемая міромъ, но никакой гносеологической оцънки этихъ фактовъ, или этого факта, нельзя найти въ первичномъ сознани по самому существу его. Самое требование такой оцънки, или вопрось о собственной реальности вившняго міра не можетъ явиться въ непосредственномъ сознаніи, — не можетъ быть данъ, а только заданъ. Какъ только онъ ставится въ рефлектирующей мысли, такъ тотчасъ является въ ней же и первый предварительный ответъ: мы въримъ въ реальность внъшнято міра, и задачею философіи становится дать этой въръ разумное оправданіе, разъясненіе, или доказательство 3. Уклоняться отъ этой задачи подъ тъмъ предлогомъ, будто реальность внъшняго міра дана въ непосредственномъ сознаніи, значить, на мъсто философіи ставить произвольное и фальшивое милиіе. При всей распространенности такого мнънія его смутность и неосновательность видны уже изъ того, что оно спокойно уживается съ первоначальнымъ утвержденіемъ, что мы въримъ въ реальное бытіе внъшняго міра. Это утверждение принимается безъ возражений, и дъйствительно противъ него ничего дъльнаго сказать нельзя, а между тъмъ оно было бы совершенно нел'яго, если бы реальность вн'яшняго міра была дана въ непосредственномъ сознаніи, ибо нельзя върить въ то, что присутствуеть, или находится въ наличности. Я сказаль бы абсурдь, если бы сталь утверждать, что вирю вь то, что сижу теперь за столомъ и пишу это разсуждение: я не върю въ это, а сознаю это какъ наличную дъйствительность, испытываемую, а не утверждаемую. Я могу върить и въ самомъ дълъ совершенно увъренъ, что этоть наличный факть имъеть мъсто не во снъ, а на яву: это есть

³ Иногда въра называется непосредственным знаніемъ, и это справедливо въ сравнительном смыслъ, такъ какъ фактъ въры есть болъе основной и менъе опосредствованный, нежели научное знаніе, или философское размышленіе. Также говорять о непосредственномъ чувствъ или ощущеніи (напр., безконечнаго, Божества) опять-таки не въ безусловномъ смыслъ, а лишь по противоположенію съ рефлексіей (см. выше). Въ теоретической философіи и особенно въ гносеологіи слъдуетъ избъгать этихъ выраженій, оставляя слово "непосредственный" для чистаго сознанія данныхъ внутреннихъ состояній, какъ фактовъ.

предметъ въры (подлежащей затъмъ разумному оправданію) — именно потому, что этого не дано въ непосредственномъ сознаніи, которое само ничего не говоритъ о различіи между реальностью и видимостью; распространеніе же его внутренней самодостовърности на не подлежащій ему вопросъ о внъшней реальности ведетъ, какъ извъстно, къ ошибкамъ. И теперь моя увъренность въ томъ, что я бодрствую, могла бы, вообще говоря, оказаться ошибочной, и если эта отвлеченная возможность ошибки не имъетъ въ настоящемъ случат серьезнаго значенія, то лишь потому, что я могу оправдатъ свою увъренность различными разумными соображеніями, при чемъ мнъ и въ голову не придетъ ссылаться на непосредственное сознаніе, которое въ этомъ дълъ не имъетъ не только ръшающаго, но и совъщательнаго голоса, такъ какъ оно въ своей самодовлъющей простотъ не въдаетъ самого различія между видимостью и реальностью, между сномъ и явью. Непосредственное наше сознаніе видимаго міра такъ мало ру-

Непосредственное наше сознаніе видимаго міра такъ мало ручается за его собственную реальность, что такой трезвый мыслитель, какъ Декарть, считаеть сомнѣніе въ этой реальности необходимою предпосылкою философскаго изслѣдованія истины. Такое сомнѣніе было бы прямо невозможнымъ, если бы въ непосредственномъ сознаніи сверхсубъективной дѣйствительности или наличности фактовъ, составляющихъ міръ, была бы дана и ихъ собственная реальность. Но Декартъ понималъ, что первое не ручается за второе, и основательность его предварительнаго сомнѣнія только подчеркивается безуспѣшностью его дальнѣйшихъ попытокъ перейти безъ солиднаго моста на положительную почву.

X.

Самодостовърность наличнаго сознанія, какъ внутренняго факта, не ручается за достовърность сознаваемыхъ предметовъ, какъ внъшнихъ реальностей; но нельзя ли изъ этого сознанія прямо заключать о подлинной реальности сознающаго субъекта, какъ особаго самостоятельнаго существа или мыслящей субътанціи? Декартъ считалъ такое заключеніе возможнымъ и необходимымъ, и въ этомъ за нимъ досель слъдуютъ многіе ¹. И мнъ пришлось пройти черезъ эту точку зрънія, въ которой я вижу теперь весьма существенное недоразумь-

⁴ Въ русской философской литературъ талантливую и обстоятельную защиту этого спиритуалистическаго взгляда мы находимъ у московскаго профессора Л. М. Лопатина, какъ въ его диссертаціи

піе. Чтобы не усугублять его еще другимъ, я долженъ прежде всего заявить, что и теперь, какъ прежде, я имѣю твердую увѣренность въ собственномъ своемъ существованіи, а равно и въ существованіи всѣхъ обоего пола лицъ, входящихъ и даже не входящихъ въ перепись народонаселенія различныхъ странъ. Но я болѣе прежняго занитересованъ разумными основаніями такой увѣренности, и не только ради ихъ доказательной силы, но еще также ради той точности и отчетливости, которыя чрезъ раціональное изслѣдованіе сообщаются самимъ понятіямъ о предметѣ нашей увѣренности; пбо безъ такого изслѣдованія человѣкъ, наиболѣе увѣренный въ истинъ своего мнѣнія, не можетъ знать какъ слѣдуетъ, въ чемъ онъ собственно увѣренъ.

Итакъ, спрашивается: имъемъ ли мы въ простомъ или прямомъ сознаніи самодостовърное свидътельство о существованіи сознающаго, какъ этого подлиннаго субъекта? Есть ли такое существованіе нашего я самоочевидный фактъ сознанія, могущій быть выраженнымъ въ логически обязательной формъ?

XI.

Чтобы связать достовърность существованія субъекта сь тою простою самодостовърностью сознанія, которая присуща каждому его состоянію, Декартъ остроумно береть именно состояніе сомньвающаюся сознанія. Пусть я сомнъваюсь, — говорить онъ, — въ существованіи всего, но я не могу при этомъ сомнъваться въ существованіи самого сомнъвающагося, такъ какъ оно налицо въ самомъ фактъ сомнънія. Dubito ergo sum, или, общее: Cogito ergo sum 5. Такъ ли это?

Родоначальникъ новой философіи, основательно начиная свое дѣло съ непосредственной достовърности прямого или чистаго сознанія, т. е. знанія о данныхъ психическихъ состояніяхъ какъ такихъ, — былъ ли правъ, распространяя эту самодостовърность или самоочевидность на убъжденіе въ собственномъ существованіи субъекта?

[&]quot;Положительныя задачи философіи", такъ и въ рядъ послъдующихъ статей въ "Вопросахъ философіи и психологіи".

⁵ Хотя частица ergo придаеть этому утвержденію видъ формальнаго умозаключенія, но, какъ уже давно замѣчено, оно есть въ сущности лишь указаніе на предполагаемую самоочевидность факта. Самъ Декарть въ одномъ письмѣ называетъ свой принципъ "une connaissance intuitive" (Oeuvres choisies de Descartes, стр. 414).

Можно упрекать Декарта не за то, конечно, что онъ оставилъ позади себя предварительный скептицизмъ своей методы, а лишь за то, что онъ сдёлалъ это слишкомъ поспёшно.

Утверждаемая Декартомъ несомнынность существованія субъекта сейчась дівлаеть его точку зрівнія сомнительною. Въ самомъ дълъ, ему приходится настаивать на томъ, что сомнъваться въ собственномъ существовании субъекта невозможно. Между тъмъ такое сомивніе въ двиствительности бываеть. При встрыть съ нимъ, какъ фактомъ, картезіанцу пришлось бы его отрицать, т. е. отрицать дъйствительное явленіе на основаніи его невозможности, противъ чего скептикъ съ большимъ правомъ можетъ привести обратный аргументъ: я дъйствительно сомнъваюсь, слъдовательно, такое сомнъніе возможно — ab esse ad posse valet consequentia. Во всякомъ случать картезіанство должно уступить скептицизму свою первую позицію, самый фактъ спора доказываетъ, что дъло идетъ не объ истинъ самоочевидной, — о такихъ не спорятъ. Нужно уже для защиты картезіанскаго положенія доказывать, что скептикь, сомнъвающійся въ собственномъ своемъ существовании, неправильно мыслить; что онь не имъетъ ясныхъ и раздъльныхъ понятій о терминахъ вопроса и т. д. Итакъ, вмъсто исходной точки мышленія у насъ теперь предметь для изследованія.

Находятся ли достаточно ясныя и раздѣльныя понятія о терминахъ вопроса у Декарта? «Я вижу очень ясно, — говорить онъ, — что для того, ктобы мыслить, нужно быть» («Je vois très-clairement, que pour penser, il faut être». Discours de la méthode, 4-ème partie). Однако для объективной ясности и раздѣльности этого положенія слѣдовало бы точнѣйшимъ образомъ уяснить значеніе слова быть (être), которое несомивнно можеть употребляться въ различныхъ сиыслахъ. На свое «весьма ясное» усмотрѣніе того, что мышленіе предполагаетъ бытіе, Декартъ ссылается въ поясненіе своего основного принципа: «я мыслю, значитъ, я существую», котораго интуитивный характеръ (см. выше) не обезпечиваетъ его, какъ видно, отъ неясности. Итакъ, необходимо его подвергнуть старательному изслѣдованію.

XII.

Передъ нами три термина: мышленіе (Cogito, je pense), бытіе (ergo sum, donc je suis) и тотъ субъектъ, которому одинаково при-

надлежить и то и другое, который мыслить и темъ самымъ существуеть. Изъ этихъ трехъ терминовъ Декартомъ дъйствительно выяснень только первый — мышленіе. Въ различныхъ мъстахъ его фидософскихъ произведеній съ полною ясностью и несомнънностью показано, что подъ мышленіемъ онъ разумфетъ всякое внутреннее психическое состояние, сознаваемое какъ такое, т. е. безотносительно къ его дъйствительнымъ или предполагаемымъ предметамъ, а также независимо отъ какой бы то ни было оцънки этого состоянія съ точки рвнія твхъ или иныхъ нормъ теоретическихъ, или практическихъ. То мышленіе, изъ котораго исходить Декарть, есть только замьчаемый факть психического происшествія — и ничего болье: то самов, что выше нами разсматривалось какъ сознание въ тесномъ смысле, какъ тождественная со своимъ содержаніемъ прямая, простая или непосредственная форма сознанія. Мышленіе въ этомъ смыслъ есть нъчто самодостовърное и не можетъ вызвать никакого сомнънія, спора или вопроса. Нельзя сказать того же о мыслящемъ, или субъектъ.

Конечно, наше сознаніе самихъ себя есть фактъ несомнъпный. но что же собственно мы сознаемъ, когда сознаемъ себя? У Декарта яснаго и опредъленнаго отвъта мы не находимъ. Онъ вездъ предполагаеть, что мышленіє принадлежить какой-то особой отличной отъ тъла реальности, которую онъ безразлично называеть душою (âme), духомъ (esprit), мыслящею вещью (res cogitans, chose qui pense), наконецъ, умственною субстанціей (substance intelligente). Когда ему возражали, что настоящій субстракть мышленія можеть заключаться въ тълъ, и что поэтому выводить безтълесность души изъ факта мышленія можно только, предполагая именно то, что должно быть доказано, — онъ отвъчаль: я призналь въ себъ мышленіе. которому я даль названіе духа, и этимь названіемь я не хотьль обозначить ничего другого, какъ только то, что мыслить (rien de plus qu'une chose qui pense); значить я не предполагаль, что духъ безтълесенъ, а доказалъ это въ моемъ шестомъ «Размышленіи», и слъдовательно, я не впадаль въ petitio principii 6. Дъйствительно въ шестомъ метафизическомъ размышленіи доказывается безтълесность мышленія, откуда однако ничего нельзя заключить относительно мыслящаго, какъ чего-то отличнаго отъ мышленія. Если же такого от-

⁶ Oeuvres choisies de Descartes. Изд. Garnier, стр. 180.

личія и нътъ вовсе (къ чему очень близокъ смыслъ приведенныхъ словъ), то зачъмъ же давать два названія съ такимъ различнымъ значеніемъ одному факту?

Несомнънно есть мышленіе (въ Декартовскомъ смыслъ), какъ фактъ замъчаемых ощущеній, представленій, волненій и составляємых понятій, сужденій, умозаключеній, рышеній. Одно изъ являющихся въ мышленіи понятій есть понятіе я, или субъекта, имъющее то свойство, что оно связывается со всъми прочими мысленными фактами (или данными состояніями), какъ привходящій вторичный актъ. Является, положимъ, или видится красный кругь на четыреугольномъ зеленомъ полъ; первичный фактъ сознанія въ данномъ случаъ состоить только вь томь, что замьчается такой кругь на такомь поль: воть онь! — но сейчась же привходить акть причисленія этого частнаго факта къ цълому ряду или группъ такихъ фактовъ, связанныхъ однимъ мысленнымъ субъектомъ, и такимъ образомъ выходить: я вижу красный кругь на зеленомъ четыреугольникъ. Какъ функція неопредъленнаго ряда психическихъ фактовъ, это я естественно выдъляется изъ ихъ совокупности, выносится, такъ сказать, за скобку и принимаетъ видъ чего-то самостоятельнаго, т. е. является мысль, что логическій субъекть сознаваемаго ряда явленій есть выраженіе чего-то болье реальнаго, чьмъ эти явленія. Чего же однако? Забудемъ на минуту о всякой метафизикъ и обратимся къ общему людскому мнънію, которое во всякомъ случат, насколько оно извъстно, есть одно изъ данныхъ при ръшеніи философской задачи и въ этомъ качествъ имъетъ право голоса на нашемъ предварительномъ совъщани (sine praejudicio противъ дальнъйшей провърки).

Чтобы имъть человъческое мнъніе, не испорченное предубъжденіями, спросимъ только что приходящихъ въ сознательный возрастъ дътей. Несомнънно, что настоящимъ носителемъ своего я они считаютъ свое тѣло; произнося свое имя, они для объясненія, къ кому, къ какому реальному субъекту оно относится, съ полною увъренностью показываютъ пальцемъ себъ на грудь, на животъ, или на голову. Если мы возъмемъ памятникъ историческихъ дътскихъ лътъ собирательнаго человъка — «Иліаду», то на первой же страницъ найдемъ тотъ же самый взглядъ. Гнъвъ Ахиллеса, затянувшій войну, послаль въ Аидъ множество душъ или тъней храбрецовъ, самихъ же ихъ распростеръ въ полѣ на добычу хищныхъ птицъ и звърей. Самъ человъкъ, реальный субъектъ, есть тъло, даже мертвое, а Декартова

chose qui pense есть только *тинь*. — И теперь консервативный англійскій народь, говоря о человъческомъ субъектъ, называетъ его тъломъ: нъкто, или кто-нибудь по-англійски some body, или апу body, т. е. нъкоторое *тыло*, никто — по body, т. е. никакое тъло, кто-нибудь другой — some body else, т. е. какое-нибудь другое тъло.

Итакъ, по первоначальному человъческому воззрънію, реальный субъектъ психической жизни, настоящее наше я, или мы сами, это тълесный организмъ. Это естественное мнъніе, какъ увидимъ впоследствін, не будучи само истиною, связано со многими важными истинами; взятое же въ отдъльности, виъ этой связи, оно конечно не выдерживаеть и самой элементарной философской критики. Слъдуеть заметить, что «методическое сомнение» не помешало самому Декарту заплатить невольную и довольно крупную дань этому наивно-реалистическому воззрѣнію. Достаточно вспомнить его психологію съ матеріальнымъ съдалищемъ души въ одномъ пунктъ мозга (glandula pinealis) и съ беззаботнымъ употребленіемъ термина «духъ», который въ «Метафизическихъ размышленіяхъ» выражаеть безтълеснаго субъекта мысли, или даже само мышленіе (см. выше), а въ пругихъ сочиненіяхъ, напр. въ трактатъ des passions de l'ame, служитъ для обозначенія особыхъ не то токовъ, не то газовъ (esprits animaux), грубо-механически действующихь въ животномъ теле.

XIII.

Предполагать тело какъ настоящій субстракть мышленія, какъ то, что мыслить, мы не имѣемъ философскаго права уже потому, что собственное бытіе тела, какъ и другихъ чувственныхъ предметовъ, еще не доказано. До сихъ поръ мы имѣемъ право утверждать лишь самодостовърное или самоочевидное, т. е. то, что дано въ чистомъ сознаніи, которое, какъ мы видимъ, свидѣтельствуетъ лишь объ ощущеніяхъ, представленіяхъ и другихъ психическихъ состояніяхъ безъ всякаго отношенія къ реальности соотвътствующихъ предметовъ, ибо чистое сознаніе (или, по Декарту, мышленіе) съ равною силой свидѣтельствуетъ о помянутыхъ психическихъ состояніяхъ и тогда, когда даже наивный реализмъ долженъ признаться, что никакихъ реальныхъ предметовъ не дано (во снѣ, при галлюцинаціяхъ и т. д.).

Итакъ, возвращаясь вмѣстѣ съ Декартомъ къ точкѣ зрѣнія методическаго сомнѣнія, будемъ твердо помнить, что никакого внѣш-

няго міра, никакихъ чувственныхъ предметовъ и реальныхъ происшествій намъ не дано, а извъстень лишь рядь внутреннихъ явленій, составляющих в содержаніе чистаго сознанія или мышленія. Но pour penser il faut être, мышленіе предполагаеть существованіе мысдящаго. Мы не знаемъ еще однако, что такое бытіе, или существованіе, (кром'ь того, что дано въ чистомъ сознаніи и о чемъ ніть вопроса), а главное — мы все еще не узнали, что такое самъ этотъ мыслящій (помимо являющейся въ чистомъ сознаніи мысли и понятія о мыслящемъ). Ясно однако, что нътъ смысла ставить и ръшать вопросъ о существовани чего-нибудь, когда неизвъстно, что это такое. Когда Декартъ для выраженія сущности субъекта называеть его res cogitans, substantia intellectualis, seu spiritualis, то намъ извъстно (изъ внутренняго опыта, или чистаго сознанія) только содержаніе причастій и прилагательныхъ, а существительныя остаются во мракъ. Термины res substantia, которые именно должны обозначать самого субъекта, поскольку онъ есть нъчто большее, чъмъ атрибутъ мышлунія, — эти главные термины взяты Декартомъ безъ всякой критической провърки изъ той самой схоластики, которую прежде всего должно было выкинуть за борть методическое сомнъние и къ которой нашъ философъ вообще относился съ большимъ пренебрежениемъ. Въ своихъ «Метафизическихъ размышленіяхъ» и приложеніяхъ къ нимъ онь не даеть никакого объясненія или выведенія этихъ терминовъ. Въ «Principia» есть только схоластическое опредъленіе субстанціи, но безъ всякаго указанія на возможность какого-нибудь реальнаго сопержанія для этого понятія.

Декартовскій субъекть мышленія есть самозванець безь философскаго паспорта. Онъ сидъль нѣкогда въ смиренной келін схоластическаго монастыря, какъ нѣкоторая entitas, quidditas, или даже haecceitas. Наскоро переодѣвшись, онъ вырвался оттуда, провозгласиль cogito ergo sum и заняль на время престоль новой философіи. Однако ни одинь изъ его приверженцевъ не могь толкомъ объяснить, откуда взялся этотъ властитель думъ. и кто онъ такой.

Всего курьезнъе ръшается вопросъ позднъйшимъ издателемъ и благоговъйнымъ комментаторомъ Декарта, извъстнымъ Викторомъ Кузеномъ. Знаменитый принципъ cogito ergo sum есть утвержденіе личнаго существованія (l'existence personnelle). Декартъ «знаетъ умственный пріемъ (le procédé intellectuel), открывающій намъ личное существованіе, и онъ описываетъ этотъ пріемъ такъ же и еще

болъе точно, чъмъ какой-либо изъ его противниковъ. Это не есть, по Декарту, умозаключеніе, а одно изъ тъхъ первичныхъ понятій (conceptions premières), которымъ сто лътъ спустя Ридъ и Кантъ доставили такую знаменитость подъ именемъ конститутивныхъ принциповъ человъческаго ума и категорій разсудка» 7.

Разумвется, искать такихъ вещей, какъ l'existence personnelle въ таблицѣ кантовыхъ категорій столь же тщетно, какъ и въ таблицѣ умноженія. Рѣчь идеть, очевидно, о другомъ Кантѣ, подобно тому, какъ Юрій Милославскій, сочиненный Хлестаковымъ, былъ другой, а не тотъ. На слѣдующей страницѣ читаемъ: «Отъ личнаго существованія, или отъ человѣчества (человѣчности? — l'humanité) Декартъ восходить къ Богу и нисходить затѣмъ къ вселенной. Личное существованіе есть краеугольный камень постройки; все имъ держится; оно держится только собою. Душа доказываетъ Бога и чрезъ Него — вселенную; но никакой предшествующій принципъ не доказываетъ душу; ея достовѣрность первоначальна; она намъ открыта (elle nous est révélée) въ отношеніи (dans le гаррогt) мысли къ мыслящему существу» в. Вотъ такъ категоріи! Можно считать такія вещи, какъ ехіstеnce personnelle, humanité, âme, — за самый прекрасный товаръ, но нельзя не видѣть, что это сплошная контрабанда.

XIV.

Отъ несомивнато и самодостовърнато факта мышленія авторъ «Ръчи о методъ» прямо перескочиль къ субъекту метафизическому, унаслъдованному отъ схоластики, но оказавшемуся у него еще болъе безсодержательнымъ, чъмъ тамъ. Были упущены изъ вниманія два другія различныя понятія субъекта, и это есть первое различеніе, которое долженъ сдълать всякій желающій bene docere 9.

Когда говорится: *я мыслю*, — то подъ я можетъ разумъться или чистый субъектъ мышленія, или же эмпирическій субъектъ, т. е. данная живая индивидуальность, — другими словами, субъектъ въ смыслъ отвлеченномъ, или субъектъ въ смыслъ конкретномъ. Не

⁷ Victor Cousin, Vrai sens de l'enthymème cartésien: je pense, donc je suis, въ приложени къ Oeuvres choisies de Descartes, стр. 433—434.

⁸ Тамъ же, стр. 435.

⁹ Старое правило: qui bene distinguit bene docet.

сдълавши съ самаго начала съ достаточною ясностью и отчетливостью этого необходимаго различенія, Декартъ впаль въ роковую путаницу, смъщавши вмъстъ признаки обоихъ понятій о субъекть и создавши незаконнымъ образомъ третье — несомнъннаго ублюдка, ибо, съ одной стороны, Декартова духовная субстанція до того отвлеченна, что совпадаетъ до неразличимости съ мышленіемъ вообще (см. выше), а съ другой стороны, она есть индивидуальное существо, или вещь (res, chose), засъдающее въ серединъ мозга каждаго отдъльнаго человъка. Я не говорю, что кромъ картезіанскаго ублюдка не можеть быть истиннаго третьяго понятія о субъекть. Но прежде всего нужно ясно различать два первыя. Чистый субъекть мышленія есть феноменологическій факть не менье, но и не болье достовырный, чъмъ всъ другіе. — т. е. онъ достовъренъ безусловно, но только въ составъ наличнаго содержанія сознанія, или какъ явленіе въ собственномъ, тъснъйшемъ смыслъ этого слова. Когда является въ сознаніи мысль о я, то это я очевидно есть факть психической наличности, или непосредственнаго сознанія. Я фактически дано, или является такъ же, какъ и все прочее. Когда я сознаю себя какъ видящаго этотъ портретъ, висящій на стінь, то оба термина этого даннаго отношенія имфють, конечно, одинаковую достовфрность. Это ясно какъ для общаго мнънія, или наивнаго реализма, такъ и для философской рефлексіи. Съ первой точки зрѣнія, и я, и то, что дано въ этомъ моемъ зрительномъ представленіи, существують равно реально и независимо другъ отъ друга, и если я остаюсь самимъ собою п сохраняю неизмѣнно свою реальность, смотрю ли на этотъ или на какой-пибудь другой предметь, а также и когда вовсе ни на что не смотрю, то въдь и эта стъна съ портретомъ также остается (для наивнаго мнънія) тъмъ же реальнымъ предметомъ, смотритъ ли на нее кто-нибудь, или не смотрить. Такое наивное мнъніе устранено методическимъ сомнъніемъ, указавшимъ, что безспорная дъйствительность принадлежить этой стънъ лишь какъ содержанію даннаго представленія, которому можеть быть не соотв'єтствуеть никакой другой дъйствительности; но точно также и видящее эту стъну я самодостовърнымъ образомъ существуетъ лишь какъ субъектъ представленія или другого даннаго психическаго состоянія, и принисывать ему безспорную или очевидную действительность за предвлами такихъ данныхъ состояній, мы не имъемъ никакого философскаго права, тъмъ болъе, что намъ даже невозможно прямо сказать, чъмъ бы собственно

быль этоть субъекть за предълами своего феноменологическаго бытія или имманентнаго явленія. Есть, правда, между чистымъ я и тыми психическими состояніями, съ которыми оно соотносится, то различіе, что послъднія многообразны и измънчивы, а сопровождаюшій всёхь ихъ мысленный субъекть — одинъ и тотъ же. Но это несомивнное различие между подвижною окружностью сознания и его постояннымъ центромъ не выходитъ за предълы феноменологической или имманентной области. Изъ того, что всевозможныя психическія состоянія соотносятся съ одною и тою же мыслью я, — никакъ не слъдуетъ, чтобъ это n было не мыслью, а чъмъ-то другимъ. Непремънный членъ какого-нибудь присутствія не есть въ этомъ качествъ представитель высшей инстанціи. Другое дело, если бы существовало сознаніе творческой д'ятельности нашего я въ самомъ возникновеніи его представленій, чувствъ, желаній и т. д., если бы между ними было такое различіе, что я выступало бы въ сознаніи какъ творческая энергія, или подлинный акть, а все прочее характеризовалось бы только какъ его пассивное произведение, — если бы, напримъръ, теперь, смотря на эту стъну съ висящимъ на ней портретомъ, я непосредственно сознаваль, что она произведена мною, моимъ собственнымъ внутреннимъ дъйствіемъ, а также сознавалъ бы и како это сдълано. Но не только по отношенію къ такимъ представленіямъ, которыя связаны съ такъ называемыми «внъшними чувствами» и принимаются наивнымъ мнъніемъ за независимыя реальности, но п относительно болье простыхъ внутреннихъ явленій, каковы желанія и душевныя волненія, никакого сознанія о нихъ, какъ о произведепіяхь субъективнаго творчества, не существуеть. Всякій сознаеть себя желающимъ и чувствующимъ, но, насколько извъстно, никто никогда, ни на яву, ни даже во снъ не сознаваль себя творцомъ своихъ желаній и чувствъ, т. е. ихъ настоящею причиной, или достаточнымъ основаніемъ. Выражая этоть факть въ схоластическихъ терминахъ, следовало бы сказать, что я сознаю себя всегда какъ только субъекта своихъ психическихъ состояній, или аффектовъ, и никогда какъ ихъ субстанцію 10. Такимъ образомъ, на почвъ наличной дъйствительности нътъ повода приписывать субъекту сознанія, како таковому другой реальности, кромъ феноменологической. Мы находимъ

 $^{^{10}}$ Этому отвъчаеть и этимологія двухъ словъ, subjectum и substantia: въ составъ перваго входитъ причастіе страдательное, а второго — активное.

его какъ постоянную форму, связывающую все многообразіе психическихъ состояній, какъ неизм'янный, но пустой и безцв'ятный каналь, черезъ который проходить потокъ психическаго бытія. И если мы однако не признаемъ себя или свое я такою пустотой и безцвътностью, то лишь потому, что подъ самодостовърнаго субъекта сознанія подставляемъ нічто другое, именно нашу эмпирическую индивидуальность, которая, конечно, можеть быть весьма содержательпою, но зато — увы! — не представляеть собой той самоочевидной непосредственной дъйствительности, которая принадлежить чистому и или феноменологическому субъекту. Когда я мыслю, я не могу соинъваться въ себъ какъ мыслящемъ, или въ этомъ я, какъ феноменологическомъ условіи даннаго мышленія, но ничто не мъщаеть усоиниться въ достовърности той самой эмпирической индивидуальности, которая до того представлялась действительнымъ и постояннымъ воплощениемъ этого я, или отождествлялась съ нимъ самимъ. Въ этомъ смыслъ можно, а предварительно и должно, сомнъваться въ собственномъ существовании. Туть нътъ никакого логическаго противоръчія, ибо сомнъвающійся и предметь сомнънія не будуть здъсь тождественны между собою: первый есть постоянный и неизмънный субъектъ сознанія — чистое я, а второй — та конкретная измъняющаяся въ своихъ очертаніяхъ и объемъ «процессирующая» (werdende) особь, отъ которой нефилософское ливніе не отличаетъ мыслящаго субъекта какъ такого. Практически существованіе этого конкретнаго я или человъческой индивидуальности предполагается какъ несомнънное, но изъять вопросъ о немъ изъ области теоретическаго или методическаго сомнънія значило бы сдълать изъ философіи, вмѣсто провѣреннаго знанія о безусловной истинѣ, только правильное разсудочное мнѣніе ($\partial Q \partial \dot{\eta} \ \delta \dot{\phi} \xi \alpha \ \mu \varepsilon \tau \dot{\alpha} \ \lambda o \gamma o \nu$).

XV.

Если такъ называемые обманы чувства (иллюзіи и галлюцинаціи) даютъ намъ право сомнѣваться въ достовѣрности ощущенія, какъ свидѣтельства о предметной реальности міра физическаго, то замѣчаемые, хотя и не столь часто, обманы самосознанія побуждають равнымъ образомъ сомнѣваться въ его показаніяхъ о подлинной дѣйствительности нашего психическаго субъекта.

Въ одномъ спеціальномъ изданіи не такъ давно сообщалось, что во время эксперимента по гипнотизму, во Франціи, одна скромныхъ

нравовъ молодая дъвица изъ рабочаго класса, подъ вліяніемъ внушенія, принимала себя, судя по ея минамъ, жестамъ, словамъ и поступкамъ, сначала за пъянаго пожарнаго, а потомъ за архіепископа парижскаго. Не ручаясь, конечно, за полную достовърность именно этого факта, привожу его только какъ примъръ многихъ компетентно засвидътельствованныхъ и занимающихъ науку случаевъ раздвоенія, растроенія и т. д. личности. Ясно, что такіе факты, хотя бы ихъ было гораздо меньше, въ корив подрывають мнимую самодостовърность нашего личнаго самосознанія, или обычную увъренность въ существенномъ, — а не формальномъ или феноменологическомъ только, тождествъ нашего я. Не количество сновъ, разумъется, а самый фактъ сновидънія имъль значеніе для Декартова сомнънія въ реальности внъшняго міра. Но если фактъ субъективныхъ призраковъ, принимаемыхъ спящимъ за внъшнюю реальность, колеблеть въ философъ абсолютное довъріе и къ той реальности, которую мы воспринимаемъ, повидимому, въ бодрственномъ состояніи, то и фактъ гипнотическаго джесознанія о своемъ я долженъ возбуждать предварительное недовъріе и къ тому самосознанію, которое, повидимому, не связано ни съ какой аномаліей. Въдь безусловнаго и внъшняго критерія для нормальности нашихъ состояній или готоваго ручательства за отсутствіе въ данномъ случат гипноза, или чего-нибудь подобнаго, мы, философски говоря, допустить не можемъ. Да и житейски говоря. какъ спящій обыкновенно не знаеть, что онъ спить, и безотчетно считаеть себя бодрствующимъ, или точнъе — не ставитъ вопроса о различіи этихъ состояній, такъ и загипнотизированный субъекть не отдаеть себь отчета въ своемъ положении, и чужія внушенія прямо принимаетъ за собственное самосознаніе. Следуетъ заметить, что формальный или феноменологическій субъектъ при этомъ вовсе не измъняется: я, мив, меня, мое — остаются какъ ни въ чемъ не бывало. Оно и не удивительно: субъекту сознанія какъ такому нечего измънять въ себъ, такъ какъ въ немъ самомъ по себъ ничего и не содержится, — это только форма, могущая съ одинаковымъ удобствомъ вмъщать психическій матеріаль всякой индивидуальности и модистки, и пожарнаго, и архіспископа.

XVI.

Фактъ мнимаго самосознанія прежде всего наводить на мысль, что древніе римляне не ошибались, можетъ быть, когда вмѣсто лице,

или личность, говорили личина («persona» первоначально значитъ «маска»). Если въ одномъ случат, какъ въ приведенномъ выше, тъ лица, въ видъ которыхъ опредъляется эмпирическое самосознание данной особи, безспорно признаются и житейскимъ мнъніемъ лишь за гипнотическія маски, невольно надітыя на себя субъектомъ другого пола и званія, то философски нельзя отрицать а priori и безъ изслъдованія возможности того же и во всякомъ другомъ случав. Какъ эмпирическій субъектъ, сознающій себя пьянымъ пожарнымъ, или же архіепископомъ парижскимъ, можетъ по общему признанію быть на самомъ дълъ молодою модисткой, такъ возможно и то, что данный теперь въ моемъ самосознаніи Владимиръ Соловьевъ, пишущій главу изъ теоретической философіи, есть въ дъйствительности лишь гипнотическая маска, надътая какимъ-нибудь образомъ на королеву мадагаскарскую Ранавало, или на госпожу Виргинію Цукки, — и если у меня нътъ положительныхъ основаній и поводовъ признавать такую метапросопопэю какъ фактъ, то нътъ также и философскаго права отрицать заранте и безусловно ея возможность. Положимъ, я не думаю серьезно, что я могу быть только гипнотическою маской постороннихъ женщинъ или мужчинъ; но въдь точно также я не думаю серьезно въ настоящую минуту и того, что эта комната, которую я вижу кругомъ себя, и этотъ садъ, который я вижу въ окно, могуть быть лишь субъективными состояніями моето сознанія; я твердо увъренъ въ являемой реальности этихъ предметовъ, однако незадолго передъ симъ я самъ могъ убъдиться, что на такую увъренность безусловно полагаться невозможно, и что методическое сомнъніе въ реальности внъшняго міра не есть праздная игра ума. Конечно, и Декартъ не думать серьезно, что весь окружающій его мірь можеть быть сновидініемь, произведеніемь его мысли, или обманомъ его чувствъ; и все-таки не напрасно положилъ онъ такую гипотезу въ основу философіи, и если его можно въ чемъ упрекать, то лишь въ томъ, что онъ слишкомъ поспъшно покинуль эту основу и вмъсто того, чтобы на ней возводить прочное зданіе провъреннаго мышленія, сталь строить догматическіе карточные домики на зыбкомъ пескъ полунаивнаго, полупедантичнаго реализма.

Во всякомъ случав и живая *сила* увъренности, практически устраняющей сомнъніе, и логическое *право* требовать отчета въ такой увъренности, и, наконецъ, философская *обязанность* не отка-

зывать въ этомъ требованіи — все это совершенно одинаково для обоихъ свидътельствъ: какъ для свидътельства эмпирической чувственности въ пользу реальнаго бытія внъшнихъ предметовъ, такъ и для свидътельства эмпирическаго самопознанія въ пользу подлинной дъйствительности нашего психическаго субъекта. Одинакова для обоихъ и польза методическаго сомнънія.

Я не хотъль бы ни уменьшать, ни преувеличивать важности этого сомивнія. Философское мышленіе должно быть искреннимъ, и я признаюсь откровенно, что я увъренъ не только въ дъйствительномъ существовании міра природнаго со всъмъ живущимъ въ немъ и не только въ бытіи своей души и тъла и въ тождествъ своей личности, но еще увъренъ и въ томъ, что съ Божьей помощью могу философски оправдать свою увъренность. Но именно ради этого и дорого предварительное методическое сомивние какъ отпосительно вившией, такъ и относительно внутренней реальности, ибо этимъ сомнъніемъ не только полагается начало философскаго процесса проверки нашихъ мніній, но и обусловливается желанный конець его, который никакъ не будеть простымъ возвращениемъ къ прежнему върованию, а полжень выразиться въ новомъ лучшемъ пониманіи міра, не только формально болье осмысленномъ, но и по существу глубоко преобразованномъ. Я не могу заранъе ручаться за такой результать будущей философіи, но знаю только, что безъ предварительнаго сомивнія во вськъ догматическихъ взглядахъ онъ совершенно невозможенъ. Впрочемъ, относительно внъшняго міра дъло уже наполовину сдълано. Если въ настоящее время точки эрвнія субъективнаго идеализма, солипсизма, иллюзіонизма едва ли представляются соблазнительными и опасными для какого-нибудь философа, то, съ другой стороны, не найдется, конечно, и такого мыслителя, который бы придаваль элементамъ и формамъ физическаго міра, веществу, пространству, времени — ту безотносительную реальность, какую опи имъють для умовъ непочатыхъ критическимъ сомнъніемъ. Но такой же, а мобыть и гораздо большій, переворотъ должна последовательная философская проверка нашихъ элементахъ и формахъ міра внутренняго; а первое условіе для этого есть методическое сомнение въ принятыхъ на веру ложеніяхь о психическомъ субъекть. Это сомньніе не есть игра въ жмурки, а необходимый возбудитель преобразовательной работы мышленія.

XVII.

Если въ обычномъ теченіи жизни сомнѣніе въ собственномъ существованіи или въ тождествѣ своей личности не имѣетъ практической серьезности, то ходячія мнимо-раціональныя соображенія, которыя противопоставляются этому сомнѣнію, еще менѣе могутъ бытъ признаны серьезными въ смыслѣ философскомъ. Указываютъ, напримѣръ, на то, что гипнотическій подмѣнъ самосознанія есть состояніе преходящее, кратковременное, вызванное опредѣленными искусственными причинами, тогда какъ нормальное сознаніе своего личнаго тождества непрерывно и связано со всею совокупностью прошедшаго опыта. Не говоря о томъ, что раздвоеніе и растроеніе личности бываетъ иногда долговременнымъ, правильно періодическимъ и независимымъ отъ посторонняго видимаго гипнотизированія, — приведенное выраженіе само по себѣ можетъ имѣть какой-нибудь смыслъ лишь на почвѣ нашето реализма.

Конечно, мив представляется, что я не со вчерашняго дня сознаю себя этимъ, а не инымъ субъектомъ, мое самосознание захватываеть значительную сумму явленій прошедшаго. Но что же такое собственно эта сумма прошедшаго? Развъ она лежитъ у меня въ карманъ или находится въ банкъ на текущемъ счету? Въдь она существуетъ въ данную минуту лишь какъ воспоминание, т. е. какъ состояніе сознанія, нераздъльное съ тъмъ, что я испытываю теперь, и само собою понятно, что въ случат иллюзіи самосознанія она включаетъ въ себя и иллюзію памяти: сознавая себя докторомъ философіи, а не мадагаскарскою королевою, я естественно могу и вспоминать, т. е. представлять, какъ прошедшее, университетские диспуты, лекціи, печатные труды, а не какія-нибудь сцены изъ африканской жизни. Виъсто доказательства моего личнаго тождества это могло бы быть ассоціаціей иллюзій во времени, какъ во снѣ бываетъ такая ассоціація иллюзій въ пространствь: такъ, перенесенный сновильніемъ въ Шотландію, я вижу шотландскіе озера и хол-Конечно, и та модистка, когда воображала себя парижскимъ архіепископомъ, если бъ ее навести на линію воспоминаній. вспомнила бы по всей въроятности не то, какъ ее отдавали къ мастериць на выучку, а то, какъ ее рукополагали въ священный чинъ.

XVIII

Увъренность въ самотождествъ эмпирическаго субъекта колеблется и независимо огъ фактовъ, открываемыхъ гипнозомъ и другими ненормальными состояніями. Разъ мы подвергаемъ вопросу собственную реальность витшнихъ существъ и предметовъ (а не подвергатъ ее вопросу значить отказаться оть философіи), мы логически не можемъ удержать реальность эмпирическаго субъекта, такъ какъ она неразрывно связана съ неопредъленнымъ множествомъ фактовъ внъшняго опыта въ пространствъ, времени и причинности и не можетъ имъть большей достовърности, чъмъ они. Конечно, отдъльные факты внъшняго опыта, съ которыми связано мое существованіе, могутъ быть заподозріны въ своей дійствительности безь замітнаго ущерба для моей увъренности въ собственномъ бытіи какъ этого лица; но другое дело, когда сомнение относится къ целымъ группамъ фактовъ, или даже ко всей ихъ совокупности. Въ мою увъренность, что я существую какъ Владимиръ Соловьевъ, т. е. какъ субъектъ, этого опредъленнаго жизненнаго содержанія, несомивнию, входить и увъренность, что я родился въ Москвъ, въ 1853 году, и крещенъ въ церкви Воскресенія, что на Остоженкъ, священникомъ Добровымъ. Конечно, если бы мнъ было доказано, что это ошибка, что на самомъ дълъ я родился въ другомъ мъстъ, въ другомъ году, и крещенъ другимъ священникомъ, то это не измънило бы твердости моего сознанія, тъмъ болье, что помянутые факты я принималь по довърію къ чужому свидътельству, а не по собственному воспоминанію. Но, слъдуя методическому сомнанію, я должень вадь допустить начто большее, не только то, что я родился не въ Москвъ и т. д., а еще и то, что самой Москвы вовсе нътъ въ дъйствительности, что этотъ городъ со всъми улицами и церквами въ немъ, а равно и все сословіе священниковь и даже самый чинъ крещенія — все это существуєть только въ моемъ сновидении, которое можетъ сейчасъ же исчезнуть безъ слъда; при такой мысли мое самосознаніе, конечно, должно сильно шататься, и необходимо является вопросъ: да я-то самъ — кто такой? А такъ какъ подобное сомнъніе въ реальности фактовъ должно быть допущено неограниченно относительно всего находящагося въ окружающемъ міръ, и такъ какъ всъ данныя моей физической, духовной и общественной жизни по самому содержанію, или понятію своему неотделимы отъ фактовъ внешняго міра, то съ устраненіемъ

всёхъ этихъ фактовъ, какъ сомнительныхъ, не останется и во миъ самомъ ничего несомнъннаго, — самодостовърность субъекта превратится въ пустое мъсто. Съ исчезновеніемъ всякой психологической дъйствительности индивидуальное я совпадаетъ съ безраздичнымъ феноменолегическимъ субъектомъ, и личное тождество сводится на форму тождества вообще А — А. Ничего большаго по праву не можетъ заключать въ себъ декартовское cogito ergo sum. Ибо съ устраненемъ внъшняго содержанія жизни необходимо устраняется и соотносительное съ нимъ внутреннее, и сохраняется только пустая форма.

XIX.

Итакъ, намъ все еще не дается подлинный субъектъ внутренняго міра: есть, съ одной стороны, самодостовърная, но совершенно пустая форма сознанія, а съ другой стороны — обильное, но призрачное его содержаніе. Указывають, правда, нъкоторый благовидный выходъ изъ этого заколдованнаго круга, именно чрезъ пониманіе нашего субекта какъ поменціи психологическаго бытія, способной переживать всѣ тѣ, хотя бы и обманчиво реализуемыя или объективируемыя состоянія, которыя образують всю нашу эмпирическую дъйствительность. Но и при такой уступкъ методическому сомнънію понятіе души, какъ пребывающей потенціи, не можеть быть пропущено безъ внимательнаго разсмотрънія его вида на жительство въ области теоретической философіи.

Мы имъемъ здъсь дъло не съ прямымъ фактомъ сознанія, а съ произведеніемъ рефлексіи, съ отвлеченнымъ понятіемъ. Оно отвлечено отъ нѣкоторыхъ фактическихъ отношеній внѣшнихъ и внутреннихъ. Такъ, напримъръ, когда мы замѣчаемъ, что дубъ вырастаетъ не изъ другого какого-нибудь зерна, а единственно только изъ жолудя, въ которомъ однако опредѣленныя формы и свойства зрѣлаго дуба такъ же отсутствуютъ, какъ во всякомъ другомъ предметѣ, то, не находя возможнымъ ни признатъ, что дубъ, какъ наличный предметъ, заключенъ въ жолудѣ, ибо это противорѣчитъ очевидности, ни допустить, что его тамъ вовсе нѣтъ, ибо тогда онъ возникалъ бы изъ ничето, — мы различаемъ два состоянія бытія — актуальное и потенціальное (дѣйствительное и возможное) — и говоримъ, что жолудь есть потенція дуба. Ничто не мѣшаетъ намъ приводитъ такимъ способомъ въ порядокъ свои представленія, но мы должны помнить

при этомъ, что дубы, жолуди, а слъдовательно и необходимыя отношенія между ними, суть только части того внъшняго міра, реальное существованіе котораго еще находится для насъ подъ сомнъніемъ.

Другой, болье близкій къ цъли и, повидимому, болье надежный источникъ, изъ котораго почерпается понятие потенции, находится въ опытъ внутреннемъ. Пробуждаясь каждый день отъ сна, мы находимъ душевную жизнь нашу въ томъ самомъ составъ и положеніи, въ какомъ, по нашему воспоминанію, она была въ моменть усыпленія. Въ виду этого, признавая, съ одной стороны, дъйствительный перерывъ въ нашей психической жизни, а, съ другой стороны, не считая возможнымъ понимать его какъ полное ея прекращеніе на время, ибо тогда она возникала бы безъ всякой внутренней основы и пробуждение было бы творениемъ изъ ничего, мы говоримъ, что эта жизнь существовала во время сна потенціально или въ скрытомъ состоянии. Точно также и о психическомъ бытии тъхъ явленій, которыя мы вспоминаемъ послъ временнаго забвенія, мы говоримъ, что они существуютъ въ нашей памяти въ скрытомъ видъ, или потенціально. Во всёхъ подобныхъ случаяхъ понятіе потенціи отвлечено отъ фактовъ относительности и непостоянства нашего явнаго, или надичнаго сознанія. Обыкновенно съ этимъ отвлеченіемъ отъ фактическихъ данныхъ соединяется представление о потенціи какъ особомъ реальномъ существъ, поочередно вбирающемъ и выпускающемъ свои дъйствительныя состоянія, подобно щупальцамъ какого-нибуль элементарнаго животнаго.

XX.

Можетъ быть, понятіе потенціальной сущности не очень далеко отъ истины, но во всякомъ случать это есть созданіе рефлексіи, требующее философской провърки, а не прямое данное созданія. Ясно также, что опредъленіе души, какъ особой потенціи, можетъ имѣтъ смыслъ лишь въ силу предполагаемаго тождества индивидуальнаго субъекта, и, слъдовательно, само никакъ не можетъ служить основаніемъ для утвержденія этого тождества. Въ самомъ дѣлѣ, предполагая, что я сегодня реально тотъ же, какъ и былъ вчера по своему теперешнему воспоминанію, я заключаю, что во мнѣ есть нѣчто неистребимое промежуточнымъ состояніемъ актуальной безсознательно-

сти, или иносознательности. Но въдь подлинность, или реальное тождество личности и есть именно то, что требуется доказать. Непосредственно за это тождество ручается только данное воспоминаніе, которое однако можеть быть такъ же ошибочно во времени, какъ чувственное воспріятіе бываеть ошибочно въ пространствъ. Изъ того, что я теперь отчетливо помню все то, что было вчера, никакъ не слъдуеть, чтобы этотъ вчерашній день не могъ быть сегодняшнею иллюзіей.

На вопросъ: въ чемъ и какъ сохраняется душевная жизнь во время сна, никакой прямой отвътъ не обязателенъ съ точки зрънія предварительнаго сомнънія. Можетъ быть, эта жизнь не сохраняется ни въ чемъ и никакъ, ибо возможно, что самого этого сна вовсе не было въ дъйствительности, а возможно также и то, что онъ еще продолжается и теперь. Я не говорю уже о томъ, что и время, въ которомъ предполагается пребываніе личнаго тождества при смѣнѣ состояній, вызываетъ, какъ и пространство, вопросъ о своей подлинной природъ и о достовърности своего реальнаго бытія, и безъ философскаго рѣшенія этого вопроса нельзя строить чего-нибудь на данныхъ, имѣющихъ смыслъ только по отношенію ко времени, которое однако можетъ оказаться чистою иллюзіей.

Итакъ, понятіе души какъ потенціи не можетъ служить прочною опорой для философскаго убѣжденія въ достовѣрномъ или подлинномъ бытіи психическаго субъекта, ибо само это понятіе, чтобы стать показателемъ чего-нибудь истинно существующаго, еще нуждается въ опорѣ и оправданіи. Слѣдовательно, мы остаемся при необходимости распространять предварительное сомнѣніе равномѣрно на обѣ стороны мыслимаго — какъ на предметы внѣшняго міра, такъ и на субъекта собственной душевной жизни.

XXI.

Нельзя ни въ какомъ случат сомитваться въ одномъ: въ наличной дъйствительности, въ фактъ какъ макомъ, въ томъ, что дано. Сознается присутстве такихъ-то ощущеній, мыслей, чувствь, желаній, — слъдовательно, они существуютъ какъ такія, какъ сознаваемыя, или какъ состоянія сознанія. Тутъ обычно ставится вопросъ: чьего же сознанія? — при чемъ подразумъвается, что самый этотъ вопросъ уже предръшающимъ образомъ указываетъ на реальное уча-

стіе, въ дѣлѣ сознанія, нашего n, какъ подлиннаго субъекта, потенціи, субстанціи и т. п.

Я и самъ прежде такъ думалъ и съ этой точки зрѣнія возражалъ въ своей магистерской диссертаціи 11 противъ Гегелева панлогизма и Миллева панфеноменизма; возвратившись въ послѣднее время къ пересмотру основныхъ понятій теоретической философіи, я увидаль, что такая точка зрвнія далеко не обладаеть тою самоочевилною достовърностью, съ какою она мнъ представлялась. Дъло въ томъ, не только всякій отвъть должень быть провърень отчетливою мыслыю, но то же требуется отъ всякаго вопроса. Въ житейскомъ обиходъ можно не задумываясь спрашивать: чей кафтанъ? или чьи калоши? Но по какому праву можемъ мы спрашивать въ философіи: чье сознаніе? тъмъ самымъ предполагая подлинное присутствіе разныхъ кто, которымъ нужно отдать сознанія въ частную или общинную собственность? Самый вопросъ есть лишь философски-недопустимое выраженіе догматической увъренности въ безотносительномъ и самотождественномъ бытіи единичныхъ существъ. Но именно эта-то увъренность и требуеть провърки и оправданія черезь непреложные логическіе выводы изъ самоочевидныхъ данныхъ. Такого оправданія я не нашель для нея ни въ Декартовой презумиціи cogito ergo sum, ни въ Лейбницевой гипотезъ монадъ, ни въ Мэнъ-де-Бирановыхъ указаніяхъ на активные элементы сознанія.

При настоящемъ положеніи дѣла на вопрось, чье это сознаніе, или кому принадлежатъ данные психическіе факты, составляющіе исходную точку философскаго разсужденія, можно и должно отвѣчать: неизвъстно; можетъ быть, никому; можетъ быть, любой индивидуальности эмпирической: Ивану Ивановичу, или Петру Петровичу, парижской модисткъ, принимающей себя за парижскаго архіепископа, или архіепископу, принимающему себя за модистку; можетъ быть, наконецъ, тому общему трансцендентальному субъекту, который, по причинамъ совершенно неизвъстнымъ а ргіогі, впалъ въ иллюзію сознанія, въ распаденіе на множество мнимыхъ лицъ, подобныхъ тѣмъ, которыя создаются въ сновидѣніяхъ. Какая изъ этихъ возможностей имѣетъ для себя преимущества достовѣрности — это, очевидно, можетъ бытъ рѣшено только изслѣдованіемъ, ибо не только Иванъ Ивановичъ, или модистка, или архіепископъ, но даже самъ трансцен-

¹¹ Кризисъ западной философіи. См. т. I, стр. 27—170.

дентальный субъекть — всё они не представляють простого, непосредственнаго даннаго факта сознанія, а суть лишь выраженія психологически опосредствованной увѣренности, требующей своего логическаго оправданія.

XXII.

Цѣль предыдущихъ разсужденій состояла не въ томъ, чтобы утвердить какую-нибудь положительную истину, или опровергнутъ что-нибудь опибочно принимаемое за истину, а единственно въ томъ, чтобы отграничить безспорную область наличнаго сознанія отъ области всякихъ утвердительныхъ и отрицательныхъ мнѣній, вѣрованій и убѣжденій, которыя могутъ оказаться истинными или ложными, но которыя уже оказываются спорными. Единственный интересь здѣсь пока въ томъ, чтобы охранить самый источникъ философскаго мышленія отъ какихъ бы то ни было постороннихъ вліяній. Этимъ интересомъ руководствовались и родоначальники новой философіи, Бэконъ и Декартъ, особенно постѣдній; и если бы онъ остался всесторонне вѣренъ своему началу методическаго сомнѣнія, позднѣйшимъ мыслителямъ не приходилось бы начинать теоретическую философію съ азбуки.

Возраженія противъ картезіанства въ настоящемъ разсужденіи имъють въ виду не какія-нибудь идеи Декарта, а только его отказъ отъ сомнънія передъ извъстною идеей. Предварительный скептицизмъ Декарта оказался одностороннимъ безъ всякой серьезной попытки объяснить и оправдать эту односторонность. Онъ прекрасно различиль относительно внъшнихъ предметовъ безспорное отъ спорнаго, наличное отъ предполагаемаго. Тотъ столъ съ книгами, который я вижу теперь передъ собою, есть нъчто безспорное и наличное, въ смыслъ присутствія въ сознаніи этого представленія съ отличающими его геометрическими и чувственными признаками (оно безсопрно; если я вижу столъ, то ни мнъ, ни кому-либо другому не придетъ въ голову утверждать, что я вижу верблюда); но затъмъ возникаетъ вопросъ: что такое этотъ столъ въ смыслъ реальности, — сновидъніе ли, явь ли, обусловленная всецъло природой субъекта, ее испытыварщаго, или же независимый отъ субъекта (и въ какой мъръ, и съ какихъ сторонъ независимый) реальный предметъ, или вещь? Любой изъ отвътовъ можетъ быть истиннымъ, т. е. другими словами, всъ эти отвъты предварительно (до изслъдованія и доказательства) сутъ

только спорныя предположенія: если бы какое-нибудь изъ нихъ было безспорно, то въ чемъ же быль бы вопросъ, и если бы оно было не предположеніемъ, а очевидною наличностью, то другія предположенія, его исключающія, оказались бы въ противорѣчіи съ очевидностью, были бы немыслимы.

На этомъ остановилось методическое сомниніе Декарта. Между тъмъ такое же различе между наличнымъ и предполагаемымъ, между безспорнымъ и спорнымъ находимъ мы и по отношенію къ субъекту, сознаваемому какъ нъчто отличное отъ другихъ явленій. Поскольку мысленное различение я отъ того, что не есть оно, присутствуетъ въ данномъ сознаніи, я должно быть признано безспорнымъ наличнымъ фактомъ, — дълается ли это различение между я и не-я по поводу даннаго представленія о внішнемъ предметь, по поводу чувствованія, желанія, усилія, или же оно происходить чисто-теоретически, въ отвлеченной мысли или рефлексіи. Во всъхъ этихъ случаяхъ, поскольку различение субъекта какъ ото всего другого, такъ и отъ его собственныхъ состояній присумствуето при самихъ этихъ состояніяхь, я должно быть признано какъ безспорный наличный факть. Это — вив вопроса. Никто не можеть сомиваться въ томъ, что я сознается, когда оно сознается. Но затъмъ возникаетъ вопросъ: что же такое есть я? Исчерпывается ли оно этимъ своимъ являемымъ или феноменологическимъ бытіемъ, относительно котораго нѣтъ сомнъній? Есть ли оно только одно изъ множества психическихъ состояній, мысль, какъ и всякая другая, явленіе среди другихъ явленій (мнюніе англійской психологической школы)? Или я есть нъчто особое и единственное въ своемъ родъ, не одно изъ явленій, а общее формальное условіе вськь, апріорный связующій акть мысли, соприсущій implicite, хотя бы и незам'ятнымъ образомъ, всякому явленію, но не существующій однако внъ этой своей связующей функціи (точка зрвнія Канта)? Или, наконець, я есть некоторая сверхфеноменальная сущность или субстанція, реальный центръ психической жизни, имъющій собственное бытіе независимо отъ данныхъ своихъ состояній (мнѣніе, смутно принятое Декартомъ и съ большею ясностью и раздѣльностью защищаемое позднѣйшими спиритуалистами, — у насъ въ послъднее время проф. Лопатинымъ)?

Нескончаемый споръ между этими тремя мнѣніями съ достаточною очевидностью показываетъ, что ни одно изъ нихъ не можетъ быть признано безспорнымъ, — вотъ все, что я пока утверждаю, ни-

чего не предрѣшая. Ясно, что дѣло идетъ объ истинности, или неистинности извѣстнаго предположенія, а не о самодостовѣрности наличнаго факта. Допустимъ, напримѣръ, что бытіе нашего я, или души, какъ субстанціи, было бы дано непосредственно въ наличныхъ
состояніяхъ сознанія, — ясно, что никакого вопроса и сомнѣнія объ
этомъ бытіи не могло и возникнутъ, какъ не возникаетъ вопроса или
сомнѣнія относительно присутствія въ сознаніи какого-нибудь представленія, аффекта, или желанія, когда они дѣйствительно тамъ присутствуютъ. А какъ только есть вопросъ и споръ, такъ уже ясно,
что дѣло можетъ идти объ истинности предположенія, но никакъ не
о наличности факта. Истина можетъ бытъ не данной, скрытой, требующей изслѣдованія и открытія, но не данная, скрытая, открываемая наличность есть сопtradictio in adjecto, т. е. безсмыслица.

Итакъ, всякій имѣетъ философское право утверждать и доказывать, что душа есть реальное существо или субстанція, — что это есть истина; но никто безъ оскорбленія логики не можетъ утверждать и доказывать, что эта истина есть наличный фактъ, ибо если бы она въ самомъ дѣлѣ была дана въ наличномъ сознаніи, то это уже и было бы полнымъ доказательствомъ, а если она не дана, то безсмысленно доказывать, что не данное есть данное.

Данная, или точнъе даваемая въ сознании психическая наличность, или психическій процессь какъ такой, не зависить ни отъ какихъ мнѣній; фактъ присутствія или отсутствія чего-нибудь въ сознаніи одинаковъ со всѣхъ точекъ зрѣнія. Отсюда, очевидно, не вытекаетъ никакого предпочтенія для того мнѣнія, которое, внимательнъе другихъ останавливаясь на этой наличности, признаетъ только ее одну. Изъ того, что наличные факты существуютъ, не слѣдуетъ, чтобы не было ничего другого, и изъ того, что эта наличность извѣстна намъ въ формѣ чистаго сознанія, не слѣдуетъ, чтобы не было никакого другого способа знать то, что есть.

Мы должны начинать съ разграниченія между даннымъ и заданнымъ, между наличностью и предположеніями. Но разграничивать одно отъ другого не значитъ ограничиваться однимъ. Только элементарные умы живутъ одною психическою наличностью, какъ только первобытныя хозяйства существуютъ однимъ натуральнымъ имуществомъ.

На почвъ наличнаго сознанія вырастаетъ требованіе выйти за ея предълы; среди колеблющейся пестроты эмпирическихъ явленій явля-

емся исканіе чего-то болье прочнаго и върнаго. Мы еще не можемъ сказать, къ чему приведеть насъ это исканіе, но ясно, что само оно есть ньчто достовърное. Если мы не довольствуемся наличностью сознанія, потокомъ душевныхъ состояній и явленій, ясно, что есть у насъ что-то кромъ него: А + в не можеть быть равно А.

Мы опредълили область чистаго сознанія или психической наличности. Эта область, представляющая самодостовърныя данныя, должна быть исходною точкой философіи. Мы видимъ, что истина не дана здъсь, а только задана. Если бы она была фактомъ наличнаго сознанія, то ее не нужно и невозможно было бы искать, слъдовательно, не могло бы быть и никакой философіи. Но. къ неудовольствію однихъ и къ утъшенію другихъ, философія есть. Есть наличная дъйствительность и есть требованіе другого, большаго: есть сознаніе факта и есть стремленіе къ познанію истины. Посмотримъ, куда оно насъ приведетъ.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. Достовърность разума.

T.

Есть безусловно достовърное, никакому сомнънію и спору не подлежащее знаніе. — именно знаніе того, что дается или происходить въ различныхъ душевныхъ состояніяхъ, поскольку они берутся въ своей простой наличности, какъ психическіе факты. Испытывая, напримъръ, ощущеніе тепла, мы знаемъ, что намъ тепло, т. е. что данное ощущеніе дъйствительно существуетъ (какъ ощущеніе этого качества); дальнъйшіе выводы изъ этого факта могутъ быть сомнительны и ошибочны, но знаніе о самомъ психическомъ фактъ какъ данномъ безусловно достовърно и ничъмъ опровергнуто бытъ не можетъ. Какой-нибудь споръ въ этомъ отношеніи возможенъ лишь по явному недоразумънію, въ родъ спора между Тургеневымъ и его слугою: «Мнъ колодно, затопи печку!» — «Помилуйте, Иванъ Сергъевичъ, какое колодно? — совсъмъ тепло: въдь съ утра топлено.» — «Ну, послушай! Положимъ, я глушъ, положимъ, я набитый дуракъ,

но не до такой же степени я глупъ, чтобы не знать, холодно мнѣ или тепло.»

Это прямое сознаніе психической наличности есть знаніе не только безусловно достовърное, но при всей своей скудости всеобъемлющее въ извъстномъ смыслъ. Ибо все бываетъ и психическою наличностью, область которой очевидно не ограничивается одними ощущеніями, а включаеть въ себя съ извъстной стороны и всякую мысль, какъ самую отвлеченную и формальную, такъ и самую сложную и многосодержательную. Положимъ, намъ дано какое-нибудь универсальное и утонченныйшее метафизическое учение, логически объясняющее все существующее изъ одного абсолютного пачала. Достовърна, или нътъ такая система въ смыслъ объективномъ, т. е. имъеть ли какую-нибудь дъйствительную силу и значеніе та связь понятій и явленій, которая утверждается въ этой системъ, заранье нельзя знать; но уже заранье можно и должно утверждать полную достовърность этой системы какъ даннаго сознанія: пока о ней мыслится, она составляеть такой же непререкаемый, безусловно достовърный фактъ, какъ то ощущение холода, которое Тургеневъ отстаивалъ противъ своего слуги.

Рѣшительно все, о чемъ только мы можемъ говорить, обладаетъ безусловною достовърностью этого рода, и если этотъ способъ знанія, т. е. непосредственное сознаніе психической наличности, мы паходимъ скуднымъ и неудовлетворительнымъ, то не потому, чтобы какіе-пибудь явленія или предметы въ него не входили, а потому, что всѣ возможные предметы и явленія входятъ сюда только одною стороной, берутся въ одномъ лишь отношеніи. Точнѣйшимъ образомъ отграничить эту сторону, или это отношеніе, въ которомъ всякое данное содержаніе обладаетъ безспорною достовърностью, составляло первую задачу теоретической философіи 12. Имълась въ виду не достовърность вообще, а именно этотъ особый видъ достовърности — непосредственной, самоочевидной достовърности данныхъ сознанія какъ такихъ, или психической наличности, независимо отъ метафизическаго вопроса объ отдѣльномъ отъ этихъ данныхъ бытіи какихъ бы то ни было объектовъ и субъектовъ, какъ существъ.

Предварительно выдёлить и ограничить простую, непосредственную достовёрность текущей психической наличности ото всякой дру-

¹² См. выше статью "Первое начало теоретической философіи".

гой возможной достовърности есть дъло необходимое для философіи именно ради того, чтобы получить точку отправленія дыйствительно безспорную. Мы знаемъ, что зачинатель новой философіи такимъ безспорнымъ пунктомъ ошибочно считалъ существование субъекта какъ мыслящаго духа, видя здъсь фактъ непосредственнаго сознания. Мы не говоримъ о какой-нибудь ошибкъ по существу, ибо мы не имъемъ права заранъе ръшать такіе метафизическіе вопросы, какъ существованіе духа или мыслящей субстанціи, — оно, можеть быть, окажется совершенно достовърнымъ, — но мы говоримъ объ очевидной ошибки Декарта, принлешаго спорное за безспорное. Онъ самъ по необходимости призналъ, хотя и не оцънилъ должнымъ образомъ, эту свою ошибку, когда ему пришлось вступить въ продолжительный и сложный, письменный и печатный споръ со многими серьезными мыслителями изъ-за его мнимо-безспорнаго принципа. Конечно, можмыслителями изъ-за его мнимо-оезспорнаго принципа. конечно, можно отвергать и очевидность, спорить противъ безспорнаго, но только или по грубому и легко обнаруживаемому недоразумънію (какъ въслучаъ Тургеневскаго слуги, оспаривавшаго внутреннее состояніе своего хозяина — «холодно» — внъшнимъ состояніемъ печки — «топлена»), или при завъдомой недобросовъстности. Но ни того, ни другого не было въ полемикъ Декарта съ Гассенди и другими мыслителями, и слѣдовательно, должно признать, что дѣло шло о спорномъ мнѣніи, а не о самоочевидной истинѣ или аксіомѣ. И до Декарта, и гри немъ, и послъ него можно было добросовъстно и сознательно сомнъваться въ существовании духа, или мыслящей субстанции; но что существуеть нъкоторая психическая наличность, что существують эти, теперь испытываемыя, ощущенія и чувствованія, представленія и понятія, усилія и хотвнія, — что они существують какъ сознаваемыя состоянія, когда сознаются, или какъ душевные процессы, когда происходять, — въ этомъ никакого сомнънія быть не можеть. Значить, только этоть безспорный факть, а не декартовское cogito ergo sum, можеть служить твердою точкой опоры для отчетливаго философскаго мышленія. Въ порядкъ этого мышленія первоначальная достовърность есть только достовърность наличнаго сознанія, въ которомъ не даны никакія существа и субстанціи, ни протяженныя, ни мыслящія, а разв'в только мысми о таких в существах и субстан-ціяхь, — мысли, не содержащія въ себ'в заранье никакого ручательства въ особомъ дъйствительномъ, внъ данной мысли, существовани мыслимаго и мысляшаго.

II.

Итакъ, безспорно утверждается: все имъетъ непосредственную достовърность или самоочевидность какъ психически данное, или какъ фактъ сознанія. Но что такое самое это утвержденіе? Во-первыхъ, оно также есть фактъ сознанія, или нъкоторое психическое данное. Ясно, однако, что оно есть еще нъчто другое. Фактъ сознанія здёсь только въ томъ, что въ данный моменть возникла эта мысль; но въдь въ этой же мысли, какъ она дана, отчетливо содержится не она только, какъ психическій фактъ, но и совокупность вську другиху мыслей и всякиху психическиху фактову вообще ву ихъ отношеніи къ тому, что теперь утверждается въ этой самой мысли: про всв мысли, ощущенія и т. д. я говорю, что онь, какь исихическіе факты, непосредственно достов'врны, или самоочевидны. Такъ какъ вст исихическія состоянія, о которыхъ это мыслится теперь, не существують теперь же въ наличной действительности, т. е. сами не сознаются раздильно въ данной мысли о нихъ, то мы пока и не имбемъ права считать эту мысль непосредственно достовърной въ ея всеобщемъ значеніи, но самая форма всеобщности здъсь налицо. Говоря: вст психическіе факты вообще безусловно достовърны какъ такіе, я можеть быть ошибаюсь по существу, но что я при этомъ говорю именно о встато фактахъ, что здёсь разуменотся все, это несомнънно, это дано въ самой наличности этой теперь существующей мысли.

Итакъ, въ данномъ потокъ психическихъ состояній, одинаково достовърныхъ въ фактъ своей наличности и съ этой стороны безразличныхъ къ истинъ и лжи, необходимо однако сдълать важное различеніе. Смотря на все какъ на психическій фактъ, мы уже съ этой точки зрънія находемъ два рода такихъ фактовъ. А) Испытывается, напримъръ, ощущеніе холода; въ непосредственномъ сознаніи этого факта нътъ ничего, выходящаго за его собственные предълы: холодно и больше ничего. Но Б) если на ваше заявленіе объ испытываемомъ вами ощущеніи какой-нибудь самоувъренный потомокъ второго сына Ноева возразитъ: ну, нътъ, холодно-то вамъ — вовсе не холодно, — и вы, желая принципіально подорвать эту отрицательную критику, формулируете такую мысль: «всь непосредственно сознаваемые фактическія состоянія безусловно достовърны какъ такія», то эта ваша мысль, будучи сама, какъ мыслимая въ данный моментъ,

простымъ фактомъ психической наличности, есть вмъстъ съ тъмъ и нъчто большее, поскольку ею не только выражается безусловная достовърность ея самой, какъ данной (подобно первому заявленію объ ощущеніи холода), но и постулируется такая же достовърность всьхъ психическихъ фактовъ, могущихъ быть налицо, но не находящихся налицо въ данный моментъ. Здъсь такимъ образомъ существуетъ паличный психическій фактъ, собственное содержаніе котораго (мысль о вссобщей достовърности прямого сознанія) выходитъ за предълы всякой наличности, — данъ фактъ, означающій нъчто большее всякаго факта.

Это формальное значеніе данной мысли (ся всеобщность) неотравлимо отъ самого факта этой мысли и, слёдовательно, такой фактическій переходь въ сверхфактическую область имѣетъ такую же несомнѣнную достовѣрность, какъ п всякій фактъ непосредственнаго сознанія: если достовѣрно, что существуютъ различныя ощущенія, чувства, желанія, представленія, то не менѣе достовѣрно, что существуютъ мысли всеобщаю значенія, существуютъ понятія, сужденія, умозаключенія, то-есть что существуєть разумъ. Если, какъ было выше указано, самая всеобъемлющая система мыслей имѣетъ такую сторону, которою она не отличается отъ всякаго единичнаго психическаго факта, хотя бы самаго простого и безсодержательнаго (напримъръ, ощущается горькій вкусъ во рту, мыслится философія Гегеля — и то и другое суть одинаково наличныя состоянія сознанія), то теперь намъ открывается другая точка зрѣнія, съ которой, напротивъ, самая несложная и скудная мысль, если только она имѣетъ въ себѣ формальный логическій эдементъ всеобщности, или постулать къ сверхданному, тѣмъ самымъ выдѣляется изъ всего потока психической наличности какъ такой.

III.

Тотъ родъ достовърности, который присущъ всякому психическому факту, не можетъ быть отнять и у факта логическаго мышленя, то-есть у того факта, что нъкоторыя мысли, сверхъ своего (субъективнаго) существованія въ качествъ данныхъ психическихъ состояній, существуютъ вмъстъ съ тъмъ и въ (формально-объективномъ) значеніи всеобщихъ положеній, такъ что самая ихъ психическая наличность заключаетъ въ себъ переходъ за предълы этой наличности.

Чтобы пояснить этоть фактъ тъмъ, кому онъ можетъ показаться противоръчивымъ, позволю себъ повторить — въ модернизованномъ видъ — сравнение нъсколько тривіальное, но (въ первоначальномъ видъ) освященное съдымъ авторитетомъ Гераклита. Существуютъ бумажные листки, не имъющіе другого значенія, кромъ своей реальной наличности; но есть и такіе. — какъ банковые бидеты и другія цънныя бумаги, — которыя, кромъ своей данной реальности, представляютъ еще всъ возможныя реальности въ предълахъ обозначенной на нихъ цъны. Всякій понимаетъ, что единичный характеръ такого листка, какъ этого наличнаго предмета, нисколько не противоръчитъ его общему значенію, какъ представителя или эквивалента всякихъ другихъ предметовъ, которые не находятся съ нимъ вмѣстѣ налицо и однако имъютъ съ нимъ несомивнно осуществимое соотношение. Подобнымъ же образомъ существуютъ психическія состоянія, прямое знаніе о которыхъ, или непосредственное сознаніе, не заключаетъ въ себъ ничего кромъ ихъ наличности, каковы единичныя ощущенія, представленія, аффекты, влеченія и т. д., — но также существуютъ и такія психическія состоянія, каковы положенія логической мысли (понятія, сужденія, заключенія), которыя говорять въ сознаніи не только за себя, за фактъ своего наличнаго существованія, но и за всевозможные другіе факты, въ наличности не существующіе, а лишь обозначаемые въ своемъ общемо свойствъ.

Конечно. формальная всеобщность мысли не ручается за матеріальную истинность ея содержанія (какъ и денежные знаки бываютъ фальшивыми). Тъмъ не менъе, во всякой данной мысли логическаго характера мы имъемъ, кромѣ непосредственнаго сознанія самаго факта (что эта мысль мыслится), еще другое, столь же достовърное знаніе, что эта мысль имъетъ всеобщее значеніе, что она есть нѣчто большее, чъмъ наличный исихическій фактъ. Это достовърное знаніе о логическомъ свействъ даннаго факта мышленія, сверхъ его свойства психическаго, нисколько не зависитъ отъ дальнъйшей оцѣнки опредъленнаго смысла и содержанія данной мысли. Логическая природа мышленія, какъ формально-всеобщаго, есть какъ бы нъкоторый снагастег indelebilis, дающій себя знать при самомъ нелъпомъ и вздорномъ содержаніи данной мысли, подобно тому, какъ самые тяжкіе личные гръхи священника не упраздняютъ всеобщей силы совершаемаго имъ таинства. Чтобы привести примъръ логически безупречной нелъпицы, не выдуманной ад hос и однако достаточно яркій, я обра-

щусь къ дъйствительному сновидънію, такъ какъ наяву всёмъ умамъ свойственно избъгать слишкомъ уже вопіющей безсмыслицы. Двадцать три года тому назадъ я видълъ весьма сложный и во многихъ стношеніяхъ замѣчательный сонъ, изъ котораго одна подробность относится къ нашему предмету. Между прочимъ, я видълъ себя ѣдущимъ на пароходъ изъ Петербурга въ Бразилію. Только что скрылся изъ виду Кронштадтъ, какъ я услыхалъ отъ калитана, что черезъ три часа мы войдемъ въ устье рѣки Амазонки. На мой вопросъ о причинахъ столь необычайно скораго хода калитанъ, взглянувши на меня иронически, сказалъ: «Гдѣ вы учились физикъ? Вы даже не знаете основного гидродинамическаго закона, что на морѣ время идетъ несравненно быстрѣе, чѣмъ на сушѣ, потому что теченіе морскихъ волнъ, присоединялсь къ теченію времени, производить его ускореніе». Я сейчасъ же вспомниль этотъ законъ, и ничто въ жизни не повергало меня въ такой глубокій конфузъ, какъ это непонятное забвеніе столь элементарной истины.

Разберемъ съ точки зрвнія гносеологической этотъ случай, подобныхъ которому, хотя и менъе яркихъ, не трудно было бы найти наяву. Можно ли по совъсти утверждать, что мое прямое и достовърное знаніе о предметь этого разговора (сохранившееся въ моей памяти) ограничивалось только непосредственнымъ сознаніемъ психическаго факта, именно факта той нельпой мысли, высказанной воображаемымъ капитаномъ и сейчасъ же усвоенной мною? Въдь кромъ этого единичнаго факта, что я услышаль, или мысленно повториль эту мысль, я несомивино зналь, что эта мысль, которую я тогда считаль истинною, а теперь должень признать нельпою, во всякомо случав имъетъ формально всеобщее значение. Ибо совершенно несомнънно, что независимо отъ противоположной оцънки по существу, я и тогда, слыша ее, думалъ, и теперь, вспоминая, думаю о чемъ-то не единичномъ, сверхданномъ, сверхфактическомъ. Я зналъ и знаю, что подъ волнами, о которыхъ я мыслилъ, разумълись не тъ только, что находились у меня передъ глазами, а всякія морскія волны вообще, что подъ временемъ, будто бы къ нимъ присоединявшемся, разумълось не время этого дня и часа, а всякое время вообще, равно какъ такой же всеобщій смысль имѣло и воображаемое его ускореніе. То, что здѣсь мыслилось, та опредъленная связь, въ которую ставились явленія извѣстнаго рода, оказалось нелѣпостью. Но я зналъ, — и это знаніе было абсолютно достовърно, — что дъло

преть о чемъ-то всеобщемъ, о міровомъ законѣ, а не объ одномъ психическомъ фактѣ этой мысли въ ея единичной наличности. Повторяю еще разъ: всякая мысль, хотя бы самая отвлеченная и общая, сознается какъ единичное испытываемое въ данный моментъ психическое состояніе, но вмъсть съ тымъ мы имѣемъ о всякой же мысли, хотя бы самой пустой и даже нелѣпой, знаніе еще и съ другой, логической стороны, знаніе о формальной всеобщности составляющихъ ее терминовъ, совершенно независимо отъ реальнаго содержанія самой мысли.

IV.

Итакъ, имъется два рода достовърнаго знанія: непосредственное сознаніе испытываемых психическихъ фактовъ какъ такихъ и непосредственное разумъніе логическаго значенія нъкоторыхъ изъ этихъ фактовъ: сознается текущая психическая наличность и понимается формальная всеобщность предполагаемой истины.

Мы необходимо различаем в наличность данной мысли, какъ единичнаго психическаго факта, отъ мыслимой истины, содержащейся въ фактъ этой же мысли, но относящейся не къ нему одному, а имъющей всеобщее значене. Тутъ возможно важное недоразумъне, требующее очень тонкаго разъясненія. Можно спросить: развъ достовърность непосредственнаго сознанія, о которой говорилось въ «Первомъ началъ теоретической философіи», не представляетъ также всеобщую истину свеого рода? Безъ сомнънія, но въдь это есть истина нашего размышленія о непосредственномъ сознаніи, а не самого этого совнанія како такого. Сознаваемая психическая наличность можеть возбуждать о своей достовърности и о качествъ этой достовърности общій вопрось, но самая общность этого вопроса и его разръшенія показываеть, что дъло здъсь происходить въ области логическаго мышленія, выступающаго за предълы простой психической наличности, которая въ другихъ случаяхъ сознается непосредственно, не возбуждая никакого общаго вопроса. Въдь животныя и большинство людей соенають же свои психическія состоянія, не предаваясь однако по этому поводу никакимъ гносеологическимъ размышленіямъ. Размышляя о достовърности цепосредственнаго сознанія и о его предълахъ, мы очевидно тъмъ самымъ выступали за эти предълы въ область логическаго мышленія. Что мы въ этомъ случав мыслили, а не испытывали другія какія-нибудь состоянія сознанія, это было конечно наличнымъ

и единичнымъ психическимъ фактомъ, но то. что здѣсь мыслилось, имѣло сверхъ своей фактической наличности, всеобщее логическое значене. Сознавалось, что мыслится, сознавалось также, что мыслится то-то и то-то, и кромф этого понималось, что мыслимое относится не къ этому только психическому факту, а и ко всѣмъ другимъ того же рода.

Если бы наши мысли не имѣли сверхъ своей единичной психической наличности еще всеобщаго логическаго значенія, то нельзя было бы даже прійти къ понятію о достовърности непосредственнаго сознанія: переживаемыя состоянія сознавались бы непосредственно, но не сознавалось бы это сознаніе и его достовърность. Въ размышленіи о психической наличности эта наличность превращается въ нѣчто другое, въ логическій предметъ, и самый фактъ размышленія оказывается заразъ и фактомъ, и чѣмъ-то большимъ, чѣмъ фактъ. Сознаніе психической наличности какъ такой становится достовърнымъ, лишь теряя свою непосредственность, переставая быть молько наличнымъ психическимъ состояніемъ, превращаясь въ мысль о всякихъ такихъ состояніяхъ.

Психическое состояние сознается цепосредственно, но достовърность этого сознанія какъ такого не сознается только, а признается, и это признаніе, обнимая витстт съ даннымъ и вст другія состоянія, относится не къ ихъ единичности какъ такой, а къ тому, что у нихъ есть общаго, то-есть возводить ихъ на степень логической мысли.

Ясно, что уже въ «Первомъ началъ теоретической философіи», какъ и во всякомъ размышленіи, имѣлось неизбѣжно нѣчто двойное: психическая наличность, какъ матерія размышленія, и логическій процессь, какъ самый актъ размышленія. Мы остановились тогда на другомъ еще болѣе общемъ пунктѣ, именно — мы получили данное отъ искомаго. Даннымъ мы признали всю психическую наличность какъ такую, слѣдовательно и логическое мышленіе съ этой стороны, какъ психическій фактъ. Но мы знаемъ теперь, что логическое мышленіе какъ такое имѣетъ значеніе, выходящее за предѣлы даннаго психическаго факта. Это не значитъ, конечно, что въ немъ должно признать наше искомое: ясно, напротивъ, что это мышленіе въ той мѣрѣ, въ какой оно намъ пока открылось, будучи уже чѣмъ-то больше, чѣмъ даннымъ, чѣмъ-то переходящимъ или перехватывающимъ за психическую наличность (трансцендентальнымъ), не есть еще то, чего мы ищемъ, не есть сама настоящая истина. Если бы логическій

характерь мышленія по своему отличительному признаку (всеобщности) уже представлять собою самую истину (по существу), то должно было бы признать истиной и тоть мнимый законъ гидродинамики, который, несомнѣнно, имѣетъ логическій характерь всеобщности п однако столь же несомнѣнно должень быть признанъ нелѣпостью. Значитъ логическая всеобщность мышленія не есть еще то, чего мы ищемъ, — не есть самая истина.

Это пока есть только путь къ истинъ, средство исканія. Но такъ какъ интересь теоретической философіи состоить не только въ обладаніи истиною, но и въ полной отчетливости этого обладанія, — не въ только, чтобы прійти къ истинъ, но чтобы видъть и помнить, какъ приходять къ ней, — то мы должны теперь, прежде чъль стремиться дальше къ искомому, изслъдовать внимательно самый способь или средство исканія, то-есть логическое мышленіе.

V.

Задача особаго рода предварительнаго изслѣдованія мышленія встрѣчается съ недоумѣннымъ вопросомъ, который быль всего яснѣе высказанъ Гегелемъ, убѣдительно оспаривался Куно-Фишеромъ, но до сихъ поръ еще повторяется иными философствующими писателями ¹³.

Можно ли предварительно изследовать мышленіе въ его достоверности, когда само такое изследованіе очевидно можеть совершаться только мышленіємь, такъ что изследуемое уже предполагается въ виде способа изследованія, какъ известное и достоверное? Это затрудненіе держится обыкновенно на ошибочномъ представленіи мышленія какъ какого-то матеріальнаго орудія, которымъ добывается истина. Какъ щипцами нельзя взять сами эти щипцы, такъ, думають, и мышленіемъ нельзя изследовать самое это мышленіе. Но при такой неразборчивости въ пользованіи метафорами не только гносеологія, но и более простыя науки оказались бы невозможными. Однако, если бы на замечаніе, что солнце сёло, какой-нибудь скептикъ

 $^{^{13}}$ Послѣдній разъ я встрътился съ нимъ года четыре тому назадъ, если не ошибаюсь, на страницахъ нашего журнала въ статъъ покойнаго Н. Н. Страхова, который даже прямо высказывался въ смыслѣ невозможности гносеологіи. Упоминаемый журналъ — "Вопросы философіи и психологіи". $Pe\theta$.

сталь спрашивать, на какой стуль оно съло и на какомъ полу стоить этотъ стуль, — то едва ли бы такой вопросъ испугаль астрономовъ за существование ихъ науки. Не болъе опасенъ для гносеологи вопросъ, ивмъ можемъ мы изслъдовать мышление?

Если не ошибаюсь, и между машинами есть такія, которыя имъютъ приспособленія для регулированія и контролированія собственнаго хода. Что же касается до мышленія, то его несомивнно характерное свойство, открываемое въ непосредственномъ сознанія и хорошо отмъченное въ философіи еще Платономъ и Аристотелемъ, состоитъ именно въ способности обращаться на самого себя, мыслить не только о предметѣ, но и о самомъ мышленіи о предметѣ, т. е. дълать себя своимъ предметомъ. Изслъдованіе о мышленіи есть самоизслъдованіе мысли, и такимъ образомъ падаетъ другое, гегелевское метафорическое возраженіе противъ гносеологіи, — что нельзя научиться плавать, прежде чъмъ бросишься въ воду. Изслъдуя природу мышленія, мы тъмъ самымъ уже бросаемся въ потокъ мысли, и задача гносеологіи похожа здъсь лишь на осторожность пловца, желающаго испытать и оцънить свои силы въ прибрежномъ плаваніи, прежде чъмъ пускаться въ открытое море.

VI.

Хотя для мыслителя извинительно можеть быть желаніе признать мышленіе безусловнымъ, себѣ довлѣющимъ началомъ и концомъ всего, но искушеніе принять это желаніе за истину и философствовать такъ, какъ будто бы вселенная дѣйствительно создавалась нашею мыслью, — это искушеніе не можеть болѣе манить умъ тайною неизвѣданнаго подвига и неиспытаннаго наслажденія. Послѣ того какъ опыть построенія всего изъ чистой мысли быль въ полной мѣрѣ испробованъ (въ гегельянствѣ), легче становится исполнить нравственное требованіе философіи — мыслить добросовѣстно, заботясь прежде всего не о великолѣпіи, а объ основательности своихъ мысленныхъ построеній. Слѣдуя этому правилу, должно признать, что наше мышленіе не только не есть начало всего, но и не заключаетъ въ себѣ всецьлаго начала себя самого. Оно можетъ и должно обращаться на себя, давать отчеть о себѣ, регулировать и контролировать себя, но оно не есть нѣчто самосоздающееся и вполнѣ самосозданное (т. е. во всякомъ смыслѣ, а не въ формальномъ только). Условія

его дъйствительности не могутъ быть выведены изъ него одного; они опредъляются другимъ, и мышденіе, такимъ образомъ обусловленное, есть реакція на ньимо оругое, на то, что не есть мышденіе. Логическое мышленіе (значитъ и изслъдованіе о немъ) не можетъ начинаться вполню съ себя самого безъ всякой другой точки отправленія. И въ самомъ дълъ, прежде чъмъ мыслить логически, мы испытываемъ различныя психическія состоянія — ощущенія и душевныя волненія, стремленія и хотънія. На ихъ почвъ, хотя не прямо изъ нихъ, вырастаетъ, или къ нимъ прививается логическое мышленіе. Оно начинается не съ себя самого, а съ мысли о томъ, что дано въ другихъ психическихъ состояніяхъ. Ближайшая матерія логическаго мышленія заключается въ тъхъ или другихъ фактахъ непосредственнаго сознанія. Слъдуетъ ли отсюда, что все данное въ непосредственномъ сознаніи есть мъмъ самымъ прямое условіе логическаго мышленія, такъ чтобы это второе вытекало изъ перваго, какъ потокъ изъ источника?

На самомъ дѣлѣ мы этого не находимъ. Можно сколько угодно испытывать ощущенія тепла и холода, мягкаго и жесткаго, горькаго и сладкаго, сколько угодно волноваться страхомъ и надеждой, враждою и любовью, предпринимать и исполнять всевозможныя движенія, и однако изо всего этого не выходить никакихъ логическихъ размышленій, — какъ это вообще и признается относительно животныхъ. Логическая мысль не есть всецѣло продукть другихъ психическихъ состояній, а образуется изъ нихъ при извѣстныхъ опредѣленныхъ условіяхъ. Въ нихъ-то намъ и нужно отдать себѣ прежде всего отчетъ.

Возьмемъ такую простую мысль: днемъ (при прочихъ равныхъ условіяхъ) всегда бываетъ теплье, чьмъ ночью. Ясно, что эта мысль матеріально обусловлена тъми фактами непосредственнаго сознанія, которые заключались въ ощущеніяхъ тепла и холода, свъта и тьмы. Бевъ этихъ ощущеній наша аксіома, за отсутствіемъ содержанія, была бы невозможна. Но простое возниканіе и исчезаніе тепловыхъ и свътовыхъ ощущеній очевидно само по себъ не могло бы обусловливать нашу мысль. А именно, если бы эти ощущенія, сознаваемыя при своей наличности, сейчасъ же забывались, — т. е. оставались для насъ за бытіемъ, — то никакой общей мысли изъ нихъ, какъ уже несуществующихъ, не могло бы образоваться. Нельзя утверждать: бываетъ, если не помнятся тъ многіе случаи, когда было

Итакъ, если психические факты сами по себъ возникаютъ и исчезаютъ, то матеріею или первымъ условіемъ логической мысли могутъ быть не эти факты какъ такіе, а только ихъ сохраненіе. Непрерывное возниканіе и исчезаніе есть время, и мы должны признать время условіемъ всякаго психическаго быванія, а слъдовательно и мышленія съ его психической, субъективной стороны; но мы видимъ, что то же мышленіе въ логическомъ своемъ значеніи не только не имъетъ времени своимъ условіямъ, но, совершенно напротивъ, логическое мышленіе какъ такое обусловлено тъмъ относительнымъ упраздненіемъ времени, которое называется памятью, или воспоминаніемъ 11. Говоря образно, то, что помнится или воспоминается, тъмъ самымъ отнятю у времени, и только этими отнятыми жертвами времени питается логическая мысль.

Итакъ, логическое мышленіе прежде всего обусловлено реакціею противъ времени со стороны чего-то сверхвременнаго, дъйствующаго въ воспоминаніи.

VII.

Ясно, что мыслить было бы невозможно, если бы то, о чемъ мыслится, возникая, сейчась же исчезало изъ сознанія, сміняясь другимъ, также исчезающимъ, т. д., — мышленіе въ такомъ случав было бы матеріально невозможно за отсутствіемъ предмета мысли. Прежде всего нужно, чтобы этотъ предметъ, т. е. та или другая совокупность психическихъ состояній, сохранялась въ теченіе времени въ видъ воспоминанія. Безъ этого мышленіе невозможно; по одного этого для мышленія еще недостаточно. Память есть психнческій фактъ, самъ по себъ еще не имъющій логическаго значенія. Положимъ, вспоминается цълый рядъ испытанныхъ состояній, цълыя картины пережитыхъ явленій, — это представляеть очень сложный, но все-таки лишь субъективный, частный факть, особый видь психологической наличности, приподнятой, такъ сказать, надъ формою времени, но все-таки не выходящей за предълы даннаго процесса. Помнится то-то и то-то, — въ этомъ фактъ, самомъ по себъ, не визно никакой возможности ручательства или представительства какихънибудь другихъ фактовъ. Но когда высказывается хоть бы такое немудреное положение, что «днемъ бываетъ теплъе, чъмъ ночью», то

¹⁴ Въ настоящемъ разсуждени эти два психологические термина могутъ употребляться независимо отъ различія между ними.

тутъ, кромѣ памяти пережитыхъ тепловыхъ и свѣтовыхъ ощущеній, заключается еще кое-что другое, и прежде всего обобщеніе сохраненныхъ памятью психическихъ фактовъ — въ словь. Безсловесныя животныя не мыслятъ логически, хотя имѣютъ память. Слово естъ для мышленія вторая необходимая основа, безъ которой одна первая не дѣйствительна. Приведенное положеніе, несмотря на свою простоту и пустоту, несомнѣнно переноситъ насъ, благодаря слову, въ областъ логическаго, т. е. всеобщаго, мышленія. Въ словѣ «днемъ» разумѣется всякій день, а не тѣ только дни, которые дѣйствительно находятся въ данномъ воспоминаніи, и подъ словомъ «тепло» разумѣется тепло вообще, а не тѣ только тепловыя ощущенія, которыя остались въ памяти.

Память поднимается надъ психическою наличностью дишь въ томъ смыслъ, что состояніе, исчезнувшее въ настоящемъ, сохраняется въ сознаніи, какъ бывшее; но этому сохраненію подлежать единицы и группы психическихъ состояній въ томъ же видь, въ какомъ они были непосредственно даны: то, что помнится или воспоминается, есть именно это бывшее, и ничего болье. Оно можеть быть очень простымъ, или оченъ сложнымъ, но и простота и сложность здёсь имъютъ чисто фактическій, единичный или изолированный характеръ. Вспоминается только это. Между тъмъ каждое слово означаеть, наобороть, не «это» (единичное), а «все такое». Восноминаніе представляєть то, чего нізть въ наличности, но что было наличнымъ фактомъ, тогда какъ слово вовсе не имъетъ непремыннаго отнощенія къ какой бы то ни было фактической наличности, настоящей, или прошедшей, — оно представляеть и то, чего нъть и никогда еще не бывало, но что можеть быть, или что мыслимо. При томъ, если воспоминаемое есть группа различныхъ состояній, то фактическое отсутствіе внутренняго единства между этими состояніями не упраздняется памятью о нихъ, которая никакого новаго единства не создаеть: воспоминаемые факты остаются такими же разрознемными, отдъльными въ воспоминаніи, какими были въ прошедшей дъйствительности. Напротивъ того, слово создаетъ своему содержанію новое единство, не бывшее въ наличности непосредственнаго сознанія. Между тою розою, которую я видёль и нюхаль двадцать лёть тому назадь, и тою, на которую смотрю теперь, нёть никакой фактической связи (разумъю между этими двумя группами психическихъ состояній), точно также между ними и тъми розами, которыя, какъ мнъ

представляется, цвътутъ въ саду китайскаго мандарина, или генералъ-губернатора Канады. Но общее обозначение — слово «роза» (звучащее такъ или иначе, или вовсе не звучащее — все равно) дълаетъ изо всего этого настоящее одно и совершенно упраздняетъ отдъльность ощущений, не оставляя на нее даже никакого намека.

Слово есть собственная стихія логическаго мышленія, которое безъ словъ такъ же невозможно, какъ воздухъ безъ кислорода и вода безъ вопорода. Разумъется, дъло идеть о словъ вообще, независимо отъ тъхъ или другихъ образовъ его проявленія. Слово есть слово независимо отъ того, держится ли оно въ умъ, или произносится вслухъ. или пишется, или печатается. Существенно для слова только общность выражаемаго, или обозначаемаго, и постоянство выраженія, или обозначенія, а не то, чтобы эти выраженія или знаки воспринимались чрезъ это, а не другое внъшнее чувство. Исключительная зависимость слова отъ опредъленныхъ звуковыхъ сочетаній достаточно опровергается какъ существованіемъ идеографическаго письма, имъющаго значеніе только для зрвнія безь всякаго отношенія къ слуху, такъ и возможностью усвоить нъсколько языковъ, или перевода съ одного на другой, при чемъ слово-звукъ наглядно оказывается подвижною оболочкой слова-смыслъ 15. Слово вообще есть символо, т. е. знакъ, совивщающій въ себъ надичную единичность со всеобщимъ значеніемъ. Слово есть элементъ всякой мысли, и нужно оставить, какъ неточное, ходячее утвержденіе, что слова сами по себъ служать для выраженія именно понятій. Это ограниченіе слова лишь одною формою мышленія противоръчить дъйствительности. Такія слова, какъ смеркается, разсвътаеть, вечерьеть и т. п., выражають каждое не понятіе, а цілое сужденіе. Но самое это различеніе между понятіемъ и сужденіемъ, какъ формальными элементами мысли, можеть быть намъ еще неизвъстно или спорно, когда слово съ логическимъ

¹⁵ Положимъ, извъстные намъ памятники идеографіи (напримъръ, у китайцевъ, или у египтянъ) созданы людьми говорившими, хотя и молчаливыми). Но если бы существовалъ гдъ-нибудь цълый народъ глухонъмыхъ, то, конечно, при благопріятныхъ условіяхъ во всъхъ другихъ отношеніяхъ, онъ неминуемо пришелъ бы къ какомунибудь идеографическому обозначенію мыслей, т. е. къ беззвучному слову. Нельзя же въ самомъ дълъ глухонъмого человъка считать существомъ по природъ безсловеснымъ.

своимъ значеніемъ всеобщности уже несомнѣнно существуетъ. Говоря «смеркается» или «разсвѣтаетъ» для выраженія того, что у насъ передъ глазами, мы безотчетно проявляемъ такой знакъ, который всетда и вездѣ и для всѣхъ можетъ обозначатъ всякій случай для разсвѣта или вечернихъ сумерекъ, — намъ дана здѣсь и хранится въ памяти такая готовая печатъ, которая можетъ налагатъся на неограниченное число соотвѣтственныхъ явленій, чтобы сверхъ ощутимости сдѣлатъ ихъ еще и мыслимыми.

Но откуда же берется слово? Пусть на это отвъчають сразу тъ, для которыхъ уже совершенно ясно, что значитъ здъсь этотъ терминъ «откуда». А для пась пока терминъ «откуда» обозначаеть въ собственномъ смыслъ только пространственное отношеніе, которое до природы слова вовсе не касается. Въ смыслъ же вопроса чувствуется что-то другое. но что именно — пока неизвъстно. Мы можемъ о словъ съ ясностью и достовърностью утверждать лишь слъдующее: 1) слово существуеть какъ психическій факть; 2) всякому слову сверхъ фактическаго присутствія его въ наличномъ сознаніи присуще универсальное значеніе; 3) слово получаеть свой психическій матеріаль посредствомь особаго психическаго факта, состоящаго въ реакціи чего-то сверхвременнаго противъ непрерывной см'яны наличныхъ состояній сознанія; 4) предполагая факть памяти, слово само предподагается мышленіемъ, которое безъ словь не можеть быть соединеніемъ опредъленных в всеобщих элементовъ, т. е. не можеть имъть логического значенія 16; хотя тъ или другія слова могуть быть выдуманы, т. е. явиться условнымъ продуктомъ мыслительнаго процесса, но только на основъ уже существующаго слова, безъ котораго невозможенъ и самый процессъ; первоначально же слово, какъ основа раздъльнаго и отчетливаго мышленія, не можеть быть на немъ же основано, а есть фактъ, предваряющій всякую рефлексію и не обусловденный субъективно ничемъ другимъ, кромъ сохраненныхъ памятыо данныхъ психическихъ состояній, такъ что само слово можетъ быть опредълено лишь какъ прямое воздъйствіе чего-то сверхфактически ьсеобщаго на ту или другую отдъльность единичныхъ психическихъ фактовь, подобно тому какь память есть прямая реакція чего-то

¹⁶ Въ просторъчіи называются мыслями и такія состоянія сознанія, которыя лишены опредъленности и дъйствительной всеобщности; но это лишь зачатки мысли, которые въ этомъ видъ не образують настоящаго мышленія.

сверхвременнаго на процессь непрерывнаго возникновенія и исчезанія психических состояній. Какъ память, поднимаясь надъ смѣной моментовъ непосредственнаго сознанія, удерживаетъ исчезающее и возвращаетъ исчезнувшее, такъ слово, поднимаясь, кромь мого, надъ существованіемъ дробныхъ явленій, собираетъ разрозненное въ такое единство, которое всегда шире всякой данной наличности и всегда открыто для новой. Память есть надвременное въ сознаніи, слово есть и надвременное и надпространственное. Ставя пространство и время какъ первоначальныя формы чувственнаго созерданія, а чрезъ ето и всего дальнъйшаго познанія, Кантъ ошибся, не оцѣнивъ достаточно гносеологическаго значенія двухъ психическихъ основь, цепосредственно освобождающихъ сознаніе отъ полнаго подчиненія времени и пространству.

VIII.

Внутренняя, сверхвременная и сверхиространственная связь психическихъ состояній, или данныхъ прямого сознанія, представляемая словомъ, сама по себъ еще не образуетъ мышленія. Слово есть ближайшее предположение всякой возможной мысли, собственный ея элементь, но оно еще не даетъ дъйствительной мысли. Если мы будемь произносить тъ или другія слова по одиночкъ, или соединяя ихъ внъшнимъ образомъ (напримъръ, по созвучію), то изъ этого никакой мысли не выходить. Точно также, когда мы соединяемъ различныя представленія — какъ тв, которыя уже обобщены и объективированы словомъ, такъ и тъ, которыя остаются на степени индивидуальныхъ воспоминаній — когда мы ихъ соединяемъ по правиламъ такъ называемой ассоціаціи — по смежности, по сходству и по контрасту, воспроизводя при этомъ лишь тотъ порядокъ, въ которомъ одно представленіе фактически напоминаетъ намъ другое, то и туть мы не входимь въ область мышленія: такъ называемые «законы ассоціаціи идей» суть лишь пріемы памяти, а вовсе не мысли. Ими руководствуется умъ или тогда, когда онъ случайно бездъйствуетъ (напримъръ, въ разговоръ о пустякахъ), или тогда, когда онъ вовсе теряетъ способность мышленія (напримъръ, при прогрессивномъ парадичъ мозга, одинъ изъ върныхъ признаковъ котораго есть именно безотчетное подчинение внъшнимъ ассоціаціямъ представленій).

Мышленіе происходить изъ воспоминаній чрезъ слова. Память даеть ему устойчивость противъ смѣны состояній во времени, слово освобождаеть его и отъ временной, и отъ пространственной дробности; такимъ образомъ создаются условія для возможности мышленія. Но что же требуется для его собственной дѣйствительности? Въ чемъ настоящая мысль?

Когда раздается какая-нибудь рѣчь (т. е. производится нѣкоторое соединеніе словъ), то хотя бы значеніе отдѣльныхъ словъ и было
совершенно извѣстно, но если уљль ихъ соединенія, или общій смыслъ
рѣчи остается неясенъ, то мы спрашиваемъ: что онъ хочетъ этимъ
сказатъ? — и если на этотъ вопросъ получаемъ отвѣтъ: ничего! —
то окончательно оставляемъ всю рѣчь безъ вниманія въ полной увѣренности, что это не мысль, а лишь наборъ словъ, — хотя самый
вопросъ показывалъ, что всякая рѣчь (уже заключающая въ самыхъ
своихъ элементахъ, т. е. словахъ, общую возможность мышленія)
предполагается какъ выраженіе опредѣленной мысли, которая однако при отсутствіи опредѣленной воли, или намѣренія, оказывается
не дѣйствительною, а только кажущеюся мыслью.

Итакъ, для мысли дъйствительной. кромъ мыслительнаго состава съ его общимъ значеніемъ, требуется еще предпоставленное назначеніе этого состава служить нъкоторой положительной цьли. Это намъреніе, предшествующее дъйствительной мысли, и слъдовательно, стоящее за мыслью, очень мътко называется поэтому (на русскомъ языкъ) замысломъ.

Такимъ образомъ. опредълились три непремънныя условія мы-

- 1) память, дающая мышленію первый пребывающій или времеупорный матеріаль;
- 2) слово, придающее этому матеріалу первоначальную форму всеобщности, или свободу отъ эмпирическихъ условій субъективнаго психическаго процесса;
- 3) и къ этимъ двумъ условіямъ возможности мышденія, чтобы сдѣлать его дѣйствительнымъ, привходить третье залыселъ, создающій мысль, какъ необходимый путь къ задуманной цѣли.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Форма разумности и разумъ истины.

T.

Формальная достовърность разума прямо вырасмаемъ изъ безспорной достовърности, изъ самоочевидности непосредственнаго сознанія или данныхъ психической наличности. Если не можетъ быть спора о фактъ ощущаемаго мною здъсь и теперь холода, то также безспорна и мысль о самомъ холодъ или холодъ вообще, — мысль, которая, хотя возникла у меня также меперь и здъсь, но котораи не покрывается этимъ психическимъ фактомъ, а сознается — и при томъ такъ же прямо и непосредственно сознается, сверхъ того, какъ относящаяся одинаково и безразлично ко всъмъ ощущеніямъ холода, къмъ бы, когда бы и гдъ бы они ни испытывались.

Съ тою же самою непосредственною достовърностью, съ которою мы ощущаемъ наличную дъйствительность холода, съ тою же самою мы разумьемо возможность всеобщаго значенія того качества, которое дано въ этомъ нашемъ ощущени; потому что, когда мы утверждаемъ хотя бы только то, что холодъ есть ощущение, бывающее иногда пріятнымъ, а иногда непріятнымъ, то откуда бы мы ни почерпнули такое утвержденіе (объ этомъ ръчь еще впереди), мы во всякомъ случав знаемъ съ абсолютною несомнънностью, что собственно мы въ этомъ утвержденіи разумьёмъ, къ чему собственно оно относится, а именно: не къ тому ощущенію холода, которое мы въ данный моментъ испытываемъ или не испытываемъ, а ко всякому холоду, который во всякій моменть и во всякомъ мість всякимь субъектомъ можетъ испытываться или не испытываться. Короче сказать, мы разумъемъ это опредъленное качество совершенно независимо ни отъ какой наличности, и однакоже эта самая свобода отъ наличности несомнънно есть налицо существующій, непосредственно психически данный и съ этой стороны безусловно достовърный фактъ сознанія. Я въдь прямо и непосредственно знаю, что теперь и здись думаю о томъ, что не есть теперь и здись. Разумное мышленіе, хотл бы въ самомъ зачаточномъ состояніи, въ видъ какого-нибудь отвлеченнаго понятія, о томъ или другомъ конкретномъ чувственномъ качествъ или явленіи, уже дано въ непосредственномъ сознаніи, какъ

нъкоторая его наличность, перерастающая саму себя, какъ психический фактъ, переставшій быть только психическимъ фактомъ, — непосредственно перехватывающій своимъ всеобщимъ значеніемъ черезъ свою единичную дъйствительность.

Эта формальная объективная сущность разума по своей неоспоримой достовърности составляеть, въ связи съ такою же безусловною достовърностью субъективныхъ данныхъ непосредственнаго сознанія, вторую исходную точку теоретической философіи, и я желаль бы сдълать ее настолько же ясною и несомнънною для всякаго философствующаго читателя, насколько она ясна и несомнънна для меня съ тъхъ поръ, какъ я сталь отдавать себъ отчеть въ томъ, что такое мышленіе. Пусть же не посътують на меня, что прежде, чъмъ перейти къ особому предмету настоящей статьи, я еще разъ остановлюсь на этой первичной истинъ. Тотъ читатель, которому дъло и безъ того ясно, можеть вовсе пропустить то, что сейчасъ слъдуеть подъ цифрой II.

П.

Прежде всего должно помнить, что объ отдъльныхъ душахъ, какъ независимыхъ субстанціяхъ, о разныхъ степеняхъ ихъ развитія и возрастанія, а также, съ другой стороны, о тълъ какъ реальности, о мозгъ, нервахъ и ихъ физіологическихъ отправленіяхъ и въ связи съ этимъ — о происхожденіи высшихъ видовъ душевной жизни изъ низшихъ, у насъ теперь не можетъ быть никакой рѣчи, такъ какъ ничего достовърнаго объ этомъ мы заранье не знаемъ, а главная забота теоретической философіи — о достовърности того, что она утверждаетъ.

Когда, испытывая извъстное ощущение (а также не испытывая его), мы мыслимъ о немъ въ его всеобщей значимости, то эта мысль есть тутъ единичное и наличное состояние сознания, самымъ дъломъ перерастающее данную наличность душевной жизни 17.

¹⁷ Кому слово перерастать кажется слишкомъ простымъ для философіи, тотъ безвозбранно можетъ замънить мое выраженіе такимъ: "эта мысль самымъ актомъ своего объективнаго формулированія трансцендируетъ свою субъективную актуальность и императивно постулируетъ универсальность иптеллекта". Вирочемъ, вообще и кромъ шутокъ я желалъ бы узнать, что можно имъть противъ пользованія въ философіи общими понятіями органическаго порядка (какъ "ростъ

Всякая мысль, хотя бы самая простая и пустая, не можетъ одна быть настолько проста и пуста, чтобъ въ ней нельзя было различить двухъ самостоятельныхъ, хотя и существенио связанныхъ между собою сторонъ; всякую мысль можно и неизбъжно брать. вопервыхъ, какъ единичное состояние субъективнаго сознания, или какъ данное текущей психической наличности, и, во-вторыхъ, какъ то мыслимое, что въ этомъ единичномъ состоянии обозначается не единичнымъ, а всеобщимъ образомъ, какъ нъчто объективное, если не по содержанію, то во всякомъ случав по формь. Этп двъ стороны такъ же невозможно раздълить между собою, какъ и свести ихъ одну на пругую. Раздълить нельзя, потому что никакая мысль (и въ этомъ ея специфическое отличіе отъ прочихъ состояній созпанія) никогда не бываеть только состояніемь сознанія, а съ другой стороны, невозможно допустить и такое мыслимое, которое бы не было дано и какъ нъкоторое психическое состояніе, такъ какъ шаче это было бы мыслимое, которое вовсе не мыслится, что нельпо. Что же касается до сведенія одной изъ этихъ сторонъ на другую, то оно невозможно потому, что, придавая по необходимости объективное значение тому, о чемъ мы мыслимъ, мы никогда вмъстъ съ тъмъ не переносимъ такого значенія и на самый факть этой мысли. оставляя за шимь, напротивъ, его свойство субъективнаго состоянія сознанія; такъ, я знаю съ полною несомнънностью, что мыслимый мнею холодъ, т. е. самое понятіе холода, есть по моей же мысли одно и то же, независимо отъ времени, мъста и различія субъектовъ, по тотъ фактъ, что я теперь мыслю пменио о холодь, ишкакой объективной и всеобщей значимости не имъетъ, и есть совершенно такое же единичное и преходящее субъективное состояніе, какъ и тотъ ощущаємый мною ознобъ, по поводу котораго, положимъ. возникла эта моя мысль. и котораго я, конечно, не стану объектировать и обобщать. Ни въ какомъ случав не стану я утверждать, что самый этотъ психическій фактъ какъ такой (фактъ ли ощущенія, или фактъ мысли — все равно) есть что-нибудь за предълами данной своей наличности. Такимъ образомъ, не только въ отношеніи между ощущеніемъ и мыслью, но и въ предълахъ самой мысли непосредственно сознается и пребываетъ различіе между испытываемымъ психическимъ состояніемъ и тъмъ, что въ этомъ состояніи выражается или обозначается. Первое есть на-

[&]quot;перерастаніе") послъ того, какъ вся психологія и у Гербарта и въ англійской школь наводнена понятіями механическаго значенія.

личный фактъ мышленія, второе есть мыслимое какъ всеобщее. Въ этой моей единичной, субъективной мысли мыслится не она только, но также ея другое и всеобщее. Поскольку мыслимое есть по необходимости не мое только состояніе, а и нѣчто другое, — мышленіе имѣетъ природу объективную; поскольку мыслимое есть по необходимости не въ этомъ только случав, а во всякомъ, — мышленіе имѣетъ природу универсальную или вселенскую.

Въ прежнемъ разсужденіи ¹⁸, какъ примъръ разумнаго мышленія, я нарочно выбралъ мысль безумную, такую, которая могла быть формулирована только во снѣ или въ психіатрической лѣчебницѣ, выбралъ для того, чтобы яснѣе показать, что дѣло идетъ пока не объ особенномъ содержаніи той или другой мысли, которое можетъ быть истиннымъ и ложнымъ, осмысленнымъ и нелѣпымъ, достовѣрнымъ и невѣроятнымъ. а только о всеобщей формъ всякаго мышленія, которая всегда одна и та же, для всѣхъ случаевъ имѣетъ одинакій смыслъ, во всякомъ случаѣ — истинна и безусловно достовѣрна. Точно также, когда я говорилъ о непосредственномъ сознаніи ¹⁹, я нарочно взялъ примъръ страннаго сновідѣнія — опять таки, чтобы показать, что важна пока не проблематическая реальность сознаваемаго или того, что испытывается, а лишь безусловная достовѣрность самаго факта, что это испытывается.

III.

Итакъ, мы имѣемъ двоякую достовърность одинаково неоспоримую: субъективную достовърность непосредственнаго сознанія въ данныхъ его наличныхъ состояніяхъ и объективную достовърность разумнаго мышленія въ его всеобщей формъ.

Но развъ это то, что нужно, настоящее искомое? Существуетъ все переживаемое какъ фактъ. существуетъ все мыслимое какъ догическая форма. Но уже въ самомъ этомъ понятіи формы заключается требованіе содержанія, и при томъ не какого-нибудь, а сообразнаго съ формой (адэкватнаго ей). Въ логическомъ образъ мысли, хотя бы мысли самой пустой, самой нельной, самой ложной, содержатся непремънные признаки объективности, всеобщности, необходимости. Между тъмъ со стороны содержанія не только пустыя, нельныя п

¹⁸ См. выше "Достовърность разума".

¹⁹ См. выше "Первое начало теоретической философіи".

ложныя мысли не соотвътствують этимъ формальнымъ требованіямь мышленія, но имъ не адэкватенъ и самый богатый научный опытъ. Ибо этоть опыть въ окончательномъ анализъ всегда представляетъ два элемента: онъ всегда можетъ быть сведенъ къ фактамъ сознанія, такъ или иначе пережитымъ, и затъмъ такъ или иначе переработаннымъ умственною дъятельностью, т. е. введеннымъ въ логическую или разумную форму мышленія. Но никакая совокупность состояній сознанія. пережитыхъ, или переживаемыхъ тъмъ или другимъ (эмпирическимъ) субъектомъ, или наличною совокупностью субъектовъ, не можетъ наполнить собою логической формы, т. е. не можетъ удовлетворить разума, по той простой причинь, что форма разума безусловна, именно требуетъ или формально полагаетъ безусловную объективность, безусловную всеобщность, а тъмъ самымъ и безусловно необходимую связность своего содержанія. Между тімь опыть, хотя бы самый обширный и научный, исходя изъ данныхъ наличнаго сознанія, или изъ текущей, не исчерпанной совокупности фактическаго переживанія, можеть имъть притязаніе лишь на условную объективность, условную общность или обобщенность и условную связность своего содержанія.

Съ другой стороны, имъется элементъ безусловнаго въ нашемъ знаніи — именно, во-первыхъ, безусловная достовърность переживаемыхъ состояній сознанія какъ такихъ и, во-вторыхъ, безусловная достовърность логической формы мышленія какъ такой. Но это безусловность пустая, какъ ограниченная, одномърная безконечность линіи въ одномъ случав, двухмърная безконечность плоскости — въдругомъ.

Пустота безусловной формы есть данное, безспорно-существующее, искомое же есть ея наполненіе. Само исканіе, требованіе есть несомнѣнный фактъ. Имъ уже по необходимости опредѣляется и свойство искомаго, требуемаго. Мы знаемъ чего ищемъ. Уже въ древности было обращено вниманіе на этотъ парадоксальный фактъ: есть хотѣніе, стремленіе, исканіе познать истину, слѣдовательно, она уже извѣстна, ибо неизвѣстнаго нельзя и желатъ — ignoti nulla cupido. Затрудненіе устраняется сразу очевиднымъ различіемъ между извѣстностью истины какъ понятія и знаніемъ самой истины 20.

²⁰ У Гегеля, согласно его точкъ зрънія, это различіе принимаеть такой видь, что извъстное изначала понятіе истины есть общее неопредълившееся, или неразвитое понятіе (только an sich), а та

А въ чемъ же дается понятіе объ истинъ, какъ не въ той формъ разумности, которая есть несомнънный фактъ? Мы видъли, что эта форма для повседневнаго сознанія находится въ состояніи разсьянія и безразличія, такъ что облекаетъ и такія мысли, которыя по содержанію могутъ быть характерпзованы какъ сонный бредъ. Сосредоточить эту разсъянную форму въ ней самой, отръшить ее отъ несоотвътствующаго ей условнаго содержанія, оставляющаго ее саму по себъ безсодержательною, то-есть изъ безразличнаго понятія превратить ее въ живой замыселъ, — вотъ первая существенная задача философіи.

Фактически несомнънно, что замыселъ вообще, — всякій замыселъ, есть начало живого движенія, оплодотворяющее всякую мысленную матерію. Замыселъ есть то творческое да будетъ, которое изъ хаоса фактическихъ состояній сознанія создаетъ умственные мірки и міры. Существуеть память какъ общій неопредъленный подъемъ сознанія надъ потокомъ временной смѣны, но память сама по себъ лишь фактически, случайно спасаетъ кусочки и куски пережитыхъ психическихъ состояній, и ея содержаніе остается сверхвременнымъ, увѣковѣченнымъ, но все-таки хаосомъ, — и только съ замысла житейскаго и научнаго познанія начинается новый процессъ образованія, превращающій личную и собирательную память въ житейскій, историческій, научный опытъ.

Существуетъ слово — второй подъемъ сознательной жизни надъ текущею наличностью, надъ πγαταξετ. Но и полнота слова есть лишь обиліе всякихъ обломковъ пережитаго, приведенныхъ къ возможному схематическому порядку, въ предълахъ котораго текущая жизнь создаетъ дъйствительность новыхъ безчисленныхъ хаосовъ, и только замыселъ — и цъпъ замысловъ — логическаго разсужденія въ нъкоторой мъръ спасаетъ сознаніе отъ этого словеснаго безначалія и дурной безконечности.

Но кромъ всъхъ этихъ частныхъ замысловъ эмпирическаго и

сама истина, которая ищется, есть то же понятіе, діалектически развитое въ полноту своихъ опредъленій (an und für sich). Нътъ надобности заранъе пререкаться съ такимъ взглядомъ. Замътимъ, однако, что по діалектической методъ самого Гегеля понятіе истины развившись до полноты своихъ опредъленій, должно перейти въ свое другое, то-есть полная истина не можетъ вмъститься въ сферу понятія вообще (хотя бы въ самомъ широкомъ, гегеліанскомъ смыслъ).

логическаго познанія, разрастающихся въ болье и болье широкіе круги научнаго опыта и формальнаго пониманія, есть единый, единственный по своему предмету замысель — знать саму истину. Этоть замысель, какь и всякій другой, есть, во-первыхь, самодостовърный фактъ наличнаго сознанія: поскольку онъ имъется, постольку и познается. Во-вторыхъ, и также подобно всемъ прочимъ замысламъ, замысель безусловнаго познанія самой истины, т. е. не истины единичнаго факта и не истины всеобщей (allgemein gültige) логической формы, — а познанія истины по существу, или какъ безусловно-сущаго. — этотъ замысель, если только онъ есть действительный, живой актъ ръшенія, а не призрачная velleitas, становится началомъ движенія. собирающаго психическую наличность въ матеріаль сложнаго процесса, направленнаго къ исполненію первоначально замышленнаго. Въ-третьихъ, — и завсь отличительная особенность этого, собственно-философскаго замысла отъ всъхъ другихъ, — опъ безусловенъ не только въ смыслъ своей субъективной самодостовърности, но и со стороны своего предмета или содержанія. Этотъ предметъ самъ по себъ уже имъетъ безусловное значеніе, безусловную цънность. Онъ уже заранъе признанъ въ своемъ абсолютномъ достоинствъ, которое не отвергается и никакимъ скептицизмомъ. Сомнъніе относится лишь къ возмежности исполненія, а не къ достоинству самой задачи по предмету ея. Но и возможность исполненія лишь по недоразумьнію отвергается съ точки зрвнія скептицизма. Обыкновенно познаніе истины по существу признается невозможнымъ на основаніи предположенія, которое въ грубой схемъ можетъ быть представлено такъ: есть, съ одной стороны, нъкоторое X, называемое истиной, о которомъ извъстно только, что есть нъчто огромное — μεγάλη η άληδεά, — а, съ другой стороны, есть нъчто, по природъ ограниченное, или сравнительно малое, называемое человъческимъ умомъ, и задача философіи, предполагается, состоитъ въ томъ, чтобы это огромное вмъстить въ этомъ маломъ, — задача очевидно неисполнимая для философа. хотя бы его умъ вмъстительностью своею былъ подобенъ шароварамъ философа Хомы Брута. Словомъ сказать, этотъ вульгарный скептицизмъ, — ищущій обыкновенно болье тонкихъ и прикрашенныхъ выраженій, не измъняющихъ существа дъла, — зиждется на пространственно-механическомъ представленім истины, познающаго ума и отношенія между ними. Такъ какъ подобное представденіе во всякомъ случав неосновательно, какъ принимаемое вполнъ

безотчетно, то скептикъ серьезный и послѣдовательный долженъ залявить, что о существѣ истины, о познающемъ умѣ и объ отношеніи между ними онъ ровно ничего не знаетъ, а потому и не можетъ предрѣшать заранѣе неисполнимостъ философской задачи; но, видя наличность чужого замысла, долженъ отойти въ сторону и смотрѣтъ, что изъ этого выйдетъ.

IV.

Итакъ, кромъ наличности психическихъ состояній какъ такихъ и наличности логической формы мышленія какъ такой, дается философскій замыселъ познанія истины по существу. Этотъ замыселъ уже самою наличностью своею, какъ фактическое требованіе настоящей, подлинной безусловности, расширяетъ наше мышленіе. Разумность — такъ безразличная форма всякаго содержанія переходитъ въ требованіе опредъленнаго содержанія, именно безусловнаго, или всецълаго — опредъляєтъ себя какъ утвержденіе самой истины, стремящееся стать разумомъ истины.

Въ непосредственно-достовърномъ, самоочевидномъ фактъ неудовлетворенія формальною разумностью — субъектъ философіи являеть себя какъ становящійся разумъ истины. Тутъ житейское воззрѣнів — то самое, для котораго солнце встаеть съ востока и въ видъ блестящей тарелочки передвигается по огромной голубой чашъ, опрокинутой надъ землею — это самоувъренное, но до чрезвычайности недостовърное воззрѣніе, повидимому, исправленное, но на самомъ дѣлѣ лишь запутанное и испорченное школьнымъ догматизмомъ Декарта и Комп., — опять выступаеть со своимъ излюбленнымъ вопросомъ: «Да кто же этотъ субъекть? Чтобы становиться разумомъ истины, нужно существовать, а существовать въ собственномъ смыслѣ значитъ быть субстанціей, — такъ не есть ли этотъ вашъ субъектъ значитъ быть субстанція или вещь Декарта, монада Лейбница, отдѣльная индивидуальная «душа» старой спиритуалистической психологіи? А если нѣтъ, то о комъ же вы говорите? Кто этотъ субъектъ? Назовите его по имени!»

На такое требованіе школьно-житейскаго воззрѣнія, какъ на вопросъ ослѣпленнаго циклопа Полифема, субъектъ философіи долженъ, подобно хитроумному Одпссею, отвѣтить такъ: «Кто я? — Никто!» А если тотъ будетъ настаивать и обижаться, можно дать этому отвѣту такое полсненіе: вопросъ эмпирическаго воззрѣнія: кто

ты? можеть быть обращень лишь къ эмпирическому же субъекту, который не имъеть надобности скрывать своего имени: это каждый разъ есть тоть обыватель. что по тъмъ, или другимъ побужденіямъ ръшается философствовать сначала, отръшившись отъ школьныхъ предразсудковъ. Какъ истинное солнце сжимается для этого воззрънія въ колобродящій по небесному своду кружокъ въ нѣсколько дюймовъ діаметра, такъ и истинный субъектъ философіи сжимается здѣсь въ Петра Петровича, или Сидора Карпыча, пишущихъ философскій сочиненія. Значитъ вопроса кто? здѣсь и ставить нечего. Ну, а если дѣло идетъ о чемъ-нибудь другомъ, болѣе важномъ, то, вмѣсто отвѣта, должно обратить вниманіе спрашивающаго на то соображеніе, что вѣдь и по формальной логикѣ нельзя придавать безусловнаго значенія условнымъ логическимъ подставкамъ, которыя въ философскихъ построеніяхъ необходимы не менѣе, но и не болѣе, чѣмъ деревянные лѣса при постройкъ каменныхъ зданій.

Предположеніе спиритуалистическаго догматизма о безусловной истинности отдѣльныхъ реальныхъ единицъ сознанія, которыя однако уже самою множественностью своею обличаются какъ условныя, — это предположеніе ясно показываетъ, что мысль еще не стала здѣсь на безусловную или истинно-философскую точку зрѣнія. А какъ только она на нее становится, хотя бы сперва лишъ въ качествѣ философскаго требованія или замысла, такъ сейчасъ же неизбѣжно философствующій субъектъ перестаетъ сосредсточиваться на своей мнимой субстанціальности — умственный центръ тяжести съ внутреннею необходимостью перестанавливается изъ его ищущаго я въ искомое, т. е. въ саму истину, а эмпирическая отдѣльность и обобособленность его я естественно отпадаетъ по принадлежности въ область житейскаго практическаго сознанія, переставшаго ограничивать кругъ его истиннаго самосознанія.

Слъдуетъ провести далъе и тъмъ самымъ смирить горделивую аналогію, которую Кантъ проводилъ между Коперникомъ и собою: онъ, Кантъ, какъ нъкій Коперникъ философіи, показалъ, что земля эмпирическоой реальности, какъ зависимая планета, вращается около идеальнаго солниа — познающаго ума. Однако астрономія не остановилась на Коперникъ, и теперь мы знаемъ, что центральность солнца есть лишь относительная, и что наше свътило имъетъ свой настоящій центръ гдъ-то въ безконечномъ пространствъ. Такъ же и Кантовское солнце — познающій субъектъ — должно быть лишено

неподобающаго ему значенія. Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не можеть быть средоточіемъ п положительною исходною точкой истиннаго познанія, при чемъ философія имъетъ передъ астрономіей то преимущество, что центръ истины, находящійся не въ «дурной», а въ хорошей безконечности, можетъ быть всегда и вездъ достигнутъ — извнутри.

Кто думаетъ о самой истинъ, тотъ, конечно, не думаетъ тутъ о своемъ я, — не въ томъ смыслъ, чтобы онъ терялъ самосознаніе, а въ томъ, напротивъ, что онъ пріобритаетъ для своего пустого я новое и при томъ самое лучшее — безусловное содержаніе, хотя сперва лишь въ замыслъ, въ предвареніи. Уже въ актъ ръшенія познаватъ саму истину мыслящее я становится формою истины, — формою какъ бы въ зародышъ. Но уже и въ зародышъ своей познаваемости сама безусловная истина обладаетъ своимъ отличительнымъ качествомъ, она ни въ какомъ случат не можетъ представлятъ собою чего-нибудь частичнаго, ограниченнаго и обособленнаго. Зародышъ самой истины естъ зародышъ ея всецълости, и внутренній ростъ этого зародыша можетъ быть только развитіемъ истинной всецълости.

Развитіе это не должно представляться какъ процессъ безличный. Безъ сомнънія, философія есть дъло философа, она собственно есть философствованіе; но если бы данный эмпирическій субъекть и въ философствованіи своемъ не поднимался надъ своюмъ житейскимъ уровнемъ, если бы здѣсь проявлялись только мысли этого обывателя, Карпа Семеновича, о разныхъ предметахъ, обычно относимыхъ къ философіи, то кажется ясно, что такія измышленія отдѣльнаго субъекта какъ такого не могли бы имѣть общаго значенія и интереса. Ясно, что истинная философія начинается тогда, когда эмпирическій субъектъ поднимается сверхличнымъ вдохновеніемъ въ область самой истины. Ибо если и нельзя заранѣе опредѣлить, что есть истина, то должно сказать во всякомъ случаѣ въ чемъ ея нѣтъ, а именно, ея нѣтъ въ области отдѣльнаго, обособленнаго я, которое изъ себя, какъ центра, описываетъ болѣе или менѣе длиннымъ, но всегда ограниченнымъ радіусомъ кругь личнаго существованія. Если бы истина была здѣсь, то ея не зачѣмъ было бы искать, и самая мысль о философіи какъ познаваніи безусловной истины не могла бы возникнуть. А разъ такая мысль возникла и въ самомъ дѣлѣ овладѣла мыслящимъ, то онъ уже тѣмъ самымъ внутренно разорвалъ оковы своей мнимой отдѣльности, сталъ субъектомъ сверхличнымъ, и понятно, что эти

разорванныя оковы, а также и все то, чѣмъ школьный догматизмъ старался и старается ихъ опять спаять — всѣ эти псевдофилософскія понятія мыслящихъ субстанцій, монадъ, реальныхъ единицъ. сознанія и т. д. — все это теряетъ существенное значеніе, сознается какъ überwundener Standpunkt. Ясно, что эта Ueberwindung есть необходимое условіе дальнѣйшаго философствованія.

Не то, чтобы границы эмпирическаго обособленія перестали существовать для философской мысли, или потеряли всякій интересь для нея, но ихъ продолжающееся существованіе и остающійся интересь теперь совсьмъ другіе, ибо центръ бытія перемъстился. Употребляя стародавнюю метафору, я назваль границы эмпирическаго существованія оковами. Такъ представьте себъ отношеніе освобожденнаго узника къ его оковамь. Онъ продолжають существовать, но какъ нъчто чуждое; можно допустить, что онь, — хотя не сейчась по освобожденіи, а потомъ, — возымъеть къ нимъ интересь но во всякомъ случать второстепенный: если онъ поэтъ или ораторь, онъ можеть вспомнить о своихъ оковахъ для поэтическаго или реторическаго обращенія къ нимъ; если онъ живописецъ, онъ можетъ ввести ихъ въ сюжетъ какой-нибудь картины; если онъ врачъ, онъ можеть употребить ихъ матеріалъ — мъдь или жельзо — для цълей металлотерапіи, — но заковывать себя въ нихъ онъ ужъ навърно не будеть.

V.

Ръшительный замысель познавать саму истину, — этоть настоящій философскій паеось хотя появляется на почвъ данной разумности, но онъ перерастаеть ее какъ общую форму неопредъленныхъ возможностей, опредълившись какъ живой зародышъ философскаго дъланія. Объ этомъ дъланіи (или о методъ философіи въ самомъ широкомъ смыслъ) господствуеть нынѣ два противоположныхъ представленія, враждебно или презрительно относящихся другь къ другу. Философское дъланіе представляется или какъ медленная собирательная работа многихъ, по частямъ и частичкамъ подбирающихъ матеріаль для заложенія фундамента и возведенія отдъльныхъ стънъ будущаго зданія безъ върнаго ручательства и ясной надежды, что оно будеть когда-нибудь докончено; или философія представляется какъ прямое личное творчество отдъльнаго мыслителя, выражающее его субъективность. Исходя изъ върныхъ положеній, оба взгляда по не-

догичности ихъ сторонниковъ приходятъ къ заключеніямъ ложнымъ и нелъпымъ.

Конечно, философія есть собирательное дѣдо многихъ, и требованіе начинать сначада ставится, конечно, не въ смыслѣ историческомъ. Философія создается многими; однако, чтобы работа этихъ многихъ была работою надъ однимъ и тѣмъ же, и при томъ именно надъ философіей, или познаніемъ истины какъ такой, очевидно требуется предварительная общая идея истины, опредѣдяющая собою и планъ собирательной работы. А то если одинъ подъ именемъ философіи отдастъ свои силы психометрическому исчисленію различныхъ скоростей чувственнаго воспріятія, а другой — стилометрическому исчисленію словъ, словечекъ и конструкцій фразы въ Платоновыхъ діалогахъ, то не видно, какимъ способомъ можно доказать, что они работаютъ надъ одною и тою же задачей и при томъ задачей философской. Правда, эти столь различныя исчислительныя работы, хотя не объединяются въ общей задачѣ, однако сближаются въ общемъ свойствѣ интереса, именно интереса къ точности исчисленій; но я хотѣлъ бы, чтобы кто-нибудь ясно и убѣдительно опровертъ мое рѣшительное утвержденіе, что этотъ общій психометріи и стилометріи интересъ болѣе сроденъ статистикѣ, нежели философіи.

Сравненіе съ воздвигаемымъ зданіемъ только подчеркиваетъ требованіе объединяющаго начала. Зданіе строится по частямъ многими рабочими и мастерами, но по плану одного архитектора, по распоряженіямъ одного предпринимателя и подъ опредѣленнымъ надзоромъ за общимъ ходомъ работы. А безъ этого, если бы рабочіе даже не знали о томъ, что именно строится: храмъ ли, дворецъ ли, манежъ для конницы, или помѣщеніе для сорока тысячъ свиней, — то можно вообразить, что бы вышло изъ такой «собирательной» тектоники. Для отдѣльнаго философскаго ученія, напримѣръ, гегельянства, есть одинъ «учитель», — онъ же и архитекторъ, и предприниматель, и главный рабочій надъ своимъ умственнымъ сооруженіемъ. Но такія законченныя «абсолютныя» системы отжили свой вѣкъ, и требуемая «собирательная», или точнѣе, по частямъ собираемая философія исключаетъ самое понятіе одного архитектора, какъ и одного предпринимателя. Это, положимъ, было бы не бѣда, лишь бы существоваль одинъ общій для всѣхъ внутренно-обязательный планъ. У настоящихъ философовъ мы никакого плана построенія философіи изъ

разныхъ психометрическихъ и иныхъ кусочковъ, конечно, не найдемъ; если же обратимся къ профессорамъ психометріи и прочихъ ремесленныхъ производствъ, то они, хотя охотно представятъ намъ и порознь и сообща всякіе планы собирательныхъ и подбирательныхъ работъ, но положительное отношение этихъ плановъ къ философіи опять таки останется проблематичнымъ, и чтобы допустить его, предварительно нужно будеть выкинуть изъ философіи все то, что разумъли подъ этимъ словомъ Платонъ и Аристотель, Спиноза и Гегель и всь ть лица, которыми до сихъ поръ занимаются всь сочиненія по исторіи философіи. А при явной химеричности такого условія предфилософскаго дъланія, какъ механической собираставленіе тельной работы, лишено не только значенія дъйствительности, становится однимъ но и значенія серьезнаго замысла, и тъхъ субъективныхъ вымысловъ и помысловъ, изъ которыхъ состоить философія согласно второму изъ разбираемых теперь представленій.

Это второе представление о философскомъ дълании, составлявшее полусознательную подкладку въ писаніяхъ Шопентауэра, окончательно проявилось у Ницше и возводится въ принципъ его послъдователями ²¹. По ихъ взгляду, философія есть личное творчество единичнаго мыслителя и выражаетъ только содержание его субъективности. Съ этой точки зрънія нельзя ничего сказать и противъ перваго взгляда на философію, принадлежащаго профессорамъ психометріи. Не имъя, по независящимъ отъ нихъ причинамъ, никакой возможности стать основателями дъйствительнаго собирательнаго филоони сохраняютъ софскаго дъланія, полное право умствованія по этому предмету, выражающія ихъ субъективность. Субъективности бывають, конечно, разныя, и тоть интересъ всъхъ, сочувствіе многихъ и поклоненіе нъкоторыхъ, что достались на долю геніальной психопатіи, выраженной увлекательной лирической прозъ Ницше, никогда не будутъ удъломъ негеніальной психометріи профессоровъ X, Y, Z. Но ихъ уравниваетъ одинаково всъмъ присущій признакъ субъективности вообще.

Какое же его отношеніе къ философіи?

 $^{^{21}}$ См., напримъръ, книгу г. Шестова "Добро въ ученіи гр. Толстого и Φ , Ницше. СПБ. 1900.

VI.

Безъ всякаго сомнънія, философія есть вообще дъло нъкотораго субъективнаго творчества. Это ставить ее въ рядъ другихъ проявленій творчества, но чёмъ же она отъ нихъ отличается, въ чемъ существенное различіе между нею и, напримъръ, поэзіею? Если бы различіе было только въ формъ, то право философіи на существованіе было бы сомнительно, такъ какъ всякій долженъ признать, что сс стороны формы произведенія подлинно поэтическая несравненно превосходить даже такихъ первостепенныхъ философскихъ твореній, какъ «Этика» Спинозы, «Критика» Канта и «Логика» Гегеля. Если же существенное отличие состоить въ томъ, что поэзія обращается къ чувству и воображенію, а философія къ уму, такъ что ея форма, менъе эстетичная, имъеть преимущество доказательной достовърности, — то въдь и это преимущество принадлежитъ собственно не философіи, а положительнымъ и точнымъ наукамъ: ибо гдъ та философія, которая дъйствительно удовлетворила умъ и доказала свои положенія?

Нъкоторые философы были вмъстъ съ тъмъ и настоящими поэтами (Платовъ, Джордано Бруно), другіе — настоящими учеными (Декартъ, Лейбницъ, Кантъ). Такимъ фактическимъ совмъщеніямъ можно радоваться, но, конечно, они не дають отвъта на вопрось о raison d'être философіи какъ такой. Если философъ вообще, въ этомъ своемъ качествъ, не можетъ сопериичать ни съ поэтомъ по красотъ выраженія идей, ни съ ученымъ по ихъ внъшней убъдительности, то ясно, что достаточное основаніе для философскаго дъланія можеть быть найдено не съ этихъ сторонь. И поэзія, и точная наука — объ (каждая по-своему) отличаются своею формальною конечностью, то-есть законченностью своихъ произведеній. Ихъ много, какъ теоремъ Эвклида, или драмъ Кальдерона, но каждое есть замкнутый кругь, окончательно удовлетворяющій въ своихъ предълахъ эстетическій или научный интересь. Геометрической теорем'в достаточно ея доказанности, и поэтическому произведенію достаточно его красоты. Достоинство философіи, напротивъ, въ ея безконечности, но въ томъ, что достигнуто, а въ замыслъ и ръшеніи познать саму истину, или то, что есть безусловно.

Этоть замысель, хотя какъ фактъ, или эмпирически, принадлежитъ субъекту, но по существу, какъ утверждение о самой истинъ,

онъ выходитъ изъ предъловъ всякой субъективности, опредъляя фплософствующаго субъекта тъмъ, что больше его. Въ томъ или другомъ выражени замыселъ познатъ безусловную истину стоитъ во главъ всякой настоящей философіи, но важно, насколько философское дъланіе върно этому началу, насколько сама истина остается его единственнымъ средоточіемъ, насколько въ дальнъйшемъ ходъ философствованія растетъ, кръпнетъ и полнъетъ чистый мысленный образъ самой безусловной истины.

софствованія растеть, крѣпнеть и полнъеть чистым мысленным образь самой безусловной истины.

Припомнимъ важнѣйпія превратности и уклоненія отъ прямого пути въ новой философій, именно въ трехъ ея основоположныхъ ученіяхъ — картезіанствѣ, кантіанствѣ и гегельянствѣ.

Конечно, во всѣхъ трехъ ученіяхъ задача, которою опредѣляется субъектъ философій, есть первоначально познаніе самой истины, или безусловнаго. Но во всѣхъ трехъ при дальнѣйшемъ ходѣ мысли эта задача незамѣтно суживается и подмѣняется чѣмъ-то другимъ. Въ картезіанствѣ это другое есть я, какъ подлинно существующее, или (мыслящая) субстанція. Здѣсь останавливается и на этомъ сосредоточивается главный философскій интересъ и самого Декарта, и его новѣйшихъ послѣдователей (Мэнъ-де-Биранъ и др.) Правда, Декартъ говоритъ и о Богѣ, но такъ, что лучше бы онъ о немъ молчалъ, онъ говоритъ много важнаго и основательнаго о внѣшнемъ мірѣ, но какъ философствующій физикъ, или механикъ, а не какъ философъ. Въ послѣднемъ качествѣ его существенный интересъ вращается около такъ называемой души, или единичнаго я какъ субстанціи. И донынѣ картезіанцы обычно заботятся все о душѣ да о лушѣ. Есть ли эта забота истинно-философская? Развѣ ея субъективно-эмпирическія побужденія не бросаются въ глаза? И здѣсь имѣетъ силу слово истины: кто хочетъ сберечь душу свою, тотъ потеряетъ ее, а кто «потеряетъ ее ради Меня, тотъ сбережетъ ее». Забыть о субъктивномъ центрѣ ради центра безусловнаго, всецѣло отдаться мыслью самой истинѣ — вотъ единственно вѣрный способъ найти и для души ея настоящее мѣсто: вѣдь оно зависитъ отъ собъ найти и для души ея настоящее мъсто: въдь оно зависить отъ истины, и ни отъ чего болъе.

Для Декарта самое мышленіе важно прежде всего какъ способъ убъдиться въ моемъ собственномъ существованіи, — въ существованіи всякаго мыслящаго субъекта. Существованіе всякаго такого субъекта можетъ быть интересно въ различныхъ отношеніяхъ — какъ плательщика податей, какъ подлежащаго воинской повинности,

вообще какъ статистической единицы. Въ этомъ качествъ онъ сушествуетъ, конечно, не потому, что мыслитъ, а потому, что его мать родила. Эмпирическое существование субъекта можеть зависьть только отъ опредъленнаго эмпирическаго факта, и утверждать зависимость этого существованія отъ мышленія субъекта было бы явнымъ абсурдомъ, какой бы широкій смыслъ мы ни придали слову «мышленіе». Но чисто-философскій интересь принадлежить мышленію въ собственномъ смыслъ, то-есть отношению субъекта къ истинъ, или его сообразности съ нею какъ нормально-мыслящаго. Значить, не истина зависить отъ фактическаго мышленія, а, напротивъ, достоинство и философскій интересъ этого мышленія зависять отъ истины, и все значение мыслящаго субъекта зависить отъ того, опредъляеть онъ себя, или нътъ, какъ форму безусловнаго содержанія, или какъ разумъ истины. Въ картезіанскомъ спиритуализмъ субъекту, я, или душъ, придано значение какъ чему-то самостоятельно существующему, безотносительно къ самой истинъ, и эта первая ложь осталась въ школь, несмотря на благородныя попытки преодольть ее, сдъланныя Мальбранщемъ и Спинозой.

Съ другого конца ближе подходить къ дълу, то-есть къ истянъ, ученіе Канта. Здъсь философскій интересъ сосредоточенъ не на существованіи субъекта (что само по себь ни къ чему), а на общихъ нормахо его дъятельности какъ познающаго. Но Кантъ не договариваетъ: познающаго истину по нормамъ, въ которыхъ она раскрывается для ума, на нее направленнаго. Если картезіанскій спиритуализмъ прямо лишенъ философскаго смысла и интереса, то Кантова гносеологія остается до конца двусмысленной, и познающій субъекть въ ней въчно колеблется между ролью полномочнаго законодателя для всего познаваемаго и ролью невольника, темъ боле несчастнаго, что его господинъ ему неизвъстенъ, и онъ долженъ покорно принимать невъдомо откуда идущія условія для своей дъятельности. Конечно, кантіанскій «чистый разумъ» ближе къ истинь, чымь картевіанская «мыслящая субстанція», но онъ все-таки не доходить до нея въ мысли Канта и остается въ сущности лишь формальною разумностью, фактически намъ присущею, но лишенною (у Канта) всякихъ средствъ, чтобы стать разумомъ истины.

Великое достоинство гегельянства въ томъ, что и безсмысленнам «субстанція» догматизма и двусмысленный «субъектъ» критицизма превращены здъсь въ верстовые столбы діалектической дороги. Кар-

тезіанская «душа» перешла въ кантіанскій «умъ», а этоть растворился въ самомъ процессъ мышленія, не становясь однако и у Гегеля разумомъ истины. Всь внъшнія перегородки между философскимъ мышленіемъ и его предметомъ — самою истиною — сняты въ гегельянствъ, но воздвиглась внутренняя преграда самомиънія, объявившаго, что процессь постиженія истины и есть сама истина. Вивсто наполненія разума, какъ безусловной формы, безусловнымъ содержаніемъ самой истины, основнымъ мъриломъ философскаго дъданія объявлено заранье тожество формы съ содержаніемъ, а окончательнымъ содержаніемъ, подлинною дъйствительностью, осталось, какъ и у Канта, только то, что дано. Гегельянство грандіозно, но не какъ ведикій потокъ живой воды, что можеть нести насъ къ океану, а какъ необычайно высокій фонтанъ, который чъмъ выше поднимается, тъмъ съ большею стремительностью падаетъ обратно внизъ къ своему ограниченному резервуару — эмпирической дъйствительности. Въ гегельянствъ философскій субъектъ ближе всего подходитъ къ своему подлинному и окончательному опредъленію — какъ становящійся разумъ истины. Но поднявшись на эту высоту, онъ испытываеть головокружение и безумно воображаеть, что начало его разумънія истины есть возникновеніе самой истины, его рость и развитіе— ея собственный рость и развитіе. Провозглашается нелъпая мысль о становящейся истинъ, о развивающемся абсолють 22. Между философами, подходившими къ истинъ, нътъ большаго, чъмъ Гегель, но и наименьшій между философами, исходящими изъ самой истины, больше его.

VII.

Разсужденія этой и двухъ предыдущихъ статей даютъ въ итогъ такое заключеніе.

Существуеть для начала философіи тріединая достовърность.

Во-первыхъ, достовърны субъективныя состоянія сознанія какъ такія — психическая матерія всякой философіи.

Во-вторыхъ, достовърна общая логическая форма мышленія какъ такая (независимо отъ содержанія).

И, въ-третьихъ, достовъренъ философскій замыселъ, или ръшимость познавать саму истину, — какъ живое начало философскаго

²² Я не приписываю этой нелѣпости самому Гегелю, но его птенцы поневолѣ вынесли именно это изъ его гнѣзда.

дъланія, какъ дъйствительная, опредъденная форма, заключающая въ себъ зародышъ или съмя своего безусловнаго содержанія. Единство этой троякой достовърности состоитъ въ томъ, что

Единство этой троякой достовърности состоить въ томъ, что первый ея видь присущъ и обоимъ другимъ, такъ какъ и формальная разумность, — мышленіе вообще и замыселъ мышленія безусловнаго, или познанія истины суть прежде всего факты сознанія, непосредственно достовърные въ этомъ первомъ смыслъ. Но къ этой своей субъективной достовърности логическое мышленіе какъ такое привносить всеобщую и объективную значимость (формальную разумность) каждаго изъ своихъ проявленій, а философскій замысель къ своей субъективной достовърности и къ логическому значенію своего предмета (понятіе самой истины, или безусловнаго) присоединяетъ ту ръшимость, или тогь актъ отдающейся своему предмету воли, что является дъйствительнымъ началомъ движенія и превращаетъ мышленіе въ становящійся разумъ истины.

Должно такимъ образомъ различать въ познающемъ, во-первыхъ, субъекта эмпирическаго, во-вторыхъ, субъекта логическаго и, въ-третьихъ, субъекта собственно философскаго. Можно, пожалуй, обозначить это троякое подлежащее тремя различными именами, называя первое душою, второе — умомъ и третье — дутомъ. Слъдуетъ только не увлекаться этимъ словеснымъ различениемъ и не останавливаться на немъ прежде времени. Въдь сама эта тройстъенность имъетъ пока лишь отвлеченно логическое значение и опредъляетъ познающаго въ его формальной разумности, а не въ его качествъ становящагося разума истины, какимъ онъ долженъ быть по собственному своему замыслу. Какъ живая форма истины, онъ долженъ быть занятъ не собою, а своимъ безусловнымъ будущимъ содержаниемъ; становясь разумомъ истины, онъ долженъ опредъляться не въ себъ, а въ опредъленіяхъ своего безусловнаго предмета. Онъ долженъ обращаться не вокругъ себя, а въ истину, и затъмъ уже изъ этого своего запечатлъвннаго истиною, въ ея цвъта окрашеннаго качества — не какъ своего, а какъ исминнаго начала, исходить для дальнъйшаго и полнъйшаго познанія.

Новая философія (отъ Декарта и ученика его Гейлинкса) утверждаеть своимъ началомъ старое дельфійское требованіе $\Gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta \iota$ $\sigma \alpha \nu \tau \delta \nu$ — познай самого себя. Но отличительное свойство такихъ изреченій, какъ и пророческихъ сновидѣній, — въ ихъ многосмыслен-

ности. Одному моему знакомому тайный голосъ безпрестанно твердиль во снъ: ступай въ Египетъ, ступай въ Египетъ. — а потомъ оказалось, что ему нужно было заниматься химіей, и что именно этого требовалъ отъ него въщій голосъ, выражавшійся, какъ и все пророческое, въ формъ довольно дикаго каламбура (древнее имя Египта — хемъ, черная земля, откуда и названіе химіи).

Но не менъе загадочно и дельфійское изреченіе, такъ какъ предметь его предписанія можеть быть понять не въ одномъ, а, по крайней мъръ, въ трехъ разныхъ смыслахъ. «Познай самого себя» — значить ли это, что мы должны познавать себя какъ эмпирическаго субъекта, въ своемъ темпераментъ, характеръ и всякихъ психологическихъ свойствахъ — общихъ, частныхъ и особенныхъ? Это очень полезно, но въдь это не философія.

Или намъ нужно познавать себя, какъ субъекта логическаго, въ тъхъ формахъ мышленія, подъ которыя этотъ субъектъ подставляется какъ мыслящій, независимо отъ чего бы то ни было мыслимаго? И это упражненіе можетъ быть полезно и занимательно; но то, что мы называемъ философіей, не сводится и къ формальной логикъ, какъ оно не сводится къ эмпирической психологіи.

Дельфійское изреченіе, если оно шло отъ доброй силы, а не отъ Пиеона, не могло внушать познанія себя какъ эмпирическаго хаоса, или какъ логической отвлеченности; оно должно было указывать на субъекта въ третьемъ смыслъ, какъ истинно философскаго; онъ же опредъляется не въ своей матеріальной пестротъ и не въ своей формальной пустотъ, а въ своемъ безусловномъ содержаніи, какъ становящійся разумъ самой истины. Слъдовательно, познай самого себя значитъ — познай истину. $\Gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta_{i} \sigma \alpha v \tau \delta \nu - \gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta_{i} \tau \dot{\eta} \nu d \lambda \dot{\eta} \vartheta \epsilon_{i} \alpha v *.$

^{*} Напечатанныя выше три статьи, посвященныя основнымъ вопросамъ гносеологіи, появились въ журналѣ "Вопросы Философіи и Психологіи" въ 1897, 1898 и 1899 гг. (кн. 40, 43 и 50). Мы соединяемъ ихъ подъ однимъ общимъ заглавіемъ: "Теоретичская философія", такъ какъ онѣ представляютъ собою главы изъ общаго труда, имѣвшаго появиться подъ тѣмъ же заглавіемъ. Смерть помѣшала В. С. Соловьеву заковчить свою капитальную работу по теоріи повнанія.

Письмо о Восточномъ вопросъ. 1898.

Идея человъчества у Августа Конта. 1898.

•

Жизненная драма Платона.



Письмо о Восточномъ вопросъ 1. 1898.

Я родился въ годъ, когда началась турецкая война, приведшая къ севастопольскому погрому, я пережилъ въ ранней молодости то общественное и народное движеніе у насъ, которое предшествовало и сопровождало турецкую войну 1877 г. Въ прошломъ году пришлось смотрёть издали, какъ загоралось, но не выгорёло, на Востокъ. Чувствуется связь и хочется вникнуть въ смыслъ этихъ трехъ явленій: крымская война, война 1877 г. и армянскія и греческія дъла 1896—1897 гг. Отчего первое кончилось пораженіемъ Россіи, второе — ея, хотя неполнымъ, торжествомъ, а изъ третьяго ничего не вышло, и небывалое накопленіе человъческихъ бъдствій не разръшилось никакимъ историческимъ ударомъ?

Когда двло идетъ о восточномъ вопросв, который уже дввнадцать ввковъ тому назадъ опредвлился исторически, какъ борьба между христіанскимъ и мусульманскимъ міромъ, — хорошо, если можно стать на такую точку зрвнія, которая была бы понятна и для мусульманъ, и для христіанъ и при томъ не только для христіанъ религіозно-настроенныхъ, но и для равнодушныхъ къ религіи.

Такая точка зрѣнія есть, и на нее даже трудно не стать. Впервые она была выражена въ простой и наивной формъ тѣми благочестивыми лѣтописдами, которые говорили, что Богь далъ верхъ мусульманамъ за гръхи христіанъ. Съ этимъ, конечно, согласится и всякій благочестивый мусульманинъ: коранъ Магомета наполненъ разсказами о народахъ и городахъ, пораженныхъ и погибшихъ за грѣхи свои. А между тѣмъ смыслъ этого взгляда можетъ быть при-

¹ Настоящее письмо пом'вщено было въ сборникъ "Вратская помощь армянамъ" (Москва 1898; подъ редакціей Г. А. Джаншіева)-

нять, и постоянно принимается, самыми скептическими историками. Кто же не согласень, напримъръ, въ томъ, что французская монархія погибла за грѣхи апсіеп régime? Нужно только не смъшивать личную нравственную отвътственность съ общественною, или историческою. Эти два порядка отношеній разнообразно переплетаются между собою, но они никогда не совпадаютъ и не отождествляются вполнъ. Конечно, Людовикъ XVI быль лично менъе всего виновенъ въ грѣхахъ прежней французской монархіи. Точно также у насъ, хотя смутное время несомнънно было отвътомъ исторіи на режимъ Ивана IV, но разразился этотъ отвътъ не надъ виновникомъ, а надъ дътьми Бориса Годунова и множествомъ другихъ лично невиновныхъ жертвъ. Тутъ есть мудреная задача и для религіозной, и для философской мысли; но трудность этой задачи, и хотя бы даже ея неразръшимость, нисколько пе устраняетъ ни естественной солидарности собирательнаго — цѣлыхъ народовъ, государствъ, — ни естественной связи общественныхъ бъдствій съ общественными грѣхами и неправдами.

Этимъ уже разрѣшенъ первый вопрось объ исходѣ крымской войны. Рѣшеніе это еще тогда было сразу у насъ принято всѣми — безъ дебатовъ, раг ассіататіоп. Крѣпостническій и безсудный строй русской жизни, державшійся даже противъ лучшей воли благона-мѣреннаго Государя, достаточно объясняль и оправдываль ходъ событій въ глазахъ всѣхъ мыслящихъ и добросвѣстныхъ людей. Западники и славянофилы, Грановскій и Хомяковъ, были тутъ единогласны. Тогда не приходило въ голову и то кажущееся основательнымъ возраженіе: крѣпостническій и безсудный строй русской жизни существоваль и прежде, однако, Россія торжествовала и надъ шведами, и надъ поляками, и надъ Европой Наполеона I и надъ тѣми же турками. Но при оцѣнкѣ историческихъ явленій, — хотя бы нравственной, — нелѣпо отвлекаться отъ историческихъ условій и отъ даннаго уровня общественнаго сознанія. Въ 1709 г., и даже въ 1812 г., отъ Россіи требовалось не то, что въ 1854 г. Нашъ до-реформенный строй былъ сносенъ для полуварварскаго состоянія образованности; онъ быль бы даже недосягаемою вершиною совершенства для времени дикихъ. Но общество, произведшее Жуковскаго и Пушкина, Грибо-тадова и Гоголя, не могло безъ тяжкаго грѣха оставаться при этомъ строть. Младенцу прощаютъ такія безчинства, за которыя взрослыхъ выводять съ позоромъ. Русское общество, по крайней мѣрѣ, въ верх-

нихъ кругахъ своихъ, было взрослымъ въ эпоху крымской войны. Оно само поняло севастопольское крушеніе, какъ нравственный урокъ, и, покаявшись, принесло плоды, достойные покаянія. За внутреннимъ исправленіемъ послѣдовали и внѣшніе успѣхи: покореніе Кавказа, Средней Азіи. освобожденіе Болгаріи. Это были побѣды столько же культурныя, сколько и военныя: Россіи Александра II было что передать этимъ варварскимъ странамъ для ихъ собственной пользы. Внѣшнее торжество было неполное, но вѣдь и внутреннее исправленіе было тоже съ грѣхомъ пополамъ: насколько заслужили, столько и получили.

А затъмъ — кровавая игра незрълыхъ школьниковъ въ революцію, 1-е марта и его естественныя последствія. Что же мы заслужили за 15 лътъ 1881—1896? Если 1-е марта покрыто своими послъдствіями, а эти послъдствія оправдывались тэмь событіемь, которое ихъ вызвало, то не сошель ли нашъ нравственный бюджеть на круглый нуль? Кажется, что такъ. Заглядывая въ душу нашего общества, не увидишь тамъ ни яснаго добра, ни яснаго зла. Точно тъ тъни, которыхъ ни адъ, ни рай, ни чистилище не принимаютъ. Non raggionar di lor, ma guarda e passa! или по-русски: ни Богу свъчка, ни чорту кочерга. Настоящая была, здоровая чортова кочерга въ кръпостнической и безсудной Россіи; и свъча Божія горъда въ ту пору ярко, хотя и подъ спудомъ. Подомали чортову кочергу преобразованія 1861—1866 гг. и вынули свічу Божію изъподъ спуда. А теперь ни то, ни се: кочерга поломанная лежитъ неубрана на видномъ мъстъ, а свъча Божія запрятана гдъ-то въ углу, хотя и не подъ спудомъ, а за какими-то негодными, темными ширмами, и еле-еле доходить отъ нея тусклый свъть. Такіе тусклые моменты — отсрочки для суда исторіи. Провиденіе какъ будто выжидаеть и безмольствуеть. Воть почему въ прошломъ году всъ горючіе историческіе матеріалы были какъ отсырёлыя дрова и не могла важечь восточнаго вопроса. Борьба христіанскаго міра съ мусульманскимъ! Но гдъ же, въ чемъ наще христіанство?

Идея человъчества у Августа Конта ¹. 1898.

Я особенно признателенъ философскому обществу за предоставленную мив честь открыть наши поминки по Августв Контв. собственно не имъю на эту честь никакихъ правъ кромъ развъ права уплатить старый свой долгь великому мыслителю. Болье 20 льть тому назадъ миъ пришлось на этомъ самомъ мъстъ начать свое публичное поприще ръзкимъ нападеніемъ на позитивную философію ². Мев неть причины въ этомъ раскаиваться. Во-первыхъ, въ то время на позитивизмъ у насъ была мода, и, какъ водится, эта умственная мода становилась идолопоклонствомъ, слѣпымъ и нетерпимымъ всемъ «несогласно мыслящимъ». Противодействіе туть было не только позволительно и умъстно, но и обязательно для начинающаг. философа, какъ первый экзаменъ въ серьезности философскаго призванія. А во-вторыхъ, это идолопоклонство, несправедливое къ иновърцамъ, обижало и самого своего идола: за цълаго Конта выдавадась только первая половина его ученія, а другая — и по мнѣнію самого учителя болбе значительная, окончательная, — замалчивалась.

Но если мнѣ не приходится раскаиваться въ фактѣ своего нападенія, и если на мнѣ нѣтъ вины передъ позитивизмомъ тогдашняго русскаго общества, то долгъ передъ Контомъ все-таки остается долгъ указать зерно великой истины въ его дѣйствительномъ, цѣломъ ученіи.

 $^{^1}$ Читано въ публичномъ собраніи Философскаго общества при петербургскомъ университетъ, 7 марта 1898 г., по случаю столътней годовщины рожденія Августа Конта. $Pe\theta$.

² Разумъю свою магистерскую диссертацію и ея защиту въ петербургскомъ университетъ.

T.

Самъ Контъ, чрезвычайно высоко цъня дѣло своей жизни, указываетъ на его единство — онъ видитъ здѣсь только одну мысль — «мысль юности, осуществленную зрѣлымъ возрастомъ» (une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr). Мнѣнія Конта о себѣ самомъ, конечно, для насъ не обязательны, однако, говоря о немъ, было бы странно обходить то, что онъ считалъ единою мыслью своей жизни. Я имѣю, кромѣ того, еще два побужденія остановиться именно на этой мысли: внѣ тѣсно замкнутаго. хотя и широко раскинутаго круга правовѣрныхъ контистовъ, эта мысль сравнительно мало извѣстна и во всякомъ случаѣ недостаточно обращаетъ на себя вниманія; а главное — я вижу въ ней по существу великую истину, хотя ложно обусловленную и односторонне выраженную.

И прежде всего нужно вспомнить общія условія, при которыхъ она возникла.

Мы теперь считаемъ 1898 годъ по Рождествъ Христовъ. Хота Конть родился сто лъть тому назадь, однако, годь его рожденія быль не 1798-й по Рождествъ Христовъ а 7-й годъ нъкоей новой эры, нарочно передъ тъмъ установленной, чтобы внышнимъ знакомъ отмътить, что человъческій умъ окончательно и внутренно разорваль прежнюю связь съ христіанствомъ. Хотя революціонный календарь быль скоро отмъненъ и забыть, но означавшійся имъ разрывъ быль принять Контомъ, вмъсть съ большинствомъ его современниковъ, какъ совершившійся факть, нормальный и безповоротный. Воть, значить, первое историческое условіе Контовой мысли: она выросла на почвъ отрицательнаго отношенія къ христіанству. Но это условіе само по себъ слишкомъ обще — въ немъ нътъ ничего характернаго и оригинальнаго. Оригинальность уже является въ томъ, что отрицательное отношение къ христіанству соединяется у Конта съ отрицательнымъ же отношеніемъ къ революціи. Когда Контъ заканчиваль во всёхь подробностяхь свой плань нормальнаго общественнаго строя, онъ не вернулся къ христіанскому календарю, но не приняль и календаря революціоннаго, а сочиниль свой собственный, откуда котя исключень Христось, но куда введены съ почетомъ апостолъ Павель и многіе другіе святые не только западной, но и восточной церкви (напр. Аванасій Великій, Василій Великій, Іоаннъ Здатоусть), и не допущень ни одинь изъ вершителей французской революціи, представленной въ этомъ календарѣ лишь одною изъ ея жертвъ — химикомъ Лавуазье.

При его принципіальномъ отчужденіи отъ христіанства, для Конта, конечно, весьма характерно это отрицательное отношеніе къчисто-отрицательному образу мыслей и дъйствій, къ односторонне-критическимъ и анархическимъ тенденціямъ, Онъ могъ называть свое ученіе положительнымъ и въ этомъ алгебраическомъ смыслъ, какъ отрицаніе отрицанія, какъ плюсъ, который дается произведеніямъ минуса на минусъ. Такая формальная характеристика указываетъ, разумъется, лишь на общее направленіе мысли. Но въчемъ же состояла самая мысль?

II.

Становясь на философско-историческую точку зрѣнія, должно признать во французской революціи нѣчто цѣнное, отъ чего получала она принципіальное значеніе, оправданіе и притягательную силу — именно объявденіе человѣческія правъ. Вообще говоря, это не было ново, ибо всѣ человѣческія права содержатся, конечно, въ той власти людей стать чадами Божіими, которая возвѣщена Евангеліемъ (ев. Іоанна І, 12). Но говоря чисто-исторически, объявленіе естественныхъ правъ человѣка было ново не только по отношенію къ древнему міру и среднимъ вѣкамъ, но также и для позднѣйшей Европы съ ея религіозною и церковною реформацією, приверженцы которой, также какъ и ихъ противники, совершенно забывали, что человѣкъ имѣетъ неприкосновенныя права. Французскіе реформаторы, страдавшіе отъ драгонадъ Людовика XIV, не имѣли для своего противодѣйствія никакой принципіальной опоры, такъ какъ относительно самаго основного изъ человѣческихъ правъ, — свободы религіозныхъ убѣжденій, — этотъ король былъ лишь единомышденникъ, болѣе могущественный и однако менѣе рѣшительный, ихъ собственнаго вѣроучителя и законодателя Кальвина, который при первой возможности съ спокойной совѣстью сжегъ невиннаго и заслуженнаго человѣка за разногласіє съ нимъ въ догматѣ Троицы.

Принципъ правъ человъческихъ былъ въ высшей степени важный и для всего тогдашняго міра новый принципъ, — но и пе къ нему относился отрицательный взглядъ Конта на революцію. Замъчательно, что, отказавшись отъ революціоннаго календаря и его

эры (1792), напоминавшей господство террора, нашъ философъ принялъ какъ предварительное начало своего лътосчисленія 1789 г. — годъ знаменитой деклараціи и первыхъ мирныхъ опытовъ ея осуществленія.

Однако двъ стороны французской революціи — провозглашеніе человъческихъ правъ сначала, а затъмъ неслыханное систематическое попираніе всъхъ такихъ правъ революціонными властями —представляють не случайное только противоръчіе. не простое безсиліе практики осуществить принципь. Нъть, глубокое основаніе этой двуличности находится уже въ самой деклараціи, благодаря прибавкъ одного слова: права человъка и гражданина. Казалось бы, прибавка невинная и даже основательная. Безъ гражданскихъ правъ человъческія не реализуются. На давно уже достигнутой исторической ступени всякій человъкъ есть между прочимъ и гражданинъ, какъ онъ бываетъ семьяниномъ, членомъ своей церкви, партіи, шкоды и т. д. Всв эти частныя опредвленія очень важны, но въ нихъ нътъ ничего самоопредълительнаго, ничего такого, что было бы само по себт основаніемъ для какихъ-нибудь по существу неотчуждаемыхъ правъ. Понятіе правъ человъка тъмъ и было дорого, что оно указывало на такую безусловность, на такой неотъемлемый признакъ въ субъектъ правъ, — на нъчто такое, изъ чего всъ требованія справедливости могли выводиться съ внутреннею обязательностью формальной логики. Но эловредная кляуза «и гражданина», смышивая разнородное и ставя на одну доску условное съ безусловнымъ, портила все дѣло.

Нельзя въ здравомъ умѣ сказать какому бы то ни было человѣку — преступнику, безумному, дикарю, все равно — «ты не человѣкъ». Но нѣтъ логическаго препятствія сказать «ты не гражданинъ» даже вполнѣ достойному человѣку и хотя бы такому, который уже былъ признанъ гражданиномъ. «Вчера ты былъ гражданиномъ. теперь ты еще гражданинъ, но черезъ минуту ты не гражданинъ». А если гражданство признано самостоятельнымъ основаніемъ всякихъ правъ, то съ отсутствіемъ или потерею этого случайнаго и отчуждаемаго достоинства будутъ отсутствовать или теряться и эти права. Ясно, что неотъемлемыя права могутъ вытекать единственно только изъ неотъемлемаго значенія ихъ носителя. Древнія государства отлично знали задолго до французской революціи, что такое гражданство и права гражданина, но это не обезцечивало основному классу

ихъ населенія не только гражданскихъ, но и вообще никакихъ правъ. Всякія опредъленныя или положительныя права человѣческія могутъ быть сами по себъ отняты. Бытъ гражданиномъ есть само по себъ лишь положительное право и какъ такое можетъ быть отнято безъ внутренняго противоръчія. Но быть человъкомъ есть не условное право, а свойство, по существу неотчуждаемое, и только оно одно, будучи принято за первооснову всякихъ правъ, можетъ сообщать имъ принципіальную неприкосновенность, или полагать безусловное препятствіе ихъ отнятію или произвольному ограниченію. Пока опредъ-ляющій принципъ одинъ — права *человька*, — тѣмъ самымъ обезпечены и неприкосновенны права всёхъ, такъ какъ нельзя объявить, что люди такой-то расы, такого-то исповёданія, такого-то сословія не люди. Но стоитъ только рядомъ съ естественною первоосновою всъхъ правъ поставить искусственную — гражданство, какъ открывается широкая возможность, объявляя ту, или другую группу людей въ исключительномъ гражданскомъ, или, точнъе, вив-гражданскомъ положеніи, отнимать у нихъ подъ видомъ гражданскихъ всѣ человѣческія права. Такимъ образомъ возведеніе «гражданина» въ самостоятельный принципъ рядомъ съ «человъкомъ» оказывается пагубнымъ именно для всеобщности гражданскихъ правъ. Самой революціи принадлежитъ фактически заслуга распространенія гражданскихъ правъ на обширныя группы людей, наполовину или вовсе ихъ лишенныя въ прежней Франціи, — на помъщичьихъ крестьянъ, на протистантовъ и евреевъ. Но отказавшись отъ чистой и ясной постановки освободительнаго дѣла на его безусловномъ основаніи (досто-инство человѣка какъ такого) и примѣшавъ къ этому условное и не-опредѣленное понятіе «добрый гражданинъ», революція открывала тъмъ двери для всевозможныхъ дикостей на будущее время. Да и въ самую революціонную эпоху всъ эти множества человъческихъ жертвъ, массами утопленныхъ, заръзанныхъ, гильотинированныхъ, пострадали конечно не потому, что перестали быть людьми, а потому, что были признаны дурными гражданами, плохими патріотами, «изм'єнниками» (какъ и у насъ, наприм'єръ, безчисленныя жертвы Ивана IV).

Изъ двухъ принциповъ — «человъкъ» и «гражданинъ», — безсвязно сопоставленныхъ рядомъ вмъсто того, чтобы второго подчинить первому, — естественнымъ образомъ низшій, какъ болье конкретный и наглядный, оказался на дълъ болье сильнымъ и скоро за-

слониль собою высшій, а затемь и поглотиль его безо остатка, — ибо, казня гражданина, по необходимости убивали и человека.

III.

Если неистовства революціоннаго террора находили для себя принципіальную точку опоры въ деклараціи правъ, именно въ прибавкѣ «и гражданина», то сама эта прибавка не была же слѣдствіемъ ни случайной ошибки, ни прямого злого умысла, — имѣла же она какое-нибудь внутреннее основаніе, или смыслъ. И въ самомъ дѣлѣ она вытекала изъ естественнаго и справедливаго, но только ложно понятаго и невѣрно примѣненнаго (въ силу историческихъ условій) чувства недостаточности единичнаго человѣка въ отдѣльности взятаго, чтобы быть дъйствительно безусловнымъ носителемъ права, — его недостаточности для осуществленія человѣческихъ правъ.

Лучшіе изъ начинателей великаго переворота понимали, или, по крайни мъръ, чувствовали, внутреннюю безконечность и самозаконность (автономію) индивидуального человъка, но они также понимали, или чувствовали, что само по себъ это безконечное значение есть только возможность, и что для переведенія ея въ дъйствительность единичному человъку должно быть придано что-то другое — уже на дълъ высшее и болъе могучее, чъмъ онъ самъ. Что же это за реальновысшее, дающее действительную полноту жизни отдельному лицу? Классическая древность, давно уже возведенная въ идеаль силою умственной реакціи противъ средневъковой теократіи, указывала на гражданство, государство, отечество; ходъ новой исторіи внесь сюда дишь то видоизмъненіе, что идея высшаго политическаго пълаго связывалась уже не съ городомъ, а съ народомъ или націей. Національный патріотизмъ, впервые могущественно заявившій о себъ въ XV въкъ въ лицъ Іоанны д'Аркъ на полурелигіозной почвъ, былъ все болъе и болъе «секуляризуемъ» въ теченіе слъдующихъ въковъ и окончательно утверждень въ своемъ чисто мірскомъ и даже языческомъ видъ французской революціей.

Настоящимъ полнымъ человъкомъ лицо становится только какъ гражданинъ своего государства, сынъ своего отечества. Августу Конту прежде всего принадлежитъ заслуга и слава, что онъ не удовлетворился этимъ столь яснымъ и благовиднымъ ръшеніемъ. Нътъ,

конечно, особой заслуги и славы, если человъкъ, върующій въ Небеснаго Отпа, не ставить на Его мъсто своего земного отечества. Но Контъ не върилъ въ единаго Бога-Вседержителя, не върилъ онъ, съ другой стороны, въ абсолютное значение человъческой индивидуальности самой по себь, и, однако, ища ей реальнаго восполненія, онъ не остановился на томъ собирательномъ цъломъ, которое существуетъ наглядно и конкретно, всеми признанное, — не остановился на единствъ національномъ. Онъ понялъ, — одинъ изъ первыхъ и одинъ изъ немногихъ, — что нація въ своей наличной эмпирической дъйствительности есть нъчто само по себъ условное, что она хотя всегда могущественнъе и физически долговъчнъе отдъльнаго лица, но далеко не всегда достойнъе его по внутреннему существу, въ смысль духовномъ. Кто, напримъръ, быль ближе къ истинной полнотъ человъческаго достоинства, — убиваемый ли праведникъ Сократъ въ своемъ внъшнемъ безсили, или насиліемъ торжествующее надъ нимъ авинское гражданство въ своей внутренней неправдъ? А если однако и Сократъ, при всей высотъ своего личнаго достоинства, не быль однако въ своей отдъльности вполнъ, или совершенно человъкомъ, если и онъ нуждался въ восполнении, то, конечно, не отъ гражданства, или отвечества своего, — которов окончательно наполнило ему только чашу съ ядомъ, — а отъ чего-то другого.

Контъ, — и въ этомъ еще большая его заслуга и слава, — яснъе, ръшительнъе и полнъе всъхъ своихъ предшественниковъ указаль это «другор», — собирательное цълое, по внутреннему существу, а не внъшнимъ только образомъ превосходящее каждаго единичнаго человъка, дъйствительно его восполняющее какъ идеально, такъ и совершенно реально, — указалъ на человъчество какъ на живое положительное единство, насъ обнимающее, на «великое существо» по преимуществу, — le Grand Étre.

IV.

Идея человъчества была бы не нова и не интересна, если бы Контъ разумълъ подъ этимъ словомъ общее родовое понятіе, или же реальную совокупность, сумму человъческихъ единицъ.

Но онъ говорилъ не объ отвлеченномъ понятіи и не объ эмпирическомъ агтрегатъ, а о живомъ дъйствительномъ существъ. Съ геніальною смълостью онъ идетъ дальше и утверждаетъ, что единич-

ный человъкь самъ по себъ или въ отдъльности взятый есть лишь абстракція, что такого человъка въ дъйствительности не бываеть и быть не можетъ. И, конечно, Контъ правъ.

Никто не отрицаеть дъйствительности элементарныхъ терминовъ геометріи — точки, линіи, поверхностной фигуры, наконецъ — объема, или фигуры стереометрической, т. е. геометрическаго тъла. Все это дъйствительно существуетъ, со всъмъ этимъ мы оперируемъ и въ жизни, и въ наукъ. Но въ какомъ же смыслъ мы приписываемъ дъйствительность этимъ геометрическимъ стихіямъ? При скольконибудь отчетливомъ мышленіи ясно, что онъ существуютъ не въ отдъльности своей, а единственно въ опредъленныхъ отношеніяхъ другъ къ другу, что ихъ дъйствительность исчерпывается, или покрывается этою относительностью, что онъ собственно и представляютъ только закръпленныя мыслью простыя отношенія, отвлеченныя отъ болье сложныхъ фактовъ.

Геометрическая точка опредъляется какъ граница, или мъсто пересъченія, т. е. совпаденія двухъ пересъкающихся линій, — ясно, что она не существуетъ внъ ихъ. Нельзя даже предотавить себъ отдъльно существующую геометрическую точку, ибо, будучи по опредъленію лишена всякой протяженности, равняясь нулю пространства, она не имъетъ въ себъ ничего такого, что бы обособляло ее или отдъляло отъ окружающей среды, съ которою она неудержимо и сливалась бы, пропадая въ ней безследно. Итакъ, точки или элементы нулевого измъренія существують не сами по себъ или отдъльно взятыя, а только въ линіяхъ и черезъ линіи. Но и линіи, въ свою очередь, т. е. элементы одного измиренія, существують лишь какь предълы поверхностей или элементовъ двухъ измъреній, а поверхности лишь какь предёлы (геометрическихъ) тёль или трехмёрныхъ построеній, которыя, въ свою очередь, действительно существують лишь какъ ограниченія тыль физическихь, опредыляемыхь, но не исчерпываемыхъ геометрическими элементами. Наивному представленію можеть казаться, что линіи слагаются изъ точекь, поверхности — изъ линій, тъла — изъ поверхностей. Но это сейчасъ же оказывается немыслимымъ. Если бы даже геометрическія точки и могли существовать самостоятельно, то для того, чтобы сложиться въ какую-нибудь опредъленную линію, онъ, очевидно, должны бы были располагаться не какъ попало, а въ этомъ опредъленномъ направле- \dot{u} , но это уже есть линія, которая, следовательно, не слагается изъ

точекь, а предполагается ими. Точно также для того, чтобы линіи (попуская — per impossibile — ихъ отдъльное существование) могли сложиться въ поверхность, необходимо, чтобы онъ располагались по опредъленному двухмърному начертанію, т. е. поверхность оказывается уже данною, — и т. д. Дъло нисколько не измъняется, если мы въ каждомъ случат вмъсто сложенія многих поставимъ, какъ это принято, движение одного пеометрического элемента, т. е. представимъ линію какъ движеніе точки, поверхность какъ движеніе линіи и т. д. Ясно, въ самомъ дълъ, что движение точки можетъ произвести опредъленную линію лишь подъ условіемъ, что это движеніе совершается въ опредъленномъ направленіи, т. е. по этой самой линіи. которая, такимъ образомъ, уже дана мысленно раньше движенія точки. А различеніе линій, или направленій для движущейся точки, уже предполагаетъ вообще, по крайней мъръ, пространство двухмърное, такъ какъ въ одномъ измъреніи мыслима только одна линія. Точно также для того, чтобы движение линии образовало опредъленную поверхность, необходимо, чтобы оно совершалось именно въ предълахъ этой самой поверхности, уже заранъе такимъ образомъ предположенной, — и т. д. Однимъ словомъ, порядокъ дъйствительнаго отношенія здъсь аналитическій — отъ высшаго къ низшему, отъ болъе конкретнаго къ болъе абстрактному, получить же высшія геометрическія опредъленія синтетически изъ низшихъ совершенно немыслимо, такъ какъ эти последнія необходимо предполагають те высшія какъ свою опредъляющую среду. Точки дъйствительно существують только на линіяхъ, линіи — только на поверхностяхъ, поверхности — только на тълахъ геометрическихъ, какъ эти послъднія — только на тълахъ физическихъ. Мнимо-сложное, — т. е. въ самомъ дълъ относительноцилое — первъе, самостоятельнъе, реальнъе своихъ мнимо-простыхъ, а въ дъйствительности лишь частичныхъ, дробныхъ элементовъ продуктовъ своего разложенія.

Дьлое первые своих частей и предполагается ими. Эта ведикая истина, очевидная въ геометріи, сохраняетъ всю свою силу и въ соціологіи. Соотвътствіе здъсь полное. Соціологическая точка — единичное лицо, линія — семейство, площадь — народъ, трехмърная фигура, или геометрическое тъло — раса, но вполнъ дъйствительное, физическое тъло — только человъчество. Нельзя отрицать дъйствительность составныхъ частей, но лишь въ связи ихъ съ цълымъ, — отдъльно взятыя онъ лишь абстракціи. По связи съ цълымъ, — отдъльно взятыя онъ лишь абстракціи. По связи съ цъ

лымъ одинъ человъкъ — эта соціологическая точка — можетъ имътъ гораздо больше значенія, чъмъ многія семьи, народы и даже расы, — какъ подобное бываетъ и съ точкою геометрическою: центръ шара — единичная точка — гораздо важнѣе не только всѣхъ другихъ точекъ въ этомъ тѣлѣ, но и всѣхъ линій; такъ и личность, напр., Сократа, при великомъ своемъ всемірномъ значеніи, неизмѣримо превосходящемъ не только линію его семейства, но и всю площадь афискаго гражданства, не могла бы имътъ никакого дъйствительнаго существованія безъ этого семейства и этого гражданства. которое, въ свою очередь, не могло бы существовать само по себѣ внѣ жизни человѣчества.

Тъло не слагается изъ точекъ, линій, фигуръ, а уже предподагается ими; человъчество не слагается изъ лицъ, семей, народовъ, а предполагается ими. Мы видимъ, конечно, что въ общемъ ходъ всемірной исторіи эти единичные и собирательные элементы человъческой жизни все болье и болье сближаются между собою и какъ бы слагаются вмёсте, но этимь они не создають человечества въ самомъ существъ его, такъ какъ оно уже предполагается самымъ этимъ объединительнымъ движеніемъ, какъ его необходимая основа, побужденіе и руководство. Если всемірная исторія есть последовательное и систематическое собирание частныхъ элементовъ, слагающихся вмъстъ въ крайною реальность цълаго человъчества, то для этого само человъчество должно было предварительно разложиться на ограниченныя группы, не доходя, впрочемъ, до крайняго предъла. Контъ. кажь основатель соціологіи, не упускаеть заметить, что человечество разлагается сначала на общины, потомъ на семьи, но никогда на отдъльныя лица³.

Части всегда предполагають свое цёлое и подчинены ему. И если намъ это представляется наобороть, то лишь по историческиобусловденной недостаточности нашихъ понятій и формуль, неспособныхъ еще представлять истинную реальность. «Лишь отсюда, — говорить Конть, — происходить наше расположеніе всегда подчинять цёлое частямъ, хотя только ему — цёлому — можетъ принадлежать полное и прочное существованіе 4. Но когда истинно-синтетическое

³ L'Humanité se décompose, d'abord en Citès, puis en Familles, mais jamais en individus (Auguste Conte, "Système de politique positive", tome IV, Paris 1854, p. 31).

⁴ Une existence complète et durable (тамъ же).

состояніе ума достаточно преодолѣетъ наши предварительныя привычки 5, обратная склонность естественно возобладаетъ, какъ единственно позитивная 6. Когда понятіе человѣчества окажется довольно обычнымъ, возрожденныя души къ нему будутъ относитъ идея народа и даже семьи, — чтобы всегда отправляться отъ даннаго, наилучшимъ образомъ характеризованнаго, къ даннымъ, менѣе опредѣлившимся 7. Ибо только существованіе человѣчества допускаетъ опредѣленіе, изъятое отъ смѣшенія и отъ произвола».

По глубокому, върному замъчанію Конта, всъ софизмы, выставляемые безпорядочнымъ или отсталымъ образомъ мыслей противъ реальности человъчества, разрушаютъ сами себя. Они предполагаютъ точку зрънія исключительнаго индивидуализма, которую однако нельзя послъдовательно провести до конца. Ибо самый языкъ, на которомъ они высказываются, обличилъ бы ихъ нелъпость, такъ какъ онъ несомнънно есть нъчто сверхъ-индивидуальное, равно какъ Семья и Отечество, которыхъ эти «отсталые или безпринципные софисты» также не посмъютъ отрицать. Эти три основныя образованія — языкъ, отечество, семья — несомнънно дуть частныя проявленія человъчества, а не индивидуальнаго человъка, который, напротивъ, самъ отъ нихъ вполнъ зависитъ, какъ отъ реальныхъ условій своего человъческаго существованія в

Контъ отмъчаетъ склонностъ всякой ассоціаціи смотръть на себя какъ на зерно человъчества °. Это расположеніе къ универсальности соотвътствуетъ тому факту, что всякая частичная ассоціація, хотя бы при наибольшемъ своемъ развитіи, входитъ въ единство цѣлаго, отъ котораго она можетъ быть отдѣлена только абстракціей 10. Контъ не только увѣренъ въ дѣйствительномъ существованіи единаго человъчества, но видитъ въ немъ существованіе по преимуществу и прямо называеть его la suprême existence 11.

⁵ Nos habitudes préliminaires (тамъ же).

⁶ En vertu de son exclusive positivité (тамъ же).

⁷ Afin de procéder toujours du cas le mieux caractérisé vers les moins prononcés (тамъ же).

⁸ Тамъ же, 28.

⁹ Тамъ же, 29.

¹⁰ Тамъ же, 31.

¹¹ Тамъ же, 31, 33 и др.

V.

«Великое Существо» совмѣщаетъ въ себѣ (не въ смыслѣ суммы, а въ смыслѣ дѣйствительной цѣлости, или живого единства) всѣ существа, свободно содѣйствующія соверщенствованію всемірнаго порядка ¹². Ища лишь восполнить понятіе реальнаго порядка, мы естественно устанавливаемъ то единство, которое ему соотвѣтствуетъ. Согласно объективному подчиненію, характеризующему общую іерархію явленій, всемірный порядокъ становится существенно сводимымъ къ порядку человѣческому — послѣднему предѣлу всѣхъ замѣтныхъ вліяній ¹³.

Позитивное ученіе, необходимо ограниченное сначала самыми простыми и самыми общими явленіями, должно наконецъ показать намъ дъйствительное существованіе, истинно одаренное чувствами и волей, аналогичными нашимъ, но соединенными съ высшимъ могуществомъ ¹⁴.

Поскольку Великое Существо не подлежить наблюденію вившнихъ чувствъ и математическимъ вычисленіямъ, оно по Конту есть предметь въры, но въры необходимо связанной со всею совокупностью научнаго знанія. Конть говорить о положительной върь (la foi positive) не въ смыслъ теологическомъ, конечно, а скоръе подобно тому, какъ Кантъ говориль о въръ разумной, т. е. въръ въ необходимые постудаты разума. «Положительная въра достигаетъ своего истиннаго единства, какъ объективнаго, такъ и субъективнаго, черезъ необходимое последствие своего нормальнаго развития, сосредоточивая совокупность реальныхъ законовъ вокругъ собирательнаго существа, которое непосредственно управляеть нашими судьбами въ силу его собственной необходимости, видоизмъненной его провидъніемъ. въра вполнъ согласуется съ любовью, направляя къ этому Великому Существу, въ высочайшей степени сочувственному, все почитаніе, подобающее благотворному господству всемірнаго порядка. Правда, это Существо, безпредъльное и въчное (т. е. Человъчество), не создало само тъхъ матеріаловъ, которые употребляеть его мудрая дъятельность, ни тъхъ законовъ, которыми опредъляются результаты

¹² Тамъ же, 30.

¹³ Dernier terme de toutes les influences appréciables; тамъ же т. II (Parisen 1852), стр. 56.

¹⁴ Тамъ же, II, 51.

этой дъятельности ¹⁵. Но «абсолютная оцънка» этого Существа, по мнънію Конта, не требуется умомъ и еще менъе — сердцемъ. «Конечно, — говоритъ онъ, естественный порядокъ достаточно несовершененъ для того, чтобы его благодъянія могли реализоваться для насълишь косвеннымъ способомъ — черезъ сердечное служеніе — раг l'afectueux ministère — дъятельнаго и разумнаго Существа, безъ котораго наше существованіе стало бы почти невыносимымъ. А такое убъжденіе достаточно уполномочиваетъ каждаго изъ насъ обращать къ Человъчеству всю свою справедливую признательность, если бы даже и существовало еще высшее Провидъніе, отъ котораго проистекало бы могущество нашей общей Матери» ¹⁶.

Въ основателъ религіи человъчества мы узнаемъ здъсь автора позитивной философіи, который хотълъ ограничить астрономію одною нашею солнечною системой, утверждая, что изученіе прочаго звъзднаго неба и невозможно, и, главное, — не нужно. И тамъ, и здъсь одинъ принципъ: «послъдній предълъ всъхъ замътныхъ вліяній», — принципъ весьма характерный для новъйшаго наслъдника римскаго духа, но по существу не выдерживающій критики. Но моя задача теперь и не есть критика. Итакъ, возвращаюсь къ истинному содержанію Контова езгляда.

Человъчество въ смыслъ живой и полной реальности признается Контомъ какъ положительный фактъ, къ которому окончательно сводится вся система научныхъ знаній. «Углубленное изученіе всемірнаго порядка, — говоритъ онъ, — открываетъ намъ въ немъ преобладающее существованіе истиннаго Великаго Существа, которое, имъя своимъ назначеніемъ непрерывно совершенствовать этотъ порядокъ, всегда съ нимъ сообразуясь, наилучшимъ образомъ представляетъ намъ его истинную совокупность. Это неоспоримое Провидъніе, вершительница нашей судьбы, естественно становится общимъ средоточіемъ нашихъ чувствъ, нашихъ мыслей и нашихъ дъйствій. Хотя, очевидно, это Великое Существо превосходитъ всякую человъческую силу, даже собирательную, необходимое его строеніе — за constitution песеззаіге — и его собственная судьба дълаютъ его въ высшей степени сочувственнымъ со всякимъ его служителемъ» 17.

¹⁵ Тамъ же, II, 56—57.

¹⁶ Тамъ же, П, 57.

¹⁷ Тамъ же, II, 59.

VI.

Надлежащее отношение къ Великому Существу, или «религія человъчества», не исключаетъ, а включаетъ въ себя какъ свои подиотовленія — семью и отечество. «Два существенные атрибута собирательнаго существованія — солидарность и непрерывность (continuité) естественно находятся и на низшихъ ступеняхъ, гдъ, не имъя такой полноты (какъ въ человъчествъ), они становятся зато болъе замътными (mieux appréciables). Такимъ образомъ Семья и Отечество никогда не перестануть для ума, какъ и для сердца, быть необходимыми предверіями человъчества (les préambules nécessaires de l'Humanité). Но систематическое воспитаніе, призванное восполнить естественный ходъ исторіи, должно будеть идти обратнымъ путемь (т. е. не отъ семьи и народа къ человъчеству, а отъ человъчества къ народу и семьв). Достигнувши полнаго понятія о Великомъ Существъ, мы можемъ передавать его даже нашимъ дътямъ, не воспроизводя той эмпирической эволюцін, которой потребовала его начальная выработка. Достаточно будеть получше воспользоваться естественною способностью чувства предварять обобщенія ума, что и произойдеть необходимо въ силу нормальнаго верховенства женскаго пола (le sexe affectif) въ совокупности позитивнаго воспитанія» 18.

При этомъ Контъ особенно указываетъ на то, что Семья и Отечество, будучи послъдовательными подготовленіями къ человъчеству, не должны быть понимаемы какъ его настоящіе элементы или составныя части, — ибо человъчество есть существо нераздъльное (être indivisible). Что же оно такое въ этомъ смыслъ, въ чемъ его образующее начало?

VII

Великое существо Контовой религи, кромъ своей полной реальности, могущества и мудрости, дълающихъ его нашимъ Провидънемъ, имътъ еще одинъ постоянный признакъ: оно есть существо женственное. Это не метафора или олицетвореніе безличнаго понятія, какъ различныя добродътели, искусства и науки изображаются въклассической миноологіи подъ видомъ женщинъ. Изъ предыдущаго изложенія, воспроизводящаго слова самого Конта. достаточно ясно,

¹⁸ Тамъ же, I, 32.

что Великое Существо не было отвлеченнымъ понятіемъ для этого философа. Онъ ясно различалъ человъчество какъ совокупность народныхъ, семейныхъ и личныхъ элементовъ: это у него humanité съ малою h), — и Человъчество какъ существенное, дъйствительное и живое начало единства всъхъ этихъ элементовъ — Humanité съ большою H), ои le Grand Etre. И въ этомъ-то главномъ смыслъ Человъчество, хотя имъетъ собирательный характеръ по своему составу, само по себъ естъ болъе, чъмъ собирательное имя, — обладаемъ собственнымъ существованиемъ.

«Объективно, — говорить Конть, — Великое Существо есть такое же внѣшнее каждому изъ насъ, какъ и другія реальныя существованія, тогда какъ субъективно мы составляемъ его часть, по крайней мѣрѣ, въ упованіи (Objectivement le Grand-Etre est aussi extérieur à chacun de nous que les autres éxistences réelles, tandis que subjectivement nous en faisons partie du moins en espérence)». Ясно, что рѣчь идетъ не о понятіи, а о существѣ, — совер-

Ясно, что рѣчь идетъ не о понятіи, а о существъ, — совершенно дѣйствительномъ, и если не совсѣмъ личномъ, въ смыслѣ эмпирической человѣческой особы, то еще менѣе безличномъ. Чтобы сказать однимъ словомъ, это существо — сверхличное, а лучше сказать это двумя словами: Великое Существо не естъ олицетворенный принципъ, а Принципіальное Лицо, или Лицо-Принципъ, не олицетворенная идея, а Лицо-Идея.

VIII.

Само собою напрашивается сближеніе между Контовою религіей человъчества, представляемаго въ Великомъ Существъ женскаго рода, и средневъковымъ культомъ Мадонны. Замътимъ еще любопытное совпаденіе. Какъ разъ въ то время, какъ въ Парижъ Контъ обнародывалъ изложеніе своей религіи, съ ея превознесеніемъ женственнаго, эффективнаго начала человъческой природы и нравственности, въ Римъ тысячельтній культъ Мадонны позналъ свое теологическое завершеніе въ догматическомъ опредъленіи папы Пія ІХ о Непорочномъ Зачатіи пресв. Дъвы (1854 г.).

Когда мыслитель такого характера и значенія, какъ Авг. Контъ, начинаетъ сочувственно входить въ порядокъ идей, бывшій ему чуждымъ, то было бы совершенно напрасно говорить о какихъ-нибудь внъшнихъ вліяніяхъ или прямыхъ заимствованіяхъ. Если бы и былъ установленъ фактъ такого заимствованія, то онъ ровно ни-

чего не объяснять бы, такъ какъ оставался бы во всей силѣ вопросъ: почему взято одно, а не другое? Я далъ вамъ нѣкоторое понятіе о томъ особомъ и своеобразномъ умственномъ пути, который долженъ былъ привести Конта къ сближенію съ древнею вѣрой народовъ. Онъ сознавалъ этотъ путь и радовался этому внутреннему сближенію, не имѣя никакой надобности во внѣшнихъ заимствованіяхъ.

Но древній культь вѣчно-женственнаго начала имѣеть одно историческое проявленіе, о которомъ Контъ совсѣмъ ничего не могъ знать и которое однако ближе подходить и къ существу дѣла, и къ мыслямъ этого философа.

Закоренълый западникъ, Августъ Контъ, былъ бы очень удивленъ, если бы кто-нибудь сказалъ и показалъ ему, что въ своемъ Grand Etre онъ формулировалъ то, что съ особою увъренностью и яркостью, хотя безъ всякаго отчетливаго пониманія, выражалось религіознымъ вдохновеніемъ русскаго народа еще въ XI въкъ, такъ что срединная идея Контовой religion positive представляетъ собою именно ту сторону христіанства, съ которой оно было если не сознано, то почувствовано нъкогда русскою душой, при чемъ однако это чувство, или предчувствіе, несмотря на свою малую сознательность, сразу же нашло себъ соотвътствующее пластическое выраженіе.

Если бы Конту случилось прівхать въ старый заброшенный городокъ, который нівкогда быль и Новымъ и Великимъ, то онъ могь бы своими глазами увидіть подлинное изображеніе своего Grand Etre, болье точное и болье полное, чімь всі ті, которыя ему приходилось видать на Западіт. Такъ какъ не только Конть ничего не зналь объ этомъ произведеніи древне-русскаго творчества, но и между вась едва ли кто обращаль на него вниманіе, то я должень объяснить вамъ его смысль. Туть всего болье замічательно то, что собственный сюжеть изображенія представлень вмысть со всіми другими, которые ему сродны и близки и обыкновенно съ нимъ смішиваются, — но представлень такъ, что всесторонне отъ нихъ выділяется и обособляется, такъ что никакое смішеніе немыслимо.

IX.

Посреди главнаго образа въ старомъ новгородскомъ соборѣ (временъ Ярослава Мудраго) мы видимъ своеобразную женскую фигуру въ царскомъ одѣяніи, сидящую на престолѣ. По обѣ стороны отъ

нея, лицомъ къ ней и въ склоненномъ положеніи, справа Богородица византійскаго типа, слѣва — св. Іоаннъ Креститель; надъ сидящею на престолѣ поднимается Христосъ съ воздѣтыми руками, а надъ нимъ виденъ небесный міръ въ лицѣ нѣсколькихъ ангеловъ, окружающихъ Слово Божіе, представленное подъ видомъ книги — Евангелія.

Кого же изображаетъ это главное, срединное и царственное лицо, явно отличное и отъ Христа, и отъ Богородицы, и отъ ангеловъ? Образъ называется образомъ Софіи Премудрости Божіей. Но что же это значитъ? Еще въ XIV въкъ одинъ русскій бояринъ задавалъ этотъ вопросъ новгородскому архіепископу, но отвъта не получилъ, — тотъ отозвался незнаніемъ. А между тъмъ наши предки поклонялись этому загадочному лицу, какъ нъкогда аеиняне «невъдомому богу», строили повсюду софійскіе храмы и соборы, опредълили празднованіе и службу, гдъ непонятнымъ образомъ Софія Премудрость Божія то сближается съ Христомъ, то съ Богородицею, тъмъ самымъ, не допуская полнаго отождествленія ни съ Нимъ, ни съ Нею, — ибо ясно, что если бы это былъ Христосъ, то не Богородица, а если бы Богородица, то не Христосъ.

И не отъ грековъ приняди наши предки эту идею, такъ какъ у грековъ, въ Византіи, по всѣмъ имѣющимся свидѣтельствамъ, Премудрость Божія, $\eta \ \Sigma o \wp \iota a \ \tau o \bar{\nu}$ $\Theta \epsilon o \bar{\nu}$, разумѣлась или какъ общій отвлеченный атрибуть божества, или же принималась какъ синонимъ вѣчнаго Слова Божія — Логоса. Сама икона новгородской Софіи никакого греческаго образца не имѣетъ. — это дѣло нашего собственнаго религіознаго творчества. Смыслъ его былъ невѣдомъ архіереямъ XIV вѣка, но мы теперь можемъ его разгадать.

Это Великое, царственное и женственное Существо, которое, не будучи ни Богомъ, ни въчнымъ Сыномъ Божіимъ, ни ангеломъ, ни святымъ человъкомъ, принимаетъ почитаніе и отъ завершителя Ветхаго Завъта и отъ родоначальницы Новаго, — кто же оно, какъ не само истинное, чистое и полное человъчество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, въчно соединенная и по временномъ процессъ соединяющаяся съ Божествомъ и соединяющая съ Нимъ все, что есть. Несомнънно, что въ этомъ полный смыслъ Великаго Существа, наполовину почувствованный и сознанный Контомъ, въ цълости почувствованный, но вовсе не сознанный нашими предками, благочестивыми строителями Софійскихъ храмовъ.

X.

Основатель «позитивной религіи» понималь подь человьчествомь существо, становящееся абсолютнымъ черезъ всеобщій прогрессъ. И дъйствительно, человъчество есть такое существо. Но Конту, какъ п многимъ другимъ мыслителямъ, не было ясно, что становящееся во времени абсолютное предполагаеть абсолютное ввино-сущее. такъ какъ иначе самое это «становленіе» (das Werden, le devenir) абсолютнымъ (изъ не-абсолютнаго) было бы самопревращениемъ меньшаго въ большее, т. е. возникновеніемъ чего-нибудь изъ ничего, или чистъйшею безсмыслицей. Не нужно даже поднимать философскаго вопроса объ относительной природь времени, чтобы видьть, что становиться абсолютнымъ можно только чрезъ усвоение того, что по существу и въчно есть абсолютное. Инстинктъ, угадывающій истину, быль у Конта, когда онъ приписаль Великому Существу женственный характерь. Какъ стоящее между ограниченнымъ и безусловнымъ, какъ причастное тому и другому, оно по природъ есть начало двойственности, η $\dot{\alpha}\dot{\alpha}\rho\iota\sigma\tau o\varsigma$ $\vartheta\nu\dot{\alpha}\varsigma$ пинагорейцевъ — самон общее онтологическое опредъление женственности. Человъчество есть именно та высшая форма, черезъ которую и въ которой все существующее становится абсолютнымъ, — форма соединенія матеріальной природы съ божествомъ. Великое Существо есть всемірная природа, какъ воспринимающая божественное, — еще другое основание присваивать ей характерь женственный.

Ясно, что истинное человъчество, какъ всемірная форма соединенія матеріальной природы съ божествомъ, или форма воспріятія божества природою, есть по необходимости Богочеловъчество и Богоматерія. Оно не можетъ быть просто человъчествомъ, такъ какъ это значило бы быть воспринимающимъ безъ воспринимаемаго, формою безъ содержанія, или пустою формой.

Великое Существо не есть пустая форма, а всеобъемлющая богочеловъческая полнота духовно-тълесной, божественно-творной жизни, открывшейся намъ въ христіанствъ. Контъ имълъ лишь половинное, не додуманное и не договоренное понятіе объ истинномъ Великомъ Существъ, но онъ безотчетно върилъ въ его полноту и невольно свидътельствовалъ о ней. А сколько было и есть върующихъ христіанъ, не знавшихъ и не знающихъ, не хотъвшихъ и не хотящихъ знать объ этой самой сущности христіанства, къ которой съ половиннымъ пониманіемъ, но цълымъ сердцемъ привязался безбожникъ и нехристь Контъ!

нехристь Конть!

Въ самомъ дѣлѣ, онъ отрицалъ Бога и Христа. Но Богъ и Христосъ навѣрное прощаютъ личныя обиды. И навѣрное Они болѣе обращаютъ вниманія на сердечныя расположенія, чѣмъ на головныя мнѣнія. И развѣ Имъ не болѣе всего дорого Ихъ другое, то, въ чемъ полнота божественной жизни находитъ свое послѣднее, крайнее осуществленіе, — то, что нашъ философъ угадалъ и назвалъ Великимъ Существомъ, и что стало для него предметомъ искренняго и глубокаго благочестія, хотя и страннаго по наружнымъ формамъ и выраженіямъ? Съ этою полнотою другого, — которая всѣхъ насъ держитъ и носитъ, но которую не всякій изъ насъ ощущаетъ и узнаетъ, — съ Нею Бога и Христа соединяетъ Духъ Святой, живущій и дѣйствующій въ Ней. Противъ этого не погрѣшилъ Контъ. Грѣхъ его, какъ и всѣхъ теоретическихъ враговъ христіанства, есть «грѣхъ противъ Сына Человѣческаго», и по слову Сына Человѣческаго этотъ грѣхъ прощенъ.

XI.

Великая заслуга безбожника и нехристя Конта передъ современнымъ христіанскимъ міромъ не ограничивается тѣмъ, что онъ во главу угла своей «позитивной религіи» взяль ту основную сторону богочеловъчества, забвеніе которой такъ много вредило правильному развитію религіознаго сознанія. Кромѣ этого, опредѣляя составъ и пути дѣятельности Великаго Существа, Контъ очень близко, — ближе многихъ вѣрующихъ, — подошель къ другой, завершительной истинѣ христіанства, тоже на дѣлѣ, если не на словахъ, почти забытой въ образованной части христіанскаго міра.

По Конту, въ составѣ Великаго Существа главное значеніе при-

По Конту, въ составъ Великаго Существа главное значене принадлежить умершимъ (разумъется тъмъ, которые оказались достойными быть въ него воспринятыми — d'être incorporés au Grand Etre). Они вдвойнъ преобладаютъ надъ живущими: какъ ихъ явные образцы и какъ ихъ тайные покровители и руководители, — какъ тъ внутренніе органы, черезъ которые Великое Существо дъйствуетъ въ частной и общей исторіи видимо прогрессирующаго на землъ человъчества. Контъ различалъ для человъка два способа бытія: одинъ внутренній и въчный, который по его терминологіи называется «субъективнымъ», а по нашей существеннымъ (не въ смыслъ wesentlich, а скоръе

wesenhaft), и другой — преходящій и внішній, по его словоупотребленію «объективный», а по-нашему являемый, или феноменальный. Значеніе существеннаго, посмертнаго бытія опредъляется его тъснъйшимъ единствомъ съ самымъ существомъ Человъчества, значеніе вившняго, феноменальнаго бытія — его способностью обособленія, или относительно отдъльной, самостоятельной воли и дъйствія. И умершіе, и живущіе имъють свою реальность; у первыхь она бодъе достойная (plus digne), у вторыхъ— болъе свободная и явно-дъйственная (plus efficace). Но ясно, что полнота жизни для тъхъ и для другихъ можетъ состоять только въ ихъ совершенномъ единодушіи и всестороннемъ взаимодъйствіи. И въ чемъ же можеть состоять окончательный смысль мірового порядка и завершеніе всеобщей исторіи, какъ не въ осуществленіи этой цълости человъчества, какъ не въ дъйствительномъ его исцъленіи чрезь явное соединеніе этихъ двухъ разлученныхъ его долей? Контъ не высказываетъ прямо этой мысли, но кто съ добросовъстнымъ вниманіемъ прочтеть всь четыре тома ero «Politique positive», тотъ долженъ будетъ признаться, что никто изъ знаменитыхъ въ міръ философовъ не подходиль такъ близко къ запачь воскресенія мертвых, какь именно Августь Конть.

То, чего я теперь коснулся, есть не только трудное дёло, но и разговоръ трудный. Недаромъ боле осьмнадцати вековъ тому назадъ, въ Авинахъ, когда апостолъ Павелъ говорилъ о единстве рода человеческаго и о присутстви божества во всёхъ, авиняне охотно его слушали, но какъ только онъ упомянулъ о воскресени мертвыхъ, они сказали: «Ну, объ этомъ, любезнейшій, мы побеседуемъ въ другой разъ». Но я и на этотъ разъ хотелъ бы, если не беседовать съ вами, хотя двумя словами намекнутъ на человеческую сторону этого дёла, и даже, не говоря собственно ничего о самомъ дёле, только указатъ на первые человеческіе шаги въ направленіи къ нему, — потому что въ этихъ шагахъ нётъ ничего непонятнаго и ничего труднаго.

XII.

Вотъ передъ нами сегодня одинъ изъ безчисленныхъ отшедшихъ. Намъ и въ годову, конечно, не приходило предварять для него всеобщее воскресеніе, — и однако мы это начали. Прежде, чъмъ придти на эти поминки, я лучше прежняго познакомился съ Контомъ и полюбилъ его. Вотъ уже первый шагъ, или два первыхъ шага —

узнать и полюбить. А затъмъ, если миъ удалось и нъкоторымъ изъ васъ передать върное понятіе объ этомъ отшедшемъ и доброе чувство къ нему, — то вотъ уже и третій шагъ.

Для воскресенія мертвыхъ, какъ и для всякаго другого дѣла, знаніе и любовь еще не составляютъ самого дѣла, а лишь необходимое его условіе: безъ нихъ его нельзя совершить, потому что нельзя начать.

А теперь, въ заключеніе, я хочу выразить одну скромную надежду.

Контъ, кажъ вы знаете, сочинитъ для религіи Человъчества свой календарь, гдъ наряду съ многими странностями есть и коечто хорошее. Философскому обществу можетъ быть пріятно узнать, что, кромъ Декарта и Лейбница, въ святые этого календаря попали также Кантъ, Фихте и Гегель. Тъмъ не менъе позитивистическій календарь не станетъ общепризнаннымъ, какъ не сталъ такимъ и календарь революціонный, — общепризнаннымъ останется календарь христіанскій, но, я думаю, съ нъкоторыми новыми добавленіями.

Когда полномочные представители христіанства сосредоточать свое вниманіе на томъ, что наша религія есть прежде всего и преимущественно религія богочеловъческая, и что человъчество есть не придатокъ какой-нибудь, а существенная, образующая половина богочеловъчества, тогда они ръщатся исключить изъ своего историческаго пантеона кое-что безчеловъчное, что туда случайно попало за столько въковъ, и внести вмъсто того немного побольше человъчнаго. Тогда придется вспомнить и того мыслителя, который, несмотря на большія заблужденія и на ограниченность своего теоретическаго кругозора, сильнье всьхъ людей отходящаго XIX въка почувствоваль и выдвинуль эту не всегда достаточно ценившуюся въ историческомъ христіанствъ человъческую сторону религіи и жизни, — не въ томъ или другомъ особомъ отношеній, а въ общемъ ея составъ, обнимающемъ сверхъ наличной части человъчества и его отошедшую и грядущую части. И тогда, не принимая его календаря, какъ слишкомъ уже человъчнаго, можно будетъ воспользоваться имъ для нъкотораго расширенія нашего собственнаго, и прежде всего внести туда имя этого самаго Августа Конта, за услуги, которыя онъ, самъ того не зная, оказалъ дълу развитія христіанскаго сознанія, возродивъ въ немъ подъ новыми именами старыя и въчныя истины: основную истину о собирательной сущности или душъ міра, простыйшее имя которой по-христіански есть Церковь, и завершительную истину о жизни умершихъ.

Я не ученикъ Августа Конта и не прозелить его «положительной религи». Никакихъ личныхъ основаній къ пристрастію или преувеличенію его значенія у меня нътъ. Конечно, въ моей ранней враждъ противъ Конта и позитивизма было гораздо больше увлеченія и страсти, чъмъ въ теперешней вечерней любви, которая зависитъ отъ дучшаго знанія. И если я все-таки полагаю, что Контъ дъйствительно заслужиль себь мъсто въ святцахъ христіанскаго человъчества, то я разумёю это въ самомъ определенномъ смысле, въ которомъ, право, нътъ ничего соблазнительнаго или оскорбительнаго для кого бы то ни было. «Святой» не значить совершенный во всехъ отношеніяхъ, и даже не значить непреманно совершенный въ какомънибудь одномъ отношеніи. Святость не есть даже совершенная доброта, или благость: благь одинь только Богь. — Вто имъеть достаточныя и неоднократныя сведенія о жизни и трудахь Конта, тоть признаетъ въ немъ, конечно, кромъ разныхъ заблужденій, и нъкоторые коренные недостатки ума и характера, но вмъстъ съ тъмъ признаеть и отсутствие въ немъ всякаго дукавства, его редкое прямодушіе, простоту и чистосердечіе. Вотъ почему та Премудрость, которая «не внидеть въ душу злохудожну», нашла себъ мъсто въ душъ этого человъка и дала ему быть, хотя и полусознательнымъ, провозвъстникомъ высокихъ истинъ о Великомъ Существъ и о воскресеніп мертвыхъ.

Жизненная драма Платона.

1898:

Предпринявъ полный русскій переводъ Платона, я прежде всего столкнулся съ вопросомъ: въ какомъ порядкъ переводитъ и издаватъ Платоновы діалоги, при отсутствіи порядка общепринятаго? Убъдившись въ невозможности твердо установить и послъдовательно провести порядокъ хронологическій, при недостаточности данныхъ историческихъ, при шатьости и противоръчивости филологическихъ соображеній. а вмъстъ съ тъмъ находя и неудобнымъ, и недостойнымъ — втискивать живую картину Платонова творчества въ деревянныя рамки школьныхъ дъленій по отвлеченнымъ темамъ и дисциплинамъ позднъйшаго происхожденія, я долженъ былъ искать внутреннято начала единства, обнимающаго совокупность Платоновыхъ твореній и дающаго каждому изъ нихъ его относительное значеніе и мъсто въ цъломъ.

Такого начала единства для произведеній Платона искали уже многіе его издатели, переводчики и критики въ теченіе всего XIX стольтія, но ни одна изъ существующихъ попытокъ опредѣлить и провести такое начало по всему Платону не кажется мнѣ удовлетворительною. Въ особомъ трактатѣ, которымъ будетъ сопровождаться мой переводъ, я разберу подробно главныя изъ этихъ попытокъ, а теперь укажу для примѣра лишь на двѣ самыя яркія — Шлейермахера и Мунка.

По Шлейермахеру, порядокъ Платоновыхъ произведеній установленъ заранъе самимъ Платономъ, его мыслью и намъреніемъ; всъ діалоги сутъ лишь послъдовательное выполненіе одной программы, или одного художественно-философско-педагогическаго плана, составленнаго Платономъ еще въ юности и все болъе уяснявшагося въ частностяхъ въ теченіе всей его философской дъятельности. По этому взгляду, каждый большой діалогъ (послѣ перваго — «Федра» есть прямое, самимъ Платономъ предопредѣленное, продолженіе или восполненіе своего предыдущаго и подготовленіе къ своему послѣдующему, и этотъ главный стволъ идейнаго нарастанія сопровождается, какъ бы отростками, нѣсколькими мелкими діалогами, также преднамѣренно написанными для выясненія того или другого второстепеннаго вопроса, связаннаго съ предметами главныхъ діалоговъ. Весь Платонъ представляется такимъ образомъ какъ одна а ргіогі построенная система философскихъ идей, курсъ философіи, художественно изложенный.

У Мунка діло берется боліве живымъ образомъ. Задачею Платона было изобразить жизнь идеальнаго мудреца въ лиці Сократа 1. За первымъ вступительнымъ діалогомъ «Парменидъ», гді Сократъ является любознательнымъ юношей, слідуютъ три послідовательныя группы діалоговъ, въ которыхъ Сократъ выступаетъ сначала борцомъ за правду противъ господствовавшей софистики, потомъ учителемъ правды и наконецъ мученикомъ за правду; посліднимъ діалогомъ, естественно оказывается «Федонъ», содержащій предсмертную бесіду Сократа и описаніе его смерти.

Несостоятельность обоихъ взглядовъ бросается въ глаза. Шлейермахеръ прямо предполагаетъ нъчто психологически и исторически невозможное. Конечно, такой чисто-головной философъ и кабинетный писатель, какъ, напримъръ, Кантъ, болъе подходилъ бы къ представленію Шлейермахера. Если вспомнить многов'вковое развитіе чисто формальной силы мышленія отъ первыхъ схоластиковъ и до Лейбнице-Вольфовской философіи, воспитавшей автора трехъ критикъ; если принять во вниманіе національный характерь германскаго ума, личный характерь и образь жизни самого Канта, — жизни, всепьло замкнутой тъснымъ кругомъ между письменнымъ столомъ и университетскою аудиторіей, — то относительно его, пожалуй, можно было бы допустить, что вся совокупность его сочиненій есть лишь методическое выполнение одной заранъе составленной программы. Однако мы положительно знаемъ, что и здъсь не было ничего подобнаго. Умственная производительность Канта прошла черезъ три, по крайней мѣрѣ, весьма различныя стадіи, вовсе не бывшія прямымъ продолженіемъ

¹ "Die natürliche Ordnung der Platonischen Schriften", dargestellt von Dr. Eduard Munk, Berlin 1857.

или подготовленіемъ одна другой: мы знаемъ про долгій «догматическій сонъ» его ума въ уютной колыбели Лейбнице-Вольфовской системы; знаемъ, какъ онъ былъ пробужденъ сильнымъ толчкомъ скепсиса Юма къ открытію критическаго идеализма, и какъ, затъмъ, по-бужденія иного порядка привели его къ созданію этики абсолютнаго долга и религіи въ предълахъ чистаго разума. Во время догматическаго сна Канту, конечно, не грезилась его разрушительная критика, а когда онъ ее производиль, то онъ не думаль объ опредъленномъ планъ новой нравственной и религіозной постройки. Если даже Канть — олицецтворенная апріорность и методичность — не могь не только совершить, но и задумать свой полув'єковой умственный трудь по одной зарантье составленной программ'є или опредъленному плану, то что же сказать о Платонть? Начать съ того, что въ древней Греціи не было ученыхъ кабинетовъ, а слъдовательно, не могло быть и ка-бинетныхъ ученыхъ. Но главное — личность самого Платона. Чебинетныхъ ученыхъ. Но главное — личность самого Платона. Человъкъ, жившій полною жизнью, не только открытый для всякихъ впечатльній, но жаждавшій, искавшій ихъ, человъкъ въ началь своего поприща пережившій одну изъ величайшихъ трагедій всемірной исторіи — смерть Сократа, бъжавшій затьмъ изъ отеческаго города, много странствовавшій по свъту, вступавшій въ сношенія съ таинственнымъ пиеагорическимъ союзомъ, неоднократно и послыдній разъ уже въ глубокой старости тьсно сближавшійся съ могущественными правителями, чтобы при ихъ помощи создать образцовое государство, — такой человъкъ ни въ какомъ случать не могъ быть челова всю свого живнь метопичнымъ выполнителемъ одной заравть

дарство, — такой человъкъ ни въ какомъ случат не могъ быть черезъ всю свою жизнь методичнымъ выполнителемъ одной заранте установленной философско-литературной программы.

Отъ взгляда Шлейермахера остается только та общая истина, что есть внутренняя связь между встановленномъ замыслъ полнаго философскаго курса. Такого замысла не было у Платона. Не было у него также намъренія посвятить свою жизнь идеализованной біографіи своего учителя. По Мунку выходитъ, что образъ Сократа, какъ идеалъ мудрости и правды, всецтло и съ неизмънной силой до конца владъть умомъ Платона и объективировался въ немъ такъ, чтобы порядокъ Платоновыхъ твореній выражалъ собою теченіе жизни не самого Платона, а лишь воспоминаемое и воспроизводимое теченіе Сократовой жизни. Но въдь на самомъ дълъ этого нътъ. Въ нъкоторыхъ діалогахъ дъйствительно Сократъ владъетъ творчествомъ Платона и

воплощается въ немъ со всею полнотою художественной правды, и ръчи Сократовы здъсь — его настоящія ръчи, только прошедшія черезъ прямо открытую для нихъ мысль Платона, получившія отъ нея, можетъ бытъ, нъсколько новыхъ черточекъ и красокъ, но сохранившія все свое существо. Однако въ другихъ — въ большей части діалоговъ — Сократъ есть только принятый разъ навсегда литературный пріемъ, обычный псевдонимъ Платона, — псевдонимъ иногда неудачный, — когда ему приходится говоритъ такія рѣчи, которыхъ дъйствительный Сократъ не только не говорилъ, но и не могъ бы говоритъ: напримѣръ, когда воображаемый Сократъ серьезно разсуждаетъ о метафизическихъ и космологическихъ вопросахъ, которые дъйствительный Сократъ признавалъ безплодными и нестоющими вниманія, но которыми Платонъ сталъ особенно интересоваться много времени нослъ смерти учителя и подъ другими разнородными вліяніями. Что же это за біографія Сократа, хотя бы идеализованная?

Ясно, что Сократь можеть быть принять какъ средоточіе Платоновыхь твореній не самъ по себь и не въ событіяхъ своей жизни, а лишь чрезъ то мъсто, которое онъ заняль въ жизни и мысли Платона; а мъсто это при всей своей важности не было всеобъемлющимъ; личность и образъ мыслей Платона сложились подъ преобладающимъ вліяніемъ Сократа, но не были поглощены имъ. Значитъ, собственное начало единства Платоновыхъ твореній нужно искать не въ Сократь, какъ полагаетъ Мункъ, и не въ отвлеченной теоретической половинъ Платонова существа, какъ выходитъ по Плейермахеру, а въ самомъ Платонъ, какъ цъломъ, живомъ человъкъ. Конечно, настоящее единство — здъсь. Мънялись возрасты, мънялись отношенія и требованія, душевныя настроенія и самыя точки зрънія на міръ, но все это мънялось въ живомъ лицъ, которое оставалось самимъ собою и своимъ внутреннимъ единствомъ связывало всъ произведенія своего творчества.

Ближайшимъ образомъ діалоги Платона выражають, конечно, его философскій интересь и философскую работу его ума. Но свойство самого философскаго интереса, очевидно, зависить также и отъличности философа. Для Платона философія была прежде всего жизненною задачею. А жизнь для него была не мирная смѣна дней и годовъ умственнаго труда, какъ, напримѣръ, для Канта, а глубокая и сложная, все его существо обнимающая драма. Развитіе этой драмы, с которой мы отчасти имѣемъ прямыя свидѣтельства, отчасти же до-

гадываемся по косвенными указаніями, отразилось и ув'яков'ячилось вы діалогахы. Итакы, самы Платоны, какы герой своей жизненной драмы, — воты настоящій принципы единства Платоновыхы твореній, порядокы которыхы естественно опредёдляется ходомы этой драмы.

T.

Безъ всякаго сомивнія, завязка жизненной драмы Платона дана въ его отношеніяхъ къ Сократу живому — въ первомъ актѣ, а память о Сократѣ умершемъ возвратно звучитъ, какъ нѣкій Leitmotiv, и въ актахъ послѣдующихъ. Что же такое Сократъ, въ чемъ самая сущностъ его значенія? Сократъ былъ tertium quid, третъя искомая и ищущая сторона пошатнувшейся въ своихъ основахъ греческой жизни, — сторона справедливая, безпристрастная, примиряющая двѣ другія враждующія стороны и потому непримиримо ненавидимая объмии. Дѣло шло о самомъ принципѣ жизни человѣческой. Первоначально древне-эллинская, какъ и вся языческая, жизнь покоилась на двойномъ, но нераздѣльномъ устоѣ религіознаго и государственнаго закона. $\Theta \epsilon los$ $v \delta \mu os$ — $v \delta \mu os$ Ваσιλεύς. Отеческіе боги и отеческій укладъ общежитія — только два выраженія, двѣ стороны одного жизненнаго начала. Корень — общій: святыня домашняго очага съ нераздѣльнымъ отъ него культомъ предковъ. Когда семейно-родовая, домашняя община была включена въ болѣе широкую и могущественную гражданскую, когда выше и сильнѣе рода сталѣ городъ, — естественно и богами вышними, вмѣсто родовыхъ и домовыхъ, стали боги городской общины.

Новыя времена стараются, хотя не всегда и не вездѣ успѣшно, отнять у божества полицейскую функцію, а у полиціи — божественную санкцію. Задача трудная. Въ тѣ времена она и не ставилась. Самая эта слитность цервобытной религіи съ политикою, или полиціей, была такая своеобразная, такъ видоизмѣняла оба элемента, что намъ почти невозможно составить о ней живого представленія. Какъ вода въ своихъ конкретныхъ свойствахъ нисколько непохожа ни на водородъ, ни на кислородъ, отдѣльно взятые, такъ религіозно-полицейскій строй древней жизни вовсе не напоминаль ни религіи, ни полиціи въ нашемъ смыслѣ этихъ словъ. И если главные боги отеческіе по существу были городскіе стражи, то и человѣческіе стражи города (φύλαπες Платоновой Политіи) были по существу божественны,

еще болъе, конечно, нежели Одиссеевъ «божественный» свинопасъ Эвмей.

Такая нетронутая, райская цъльность жизненнаго сознанія не могла быть долговъчной. Она держалась на фактъ непосредственной и безотчетной въры людей: въ дъйствительность и силу родовыхъ и городскихъ боговъ, въ святость и божественность родного города. И съ какого изъ двухъ концовъ ни поколебать эту двойную въру, — рушится заразъ все зданіе. Если боги отеческіе не дъйствительны, или безсильны, то откуда святость отеческихъ законовъ? Если законы отеческие не святы, то на чемъ зиждется предписанная или отеческая религія? Итакъ, нужно, чтобы двойная въра, на которой держится бытовой укладъ даннаго общества, была неприкосновенна вполнь. Но какъ же это сдълать? Въра, когда она есть только факть, принятый чрезъ преданіе, есть діло чрезвычайно непрочное, неустойчивое, всегда и всъмъ застигаемое врасплохъ. И слава Богу, что такъ. Исключительно фактическая, слъпая въра несообразна достоинству человъка. Она болъе свойственна или бъсамъ, которые въруютъ и трепещуть, или животнымъ безсловеснымъ, которыя, конечно, принимають законь своей жизни на въру, «безъ размышленій, — безъ тоски, безъ думы роковой, — безъ напрасныхъ, безъ пустыхъ со-พฅรับเมื่≫

Я сказаль о бъсахъ и животныхъ не для красоты слога, а для историческаго напоминанія, а именно, что религіи, основанныя на одной фактической, слъпой въръ, или отказавшіяся отъ иныхъ, лучшихъ основъ, всегда кончали или дьявольскою кровожадностью, или скотскимъ безстыдствомъ.

II.

Слъпая и безотчетная религія обидна прежде всего для своего предмета, для самого божества, кеторое не этого требуеть отъ человъка. Какъ безграничное Благо, чуждое всякой зависти, оно хотя даеть мъсто въ міръ и бъсамъ, и животнымъ, но радость его не въ нихъ, а въ «сынахъ человъческихъ»; и чтобы эта радость была совершенною, оно сообщило человъку особый даръ, которому завидують бъсы, и о которомъ ничего не знають животныя. Важны, кончено, тъ дары, посредствомъ которыхъ создался первоначальный внъшній образъ человъческой сверхживотной жизни. — то, что мы

называемъ образованностью. Не было бы ея безъ огня и земледѣлія. «Великіе благодѣтели человѣчества — Прометей, Деметра и Діонисъ. Но трижды величайшимъ называется и есть отецъ нашъ Гермесъ Трисмегистъ. Въ тѣлесный образъ человѣческаго общежитія онъ вложить его живую душу и двигательницу жизни — философію, — не для того, чтобы даромъ и въ готовомъ видѣ получилъ человѣкъ вѣчную истину и блаженство, а для того, чтобы трудовой путь человѣческій къ истинѣ и блаженству огражденъ былъ съ двухъ сторонъ — и отъ суевѣрнаго демонскаго трепета, и отъ тупой животной безотчетности».

Вотъ почему люди, поддавинеся той или этой темной силъ, люди потемнъвшіе и другихъ старающіеся потемнить, — за что они справедливо и называются obscurantes, — постоянную свою и упорную, хотя бездподную ненависть сосредоточивають именно на философіи, будто бы подрывающей всякую вёру, тогда какъ, по правдё, философія подрываеть и дёлаеть невозможною только темную вёру, лёнивую и неподвижную. Эту заслугу философіи высоко цънили носители истинной свътлой въры, находившіе, какъ извъстно, что фило-софія для эллиновъ имъла то же значеніе, какъ законъ для іудеевъ, значеніе провиденціальнаго руководства при переходѣ изъ тымы язычества къ свъту Христову, при чемъ они допускали, что и въ язычествъ не все было только тъмою. Для темной въры греческая философія, какъ впослѣдствіи и христіанская религія, казалась атеизмомъ. Между тъмъ уже цервый родоначальникъ этой философіи, Оалесь, какъ говоритъ древнее извъстіе, объявилъ, что «все полно боговъ». Но для ревнителей отеческой религіи это было слишкомъ много. На что имъ эта полнота боговъ? Они почитали лишь своихъ, нужныхъ для текущей жизни, гражданскихъ и военныхъ боговъ, а до божественнаго содержанія «всего» имъ рѣшительно не было никакого дъла. За *своихъ* боговъ ручались свои отеческіе преданія и законы, а что ручалось за полноту вселенскихъ? Мысль Фалеса? Но вотъ мысль другихъ философовъ — Ксенофана, Анаксагора — идеть даль-ше и открываетъ другое. Они отвергаютъ всякую множественность боговъ и на ея мъстъ у перваго является божество — какъ абсолютноединое, а у второго — какъ зиждительный умъ вселенной. от оже от правительнаго ума толпы и ея правителей это уже было явное потрясеніе основъ и вызывало соотв'єтствующее противолъйствіе.

III.

Философы впервые произвели существенный расколь въ греческой жизни. До нихъ могли существовать по городамъ лишь партіи, такъ сказать, матеріальныя, вытекавшія изъ столкновенія и борьбы чисто-фактически образовавшихся общественныхъ группъ, силъ и интересовъ. Принципіальнаго противоръчія между ними не было, ибо всь одинаково признавали одинъ принципъ жизни — отеческое преданіе. Никто на него не покушался, и за отсутствіемъ принципіальныхъ разрушителей не могли явиться и принципіальные охранители. Они неизбъжно явились, какъ только философы коснулись святыни отеческаго закона и подвергли критикъ самое его содержаніе. Повсюду въ Греціи возникають две формальныя партіи: одна, по принципу, охраняетъ существующія основы общежитія, — другая — по прин-ципу же — ихъ колеблетъ. Первыя поб'єды везд'є принадлежали охранителямъ. Ихъ принципъ опирался на инстинктъ самосохраненія въ народныхъ массахъ, на всю силу противодъйствія хотя уже тронувшихся, но еще не разложившихся общественныхъ организмовъ. Самая близость разложенія обостряда охранительныя вождельнія страхомъ за ихъ безусившность. «Не смейте этого трогать, а то развалится». — «Но достойно ли оно охраненія?» — «Не смъйте спрашивать! Оно достойно уже тъмъ, что существуетъ, что мы къ нему привыкли, что оно свое; и пока мы сильны — горе философамъ!» Тъ могли отвъчать на это: «Велика истина, и она пересилить!» — но въ ожиданіи этого Ксенофанъ всю жизнь бродиль бездомнымъ скитальцемъ, а Анаксагоръ лишь благодаря личнымъ связямъ избъгъ смертной казни, замъненной для него изгнаніемъ. Но въ судьбъ Анаксагора уже предчувствуется побъда философіи.

Этотъ главный предшественникъ Сократа, изъ іонійскихъ Клазомонъ въ Малой Азіи, пришедшій въ Аеины, гдѣ стяжаль и славу, и гоненія, отмѣчаетъ собою переходъ древней философіи, съ мѣста ея рожденія въ торговыхъ греческихъ колоніяхъ, къ истинному средоточію эллинской образованности, гдѣ, несмотря на гоненія, философія стала настоящею общественною силой все-эллинскаго, а затѣмъ и всемірно-историческаго значенія.

IV.

Не по случайности эмпирической эллинская философія возникла въ колоніяхъ, а расцвъла въ Аоннахъ. Если купцы-мореходы, которыми основался и жиль рой греческихъ колоній, неизбъжно разбивали замкнутость традиціоннаго оточескаго уклада и, принося въ родной городь знакомство со многимъ и разнообразнымъ чужима, давали способнымъ умамъ матеріалъ и возбужденіе къ сравнительной опънкъ «своего» и «чужого», къ необходимому сужденію и возможному осужденію, чёмъ во всякомъ случай подрывалась непосредственная въра въ безусловное значение «своего» какъ такого и вызывалось философское стремление къ внутренней правдъ, — то съ другого конца такое дъйствіе мысли, возбужденной сопоставленіемъ различныхъ законовъ жизни, сосуществующих въ познанномъ просторъ міра, — такое критическое дъйствіе зародившейся мысли получало новую силу и новое оправданіе тамъ, гдъ исключительность царящаго закона жизни разбивалась еще и въ порядкъ временной смъны утвержденіемъ и упраздненіемъ законоположеній по изм'єнчивой вол'є народнаго множества, — какъ оно было въ подвижной авинской демократіи.

Колоніальнымъ грекамъ условность отеческаго закона открылась въ пространствъ, авинянамъ — во времени. Если любознательный мореплаватель начиналь скептически относиться къ традиціонному отечественному строю потому, что слишкомъ жного видъль другого разнаго на чужбинъ, то асинскій гражданинъ, и не выходя изъ родныхъ стънъ, и не глядя на «чужое», долженъ былъ усомниться въ достоинствъ и значени «своего», такъ какъ оно слишкомъ часто мънялось на его глазахъ и даже при его собственномъ участіи. Это не мъщаетъ любить родину, можетъ быть, даже усиливаетъ любовь къ ней, какъ къ чему-то совсемъ близкому, животрепещущему; но религіозное благоговъйное отношеніе къ народнымъ законамъ, какъ къ чему-то высшему и безусловному, непремънно должно при этомъ пасть подъ первыми ударами критической мысли. Сюда вполнъ приложима насмъпка библейскаго писателя надъ идолопоклонникомъ, который собственными руками возьметь кусокъ дерева, мрамора или металла, сдълаетъ изъ него статую, а затъмъ приносить ей жертвы и мольбы, какъ богу. Законъ, какъ произведение неустойчивой воли, мития и

прихоти людей, — не болъе заслуживаетъ поклоненія, чъмъ вещественное издъліе рукъ человъческихъ.

V.

Вся сила той критики, которую древнъйшая, т. е. до-сократовская философія обращала на боговъ и уставы отеческіе, можеть бытъ выражена однимъ словомъ — относительность. «То, что вы считаете безусловнымъ и потому неприкосновеннымъ, — говорили философы своимъ согражданамъ, — на самомъ дълъ весьма относительно и потому подлежитъ разсмотрънію и сужденію, а въ своей мнимой безусловности — осужденію и упраздненію». Этою обличительною и отрицательною задачей дъло философовъ, какъ извъстно, не ограничивалось. Съ критикою мнимо-безусловнаго связывались у нихъ попытки опредъленія истинно-безусловнаго. Отвергнувъ или отодвинувъ на второй планъ данные традиціонные устои жизни человъческой, они утверждали открываемыя разумомъ первоосновы жизни всемірной, космической — отъ воды и воздуха первыхъ іонійцевъ до равновъсія единящей и раздъляющей силы у Эмпедокла до Анаксагорова мірового ума и Демокритовыхъ атомовъ и пустоты.

Во всемъ этомъ была истина, но чтобы найти ее среди такой пестроты, чтобы понять и оцънить всъ эти разнообразныя и повидимому противоръчивыя идеи, какъ части слагающаюся умственнаго цълаго, нуженъ былъ ръдкій даръ умозрънія и синтеза, который и явился внослъдствіи въ лицъ Платона, Аристотеля и Плотина. Но сначала естественнымъ образомъ выдълилась и обособилась болье доступная отрицательная сторона пережитаго греческимъ умомъ философскаго процесса. За два въка умственнаго движенія въ Греціи народился цълый классъ людей съ формально развитыми мыслительными способностями, съ литературнымъ образованіемъ и съ живымъ умственнымъ интересомъ, людей, утратившихъ всякую въру въ расшатанные традиціонные устои народнаго быта, но при этомъ не имъвшихъ правственной геніальности, чтобы отдаться всею душой исканію лучшихъ, истинныхъ нормъ жизни. Эти люди, которыхъ проницательность общественнаго сознанія сразу и связала съ философіей, и отдълила отъ нея особымъ названіемъ софистовъ, — жадно схватились за то понятіе относительности, которымъ философы подрывали темную въру; возведя это понятіе въ неограниченный все-

общій принципъ, софисты обратили его остріє и противъ самой философіи, пользуясь видимою противоръчивсстью размножившихся философскихъ ученій.

Если опытное знакомство съ чужими заморскими странами и опыть демократическихъ перемънъ у себя дома давали познать двоякую относительность традиціонныхъ жизненныхъ нормъ по мъсту и времени и тъмъ вызывали философовъ на ихъ отрицательную критику, то опыть самой философіи въ многоразличіи ея системъ заставлять, повидимому, и къ ней прилагать такую же критику и изъ относительности философскихъ построеній заключать о несостоятельности всъхъ мыслимыхъ нормъ, или какихъ бы то ни было опредъляющихъ началъ бытія. Не только верованія и законы городовъ, провозгласили софисты, — но все вообще относительно, условно. недостовърно; нътъ ничего хорошаго или худого, истиннаго или ложнаго по существу, а все только по условію или положенію — οὐ φύσει άλ- $\lambda \dot{a}$ $\vartheta \dot{\epsilon} \sigma \epsilon \iota \ \mu \dot{o} \nu o \nu$, и единственнымь руководствомь во всякомь дъль, за отсутствіемъ существенныхъ и объективныхъ нормъ, остаются только практическая целесообразность, а целью можеть быть только успыхъ. Никто не можетъ ручаться безусловно за правду своихъ стремденій и мизній. Вотъ, значить, единственное настоящее содержаніе жизни — искать практическаго успъха всёми возможными средствами, а такъ какъ эта цель для единичнаго человека достигается только при поддержкъ другихъ, то главная задача — убъдить другихъ въ томъ, что нужно для самого себя. А потому важнъйшее и полезнъйшее искусство есть искусство словеснаго убъжденія, или — риторика.

VI.

Софисты, върившіе въ одну удачу, могли быть побъждены не разумными аргументами, а только фактическою неудачею своего дъла. Имъ не удалось убъдить Грецію въ правотъ своего абсолютнаго скептицизма и не удалось замънить философію риторикой. Явился Сократъ, которому удалось осмъять софистовъ и открыть философіи новые и славные пути. Понятна вражда софистовъ къ Сократу. Но на первый взглядь можетъ казаться страннымъ то, что въ этой враждъ оказалась солидарною съ софистами и превзошла ихъ другая партія.

Естественною казалась бы вражда между теми, кто стояль за неприкосновенность традиціонных верованій и жизненных нормь,

и тъми, кто, какъ софисты, были отрицателями по преимуществу, отрицали безъ исключенія всв опредъляющія начала общежитія, принципіально отвергали самую возможность такихъ началь, т. е. какихъ бы то ни было устоевъ жизни и мысли. И была, конечно, вражда между охранителями и софистами, но она вообще не принимала трагическаго оборота. Софисты въ концѣ концовъ благоденствовали, а вся тяжесть охранительнаго гоненія обрушилась какъ разъ на философовъ наиболѣе положительнаго направленія, утверждавшихъ добрый и истинный смыслъ мірового и общественнаго порядка — сначала на Анаксагора, учившаго, что міръ зиждется и управляется верховнымъ Умомъ, а затѣмъ и въ особенности на Сократа. Передъ нимъ утихла поверхностная вражда между охранителями и софистами, и два прежніе противника соединили свои усилія, чтобы избавиться отъ одинаково имъ ненавистнаго олицетворенія высшей правды. Ихъ связывало то, въ чемъ они были неправы. А между тѣмъ, со стороны Сократа вовсе не было безуслов-

А между тъмъ, со стороны Сократа вовсе не было безусловной, непримиримой вражды ни къ принципу софистовъ, ни къ принципу охранителей отеческаго преданія и закона. Онъ искренно и охотно признавалъ тъ доли правды, которыя были у тъхъ и другихъ. Онъ дъйствительно былъ третьимъ, синтетическимъ и примиряющимъ началомъ между ними. Вмъстъ съ софистами онъ стоялъ за право и за необходимость критическаго и діалектическаго изслъдованія; какъ и они, онъ былъ противъ слъпой, безотчетной въры, не котълъ ничего приниматъ безъ предварительнаго испытанія. За эту критическую пытливость, которая болъе всего бросалась въ глаза, и толпа и такіе плохіе мыслители, какъ Аристофанъ, прямо смѣшивали Сократа съ софистами. Но, съ другой стороны, онъ признавалъ смыслъ и правду и въ народныхъ върованіяхъ, и въ практическомъ авторитетъ отеческихъ законовъ. И свое благочестіе, и свою патріотическую лояльность онъ показывалъ на дълъ до самаго конца. Нельзя заподозрить его искренность въ предсмертной жертвъ Эскулапу, а отказомъ бъжать изъ темницы, послъ смертнаго приговора, онъ поставилъ свои обязанности къ родному городу выше сохраненія самой жизни.

VII.

При отсутствіи прямого принципіальнаго антагонизма и въ ту и въ другую сторону чёмъ же объясняется эта непримиримая не-

нависть къ Сократу съ объихъ сторонъ? Дъло именпо въ томъ, что антагонизмъ здъсь былъ не принципіальный въ смыслъ отвлеченно-теоретическомъ, а жизненный, практическій и, можно сказать, личный — въ болъе глубокомъ значеніи этого слова. Косвеннымъ, а иногда и прямымъ смысломъ своихъ ръчей Сократъ говорилъ объимъ сторонамъ вещи окончательно для нихъ нетерпимыя и противъ которыхъ у нихъ не находилось разумнаго возраженія.

Охранителямъ Сократъ какъ бы говорилъ такъ: «Вы совершенно

Охранителямъ Сократъ какъ бы говорилъ такъ: «Вы совершенно правъл и заслуживаете всякой похвалы за то, что хотите охранятъ основы гражданскаго общежитія, — это дѣло самое важное. Прекрасно, что вы охранители, бѣда лишь въ томъ, что вы — nnoxic охранители: вы не знаете и не умѣете что и какъ охранятъ. Вы дѣйствуете ощупью, какъ попало, подобно слѣпымъ. Слѣпота ваша происходитъ отъ самомнѣнія, а это самомнѣніе, хотя несправедливо и пагубно для васъ и для другихъ, однако, заслуживаетъ извиненія, ибо зависитъ не отъ злой воли, а отъ вашей глупости и невѣжества». — Чѣмъ же можно на это отвѣтитъ, кромѣ темницы и яда?

А софистамъ Сократъ говорилъ: «Прекрасно вы дълаете, что занимаетесь разсужденіями и все существующее и несуществующее подвергаете испытанію вашей критической мысли; жаль только, что мыслители вы плохіе и вовсе не понимаете ни цълей, ни пріемовъ настоящей критики и діалектики».

Сократъ указывалъ, а главное, доказывалъ неопровержимымъ образомъ умственную несостоятельностъ своихъ противниковъ, и это была, конечно, вина непрощенная. Вражда была непримирима. Если бы даже Сократъ никогда прямо не обличалъ аеинскихъ отцовъ отечества какъ плохихъ охранителей, и софистовъ какъ плохихъ мыслителей, этимъ дѣло не измѣнилось бы: онъ все равно обличалъ и тѣхъ и другихъ самою своею личностью, своимъ нравственнымъ настроеніемъ и положительнымъ значеніемъ своихъ рѣчей. Онъ самъ былъ живою обидой для плохихъ консерваторовъ и плохихъ критиковъ, — какъ олицетвореніе истинно-охранительныхъ и истинно-критическихъ началъ. Безъ него, если обѣ партіи были недовольны другъ другомъ, зато каждая была невозмутимо довольна сама собою.

Пока охранители могли видъть въ своихъ противникахъ людей безбожныхъ и нечестивыхъ, они сознавали свое внутреннее превосходство и заранъе торжествовали побъду: могло казатъся въ самомъ дълъ, что они стоятъ за саму въру и за само благочестіе; была ви-

димость принципіальнаго, идейнаго спора. въ которомъ они представляли положительную, правую сторону. Но при столкновеніи съ Сократомъ положеніе совершенно мѣнялось: нельзя было отстаивать вѣру и благочестіе какъ такія противъ человѣка, который самъ былъ върующимъ и благочестивымъ, — приходилось отстаивать не саму въру, а только отмиче ихъ въры отъ въры Сократовой, а отличе это состояло въ томъ, что въра у Сократа была зрячая, а у нихъ слъпая. Сразу обнаруживалась такимъ образомъ недоброкачественность ихъ въры, а въ ихъ стремлени непремънно утвердить именно эту прочную слъпую въру проявлялась слабость и неискренность ея. Во имя чего они могли стоять именно за темноту въры? Во имя ли того, что всякая въра должна быть темною? Но воть туть налицо быль Сократь, наглядно опровергавшій такое предположеніе самымь фактомъ своей свътлой, зрячей въры. Ясно было, что они стояли за тьму не въ интересахъ въры, а въ какихъ-то иныхъ, чуждыхъ въръ интересахъ. И дъйствительно, асинскіе охранители того времени, — по крайней мъръ болъе образованные между ними, были люди невърующіе. Иначе и быть не могло. Разь въ извъстной средъ началось умственное движеніе, возникла и развилась философія, — непосредственная въра, требующая младенческаго ума, становится невозможною для всякаго человъка, затронутаго этимъ движеніемъ. Нельзя охранять то, что пропало, и въра обскурантовъ есть только обманчивая личина, надътая на ихъ дъйствительное невъріе. У людей болъе живыхъ и даровитыхъ между аеинскими охранителями. напр. у Аристофана, подлинное чувство прорывается сквовь маску: обличая мнимое нечестіе философовъ, онъ туть же проявляеть свое собственное — въ грубомъ издъвательствъ надъ богами. Что же охранялось такими охранителями и что ими двигало? Ясно, что даже не страхъ божій, а лишь страхъ за тотъ старый, привычный бытовый строй, который быль исторически связань съ данною религіей.

Сократъ самымъ фактомъ своей положительной и вмѣстѣ съ тѣмъ безстрашной и свѣтлой вѣры обличалъ внутреннюю негодностъ такого безвѣрнаго и гнилого консерватизма. И опять-таки самымъ фактомъ безусловнаго критическаго и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно положительнаго отношенія своего мышленія къ дѣйствительной жизни онъ обличалъ внутреннюю несостоятельность софистической исевдокритики. Пока софисты имѣли противъ себя или народныя

массы, или людей хотя высшаго класса, но мало причастныхь философскому движенію и неискусныхь въ діалектикъ, то могло казаться, что софистика представляеть собою права прогресса противъ народной косности, права мысли противъ умственной неразвитости, права знанія и просвъщенія противъ темнаго невъжества. Но когда противъ софистическаго разгрома всъхъ жизненныхъ началь вооружался «мудръйшій изъ эллиновъ», человъкъ во всякомъ случать большей умственной силы и діалектическаго искусства, чты они, — то вст увидали, что чисто-отрицательный характеръ ихъ разсужденій зависълъ не отъ необходимости мышленія человъческаго, а въ лучшемъ случать отъ неполноты и односторонности ихъ взглядовъ и пріемовъ, — ясно стало, что причина здёсь не въ мышленіи и критикъ, а лишь въ плохомъ мышленіи и плохой критикъ.

VIII.

Итакъ, вина Сократа, помимо всякой прямой полемики противъ охранителей и разрушителей, состояла въ томъ, что самая точка зрѣнія его открывала идейную наготу и тѣхъ и другихъ.

Въ немъ былъ лучъ истиннаго свъта, открывающаго и себя самого и чуждую тьму. Передъ лицомъ лже-охранителей, утверждавшихъ, что должно безусловно, безъ всякихъ разсужденій принимать народныя върованія и повиноваться отеческимъ уставамъ потому только, что они даны и установлены, положены прежде насъ, и передь лицомъ лже-мыслителей, учившихъ, что никакой безусловной обязанности не можеть быть, что не нужно повиноваться вовсе ничему, а только искать своей выгоды и успъха, — передъ этою двойною ложью Сократь и словами и жизнью своею утверждаль: есть безусловная обязанность, но лишь къ тому, что само безусловно, что по существу и, следовательно, всегда и везде хорошо или достойно; и есть оно, это безусловное, есть существенная норма для жизни человъческой, есть Добро само по себъ. Оно одно поистинъ желательно, или есть высшее благо для человъка, основаніе и мърило встать другихъ благъ, и на немъ только, какъ на безусловной правдъ и критеріи всего справедливаго, должно быть построено человіческое общежитіе. Если върованія народныя и уставы отеческіе сообразны или могутъ быть связаны съ безусловною нормою жизни, ихъ должно принимать и повиноваться имъ. Требуется, значить, отчетливая опънка всего даннаго, требуется разсужденіе, критика, но не какъ искусство для искусства, а какъ исканіе правды, чтобы дъйствительно найти ее.

Что безусловное Добро есть, и что подлинно есть только то, что достойно быть, — въ это Сократъ върилъ, но его въра была не слъпою, а совершенно разумною, во-первыхъ, уже потому, что это была собственно въра въ разумъ, требующій, чтобы существующее было сообразно ему, имъло смыслъ, или было достойно бытія; а, во-вторыхъ, въра Сократа имъла раціональный характеръ и потому, что искала своего осуществленія или оправданія во всемъ, и для этого непремънно требовала послъдовательной работы мыслящаго ума.

Въря въ бытіе безусловнаго Добра, Сократъ не снабжалъ его заранъе никакими ближайшими опредъленіями; оно было для него не даннымъ въ готовомъ видъ, а *искомымъ*; но нельзя что-нибудь искатъ, если не въришь, что оно есть.

IX.

Согласно разумной въръ, безусловное Добро есть само по себъ; но обладаніе имъ не дано человъку безусловно, а требуетъ необходимыхъ условій. Цъль впереди, и нуженъ процессъ ея достиженія. Предполагается Сократомъ лишь общее понятіе о томъ, что, будучи хорошо само по себъ, можетъ и все другое дълать хорошимъ. Чтобы дъйствительно достигнуть того, что единственно достойно достиженія, первое условіе — отвергнуть все, что не таково, вмѣнить все прочее въ ничто. «Я знаю только, что ничего не знаю» — за это исповъданіе, какъ думалъ Сократъ, Пиеія провозгласила его мудръйшимъ изъ эллиновъ. Первое условіе истинной философіи есть нищета дуговная. Удивительное предвареніе первой евангельской заповъди, удивительное согласіе дельфійскаго оракула съ нагорною проповъдью, замѣченное еще отцами церкви первыхъ вѣковъ христіанства!

Объявленіе своей духовной нищеты среди кажущагося богатства есть, конечно, духовный подвигь. Но это подвигь, теряющій всю свою цёну, если на немъ остановиться, какъ дѣлаютъ скептики, у которыхъ смиренное сознаніе своей недостаточности переходитъ въ противоположное — въ самодовольство и гордость. Для такого перехода требуется маленькая прибавка, чуждая Сократу и евангелію: «Я ничего не знаю, да и знать ничего нельзя и не нужно».

Утѣшеніе рѣшительно ни на чемъ не основанное. Истинная духовная нищета не утѣшается сама собою, между нею и утѣшеніемъ лежить скорбь о своемъ состояніи: «Блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся». И этому евангельскому плачу не противорѣчилъ смѣхъ Сократа, выражавшій не радость о своей нищетѣ, а лишь осужденіе мнимаго богатства. Объявленіе о своемъ незнаніи было для Сократа лишь первымъ началомъ его исканія, духовная нищета вызывала въ немъ духовный голодь и жажду. «Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо они насытятся» — новое согласіе истинной философіи и истинной религіи, эллинской и еврейской мудрости.

X.

Если бы Сократь ограничивался исповъданіемъ своего незнанія, онъ быль бы, конечно, самымъ пріятнымъ человѣкомъ и для охранителей и для софистовъ. Обскурантизмъ первыхъ и болтовня вторыхъ одинаково требовали незнанія, — незнанія о томъ, что по существу желательно и обязательно, что стоитъ и слѣдуетъ знатъ. «Мы ничего не знаемъ по-настоящему, — говорили охранители, — поэтому нужно слѣпо вѣрить въ отеческіе уставы». — «Да, ничего нельзя знатъ, — подтверждали софисты, — поэтому нужно стремиться къ своей выгодѣ, успѣху и ко всякой силѣ, дающей выгоду и успѣхъ». И тѣ и другіе фактическое незнаніе спѣшили произвольно и недобросовѣстно возвести въ законъ, чтобы вывести изъ него то, чего имъ хотѣлось, чтобы оправдать и навязать другимъ свою темноту и свое пустослювіе.

И это удалось бы имъ, — такъ ихъ заключенія льстили духовной тѣни и всѣмъ низшимъ сторонамъ человѣческой природы, и такъ ихъ, повидимому, оправдывала несостоятельность противорѣчившихъ другъ другу философскихъ ученій. Отъ философовъ, уронившихъ себя такими противорѣчіями, легко, казалось, отдѣлаться и охранителямъ и софистамъ. Но они «считали безъ хозяина» — безъ Логоса-Гермеса и его вѣковѣчнаго дара человѣку. Ни гоненія городовъ, ни противорѣчія самихъ философовъ не пугали философію, которая устами одного человѣка заглушала темныя и пустыя рѣчи многоголовой толны. Воплощенная въ Сократѣ, на улицахъ и площадяхъ аеинскихъ, поднимала она свой голосъ и, доказавъ всякому, что онъ ничего не знаетъ, выводила отсюда безпокойныя, но единственно

достойныя человъка заключенія: «Кто позналъ свое незнаніе, тотъ уже нъчто знаетъ и можетъ знать больше; ты не знаешь, — такъ узнавай; не обладаешь правдой — ищи ее; когда ищешь, она уже при тебъ, только съ закрытымъ лицомъ, и отъ твоего умственнаго труда зависитъ, чтобы она открылась».

Это требованіе внутренняго подвига отъ человъка при неустанномъ духовномъ подвижничествъ самого Сократа въ исканіи правды, обличая темную косность охранителей и праздное движеніе софистовъ, у тъхъ и у другихъ отнимало возможность быть самодовольными. А кто покушается на самодовольство темныхъ или пустыхъ людей. тотъ сначала — человъкъ безпокойный, потомъ нестерпимый, наконецъ, преступникъ, заслуживающій смерти.

XI.

Сократъ обвиненъ, какъ извъстно, въ томъ, что «боговъ, почитаемыхъ городомъ, не почитаетъ, а вводитъ другія, новыя божества», и еще въ томъ, что «развращаетъ юношество». Въ этихъ ложныхъ обвиненіяхъ ясно сквозить подлинная сущность дъла. Нельзя было просто обвинять Сократа, какъ Анаксагора, въ атеизмѣ; его благочестіе было явно. Да и для обвинителей дело было не въ богахъ вообще, а лишь въ тъхъ, которыхъ почитаетъ или узаконяетъ $(vo\mu i \zeta \epsilon \iota)$ городъ. И настоящій смыслъ обвиненія быль не въ томъ, что Сократь ихъ не почитаеть, — на самомъ дълъ онъ почиталъ, между прочимъ, и ихъ, — но онъ почиталъ ихъ не потому, что ихъ признаетъ городъ, а лишь потому, или постольку, поскольку въ нихъ по правдъ было или могло быть нъчто божественное, — онъ почиталь ихъ по существу, по внутренней связи ихъ съ безусловнымъ, а не по условію — ψύσει ού ξέσει. Въ этомъ и было его преступленіе. Оно усиливалось тъмъ, что онъ «вводилъ другія новыя божества». И туть сказывается истиное свидетельство о положительномъ характеръ Сократова ученія и особенно объ его отношеніи къ религіи: онъ не убавляль капитала народнаго благочестія, а напротивь, прибавлять къ нему. Но и этотъ приростъ въры былъ преступленіемъ, потому что и здъсь Сократь дъйствоваль по существу, не справляясь съ внёшними обстоятельствами признанныхъ имъ истинныхъ божественныхъ проявленій, стары ли они, или новы, почитаются ли городомъ или нътъ. Третъе преступленіе состояло въ томъ, что Сократа слушали, что онъ производиль дъйствіе на живые, еще не окаменъвшіе умы и сердца. Онъ развращаль юношество тъмъ, что подрываль въ немъ довъріе и уваженіе къ темнымъ и пустымъ руководителямъ, къ слъпцамъ, ведущимъ слъпцовъ.

XII.

Сократь должень быль умереть какь преступникь. Воть трагическій ударь вь самомъ началь жизненной драмы Платона. Подобно нъкоторымъ древнимъ трагедіямъ, а также шекспировскому Гамлету, эта драма не только кончается, но и начинается трагическою катастрофой. Но насколько историческая дъйствительность глубже и значительнъе поэтическаго вымысла! Возьмемъ произведеніе Шекспира. По внушенію грубыхъ личныхъ страстей злодъй убиваетъ отца молодого Гамлета. Естественное чувство и естественная обязанность родовой мести требуютъ покарать убійцу, и эта обязанность осложняется для Гамлета преступнымъ участіемъ его матери въ страшномъ дълъ. Тайное братоубійство, мужеубійство, цареубійство, похищеніе престола, двойная, тройная измъна, — все это въ ближайшемъ жизненномъ кругъ героя, а въ его собственномъ существъ — безвыхолное противоръчіе сознанія и воли, чувства и темперамента. Вотъ безспорно великольпный образецъ трагическаго положенія, достойный сильнъйшаго изъ поэтовъ.

Но зам'ятьте, что хотя драма происходить посл'я многихъ в'яковъ христіанства, она им'явть смыслъ только на почв'я чисто-языческаго понятія о родовой мести какъ нравственномъ долг'я. Центръ драмы именно въ томъ, что Гамлетъ считалъ своею обязанностью отмститъ за отца, а его нер'яшительный темпераментъ задерживалъ исполненіе этой мнимой обязанности. Но в'ядь это только частный случай; н'ятъ никакой общей и существенной необходимости, чтобы челов'якъ, испов'ядующій религію, запрещающую мститъ, сохранялъ понятія и правила, требующія мести.

Отнимите эту естественную въ язычникъ и совершенно противоестественную въ христіанинъ идею обязательной мести, и въ чемъ же будетъ основаніе для драмы? У человъка гнуснъйшимъ образомъ убили благороднаго отца, отняли мать и оттъснили его самого отъ наслъдственнаго престола. Высокая стецень горя и бъдствія! Но предположите, что этотъ человъкъ съ глубокимъ убъжденіемъ стоить — не скажу даже на христіанской, а хотя бы на стоической, буддійской или толстовской точкі зрінія; тогда изъ его горестнаго положенія вытекаеть лишь одна простая и чисто-внутренняя обязанность — резигнаціи. Онъ можеть мужественно принять эту обязанность, или малодушно роптать на нее, но и въ томъ и другомъ случай никакого явнаго и необходимаго дійствія, а слідовательно, и никакой трагедіи изъ его несчастья не вытекаеть. Ясно, что создать настоящую трагедію изъ положенія человіка, безропотно, или хотя бы съ ропотомъ переносящаго свои бідствія, совершенно невозможно, какъ бы велики ни были эти бідствія и какова бы ни была геніальность поэта.

Чтобы изъ горестнаго положенія Гамлета вышла та великольпная трагедія, которую мы знаемъ, нужно было Шекспиру создать особыя условія, изъ существа положенія не вытекающія, а именно, во-первыхъ, нужно было, чтобы всв ужасы, совершенные въ Эльзинорѣ, пали на голову человѣка, который, несмотря на свою фактическую принадлежность къ христіанству, искренно вѣритъ въ обязательность для себя кровной мести; не будь этой слъпой вѣры, усомнись Гамлетъ въ своей мнимой обязанности мстить, и вспомни онъ хотя на минуту о своей дѣйствительной обязанности прощать враговъ, — трагедія бы пропала, и у плачевнаго факта остался бы только одинъ смыслъ жизненнаго испытанія. А развѣ была какая-нибудь внутренняя необходимость Гамлету такъ сильно вѣрить въ пережитый высшимъ сознаніемъ человѣческимъ законъ родового быта?

Но, во-вторыхъ, и допустивши въ Гамлетѣ случайную силу этого исторически пережитаго, мы видимъ, что трагедіи все-таки не вышло бы, если бы Гамлетъ прямо исполнилъ свой мнимый долгъ, убивъ злодѣя-узурпатора и занявъ по праву свой престолъ. Тогда ему оставалось только, какъ въ передѣлкѣ Сумарокова, жениться на Офеліи, и представленіе, вмѣсто величавой отходной Фортинбраса, оканчивалось бы нѣжными словами Офеліи:

Иди, мой князь, во храмъ, Яви себя въ народъ, А я пойду отдамъ Послъдній долгъ природъ! ²

² Разумъется посъщение родительской могилы.

XIII.

Итакъ, кромѣ случайной вѣры Гамлета въ законъ кровной мести, требовалось для трагедіи еще другое условіе — неспособность Гамлета исполнить вообще какой-нибудь законъ, требовалось, чтобы этотъ человѣкъ былъ только мыслителемъ, или, если угодно, резонеромъ, а не дѣятелемъ, — требовался, однимъ словомъ, тотъ характеръ, котораго я не стану разбирать, чтобы не повторять достаточно извѣстнаго и превосходнаго ето анализа въ блестящемъ очеркѣ Тургенева: «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ».

Значить, внъшняя случайность получила трагическій интересь лишь благодаря индивидуальности героя. Но, скажуть, такъ и должно быть. Не совсёмъ. Въ поэзіи были трагедіи, основанныя главнымъ образомъ на внутренней необходимости, хотя и не безусловной, однако обусловленной объективно-историческими силами, а не индивидуально-субъективнымъ характеромъ.

Мало замъчаютъ обыкновенно, что сюжетъ Гамлета есть лишь обновленный сюжеть превней Орестіи. У Ореста, какъ и у Гамлета, благородный отецъ убить родственнымъ злодъемъ при главномъ участім собственной жены убитаго, матери Ореста. Но туть само подоженіе создаетъ трагедію, независимо отъ индивидуальности героя. Смиреніе, резигнація, прощеніе враговъ вовсе невозможны для Ореста — такого понятія не существовало въ его время. Естественный законъ родовой жизни еще господствоваль надъ всёмъ сознаніемъ, но трагедія была въ томъ, что самый этотъ законъ наканунъ своего паденія раздвоился. Родъ всесиленъ, но кто представляєть родъ: мать, или отець? Какой натуральный союзь есть настоящій: матріархальный или патріархальный? Центрь тяжести трагедіи не въ личности Ореста, а въ объективномъ историческомъ столкновеніи двухъ законовъ, тъснившихъ другъ друга въ натуральномъ человъчествъ закона гинекократическаго и андрократическаго. Трагедія здѣсь происходить по существу, какой бы характерь и какія бы мысли ни были у Ореста, — все равно: эти два объективные закона отцовскаго и материнскаго права предъявляють ему свои противоръчивыя требованія, сталкиваются въ его груди.

Но, скажуть, изъ этого преимущества древней трагедіи вытекаеть и ея важный недостатокъ, — именно слабость индивидуальнаго и субъективнаго интереса. Конечно, такъ; и эстетика уже давно различила здѣсь два рода: древнюю трагедію общей необходимости и новую трагедію индивидуальнаго характера. Но развѣ сущность трагическаго въ жизни человѣчества исчерпывается этою противоположностью, развѣ естъ внутреннее основаніе для того, чтобы въ трагедіи преобладали непремѣнно или та, или эта сторона, развѣ невозможно такое трагическое положеніе, что наиболѣе значительное и универсальное столкновеніе объективныхъ дѣйствующихъ въ мірѣ началь показывало свою силу на самой могучей и глубокой индивидуальности?

XIV.

Нѣтъ внутренней необходимости, чтобы драма была непремѣнно односторонней. Но гдѣ же эта высшая, синтетическая и полная драма? Въ поэзіи я такой не знаю, но въ дѣйствительной исторіи она бывала, и о такой именно жизненной драмѣ, превосходящей и древнюю Орестію, и новаго Гамлета, у насъ теперь рѣчь.

Хотя она происходила ранве христіанства, но положеніе опредвляется въ ней уже на духовной почвъ. Убить отецъ, но не кровный, а духовный, воспитатель въ мудрости, отецъ лучщей души. Это еще личное, котя и высокое отношеніе. Но воть уже сверхличное: убитъ праведникъ. Убитъ не грубо-личнымъ злодъяніемъ, не своекорыстнымъ предательствомъ, а торжественнымъ публичнымъ приговоромъ законной власти, волею отечественнаго города. И это еще могло бы быть случайностью, если бы праведникъ былъ законно убитъ по какому-нибудь дълу, хотя невинному, но постороннему его праведности. Но онъ убитъ именно за нее, за правду, за ръшимость исполнитъ нравственный долгъ до конда.

Судьба Сократа была рѣшена слѣдующими его словами къ судьямъ: «Васъ, мужи аеинскіе, я уважаю и люблю, но слушаться буду бога больше, чѣмъ васъ, и пока есть во мнѣ дыханіе и силы, не перестану философствовать и васъ увѣщевать и обличать обычными своими рѣчами».

Трагизмъ не личный, не субъективный, не въ разлукъ ученика съ учителемъ, сына съ отцомъ. Сократу, все равно, жить оставалось ужъ недолго. Трагизмъ — въ томъ, что лучшая общественная среда во всемъ тогдащиемъ человъчествъ — Аеины — не могла перенести простого, голаго принципа правды; что общественная жизнь оказалась несовмъстимою съ личною совъстъю; что раскрылась бездна

чистаго, безпримъснаго зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась единственнымъ удъломъ, а жизнь и дъйствительность отопили къ злу и лжи.

Какъ же жить въ этомъ царствъ зла, жить тамъ, гдъ праведникъ долженъ умереть? Посмотрите, насколько это «бытъ или не бытъ», которое Платону пришлось сказать надъ трупомъ законно и явно отравленнаго Сократа, глубже и значительнъе гамлетовскаго «бытъ или не бытъ», вызваннаго беззаконнымъ и тайнымъ, въ сущности случайнымъ, отравленіемъ его отпа?

Конечно, главную силу трагизма этого положенія могла сознательно испытать лишь такая высокая и богатая индипидуальность, какъ Платонъ; не самый источникъ трагизма не въ индивидуальности, не въ субъектѣ, а въ этомъ глубокомъ, роковомъ и объективномъ столкновеніи глубочайшаго зла съ воплощеніемъ правды. И столкновеніе это не обусловлено историческою стадіей общественнаго развитія, какъ въ Орестіи, — оно безусловно и универсально, какъ самый принципъ выспией правды, провозглашенной Сократомъ: «Слушаться я долженъ бога больше, чъмъ васъ», — и какъ отвътъ зла: «Ты долженъ умереть, ибо жизнь общества несовмъстима съ правдою божьею и человъческою».

Когда Гамметъ говоритъ свое «быть или не бытъ», онъ разумѣетъ — быть или не быть мню, Гаммету? — вопросъ личный, и весь монологъ наполненъ личнымъ эдементомъ: ударами судьбы, сорными травами житейскаго сада, сновидѣніями за гробомъ. Для Платона вопросъ быль въ томъ: быть или не бытъ правдѣ на землѣ вопросъ универсальный, хотя живо ощутитъ его значеніе могла, конечно, липь великая личностъ — вотъ истинное соотвѣтствіе, настоящій синтезъ всеобщаго и индивидуальнаго, субъективнаго и объективнаго началъ въ драмѣ, — и этотъ синтезъ, никакимъ поэтомъ не придуманный, произошелъ въ дѣйствительной исторіи.

Пояснивъ или подчеркнувъ съ помощью новаго сопоставленія общеизвъстную завязку Платоновой жизненной драмы, я долженъ теперь перейти къ ея дальнъйшему развитію и къ той окончательной трагической катастрофъ, на которую, если не ошибаюсь, до сихъ поръ не обращали достаточнаго вниманія.

XV.

И Платонъ, и Гамлетъ, изъ страшнаго положенія въ началь ихъ жизни, оба вынесли собственно лишь рядъ разговоровъ. Разговоры Гамлета глубокомысленны и остроумны. Разговоры Платона, съ возраженіями и дополненіями Аристотеля и стоиковъ и съ заключеніями новоплатониковъ, создали цълый умственный мірь, называемый греческою философіей, и вошли въ историческое развитие христіанства, какъ его главная основа. И все-таки приходится сказать, что жизненная трагедія Платона имьла не только страшное начало, но и плачевный конецъ, какъ то и слъдуетъ для настоящей трагедіи. Изъ своего жизненнаго испытанія онъ вышель хотя не безъ славы, но безъ побъды. Подобно шекспировскому Гамлету — въ отличе отъ сумароковскаго — онъ не могъ жениться на своей «Офедіи»: она утонула. Въ концъ концовъ, Платонъ, какъ Гамлетъ, оказался неидачникомъ, котя, разумъется, неудачи великаго человъка даютъ міру гораздо больше, чъмъ множество самыхъ блестящихъ удачъ людей обыкновенныхъ.

Можно себѣ представить, какое дѣйствіе смертный приговорь Сократу произвель на такого его ученика, какъ Платонъ, который успѣлъ крѣпко привязаться къ чарующей личности учителя и проникнуться высокимъ духомъ его рѣчей, но уже по самому возрасту своему (28 лѣтъ) былъ неспособенъ легко мириться съ торжествомъ зла, — и еще какимъ торжествомъ! Сладкая привычка къ существованю, заставляющая людей, ради сохраненія жизни, забывать и терять ея смыслъ и истинную причину, — то, для чего стоимъ житъ — ргортег vitam vitai perdere causas, — такая привычка не могла еще сложиться у Платона. Сила нравственнаго потрясенія выразилась въ серьезной болѣзни, которая помѣшала ему участвовать въ предсмертной бесѣдѣ учителя съ учениками з. Затѣмъ ему пришлось переселиться въ Мэгару и тамъ на печальномъ досугѣ ръшать свое «быть или не быть»?

XVI.

Есть поводь догадываться, что и Платону являлась мысль о самоубійствъ. Во всякомъ случать, основанія, по которымъ онъ не могь

³ Опредъленное и, очевидно, намъренное указаніе въ "Федонъ": "Платонъ же быль боленъ".

на ней остановиться, совершенно ясны. Сущность Сократова ученія, восторженно воспринятаго его ученикомъ. состояла, какъ мы знаемъ. въ томъ, что, независимо ни отъ какихъ фактовъ и положеній, есть безусловный, по существу добрый, смысло бытія; а признаніемъ этого прямо исключается такой актъ отчаянія, какъ самоубійство. Изъ-за трагической смерти Сократа отказаться оть той самой истины, которой Сократъ посвятилъ свою жизнь — это было бы и логическимъ противоръчіемъ и психологическою невозможностью. Логически неизбъжна была дилемма: или Сократъ дъйствительно былъ учитель истины, и значить — должно было его слушаться и не убивать себя вопреки его ученію; или онъ не быль провозвъстникомъ истины, и тогда его смерть, какъ бы она ни была печальна, теряла свое особое принципіальное и роковое значеніе, являлась лишь смертью хорошаго и замъчательнаго, но заблудившагося. неправаго, человъка, и здъсь не было причины для безвыходнаго отчаянія; въ первомъ случат самоубійство было бы дъломъ непозволительнымъ, во второмъ это быль бы поступокь бевь достаточнаго основанія.

А со стороны психологической и фактъ смерти учителя, и высота нравственнаго достоинства, обнаруженная имъ въ обстоятельствахъ этой смерти, должны были до чрезвычайной степени усилить восторженную и благоговъйную любовь Платона къ умершему, а это не допускало его ни усомниться въ истинъ ученія, ни измънить ей малодушнымъ отчаяніемъ. Если не навсегда, то во всякомъ случать на первое время, вліяніе Сократа умершаго должно было еще сильнъе, чъмъ вліяніе живого, дъйствовать на сознательныя ръшенія его ученика.

Еще другая психологическая причина не допустила бы Платона до самоубійства. Поясню ее сравненіемъ. Всякій признаетъ психологически невозможнымъ, чтобы человѣкъ, преданный, напримѣръ, матеріальнымъ интересамъ, рѣшился наложить на себя руки вслѣдствіе смерти близкаго и искренно любимаго имъ лица, когда это лицо, умирая, оставило ему богатое наслѣдство. Ясно, что стремленіе восморбь о сердечной потерѣ. Платонъ былъ человѣкъ иного рода, но отношеніе остается то же. Платонъ былъ преданъ высшимъ интересамъ духа, а смерть Сократа, кромѣ великаго горя, оставляла ему великое духовное наслѣдіе, еще умноженное самою этою смертью. Полнота юныхъ умственныхъ силъ, напитанныхъ обильнымъ идей-

нымъ содержаніемъ Сократовой жизни и смерти и поднятыхъ на новую высоту всёмъ напряженіемъ благоговейной и скорбной любви къ умершему, требовала положительнаго творческаго выхода и, занимая всю душу Платона, не оставляла въ ней техъ пустыхъ месть, где гнездятся отчаянныя решенія. И самъ роковой вопрось о жизни и смерти правды, своимъ сверхличнымъ, универсальнымъ значеніемъ, выводилъ мысль изъ тупой и тесной личной тоски, чреватой самоубійствомъ, на просторъ и светь для плодотворнаго действія.

XVII.

Смерть Сократа, когда ее перебольль Платонь, породила новый взглядь на мірь — платоническій идеализмь. Первое основаніе, «большая посылка» этого взгляда содержалась въ ученіи Сократа; меньшая посылка была дана его смертью; геній Платона вывель заключеніе, которое осталось скрытымъ для другихъ учениковъ Сократа.

Тоть міръ, въ которомъ праведникъ долженъ умереть за правду, не есть настоящій, подлинный міръ. Существуєть другой міръ, гдв правда живетъ. Вотъ дъйствительное жизненное основаніе для Платонова убъжденія въ истинно-сущемъ идеальномъ космосъ, отличномъ и противоположномъ призрачному міру чувственныхъ явленій. Свой идеализмъ, — и это вообще мало замъчалось, — Платонъ долженъ былъ вынести не изъ тъхъ отвлеченныхъ разсужденій, которыми онъ его потомъ пояснялъ и доказывалъ, а изъ глубокаго душевнаго опыта, которымъ началась его жизнь.

Сократь училь о безусловномъ, или самосущемъ добрѣ, но онь бралъ его, главнымъ образомъ, не какъ противоположность, а какъ предположеніе- нашей дъйствительности. Для Платона та дъйствительность, въ которой смерть Сократа была не случайнымъ фактомъ, а выраженіемъ закона, явленіемъ жизненной нормы, — такая дъйствительность представлялась прежде всего съ отрицательной своей стороны, какъ противорѣчіе добру и правдѣ! Ранѣе противоположности между «сущимъ по существу» $(\tau \acute{o} \ \emph{o} v \tau \omega \varsigma \ \emph{o} v)$ и призрачно «бываемымъ» $(\gamma \iota \gamma v \acute{o} \mu \epsilon v o v)$, кажущимся, или явленіемъ — ранѣе этой діалектической и метафизической противоположности, почувствовалъ Платонъ, подъ вліяніемъ ученія и въ особенности смерти Сократа, этическую противоположность между должнымъ и дъйствительнымъ, между истиннымъ нравственнымъ порядкомъ и строемъ даннаго общежитія.

И Платону, какъ Гамлету, міръ показался какъ садъ, заросшій сорными травами; но его пессимизмъ былъ произведенъ не личными бъдствіями, а тъмъ, что въ этомъ міръ не оказалось мъста для правды и праведника.

Для Сократа порядокъ дъйствительной жизни былъ условнымъ — хорошимъ, если онъ согласовался съ добромъ по существу, — дурнымъ, если онъ ему противоръчилъ. Но въ смерти самого Сократа вопросъ фактически получилъ общее ръшеніе въ отрицательномъ смыслъ: обнаружилось на дълъ, что существующій порядокъ принципіально противоръчитъ добру, что онъ — по существу дурной. Значитъ, нельзя приниматъ въ немъ дъятельнаго участія человъку, ищущему не внъшняго успъха во что бы то ни стало, не кажущагося наслажденія и не мнимой выгоды, а истиннаго блага, или добродътели. Изъ такого взгляда хотя не вытекаетъ, для людей правды и добра, невозможность жизни вообще, но, очевидно, вытекаетъ невозможность жизни практической, дъятельной.

Мы видимъ нѣкоторую историческую діалектику (въ Гегелевомъ смыслѣ), которая выразилась въ Платонѣ невольно и незамѣтно для него самого. Сократъ отказался отъ теоретическаго умозрѣнія о вселенной, которымъ занимались его предшественники, и свелъ философію съ неба на землю, къ людскому обществу, — а его духовный наслѣдникъ, преемникъ его генія и славы, долженъ прежде всего отрѣшиться отъ жизни и дѣлъ общественныхъ, долженъ предварить въ принципѣ идеалъ восточнаго монашества.

Міръ весь во злѣ лежить; тѣло есть гробь и темница для духа; общество есть гробь для мудрости и правды; жизнь истиннаго философа есть постоянное умираніе. Но это умираніе житейскихъ интересовъ даетъ мѣсто не пустотѣ, а лучшей жизни ума, созерцающаго то, что есть само по себѣ безусловное. Добро — то, чего Сократъ искалъ какъ нравственной нормы для практической, общественной жизни, но что для Платона стало теперь предметомъ пока лишь чисто-теоретическаго интереса, какъ верховная идея, средоточіе иного «умопостигаемаго» міра.

XVIII.

Платонъ долженъ былъ по убъжденію бъжать отъ міра; съ этимъ связалось бъгство по принужденію изъ родного города ⁴. Онъ посе-

⁴ Разумъется, принужденіе правственное; формальнаго закон-

ляется на нѣсколько лѣтъ въ Мэгарѣ съ другими сократовцами и вдали отъ всякихъ дѣлъ предается чистой теоріи, математическимъ и діалектическимъ задачамъ и упражненіямъ.

По всей въроятности, свое первое заморское путешествіе — въ Кирэну, Египеть, а можеть быть и далье, въ Азію — Платонъ предприняль изъ Мэгары, до возвращенія въ Аеины. Какъ бы то ни было, и вернувшись на родину (черезъ пять льть посль смерти Сократа), онъ продолжаль сначала вести жизнь философа, далекаго отъ дълъ общественныхъ. Съ крайне пессимистическимъ взглядомъ на общество и на публичную дъятельность, который высказывается въ діалогахъ «Горгій», «Менонъ», «Фэдонъ», 2-я книга «Государства», сообразенъ и характеръ нъкоторыхъ другихъ діалоговъ, которые самимъ свойствомъ своихъ задачъ свидътельствуютъ объ отрышенномъ идеализмъ Платона въ эту пору «Кратилъ» — о природъ словъ; «Феэтетъ» — о томъ, что есть знаніе; «Софистъ» — объ отношеніи между сущимъ и несущимъ; «Парменидъ» — о единомъ и многомъ, или объ идеяхъя.

Если этотъ идеализмъ, держащійся на почвъ противоположенія между умоностигаемою областью истинно-сущаго и обманчивымъ нотокомъ чувственныхъ явленій, какъ «не-сущаго», куда всецьло относится всякая житейская и общественная практика, — если такую отръщенную точку зрънія прямо сопоставить съ последующими стремленіями Платона къ соціально-политическимъ преобразованіямъ, съ его упорными попытками не только опредълить истинныя нормы общественных отношеній, но и воплотить эти нормы въ устройствъ дъйствительнаго образцоваго государства, то представляется явное противоръчіе, непроходимая пропасть. Она не восполняется и тъми утонченными діалектическими соображеніями въ «Софисть» и «Парменидъ», въ силу которыхъ и за «не-сущимъ» признается въ нъкоторомъ смыслъ существованіе. Отношеніе философа къ этому полусуществованію остается и здёсь рёшительно отрицательнымъ, несовмёстимымъ съ какими-нибудь серьезными практическими стремленіями въ этомъ обманномъ міръ. Для заполненія этой пропасти нужны не діалектическія развлеченія, а новая точка зрѣнія, которую мы и находимъ въ двухъ центральныхъ діалогахъ Платона — «Фэдръ» и «Пиршество».

наго преслъдованія противъ учениковъ Сократа не предпринималось, но они не могли разсчитывать на свободную проповъдь его идей.

XIX.

Немногочисленныя, но согласныя свидѣтельства древности говорять, что Платонь до встрѣчи своей съ Сократомъ писалъ любовные стихи, которые онъ сжегъ, когда увлекся рѣчами «мудрѣйшаго изъ эллиновъ». Сохранившіяся и дошедшія до насъ съ именемъ Платона нѣсколько эротическихъ стихотвореній, если бы только они были подлинны, указывали бы на дѣйствительныя отношенія будущаго философа къ опредѣленнымъ лицамъ того или другого пола. Это и само по себѣ вѣроятно какъ съ психологической, такъ и съ исторической точки зрѣнія. Но интересны не эти безотчетныя проявленія инстинкта, а эротическій кризисъ, сознательно пережитый Платономъ въ серединѣ его жизни и увѣковѣченный въ «Фэдрѣ» и «Пиршествѣ».

О внышних біографических обстоятельствах этого происшествія я говорить не буду по многимъ причинамъ и главнымъ образомъ потому, что мы совершенно ничего объ этомъ не знаемъ. Но если исторія молчить о личныхъ подробностяхъ этого интереснаго романа, съ къмъ и какимъ образомъ онъ произопледъ, то два названные діалога достаточно свидътельствують какъ о самомъ фактъ, такъ и о томъ, что вынесь изъ него Платонъ. Только этотъ неизвъстный, но необходимо предполагаемый фактъ даетъ ключь къ послъдовавшей перемънъ въ міровоззръніи Платона, и онъ же одинъ можеть объяснить появленіе и характерь «Фэдра» и «Пиршества». Эти два произведенія и по свътлому, жизнерадостному настроенію, въ нихъ отразившемуся, и по самому сюжету ръзко выдъляются изъ прочихъ писаній Платона; и есть ли какая-нибудь возможность допустить, что философъ, смотръвшій передъ тъмъ на всъ человъческіе дъла и интересы какъ на «не-сущее» и занятый отвлеченнъйшими размышленіями о гносеологическихъ и метафизическихъ вопросахъ, вдругь ни съ того, ни съ сего, безъ особаго реальнаго и жизненнаго возбужденія, посвящаетъ лучшія свои произведенія любви, — предмету вовсе не входившему въ его философскій кругозоръ, — гдѣ излагаетъ новую теорію, не имъющую никакой опоры въ его прежнихъ воззръніяхъ, но оставляющую глубокій и неизгладимый, хотя косвенный, слъдь во всемъ его дальнъйшемъ образъ мыслей? Содержаніе «Фэдра» и «Пиршества», теоретически не связанное и несовмъстимое съ отръшеннымъ идеализмомъ «двухъ міровъ», можеть быть понято лишь какъ

преобразованіе, прогрессъ въ этомъ идеализмѣ, вызванный требованіями новаго жизненнаго опыта. Говоря это, я предполагаю, что эти два діалога принадлежатъ къ средней эпохѣ Платоновой жизни и творчества. Такъ это и принимается большинствомъ авторитетныхъ ученыхъ. Правда, Шлейермахеръ призналъ «Фэдра» за первое, юношеское произведеніе Платона, хотя никакой попытки дѣйствительно доказать это основное для него положеніе мы у него не находимъ. А съ другой стороны, современный филологъ Константинъ Риттеръ находитъ возможнымъ по соображеніямъ филологическимъ, которыя, впрочемъ, никому, кромѣ него, не показались убѣдительными, относитъ того же «Фэдра» къ старческому возрасту Платона. Эти два парадокса взаимно другъ друга уничтожаютъ и оставляютъ общій взглядъ безъ измѣненія.

При первомъ серьезномъ знакомствъ съ «Фэдромъ» и «Пиршествомъ», современный читатель долженъ испытывать нъкоторое смущеніе и недоумъніе. Натуральная подкладка эротическихъ чувствъ и отношеній здъсь совсъмъ не та, какая вообще принята за нормальную въ современной жизни и литературъ. Тамъ. гдъ у насъ предполагается одинъ рядъ отношеній, древніе греки, испорченные азіатскими вліяніями, допускали, по крайней мъръ, три.

Одна изъ уцълъвшихъ одъ знаменитой поэтессы Сафо изъ Лесбоса начинается такимъ обращеніемь къ богинъ любви:

Помілоджой адамат 'Арфодіту, т. е. пестропрестольная безсмертная Афродита! Воть эта пестрота Афродиты, предполагаемая и Платономъ, она-то и смущаетъ его современнаго читателя и почитателя, привыкшаго извъстные предметы относить не къ философіи и поэзіи, а къ психіатріи, съ одной стороны, и къ уголовному уложеню — съ другой. Конечно, фактическія аномаліи въ этой области у насъ еще пестръе, чъмъ въ классическомъ міръ, но мы поражены тъмъ, что главныя изъ нихъ считались эллиномъ не за болъзненныя уклоненія, а за что-то простое и естественное и даже предпочтительное тому, что мы теперь признаемъ за единственно-натуральное.

Но ставить эту предосудительную особенность въ вину Платону — разумъю, Платону-философу — было бы несправедливо не только съ исторической точки зрънія, но и по существу. Находя «пеструю» Афродиту какъ узаконенный общимъ мнъніемъ фактъ, самъ онъ въ принципь отвергалъ ее всю цъликомъ, безъ различія ея видовъ. Всякая плотская любовь, независимо отъ той или другой формы,

признана имъ за что-то вульгарное и низменное, недостойное истиннаго человъческаго призванія; это есть $A\varphi\varrho o\vartheta i\tau \eta$ $\pi \dot{a}\nu \vartheta \eta \mu o \varsigma$, буквально — «всенародная», въ смыслъ дешевой, ничего не стоющей и въ отличіе отъ истинной, или небесной — Афродиты Ураніи, которая стоить многаго и великаго.

Правда, для земного человѣка обѣ имѣютъ одинъ корень, вырастаютъ изъ одной и той же матеріальной почвы, — но что же изъ этого? Мы знаемъ, что самые красивые цвѣты и самые вкусные плоды растутъ изъ земли и при томъ изъ земли самой нечистой, унавоженной. Это не портитъ ихъ вкуса и аромата, но и не сообщаетъ благоруханія навозу, который не становится благороднымъ отъ тѣхъ благородныхъ произрастеній, которымъ онъ служитъ.

XX.

Разбирать различные сорта органическаго удобренія интересно для агронома-спеціалиста. Общую важность имѣють здѣсь лишь двѣ истины: во-первыхъ, что всякій сорть этого товара есть одинаково продукть разложенія жизни, и что жить и питаться въ этой разлагающейся средѣ могуть только черви, а не люди, и, во-вторыхъ, что люди могуть и должны своею духовною работою извлекать изъ этой темной гнили прекрасные цвѣты и безсмертные плоды жизни.

Свёть изъ тьмы! Надъ черной глыбой Вознестися не могли бы Лики розъ твоихъ, Если бъ въ сумрачное лоно Не впивался погруженный Темный корень ихъ...

Да, конечно, таковъ законъ земли. Но следуеть ли изъ этого, что сама тъма есть уже светъ, или хотя бы то, что светъ есть прямое естественное порожденіе тъмы, порожденіе, являющееся безъ борьбы, безъ труда, изъ одной этой темной матери, безъ действія иного, более ему сроднаго отеческаго начала, — безъ решительнаго подчиненія низшаго высшему?

Не напрасно, не по наивному недоразумѣнію, съ именемъ Платона соединяется представленіе о высокой и чистой, идеальной, однимъ словомъ — *платонической любви*. Изъ эротическаго ила, который, повидимому, въ роковую пору втянулъ, но не могъ надолго затянутъ

его душу, Платонъ вырастилъ если и не плоды живые духовнаго перерожденія. то, по крайней мъръ, блестящій и чистый цвътокъ своей эротической теоріи. Припомнимъ эту теорію: она поможетъ намъ понять и оцънить срединный переломъ въ жизненной драмъ ея автора.

XXI.

Подъ вліяніемъ смерти Сократа, открывшей передъ глазами его ученика всю бездну мірского зла, сложился у него, какъ сказано, учалистическій идеализмъ, прямо по существу противополагающій всю нашу живую действительность тому, что истиню есть и должно быть. Въ тълесной и практической жизни нътъ ничего подлиннаго и достойнаго; все подлинное и достойное пребываеть въ своей чистой идеальности, за предълами этого нашего міра: оно «трансцендентно», нътъ настоящаго моста между двумя мірами. Самъ человъкъ, хотя принадлежитъ къ обоимъ мірамъ, не образуетъ. однако, внутренняго связующаго звена между ними: дуализмъ упраздняетъ и единство человъка. Двъ разнородныя половины нашего фактического существа спаяны только внъшнимъ случайнымъ образомъ. У подлиннаго или нормальнаго человъка, т. е. мудраго и праведнаго, истинное его сушество — умъ созерцающій — обращено исключительно и всецъло къ иному, запредъльному свъту; такой человъкъ, по-настоящему, живетъ лишь въ космосъ идей, а на землъ его призрачная жизнь, общая съ другими людьми, есть для него только умираніе. Когда это хроническое умираніе завершается острымъ, случайная связь порывается окончательно и безусловно, и освобожденный изъ житейской тюрьмы философскій умъ. отряхая прахъ отъ ьогь своихъ, всецъло и безъ оглядки переходить въ идеальный космосъ и вступаетъ въ общение съ другими пребывающими тамъ чистыми умами.

Меня всегда поражала въ діалогъ «Фэдонъ», гдъ особенно ярко выраженъ этотъ дуализмъ, характерная черта наивнаго безсердечія и неделикатности, которую, я увъренъ, нужно поставить на счетъ Платону, а не Сократу. Въ одномъ мъстъ бесъды умирающій мудрецъ даетъ ясно понять, а въ другомъ — прямо говоритъ своимъ плачущимъ ученикамъ, что разлука съ ними нисколько его не огорчаетъ, такъ какъ въ загробномъ міръ онъ разсчитываетъ встрътиться и бе-

съдовать съ людьми гораздо болъе интересными, чъмъ они 5. Я думаю, что если бы болъзнь не помъшала Платону находиться самому въ числъ этихъ плачущихъ учениковъ. то онъ уже изъ одного самолюбія остерегся бы вложить въ уста Сократа столь безцеремонное утъшеніе. Но хотя въ этомъ особомъ случать дуалистическій идеализмъ могъ бы быть выраженъ болье тонкимъ и изящнымъ образомъ, сущность его достаточно опредълилась въ умъ Платона, и совершенно ясно, что при этомъ воззръніи нътъ никакой логической точки опоры для установленія положительной связи между двумя мірами.

XXII.

Не находилъ родоначальникъ идеализма никакого соединительнаго пути между пребывающимъ на умопостигаемыхъ высотахъ существомъ истины и здъшнею юдолью, затопленною потокомъ чувственныхъ обмановъ. Не было связи между совершенною полнотою боговъ идей и безнадежною пустотою смертной жизни. Не было связи для разума. Но произошло нъчто ирраціональное. Явилась сила средняя между богами и смертными — не богь и не человъкъ, а нъкое могучее демоническое и героическое существо 6. Имя ему Эроть, а должность — строить мость между небомъ и землей и между ними и преисподнею. Это не богъ, но естественный и верховный священникъ божества, т. е. посредникъ — дълатель моста. Младшій брать и наследникь Греціи — народъ римскій — тождество этихъ понятій выражаетъ однимъ словомъ «pontifex». что значитъ и священникъ, и строитель моста, — разумъется, не чрезъ обыкновенныя ръки, а чрезъ Стиксъ и Акэронъ, чрезъ Флегетонъ и Коцитъ; и тотъ же всемірный народъ сохраняль преданіе, что истинное имя его вычнаго города должно читаться священнымъ, или понтификальнымъ способомъ — справа налъво, и тогда оно изъ силы превращается въ любовь: Roma (соотв. греческому $P\dot{\omega}\mu\eta$ — сила, по дорійскому діалекту $P\dot{\omega}\mu\alpha$; сравни извъстное $Xalqé\mu\sigma$, $P\dot{\omega}\mu\alpha$ $\partial v\gamma\dot{\alpha}\tau\eta\varrho$ $Aq\eta_0$, читаемое первоначальнымь, семитическимь способомь — Amor.

Безъ посредничества этого могучаго демона нельзя обойтись ни-

⁵ Поучительно сравнить съ этимъ прощальную бесъду Христа съ апостолами въ евангеліяхъ.

чему живущему; такъ или иначе оно прошло и пройдетъ по его мосту. Вопросъ лишь въ томъ, какъ воспользуется человъкъ этою помощью, какую долю небесныхъ благъ проведетъ онъ чрезъ священную постройку въ смертную жизнь.

Когда Эротъ входитъ въ земное существо, онъ сразу преображаетъ его; влюбленный ощущаетъ въ себъ новую силу безконечности, онъ получилъ новый великій даръ. Но туть неизбъжно является соперничество и противоборство двухъ сторонъ, или стремленій души высшей и низшей: которая изъ нихъ захватитъ себъ, обратитъ въ свою пользу могучую силу Эрота, чтобы стать безконечно плодотворною, или рождающею въ своей области и въ своемъ направлении. Низшая душа хочеть безконечныхъ порожденій въ чувственной безмърности-отрицательная. дурная безконечность, единственно доступная для матеріи побъдительницы: постоянное повтореніе однихъ и тъхъ же исчезающихъ явленій, увъковъченная жажда и голодъ безъ насыщенія, живая пустота безь наполненія, безконечность и візность Тантала, Сизифа и Данаидъ. Чувственная душа тянетъ книзу крылатаго демона и надъваетъ повязку на глаза его. чтобы онъ поддержаль жизнь въ пустомъ порядкъ матеріальныхъ явленій, чтобы онъ сохраняль и приводиль въ дъйствіе законъ дурной безконечности, чтобы онъ работалъ какъ служебное орудіе для безсмысленной безмърности матеріальныхъ вождельній.

Но что же дасть безконечная сила Эрота высшей, разумной душъ? Обратитъ ли ее къ мысленному созерцанію истинно-сущаго, идеальнаго космоса? Но это уже свойственно уму по собственной его природъ и дълается имъ безъ помощи Эрота. Онъ же самъ, по собственному существу своему, следовательно, и въ высшей душе, есть не теоретическая, или созерцательная, а творческая, — безконечно рождающая сила. Въ чемъ состоитъ и что даетъ безконечное рожденіе Эрота подъ властью низшей, чувственной души, достаточно извъстно не только людямъ, но также животнымъ и растеніямъ. Но что же онъ рождаеть для той души, которая возвысилась надъ служеніемъ смертной жизни? Гдъ могутъ быть ел порожденія, — не отъ Аполлона, не отъ Гермеса, а отъ Эрота? Не въ міръ идей и чистыхъ божественныхъ уморь, ибо тамъ обитаетъ лишь неизмънное истинно-сущее, которому и не нужно, и невозможно рождаться въ своей собственной вычной области. А рождать въ несущемъ не подобаетъ крылатому и зрячему полубогу, когда онъ свободенъ, а не находится въ неволъ у низшей физической души. отнимающей у него и крылья. и зръніе. Значить, для его настоящаго творчества остается то мъсто сопредъльности пли соприкосновенія двухъ міровъ. которое называется красотою.

По опредъленію Платона, истинное діло Эрота — рождать въ красоть. Что же это значить? Если бы можно было приписать Платону точку зрвнія новвишихь «эстетовь», то это опредвленіе было бы понятно какъ нъсколько ходульное обозначение для художественнаго творчества. или для занятія искусствами. Но такое пониманіе совсъмъ несогласно съ образомъ мыслей нашего философа въ различныя эпохи его жизни. Искусство — и то лишь въ нъкоторой, элементарной его части — онъ могъ признать второстепеннымъ, предварительнымъ проявлениемъ Эрота, но никакъ не его главнымъ и окончательнымъ дъломъ. Изъ своего идеальнаго города онъ изгоняетъ важнъйшія формы поэзіи. а также всякую музыку (въ нашемъ смыслъ), за исключеніемъ военныхъ пъсенъ. Къ искусствамъ пластическимъ онъ нигдъ не показываетъ никакого интереса. «Рожденіе въ красотъ во всякомъ случав нъчто гораздо болъе важное, чъмъ за-нятіе искусствами. Но что же именно? Прямого отвъта мы не найдемъ у Платона. Въ геніальной рѣчи Діотимы, передаваемой Сократомъ въ «Пиршествъ», но принадлежащей, конечно, не Діотимъ и не Сократу, а самому Платону, онъ доходитъ до логически ясной и многообъщающей мысли. что дъло Эрота и въ лучшихъ душахъ есть существенная задача, столь же реальная. какъ животное рожденіе, но неизмъримо болъе высокая по значению, соотвътственно истинному достоинству человъка, какъ существа разумнаго, какъ мудреца и праведника, — дойдя до этого: Платонъ какъ будто сбивается съ пути н начинаетъ блуждать по неяснымъ и безысходнымъ тропинкамъ. Его теорія любви, неслыханная въ языческомъ міръ, глубокая и смълая, остается недосказанною. Но то, что онъ въ ней даеть въ соединении сь кое-чъмъ, что міръ узналь посль него, позволяеть намъ договорить ръчь Діотимы, и тъмъ самымъ понять, почему Платонъ не досказаль ее. А. угадавъ истинную причину этой недосказанности, мы увидимъ и то, какъ она отразилась на дальнъйшей судьбъ Платона.

XXIII.

Если Эротъ есть положительная и существенная связь двухъ природъ — божественной и смертной, — во вселенной раздъленныхъ,

а въ человъкъ соединенныхъ лишь внъшнимъ образомъ, то въ чемъ же другомъ можетъ состоять его истинное и окончательное дъло, какъ не въ томъ, чтобы саму смертную природу сдълать безсмертною? Въдь высшею стороною своего существа, своею разумною душою че-довъкъ *и такъ* безсмертенъ по Платону, — тутъ нътъ никакого дъла, или задачи, и Эротъ тутъ не при чемъ. Задача же эротическая можетъ состоять лишь въ сообщении безсмертія той части нашей природы, которая сама по себъ его не имъетъ, которая обычно поглощается матеріальнымъ потокомъ рожденія и умиранія. Логически Платонъ долженъ бы былъ придти къ такому заключенію. И въ «Фэдръ», и въ «Пиршествъ» онъ ясно и ръшительно различаетъ и противополагаетъ низшее и высшее дъло Эрота — его дъло въ человъкъ-животномъ и его дёло въ истинномъ. сверхъ-животномъ человъкъ. При этомъ должно помнить. что и въ высшемъ человъкъ Эротъ дойствуетъ, творить, рождаеть, а не мыслить и созерцаеть только. Значить, и здъсь его прямой предметь — не умопостигаемыя идеи, а полная тылесная жизнь, и противоположность между двумя Эротами есть лишь противоположность нравственнаго и безнравственнаго отношенія къ этой жизни при соотвътственной противоположности цълей и результатовъ дъйствія въ ней. Если Эротъ животный, подчиняясь слъпому стихійному влеченію, воспроизводить на краткое время жизнь въ тълахъ непрерывно умирающихъ, то высшій человъческій Эротъ истинною своею цълью долженъ имъть возрождение или воскресение жизни навъки въ тълахъ, отнятыхъ у матеріальнаго процесса.

Греческій языкъ не бъденъ на реченія, обозначающія любовь, и если такой мастерь мысли и слова. какъ Платонъ, философствуя о высшемъ проявленіи жизни человъческой. не пользуєтся терминами $\varphi\iota\lambda\iota\alpha$, $d\gamma\dot{\alpha}\pi\eta$ $\sigma\tauo\varrho\gamma\iota\dot{\eta}$, а говоритъ именно: $E\varrho\iota\nu\varsigma$ — выраженіе, относящееся и къ низшей, животной страсти, то ясно, что вся противоположность въ направленіи этихъ двухъ душевныхъ движеній — стихійно-животнаго и духовно-человъческаго — не упраздняетъ реальной общности въ ихъ основъ, ближайшемъ предметъ и матеріалъ. Любовь, какъ эротическій павосъ — въ высшемъ или низшемъ направленіи, все равно — непохожа на дюбовь къ Богу, на человъколюбіе, на любовь къ родителямъ и къ родинъ, къ братьямъ и друзьямъ, — это есть непремънно любовь къ тълесности, и спрашивается только — для чело? Къ чему собственно стремится любовь относительно тълесности: къ тому ли. чтобы повторились въ ней безъ конца одни и

тъ же стихійные факты возникновенія и исчезанія, одна и та же адская побъда безобразія, смерти и тлънія; или къ тому. чтобы сообщить тълесному дъйствительную жизнь въ красотъ, безсмертіи и негльніи?

Такъ какъ Платонъ собственную задачу Эрота опредъляетъ какъ рожденіе въ красоть, то ясно, что его задача не разрѣшается физическимъ рожденіемъ тѣлъ къ смертной жизни — въ чемъ нѣтъ красоты, — и что онъ долженъ обращаться на возрожденіе или воскресеніе этой жизни къ безсмертію. Послъдняго Платонъ не говорить, но именно съ этимъ умолчаніемъ связано и то, что его теорія любви есть прекрасный махровый цвѣтокъ безъ плода.

XXIV.

Если Эротъ, сынъ Пороса и Пэніи (божественнаго изобилія и матеріальной скудости), когда онъ одолѣвается и плѣняется низшею, материнскою своею природою, въ этомъ паденіи и плѣненіи понапрасну тратить скои силы въ пустой ея безмѣрности и можетъ только прикрывать безобразіе и тлѣнность ея порожденій мгновеннымъ видомъ жизни и красоты, то что же дѣлаетъ онъ, когда отцовское начало одолѣватѣ въ немъ низшую природу, — что дѣлаетъ Эротъпобѣдитель? Да въ чемъ можетъ состоять и самая его побѣда, какъ не въ томъ, что онъ останавливаетъ процессъ умиранія и тлѣнія, закрѣпляетъ жизнь въ мгновенно-живущемъ и умирающемъ, а избыткомъ своей торжествующей силы оживляетъ, воскрешаетъ умершее? Торжество ума — въ чистомъ созерцаніи истины, торжество любви — въ полномъ воскрешеніи жизни.

Если Эросъ есть дъйствительный посредникъ и pontifex — дълатель моста — между небомъ, землей и преисподней, то его истинная цъль есть полное и окончательное ихъ соединеніе. Откуда можетъ взяться это ограниченіе для его дъла: давай красоту, но только красоту кажущуюся, поверхностную — красоту повапленнаго гроба; давай жизнь, но только минутную, тлъющую и умирающую! Такую скудость онъ могъ бы имъть отъ матери, но развъ онъ не сынъ богатаго отца? Въ чемъ это богатство, какъ не въ изобилующей полнотъ жизни и красоты? Отчего же онъ не даетъ ихъ полной мърой всему тому, что въ нихъ нуждается, — всему мертвому и тлънному?

 ${\tt M}$ благородство отцовскаго происхожденія не позволить ему брать назадъ свои дары.

Настоящая задача любви — дъйствительно увъковъчить любимое, дъйствительно избавить его отъ смерти и тлънія, окончательно переродить его въ красотъ. Роковое эротическое крушеніе философа любви могло состоять лишь въ томъ, что, подойдя мыслью къ этой задачъ, онъ остановился передъ ней, не ръшился до конца шонять и принять ее, а затъмъ, конечно, и фактически отказался отъ нея. Извъдавши въ чувствъ силу обоихъ Эротовъ и признавъ умомъ превосходство одного изъ нихъ, онъ не далъ ему побъдъ на дълъ. Онъ удовлетворился его мысленнымъ образомъ, забывая, что по самому значенію этой мысли она неразрывно связана съ долгомъ ея исполненія, съ требованіемъ, чтобы она не оставалась только мыслью; забывъ свое собственное сознаніе, что Эротъ «рождаетъ 65 красоть», т. е. въ ощутительной реализаціи идеала, Платонъ оставиль его рождать только въ умозрѣніи.

Какая же причина этой несостоятельности? Самая общая: и онъ, поднявшись въ теоріи надъ большинствомъ смертныхъ, оказался въ жизни обыкновеннымъ человъкомъ. Столкновеніе высокихъ требованій съ реальною немощью болье драматично у Платона именно потому, что онъ яснъе другихъ сознаваль эти требованія и легче другихъ могъ бы одольть эту немощь своимъ геніемъ.

XXV.

И адъ. и земля, и небо съ особымъ участіемъ слѣдятъ за человѣкомъ въ ту роковую пору, когда вселяется въ него Эротъ. Каждой сторонѣ желательно для своего дѣда взятъ тотъ избытокъ силъ, духовныхъ и физическихъ, который открывается тѣмъ временемъ въ человѣкѣ. Безъ сомнѣнія, это есть самый важный срединный моментъ нашей жизни. Онъ нерѣдко бываетъ очень кратокъ, можетъ также дробиться, повторяться, растягиваться на годы и десятилѣтія, но въ концѣ концовъ никто не минуетъ рокового вопроса: на что и чему отдатъ тѣ могучія крылья, которыя даетъ намъ Эротъ? Это вопросъ о главномъ качествъ жизненнаго пути, о томъ, чей образъ и чье подобіе приметъ или оставитъ за собою человѣкъ.

Ясно различается здъсь *пять* главныхъ путей. Первый, адскій путь. о которомъ говорить не будемъ. Второй, менъе ужасный, но

также недостойный человъка, хотя довольно обычный ему, есть путь животныхъ, принимающихъ Эрота съ одной физической его стороны и дъйствующихъ такъ, какъ будто простой фактъ извъстнаго влеченія есть уже достаточное основаніе для неограниченнаго и неразборчиваго его удовлетворенія. Такой наивный образъ мыслей и дъйствій вполнъ извинителенъ со стороны животныхъ, и человъкъ, ему предающійся, подъ конецъ съ успъхомъ уподобляется соотвътственнымъ тварямъ, даже и не подвергаясь принимаемой Платономъ загробной метаморфозъ. Третій, дъйствительно человъческій путь Эрота есть тотъ, на которомъ полагается разумная мъра животнымъ влеченіямъ — въ предълахъ, необходимыхъ для сохраненія и прогресса человъческаго рода. Если подражать корнесловіямъ Платонова «Кратила», то можно было бы слово бракъ производить отъ того, что въ этомъ учрежденіи человъкъ отвергаетъ, бракуетъ свою непосредственную животность и принимаетъ, беретъ норму разума. Безъ этого великаго учрежденія, какъ безъ хлъба и вина, безъ огня, безъ философіи, человъчество могло бы, конечно, существовать, но недостойнымъ человъка образомъ, — обычаемъ звѣринымъ.

XXVI.

Если бы человъкъ по существу своему могъ быть только человъкомъ, если бы такъ называемая «человъческая ограниченность» была не фактомъ только, а непремъннымъ и окончательнымъ закономъ, для всъхъ и каждаго обязательнымъ, — тогда бракъ быль бы навсегда высшимъ и единственно сообразнымъ человъческому достоинству путемъ любви. Но человъкъ тъмъ-то и выдъляется по преимуществу между прочими тварями, что онъ хочетъ и можетъ становиться выше себя самого; его отличительный признакъ есть именно эта благородная неустойчивость, способность и стремленіе къ безконечному росту и возвышенію. И мы знаемъ, что сначала исторіи не всъхъ людей удовлетворяли чисто-человъческие пути и образы жизни, — не удовлетворяль и этоть — вообще необходимый, почтенный и благословенный, но въ основъ своей только естественный, чисто-человъческий путь Эрота-Гименея, если не въ красотъ, то въ законъ рождающаго и воспитывающаго новыя покольнія для сохраненія и продолженія рода челов'вческаго, — пока нужно ему такое продолжение. Недовольство этимъ законнымъ путемъ у иныхъ — у

большей части — приводило къ печальному возврату на низшіе, покинутые человъческимъ образованіемъ, беззаконные пути. — возвращало людей къ до-историческому обычаю звъриному, а то и къ допотопнымъ «глубинамъ сатанинскимъ».

Но нъкоторые, уклоняясь отъ человъческаго пути брака, честно старались замънить его не низшими беззаконными, а высшими или сверхзаконными путями, изъ коихъ первый (въ общемъ счетъ четвертый) есть аскемизмъ (половой, или безбрачіе), стремящійся болье, чъмъ къ ограниченію чувственныхъ влеченій, — къ совершенной ихъ нейтрализаціи отрицательными усиліями духа въ воздержаніи. Аскетизмъ есть дъло очень ранняго историческаго происхожденія и универсальнаго распространенія если не въ смыслъ успъха, то хоть въ смыслъ намъренія и предпріятія. Замъчательно, однако, что полнъйшая изъ историческихъ организацій этого пути — христіанское монашество — уже сопровождается невольнымъ сознаніемъ, что при всемъ своемъ высокомъ достоинствъ это не есть высшій, окончательный, сверхчеловъческій путь любви.

Само монашество считаеть и называеть себя чиномъ антельскимъ; истинный монахъ носить образъ и подобіе ангела, онъ есть «ангель во плоти»; за величайшимъ монахомъ западнаго христіанства, св. Францискомъ Ассизскимъ, остается прозвище pater seraphicus и т. д. Но съ христіанской точки зрѣнія ангель не есть высшее изъ созданій: онъ ниже человѣка по существу и назначенію, — человѣка, какимъ онъ долженъ быть и бываеть въ извѣстныхъ случаяхъ. Представительница христіанскаго человѣчества признается царицей ангеловъ, а у апостола Павла читаемъ, что всѣ истинные христіане будутъ судить и ангеловъ. Ангелы же не судятъ людей, а лишь исполняютъ при нихъ службу Божію.

Если человъкъ по существу и преимуществу есть образъ и подобіе Божіе, то носить образъ и подобіе служебнаго духа можеть быть для него лишь временною, предварительною честью. Тъ самые восточные отцы церкви, которые и восхваляли и установляли «ангельскій чинъ» — монашество, они же высшею цълью и удъломъ человъка признавали совершенное соединеніе съ божествомъ — обожествленіе или обоженіе, θεώσις , а не αγγελώσις.

И дъйствительно, аскетизмъ не можетъ быть высшимъ путемъ

⁷ Весьма употребительный терминъ у св. Макарія Египетскаго, св. Аванасія Александрійскаго, св. Григорія Вогослова и др.

любви дли человъка. Его цъль — уберечь силу божественнаго Эрота въ человъкъ отъ расхищенія бунтующимъ матеріальнымъ хаосомъ, сохранить эту силу въ чистотъ и неприкосновенности. Сохранить въ чистотъ, — но для чего же? Полезно и необходимо очищеніе Эрота, особенно когда за долгіе въка человъческой исторіи онъ успъль такъ ужасно загрязниться. Но сыну божественнаго обилія одной чистоты мало. Онъ требуетъ полноты силь для живого творчества.

Итакъ, долженъ быть для человъка кромъ и выше четырехъ

указанныхъ путей любви — двухъ проклятыхъ и двухъ благословенныхъ — еще *пятый*, совершенный и окончательный путь истинно перерождающей и обожествляющей любви. Я могу указать здъсь только основныя условія, опредъляющія начало и циль этого высшаго пути. Создалъ Предвъчный Богъ человъка, по образу и подобію Своему создаль его: мужа и жену, создаль ихъ. Значитъ, образъ и подобіе Божіе, то, что подлежить возстановленію, относится не къ подовинь, не къ полу человъка, а къ цълому человъку, т. е. къ положительному соединенію мужескаго и женскаго начала, — истинный андрогинизмъ — безъ внъшняго смъшенія формъ, — что есть уродство, — и безъ внутренняго раздъленія личности и жизни, — что есть несовершенство и начало смерти. Другое начало смерти, устраняемое высшимъ путемъ любви, есть противоположение духа тълу. И въ этомъ отношении дъло идетъ о цъломъ человъкъ, и истинное начало его возстановленія есть начало духовно-тьлесное. Но какъ невозможно для божества духовно-тълесно переродить человъка безъ участія самого человъка, — это быль бы путь химическій, или какой другой, но не человъческій, — точно также невозможно, чтобы человъкъ изъ самого себя создалъ себъ сверхчеловъчность — это все равно, что самому поднять себя за волосы; ясно, что человъкъ можеть стать божественнымъ лишь дъйствительною силою не становящагося, а въчно существующаго божества, и что путь высшей любви, совершенно соединяющей мужеское съ женскимъ, духовное съ тълеснымъ, необходимо уже въ самомъ началъ есть соединение или взаимодъйствие божескаго съ человъческимъ, или есть процессъ богочеловъческій.

Любовь, въ смыслѣ эротическаго паеоса, всегда имѣетъ своимъ собственнымъ предметомъ *мълесность*; но тѣлесность, достойная любви, т. е. прекрасная и безсмертная, не растетъ сама собою изъ земли и не падаетъ готовою съ неба, а добывается подвигомъ духовнофизическимъ и бого-человѣческимъ.

XXVII.

Три указанныя понятія, опредѣляющія высшій путь любви, — понятія андрогинизма, духовной тѣлесности и богочеловѣчности — мы находимъ и у Платона, хотя лишь въ смутномъ видѣ. Первое — въ миеѣ, вложенномъ въ уста Аристофана («Пиршество»), второе — въ опредѣленіи красоты («Фадръ»), и третье — въ самомъ понятіи Эрота, какъ посредствующей силы между Божествомъ и смертною природой (рѣчь Діотимы въ «Пиршествъ»). Но у Платона эти три принципа являются какъ мимолетныя фантазіи. Онъ не связаль ихъ вмѣстѣ и не положилъ въ реальное начало высшаго жизненнаго пути, а потому и конецъ этого пути — воскрешеніе мертвой природы для вѣчной жизни — остался для него сокрытымъ, хотя логически вытекалъ изъ его собственныхъ мыслей. Онъ подошелъ въ понятіи къ творческому дѣлу Эрота, понялъ его какъ жизненную задачу — «рожденія въ красотъ», — но не опредѣлилъ окончательнаго содержанія этой задачи, не говоря уже объ ея исполненіи.

Платоновъ Эротъ, котораго природа и общее назначение такъ прекрасно описаны философомъ-поэтомъ, не совершилъ этого своего назначения, не соединилъ неба съ землею и преисподнею, не постро-илъ между ними никакого дъйствительнаго моста, и равнодушно упорхнулъ съ пустыми руками въ міръ идеальныхъ умозрѣній. А философъ остался на землъ — тоже съ пустыми руками — на пустой землъ, гдъ правда не живетъ.

XXVIII.

Платонъ не овладъть безконечною силою Эрота для настоящато дъла перерожденія своей и чужой природы. Все осталось попрежнему въ дъйствительности, и мы не видимъ, чтобы самъ Платонъ сколько-нибудь приблизился къ божескому, или хотя бы ангельскомучину. Но въ немъ осталась все-таки частица того изобилія, которое сынъ Пороса унаслѣдовалъ отъ своето отца. Платонъ уже не могъ вернуться къ тому отрѣшенному идеализму, который не хочетъ знать жизни. Недаромъ со всею силою и глубиною своей индивидуальности онъ пережилъ и передумалъ то чувство, которое уже само по себъ, уже какъ субъективное состояніе, снимаетъ хотъ на время безусловную грань между идеальнымъ міромъ и дъйствитель-

ною жизнью, строитъ котя бы только воздушный мость между небомъ и землей.

Міръ вообще и ближайшимъ образомъ человъческое общество становятся для Платона предметомъ не отрицанія и удаленія, а живого интереса. Противоръчіе дъйствительности идеальнымъ требованіямъ остается прежнее, но Платонъ смотритъ на него иначе. Онъ хочеть не уходить отъ зда на вершины созерцанія, а практически ему противодъйствовать, исправлять мірскія неправды. помогать мірскимъ бълствіямъ. И такъ какъ настоящее глубокое исправленіе и подная помощь — чрезъ перерождение человьческой природы — оказались ему не по силамъ, то онъ беретъ болъе поверхностную, но зато и болъе доступную задачу — преобразованія общественныхъ отношеній.

Онъ обдумываетъ образецъ дучшаго общежитія и изъясняетъ свой планъ въ десяти книгахъ «Государства» в. Но, увы! оставивъ въ душъ философа новую охоту къ жизни и политикъ, коварный Эротъ унесъ на своихъ крыдьяхъ ту творческую сиду, безъ которой эта охота должна была остаться безплодной. Отступивши передъ высшею жизненною задачей, Платонъ не одолълъ и низшей: никакого преобразователя общественнаго и политическаго изъ него не вышло, несмотря на всв его старанія, и не потому, чтобы онъ быль слишкомъ утопистомъ, а по отсутствію дійствительно прогрессивнаго начала въ его утопіяхъ, по ихъ ненужности и неинтересности для человъчества. Какой интересъ могло возбуждать предложеніс устраивать государство болье по образцу Спарты, нежели Аоинъ, когда уже являлось сознаніе. что и спартанская, и аеинская гражданственность оказались несостоятельными? Можно находить върной и во всякомъ случат должно признать остроумною и изящною Платонову схему трехъ общественныхъ классовъ соотвътственно тремъ основнымъ частямъ души и тремъ основнымъ добродътелямъ 9 Но эта схема настолько обща и формальна, что подъ нее легко подхо-

Психологическое: Этическое: Политическое: Разумная часть души. Мудрость. Правители. Аффективная. Мужество. Военные. Вожделънія.

Умъренность. Ремесленники и земледъльцы.

⁸ Части этого сочиненія написаны въ разное время, но какъ приое оно несомивнию принадлежить къ той эпохъ въ жизни философа, о которой у насъ ръчь, — между эротическимъ подъемомъ и неудачными политическими попытками въ Сициліи.

⁹ Вотъ это трижды тройное дёленіе:

дитъ средневѣковый европейскій строй, несмотря на существенное раздичіе историческаго и нравственнаго содержанія античной и средневѣковой общественности. Но именно къ содержанію собирательной жизни Платонъ и не обращался ни съ какимъ нравственнымъ вопросомъ по существу, а потому ни о какомъ дъйствительномъ исправленіи и удучшеніи этой жизни не можеть быть и рѣчи по поводу его политическихъ построеній. При глубинѣ и смѣлости нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мыслей общій идеалъ соціальнаго строя поражаетъ свочить поверхностнымъ характеромъ и отсутствіемъ истинно-этическихъ началъ. Платонъ какъ будто хотѣлъ узаконить и увѣковѣчить главныя нравственныя язвы древней жизни — рабство. раздъленіе между греками и варварами и войну между ними, какъ нормальное состояніе. Къ этому присоединяются, какъ общее правило и законъ. то, что въ дъйствительной жизни древнихъ городовъ бывало лишь какъ исключительное явленіе — принудительныя мізры противъ поэтовъ, изгоняемыхъ изъ государства. Болье важно, что во взаимоотношеніи половъ идеальная община Платона возвращается къ ди-кему образу жизни по обычаю звъриному. Довольно характерно, какъ философское исправленіе общежитія, — распространеніе обязательной военной службы на женщинъ, но еще характернъе основание для такой реформы: такъ какъ собаки, охраняющія и защищающія стада, исполняють эту службу безь различія самцовь и самокь, то ясно, что женщины должны ходить на войну. И воть на такихъ реальныхъ основахъ рабства войнъ и безпорядочнаго смъщенія половъ и покольній, коллегія философовь должна посредствомь хорошаго воспитанія создать идеальное государство!

XXIX.

Платонъ не довольствуется ролью теоретика соціальнаго идеала. Онъ хочетъ непремѣнно начать практическое осуществленіе своего плана. Такъ какт его принципъ требуетъ, чтобы нормальнымъ обществомъ управляли философы, то Платонъ естественно обращаетъ взглядъ къ той философской школѣ, которая изначала имѣла соціальныя стремленія и играла видную политическую роль. Онъ отправляется къ пиеагорійцамъ въ Великую Грецію (т. е. южную Италію). Первымъ результатомъ этого путешествія было болѣе близкое, чѣмъ прежде, ознакомленіе Платона съ пиеагорійскимъ ученіемъ, что отра-

зилось на его космологическомъ діалогѣ «Тимей». Но съ другой стороны «Тимей», также какъ и другое важное произведеніе, «Филэбъ», независимо отъ пиоагорейскихъ вліяній, носитъ явные и глубокіе слѣды той общей перемѣны міросозерцанія, которая произошла у Платона въ связи съ его эротическою философіей. О безусловной противоположности двухъ міровъ и двухъ жизней нѣтъ болѣе помину; осталась только относительная противополжность образующихъ вселенную началъ. Въ «Тимеѣ» центральное мѣсто принадлежитъ связующей идеальное бытіе съ реальнымъ міровой душь — другое названіе для Эрота.

Что касается до практическихъ намѣреній Платона, то писаго-

Что касается до практическихъ намъреній Платона, то пиеагорейцы могли оказать ему лишь косвенную поддержку. Ихъ союзъ, ослабленный и напуганный демократическими разгромами, не рисковать болье серьезными политическими предпріятіями, представляя собою нѣчто въ родѣ того мистическаго масонства, которое процвѣтало у насъ въ Россіи въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка. Пиеагорейцы могли только направить Платона въ Сиракузы ко двору тирана Діонисія (Старшаго), гдѣ они имѣли нѣкоторыя связи и вліянія. Хотя по прежнимъ понятіямъ Платона тираннія, т. е. монархическая власть, произвольно и насильственно захваченная, изо всѣхъ дурныхъ образовъ правленія есть наихудшій, но теперь онъ приходитъ къ мнѣнію, что единственный практическій способъ водворить правду на землѣ есть вліяніе мудреца на подходящаго для этого, или удобнаго тирана. Діонисій Старшій былъ безспорно настоящимъ типичнымъ тираномъ, но въ удобствв его Платону пришлось усомниться, когда ихъ знакомство кончилось тѣмъ, что Діонисій продалъ философа въ рабство — хорошій урокъ для мыслителя, который при своихъ возвышенныхъ умозрѣніяхъ объ истинно-сущемъ и о сверхъ-сущемъ благѣ не додумался до той простой истины и того простого блага, что человѣка. Платонъ не воспользовался этимъ урокомъ, и вмѣсто того, чтобы,

Платонъ не воспользовался этимъ урокомъ, и вмъсто того, чтобы, вспомнивъ Сократа, размыслить о существенныхъ нравственныхъ нормахъ общежитія, онъ дълаетъ еще двукратную напрасную попытку образовать себъ «удобнаго» тирана изъ Діонисіева преемника, Діонисія Младшаго.

XXX.

Окончательно разочаровавшись въ Сиракузахъ, Платонъ обращается мыслью къ Криту, родинъ мудраго Миноса, и въ ожиданіи

открытія тамъ удобнаго тирана пишетъ въ двѣнадцати книгахъ сводъ законовъ для будущаго образцоваго города на островъ Критъ. Это послъднее твореніе Платона въ высшей степени замѣчательно. Начиная съ внъшней черты. — хотя сочинение написано въ діалогической формъ (мъстами не выдержанной), но Сократъ не только не является по обыкновенію главнымъ дъйствующимъ, или разговаривающимъ лицомъ, но о немъ вовсе нѣтъ помину, какъ будто Платонъ забылъ о его существования. Важиъе то, что по содержанию своему сочиненіе «Законы» есть не забвеніе, а прямое отреченіе отъ Сократа и отъ философіи. Я не говорю про общій низменный складъ мысли въ этихъ книгахъ, про варварство уголовнаго права съ квалифицированною смертною казнью, съ преслъдованіемъ чародъевъ и заклинателей, не говорю про возмутительную несправедливость отдъльныхъ законовъ, напримъръ, тъхъ, которые рабу, не донесшему властямъ объ извъстномъ нарушении общественнаго порядка посторонними лицами, назначается смертная казнь, — помимо всего этого, прямое принципіальное отреченіе отъ Сократа и отъ философіи высказывается Платономъ въ тъхъ законахъ, въ силу которыхъ подлежитъ казни всякій, кто подвергаетъ критикъ или колеблетъ авторитеть отечественныхъ законовъ, какъ по отношенію къ богамъ, такъ и по отношенію къ общественному порядку.

Такимъ образомъ, величайшій ученикъ Сократа, вызванный къ самостоятельному философскому творчеству негодованіемъ на легальное убійство учителя, — подъ конецъ всецъло становится на точку зрѣнія Анита и Мелита, добившихся смертнаго приговора Сократу именно за его свободное отношеніе къ установленному религіозногражданскому порядку.

Какая глубочайшая трагическая катастрофа, какая полнота внутренняго паденія! Авторъ «Апологіи», «Горгія», «Фэдона», посл'є полув'єкового культа убитаго законами мудреца и праведника, открыто принимаетъ и утверждаетъ въ своихъ «Законахъ» тотъ самый принципъ сл'єпой, рабской и лживой вёры, которымъ убитъ отецъ его лучшей души!

Смертъ Сократа со всъмъ ея драматизмомъ; роковой вопросъ — стоитъ ли житъ, когда законно убита правда въ своемъ лучшемъ воплощении; ръшение — смыслъ жизни въ иномъ идеальномъ міръ, а

этоть — есть царство зла и обмана; явленіе священнаго Эрога, бросающаго мость между двумя мірами и ставящаго задачу полнаго вхъ соединенія, спасенія низшаго міра, перерожденія его; безсильный отказь отъ этой задачи; подмѣна ея другою — преобразованія, исправленія общества мудрыми политическими уставами чрезъ дѣйствіе послушнаго тирана. и, наконецъ, подъ предлогомъ исправленія мірской неправды, торжественное утвержденіе этой неправды ез мой самой формь, которою осужденъ и убитъ праведникъ, — я не знаю болье значительной и глубокой трагедіи въ иеловъческой исторіи.

Если Сократъ свелъ философію съ неба и далъ ее въ руки людямъ, то его величайшій ученикъ приподняль ее высоко надъ головою и съ высоты бросиль ее на землю, въ уличную грязь и соръ. Хорошо, что сосудъ мудрости не есть сосудъ скудельный. Разбились вдребезги недостойныя политическія исканія и планы философа, но мысли его лучшихъ дней остались во всей цълости. Судъ потомства былъ къ нему не только справедливъ, но и милостивъ. Знаютъ Платона въ «Фэдонъ» и «Феэтетъ», въ «Фэдръ» и «Пиршествъ», въ «Филэбъ», «Тимеъ» и лучшихъ главахъ «Государства», снисходительно прощаютъ его грубый коммунизмъ, какъ случайную абберацію великаго ума — quandoque bonus dormitat et Plato, — а его «Законы» никто и не читаетъ кромъ спеціалистовъ.

Не напрасно, однако, изъ великаго множества счастливо погибшихъ плохихъ произведеній древности «Законы» Платона сохранились неприкосновенными. Это сочиненіе важно, во-первыхъ, съ точки зрѣнія историко-эстетической, потому что увѣковѣченное здѣсь отреченіе отъ Сократа даетъ жизненной драмѣ Платона трагическій конецъ такой же, въ сущности, силы, какъ ея начало. Во-вторыхъ, это свидѣтельство глубокаго паденія Платона важно для его личной характеристики. Говорятъ. что его прозвали Платономъ, т. е. ишрокимъ (первоначальное его имя было будто бы Аристокъъ) за широту его лица, а по другимъ, — за широту его духа. Его духовный діапазонъ былъ дѣйствительно очень широкъ, и для полноты своего объема долженъ былъ заключать и тѣ низкія ноты, которыя звучатъ въ его послѣднемъ произведеніи.

А наконецъ, должно сказать и то: Сократъ своею благородною смертью исчерпалъ нравственную силу чисто-человъческой мудрости, достигь ея предъла. Чтобы идти дальше и выше Сократа — не въ умозръніи только и не въ стремленіи только, а въ дъйствительномъ

жизненномъ подвигѣ, — нужно было больше, чѣмъ человѣка. Послѣ Сократа, и словомъ, и примѣромъ научающаго достойной человѣка смерти, дальше и выше могъ идти только тотъ, кто имѣетъ силу воскресенія для вѣчпой жизни. Немощь и паденіе «божествепнаго» Платона важны потому, что рѣзко подчеркиваютъ и поясняютъ невозможность для человѣка исполнить свое назначеніе, т. е. стать дѣйствительнымъ сверхиеловъкомъ, одною силою ума, генія и нравственной воли, — поясняютъ необходимость настоящаго существеннаго болоиеловъка.

Рецензіи на книги А. Фуллье и Т. Рибо.

1898.

Мицкевичъ.

1898.

Идея сверхчеловѣка. 1899.

Рецензіи на книги А. Фуллье и Т. Рибо. 1898.

Альфредъ Фуллье. Темпераментъ и характеръ. Перев. В. Н. Линда.

Эта интересная книжка, талантливая, какъ и все, что пишеть Фуллье, производила бы еще лучшее впечатлъніе, если бы авторъ не высказываль въ началь притязанія «привести все въ систему и объяснить такъ, чтобы, если это только возможно, установить первыя основанія научной теоріи» (стр. 8). Затымь уже безь всякихь оговорокъ является «наука о характерахъ», имъющая собственный методъ, который «долженъ быть не только индуктивнымъ, но и дедуктивнымъ». Эта новая наука отличается существенно отъ прежнихъ работъ, посвященныхъ изученію характеровъ, такъ какъ тъ были по преимуществу описательнаго свойства: эмпирическія опредъленія, подраздъленія и классификаціи занимали въ нихъ первое мъсто, — а новая наука о характерахъ, создаваемая Фуллье, опирается на общіе законы физіологіи и психологіи, а главное, — въ нее проникаетъ одно универсальное понятіе — эволюціи. «Нашъ характеръ образуется изъ послъдовательныхъ наслоеній. Первое изъ нихъ обязано своимъ происхожденіемъ расѣ. второе основному дѣленію на полы, которое, какъ мы увилимъ, имъетъ не только біологическое, но и психологическое значеніе. Затёмъ послёднее наслоеніе является следствіемъ личнаго сложенія даннаго субъекта и собственнаго его темперамента. Вотъ какимъ образомъ установился, благодаря всъмъ этимъ отложеніямъ во времени, врожденный характеръ, являющійся въ данную минуту результатомъ длинной эволюціи въ продолженіе цълыхъ въковъ. Но врожденный характеръ самъ по себъ является только исходною точкой для новой эволюціи, совершаемой самимъ индивидомъ и выражающейся въ пріобрѣтенномъ характерѣ. Наконецъ,

этоть последній отчасти пріобретается пассивно, подъ внешним вліяніемъ природы или общества. но онъ можеть также быть пріобретень и активнымъ образомъ — черезъ воздействіе ума и воли на природныя свойства. По нашему мивнію, преимущественно это-то личное воздъйствие и составляетъ собственно характеръ, въ противоположность темпераменту и врожденнымъ свойствамъ. Эти послъднія выражаются у насъ преимущественно въ манеръ понимать свое счастье, характеръ же нашъ выражается, главнымъ образомъ, въ нашихъ поступкахъ» (9).

Все это можеть быть справедливо, но гдъ же туть существенное различіе отъ прежнихъ работъ? Развъ само понятіе эволюціи въ смысль Фуллье не есть эмпирическое понятіе? И развъ представленная авторомъ картина эволюціи человъческой личности не имъегъ по преимуществу описательного свойства? Что такое раса, полъ, темпераментъ? Конечно, обо всемъ этомъ можно было бы трактовать не эмпирически, а умозрительно, выводя эти опредъленія изъ вать не эмпирически, а умозрительно, выводя эти опредвления изъ какихъ-нибудь безусловныхъ началъ, но тогда получилось бы нѣчто въ родѣ шеллинго-гегелевской натурфилософіи, весьма чуждой и не соотвѣтствующей образу мыслей Фуллье. А у него мы не найдемъ въ сущности ничего другого, кромѣ тѣхъ эмпирическихъ опредѣленій, подраздѣленій и классификацій, за которыя онъ напрасно упрекаетъ прежнія работы по изученію характеровъ. Встрѣчается, правда. у нащего автора и нъкоторое логическое опредъление характера: «Характерь есть общее направленіе, принятое волей, которое заставляєть ее реагировать извъстнымъ образомъ на того или другого рода впечатлънія, причины и побужденія» (4). Это вербальное опредъленіе совершенно върно, но оно настолько безсодержательно, что съ очень небольшими видоизмъненіями можеть прилагаться ко всъмъ другимъ предметамъ. Такъ, напримъръ, что такое электричество, какъ не такое направленіе, принятое движеніемъ невъсомой среды, которое заставляеть ее реагировать извъстнымъ образомъ на тъ или другія внъшнія возбужденія? Что такое кислородъ, какъ не такой способъ соединенія данныхъ атомовъ, который заставляеть ихъ извъстнымъ образомъ реагировать на данныя возбужденія? По тому же пріему можно опредълять органическую жизнь, религію, юриспруденцію планету Сатурнъ, отдъльный корпусь жандармовъ и т. д. Если бы «наука о характерахъ» пользовалась однимъ только

«дедуктивнымъ методомъ», то безсодержательность общаго опредъ-

ленія характера была бы фатальна для этой «науки», сводя ее приблизительно къ нулю. Но такъ какъ она, по счастью, пользуется и «индуктивнымъ методомъ». то благодаря этому она получаетъ нъ-которое. хотя бы только эмпирическое и, нельзя сказать, чтобы строго научное. содержаніе. Прежде всего ей помогаетъ существованіе «того, что Бэконъ и Лейбницъ назвали иравственнымъ темпераментомъ, который, въ свою очередь неразрывно связанъ съ темпераментомъ фи-зическимъ» (13). Прежде. чъмъ изучатъ фактически явленія, обо-значаемыя этимъ словомъ «темпераментъ», Фуллье находить нужнымъ и ему дать общее опредъленіе, которое, впрочемъ, совершенно совпадаеть съ его опредъленіемъ характера. «Между дъйствіемъ, говоритъ онъ, — оказываемымъ на насъ вещами и людьми, и той реакціей, которою мы на него отвъчаемъ, есть всегда посредникъ, нашъ темпераментъ, результатомъ котораго является то, что такъ удачно названо нашимъ показателемъ умственнаго преломленія. Одинъ и тотъ же лучь свъта, проходя черезъ другую среду. измънитъ свое направленіе и получитъ другіе цвътовые оттънки» (тамъ же). Послъ этого универсальнаго опредъленія Фуллье прямо обращается къ біо-логіи, чтобы на основаніи ея данныхъ построить естественную клас-сификацію темпераментовъ. — Легко оцънить эту новую классификацію, сравнивая ее съ традиціоннымъ, идущимъ отъ древнихъ, раздъленіемъ на четыре основные темперамента, объяснявшіеся преобладаніемъ крови, желчи, флегмы и «черной желчи». — Фуллье признаетъ тъ же четыре темперамента: сангвиническій, холерическій, лимфатическій и нервный (соотвътствующій древнему меланхолическому) съ тъми же, приблизительно, психодогическими признаками. Слъдовательно. сравнивать приходится не двъ классификаціи, а только различныя основанія или двоякое объясненіе одной и той же классификаціи. Древнее объясненіе признается не только недостаточнымъ, но — за исключеніемъ сангвиническаго темперамента — прямо ошибочнымъ. Значене желчи и лимфы въ образовани темпера-ментовъ отвергается. а «черная желчь» считается мнимою величи-ной въ физіологіи. Этому ошибочному взгляду древнихъ Фуллье про-тивополагаетъ химико-механическую теорію жизни вообще, созданную современными біологами и признаваемую имъ за послъднее слово истины въ этой области. Вотъ еге изложеніе этой теоріи.

«Всякое анатомическое строеніе, съ одной стороны, и всѣ физіологическія функціи — съ другой должны быть истолкованы какъ созиотму что жизнь есть не что иное какъ непрерывное созиданіе и разрушеніе, или, выражаясь другими терминами, интеграція и дезинтеграція... Живая ткань, сама по себѣ не окисленная и не измѣненная, поглощаеть свободный кислородь, къ которому, какъ показали изслѣдованія Пфлюгера, она обладаеть очень сильнымъ сродствомъ, и накопляеть его для своего собственнаго потребленія (?). Это накопленіе кислорода служить признакомъ созиданія. Съ другой стороны, получающаяся въ результатѣ протоплазма разлагается на все болѣе и болѣе простыя соединенія и въ концѣ концовъ на продукты распада: угольная кислота и вода служатты признакомъ этого разложенія. Такова живая матерія въ ея постоянныхъ подъемахъ и пониженіяхъ. Восходящая серія измѣненій, будучи синтетической и созидательной, получила названіе созидательнаго (или анаболическаго) процесса, а нисходящая и аналитическая серія получила названіе разрушительнаго (или катаболическаго процесса» (15).

Проще говоря, все дъло въ приходъ и расходъ живой матеріи. Ея приходъ или «интеграція» имъетъ центростремительное направленіе; расходъ или «дезинтеграція» носитъ центробъжный характеръ; «одна представляетъ собою явленіе концентраціи, другая же явленіе распространенія; такимъ образомъ въ ритмъ жизни повторяется болье общая антитеза центростремительныхъ силъ и силъ центробъжныхъ, которая играетъ главную роль въ теоріи всеобщаго тяготънія, а также въ теоріи химическаго сродства... Но главное свое выраженіе теорія находить въ великой антитезъ между ростомь и размножениемъ, изъ которыхъ первый представляетъ собою главнымъ образомъ приходъ и концентрацію силь [не впадаетъ ли здъсь однако Фуллье въ тожесловіе, ибо что значить приходъ силъ, какъ не ихъ возрастаніе, то-есть выходить, что рость есть рость], а вто-рое преимущественно расходъ и распространеніе [тоже не далеко отъ тавтологіи]. Ростъ, въ свою очередь, хотя и носитъ прежде всего созидательный характерь, подраздъляется на процессы въ болъе тъсномъ смыслъ созидательные и центростремительные (усвоение пищи) и на процессы въ болъе тъсномъ смыслъ разрушительные или центробъжные (дисассимиляція). Наконецъ, размноженіе, хотя и составляеть преимущественно трату для индивидуума (который отдаетъ часть своей собственной жизни для того, чтобы она развивалась внъ его въ другомъ существъ), заключаеть въ себъ сумму процессовъ,

изъ которыхъ одни являются въ болъ́е тъ́сномъ смыслъ́ сбереженіемъ, а другіе въ болъ́е тъ́сномъ смыслъ́ тратою. Первые представляютъ собою начало женскаго элемента, вторые — элемента мужского»... (стр. 17).

Если эта «теорія» есть дійствительно образчикь «біологіи», то саму біологію слідуеть опреділить какь наукообразный разговорю о предметать общеизвыстных и само собою понятных. Изъ этого біологическаго разговора авторы съ грізмоть пополать выводить и свою естественную классификацію темпераментовь.

«Изъ предыдущаго слъдуетъ, — говоритъ онъ, — что для того, чтобы раздълить темпераменты, мы должны обратить вниманіе на взаимное отношеніе интеграціи и дезинтеграціи въ организмъ вообще и въ нервной системъ въ частности. Мы получимъ такимъ образомъ темпераменты, характеризующіеся сбереженіемъ, и темпераменты, характеризующіеся преобладаніемъ интеграціи, другів съ преобладаніемъ дезинтеграціи» . . . (стр. 18).

Въ дальнъйшемъ своемъ біолого-психологическомъ разсужденіи Фуллье не разъ прибъгаетъ къ историческимъ иллюстраціямъ, если и не поясняющимъ сущность дъла, то несомнънно оживляющимъ изложеніе. Я думаю что русскому переводчику слъдовало бы иногда съ тою же цълью приводить дополнительные примъры изъ русской исторіи. Такъ, въ настоящемъ случаъ какъ на образецъ темперамента, характеризующагося сбереженіемъ, или преобладаніемъ интеграціи, слъдовало бы указать на Стефана Баторія, про котораго поется:

Копилъ, копилъ король силушку, Подступалъ подо Псковъ-городъ,

а въ примъръ темперамента, карактеризующагося тратою, или преобладаниемъ дезинтеграціи, можно было бы привести Наполеона I, какъ онъ изображается въ извъстной пъснъ:

Вонапарту не до пляски Растерялъ свои подвязки.

Еще болье яркій примъръ темперамента, характеризующагося «тратой», или «центробъжной дезинтеграціей», представляють безспорно знаменитый «камаринскій мужикъ».

Отъ двухъ темпераментовъ Фуллье переходитъ къ четыремъ посредствомъ слъдующихъ словъ:

«Общее направленіе организма, имѣющее, какъ мы это видимъ, характеръ или интеграціи, или дезинтеграціи, послужило уже намъ для установленія двухъ первоначальныхъ типовъ, соотвътствующихъ чувствительнымъ и дѣятельнымъ людямъ; мы нашли такимъ образомъ два основныхъ «качества» темперамента. Интензивность и быстрота реакціи послужатъ намъ теперь для необходимыхъ подраздѣленій» (стр. 27).

Съ гръхомъ пополамъ получаются «четыре главныхъ комбинаціи: во-первыхъ, чувствительные люди съ реакціей быстрой, но мало интензивной; во-вторыхъ, чувствительные люди съ реакціей болъе медленной, но интензивной; въ-третьихъ, люди дъятельные съ реакціей быстрой и интензивной; наконецъ дъятельные люди съ реакціей медленной и умъренной» (стр. 30). Первые очевидно соотвътствуютъ сангвиникамъ, вторые меланхоликамъ, третьи — холерикамъ и четвертые — флегматикамъ. Но почему послъдніе все-таки относятся къ дъямельному темпераменту — остается непонятнымъ, несмотря на всъ разъясненія Фуллье.

На основъ темперамента развивается характеръ. Въ образованіи его, по мнѣнію Фуллье, существенная роль принадлежить собственной сознательной дѣятельности нашего я, тогда какъ въ темпераментъ преобладаетъ прирожденность, или наслъдственность. Фуллье доказываетъ этотъ взглядъ съ большею убѣжденностью, чѣмъ убѣдительностью. Что наши замыслы и рѣшенія воздъйствують на характеръ и видоизмѣняютъ его проявленія — это безспорно. Но, во-

¹ Неужели это только второятно?

первыхъ. самое свойство этихъ замысловъ и рѣшеній опредъляется нашимъ характеромъ, а, во-вторыхъ, наше я своими сознательными актами можетъ воздѣйствовать не только на характеръ, но и на темпераментъ и сущсственной разницы здѣсь нѣтъ. Съ другой стороны, нѣтъ существенной разницы между темпераментомъ и характеромъ и по отношенію къ наслѣдственности: вопросъ этотъ одинаково сложенъ и труденъ и тутъ, и здѣсь, и у Фуллье мы не находимъ ничего способствующаго его разъясненію. «Естественная классификація» характеровъ основывается у нашего автора на общепринятомъ различеніи трехъ областей душевной жизни: чувства, ума и воли, откуда получается три рода характеровъ: чувствительные, умственные и волевые.

То, что Фуллье говорить о мужскихъ и женскихъ характерахъ, о половой любви и о женскомъ вопросъ, вообще поверхностно, а потому иногда и невърно. Единственный твердый выводъ, который можно сдълать изъ этихъ разсужденій автора, и котораго онъ, конечно, не имъль въ виду, состоитъ въ томъ, что такъ называемая «женская логика» не есть отличительная принадлежность однъхъ женщинъ: образчики этой логики находятся и въ собственныхъ соображеніяхъ почтеннаго ученаго. Такъ, напримъръ, на стр. 214 читаемъ: «женщина вводить въ среду мужчинъ кротость, составляющую большую поправку къ силъ. Посредствомъ любви, которую она внушаетъ и раздъляеть. она дълаето изо человъка-животнаго любящее существо». Изъ нъсколькихъ логическихъ достопримъчательностей этой фразы укажу на одну — на противоположение «человъка-животнаго» «любящему существу», когда дело идетъ именно о любви между полами, свойственной и большинству животныхъ. Съ одинаковымъ правомъ можно было бы сказать, что тигрица двлаеть изъ тигра-животнаго любящее существо. Казалось бы, слишкомъ ясно. что возвышение человъка надъ животностью и въ области половой любви, общей ему съ другими существами, зависитъ не отъ факта этой любви и не отъ способности быть любящимъ, а отъ духовныхъ особенностей человъка, съ которыми онъ входить въ эту общую область, — начиная стыдливостью и кончая тою силою умозрёнія, которая позволяеть ему усвоить себь идею въчной женственности.

Вообще сочинение Фуллье, по дъйствительному своему содержапію не принадлежа ни къ какой изъ существующихъ наукъ, не даетъ достаточныхъ основаній и для созданія той новой науки, о которой мечтаетъ авторъ, что не мъшаетъ этому сочиненію быть пріятною и относительно-полезною книжкой для чтенія. Что касается русскаго перевода, следуеть отметить два маленькія несчастія, постигшія переводчика. На стр. 54 одно изъ древитишихъ произведеній христіанской письменности, аллегорическая назидательная повъсть «Пастырь», приписываемая мужу апостольскому Эрмъ или Эрмасу, цитируется такимъ образомъ: «Пасторъ Гермасъ, одинъ изъ старыхъ проповъдниковъ, увъряетъ» и т. п. А на стр. 65 извъстный философъ Мэнъде-Биранъ одни и тъ же слова произноситъ въ двухъ лицахъ. Сначала читаемъ: «Существуютъ, какъ называлъ ихъ Мэнъ-де-Биранъ», и приводятся его слова съ вносными знаками, а прямо за ними: «такъ говориль подпрефекть Бержеракъ» и т. д. Лица съ такимъ именемъ, кажется, не было въ исторіи; но быль и есть городъ Бержеракъ, гдъ Мэнъ-де-Биранъ служилъ нъкоторое время подпрефектомъ. Кромъ этихъ двухъ ошибокъ, изъ которыхъ вторая могла бы быть и опечаткою, переводъ вообще удовлетворителенъ.

T. Рибо. Эволюція общихъ идей (L'évolution des idées "générales). Переводъ съ французскаго Н. Н. Спиридонова.

Переводчикъ, придающій нѣсколько преувеличенное значеніе извъстному французскому психологу Рибо, даетъ ему однако не совсѣмъ точную характеристику, относя его къ той группѣ психологовъ-эмпириковъ, которая представляется Миллемъ, Спенсеромъ, Бэномъ, Тэномъ и другими. Между этими учеными и Рибо естъ существенное, хотя довольно тонкое, отличіе, не указанное шереводчикомъ. Оно состоитъ въ томъ, что названная группа, возводя эмпиризмъ въ безусловный принципъ, считаетъ всякую психологію, кромѣ чисто-эмпирической, за пережитое человѣческимъ умомъ заблужденіе въ родѣ алхиміи или астрологіи, тогда какъ Рибо, занимаясь психическою жизнью также лишь съ эмпирической ея стороны, не высказываетъ однако никакого отрицательнаго сужденія о другихъ сторонахъ предмета и съ видимымъ стараніемъ остерегается люпасть въ неудобное положеніе догматизирующаго эмпирика.

«Настоящее сочиненіе, — говорить онь въ предисловіи. — ха-

рактера чисто-психологическаго; мы изъ него строго устраняли все, что относится къ логикъ, къ теоріи познанія и началамъ философіи. Мы касались только генезиса, эмбріологіи и эволюціи» (стр. XII). Такимъ образомъ авторь подъ иистою психологіей разумъетъ такую, которая очищена отъ всего, что имъетъ прямой интересъ для логики, гносеологіи и философіи вообще. Терминъ будетъ неточый, ибо уже самое слово психологія второю половиною своею прямо указываетъ на логическій элементъ. Но точка зрънія Рибо ясна и законна. Какъ есть элементарная геометрія на плоскости, такъ возможно подобное же ограниченіе и для психологіи, хотя рискъ оказаться плоскою для такой психологіи гораздо значительнъе, чъмъ для геометріи, по самой природъ вецей.

Во всякомъ случав задача и объемъ изследованія указаны достаточно определенно уже въ самомъ заглавіи книги — эволюція общихь идей. Что такое эти идеи по существу, и въ какомъ отношеніи онв находятся къ предполагаемымъ реальностямъ, независимымъ отъ нашего сознанія, — такіе вопросы заране исключены изъ даннаго труда, хотя собственное значеніе ихъ вообще не отрицается. Но автора интересуетъ только эволюція идей, и опятъ таки не со стороны ея окончательыхъ причинъ, а только со стороны ея ближайшихъ условій и техъ стадій, которыя она проходитъ. И въ самомъ деле, умственная деятельность человека, единичнаго и собирательнаго, не дана сразу отъ века, а имеетъ свою исторію, проявляется въ известномъ фактическомъ порядке, указаніе котораго можетъ иметъ свой интересъ.

Этимъ фактическимъ порядкомъ собственно и ограничивается книга Рибо. «Главная цѣль этого сочиненія, — говорить онъ, — состоить въ томъ, чтобы изучить умъ въ его процессахъ отвлеченія и обобщенія и показать, что обѣ эти операціи претерпѣвають полную эволюцію, т. е., что онѣ существують уже въ перцепціи и постепенно, послѣдовательными шагами, поддающимися опредѣленію, достигають самыхъ возвышенныхъ формъ чистаго символизма, доступнаго только небольшому числу лицъ» (стр. XI). «Намъ предстоитъ установить, — говорится далѣе, — что прогрессивное развитіе этихъ операцій ума обнимаетъ собою три большіе періода: 1) періодъ низшихъ отвлеченныхъ идей, предшествующихъ появленію рѣчи и обходящихся безъ слова (но не безъ всякаго знака); 2) періодъ среднихъ отвлеченныхъ идей, сопровождаемыхъ словомъ, роль котораго, сначада

ничтожная, мало-по-малу пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе; 3) періодъ высшихъ отвлеченныхъ идей, когда въ сознаніи присутствуетъ только слово, являющееся полнымъ замѣстителемъ. Эти три періода въ свою очередь подраздѣляются на разныя переходныя формы, которыя мы также постараемся опредѣлить» (стр. XII).

Такъ какъ авторъ изучаетъ умственную дѣятельность не только со стороны ея постепенной эволюціи снизу, то онъ естественно долженъ останавливаться на образѣ мыслей животныхъ, безсловесныхъ младенцевъ и глухонѣмыхъ, не получившихъ образованія. Въ предѣлахъ его задачи мы находимъ у него не только занимательныя наблюденія, но и справедливыя мнѣнія, какъ, напримѣръ, то, что чумъ идетъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному», чѣмъ устраняется вопросъ: что познается нами сперва: общее или частное? Ясно въ самомъ дѣлѣ, что для самаго различенія между общимъ и частнымъ уже нужна такая опредѣленность мышленія, какая, конечно, не дается сразу. Это такъ же несомнѣнно, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія чисто-эмпирической психологіи, какъ и то, что животныя, безсловесные младенцы и глухонѣмые, оставленные безъ образованія, не имѣютъ отчетливаго понятія о категоріяхъ Канта и даже Аристотеля.

Не всв замъчанія автора одинаково справедливы. Такъ, напримъръ, онъ видитъ случай обобщенія, хотя и рудиментарнаго, въ томъ, что пчелы, по наблюденію Губера, когда длина вънчиковъ у цвътовъ мъшаетъ имъ добраться до меда обычнымъ путемъ, прокусывають у цветка отверстіе внизу. «Какъ только эти насекомыя узнали, что извъстное устройство одного цвътка требуетъ такого пріема, они прилагають его съ тъхъ поръ ко всему виду» (стр. 21). Едва ли однако есть основание и возможность приписывать пчеламъ какіянибудь, хотя бы элементарныя, познанія въ морфологіи и систематикъ растеній. Дъло, кажется, гораздо проще. Въ своемъ стремленіи къ вождельнному соку цвытка пчела преодольваеть встрыченное препятствіе съ такою же безотчетностью, съ какою бълка или обезьяна грыветъ скордупу оръха, чтобы добыть изъ нея ядро. При томъ, если пчела способна одвлать это съ первымъ встръченнымъ цвъткомъ даннаго вида, то она можетъ поступать такимъ же образомъ и съ тысячнымъ, не нуждаясь, очевидно, ни въ памяти прежнихъ опытовъ, ни въ соображени, что последующій цветокъ принадлежитъ къ тому же виду, какъ и прежній. Иначе пришлось бы утверждать, что груцной ребенокъ сосетъ одинаково въ двухсотый день, какъ и въ первый на основаніи какихъ-нибудь логическихъ обобщеній, а не на основаніи реальнаго тождества положенія.

Въ различныхъ главахъ своего сочиненія авторъ разсматриваетъ такіе интересные предметы, какъ языкъ пространство, время, причинность. Но по свойству его задачи то, что онъ говорить обо всемъ этомъ, представляетъ вообще мало значенія. Онъ занятъ главнымъ образомъ тѣмъ, что здѣсь въ процессъ эволюціи является прежде, и что послѣ? Какой однако смыслъ можетъ имѣть такой вопросъ, напримъръ, относительно времени, если, — какъ это очевидно, — самыю термины «прежде» и «послѣ» уже предполагаютъ время?

мые термины «прежде» и «послѣ» уже предподагають время?

Переводъ книги Рибо сдѣланъ старательно и въ общемъ удовдетворительно. Укажемъ однако на нѣкоторыя погрѣщности противъ слога (отмъчая ихъ курсивомъ). «Мы описали эти причины въ дру-гомъ мъсть, и здъсь не мъсто къ нимъ возвращаться» (стр. 4). — «Наконецъ, оно всегда является особымъ примъненіемъ вниманія, которое, приспособляясь, смотря по обстоятельствамъ, къ наблюденію, къ синтезу, къ дийствію и т. д., дийствуето здъсь какъ орудів анализа» (стр. 4—5). — «Приведенное выше сравненіе Гексли съ сложными фотографіями избавляеть нась отъ дальнъйшихъ разъясненій стр. 31). Напротивъ, читатель имъетъ право потребовать дальнъйшихъ разъясненій на счеть того, въ какомъ отношеніи ученый Гексли похожь на сложныя фотографіи. Между темь дело идеть о томь сравненіи родовыхъ образовъ (images génériques) съ сложными фотографіями, которое сдълалъ Гексли. — «Во время полемическаго спора противъ Макса Мюллера» и т. д. Мы ожидали прочесть, этотъ полемическій споръ окончился примиреніемъ. «Имъть представление о многихъ предметахъ, констатировать, что среди нихъ недостаетъ одного, воспріятіе котораго отсутствуєть, и быть способнымъ перечислить ихъ численно — это двъ вещи совершенно различныя» (стр. 51—52). — На стр. 108 (примъч.) говорится о «нарѣчіи племени *ирокуа*»; если такъ, то ради послѣдовательности слѣдовало бы писать «психологія *англесъ*» и метафизика альмандъ. — На стр. 158 Окенъ называется высшима представителемъ школы Шеллинга. Но высшимъ представителемъ школы Шеллинга, безъ сомивнія, быль самъ Шеллингь, а Окенъ быль ен *крайниж*ь представителемъ въ области натурфилософіи. — На той же страницъ типъ членистыхъ животныхъ обозначается, будто бы по Окену, какъ продольный — вмъсто поперечнаго. — Въ концъ той же страницы говорится о «трансформистской формъ». — На стр. 208 говорится, что единица есть результать разъединенія; мысль этой фразы слаба и въ подлинникъ: тъмъ менъе слъдовало отягчать ее нелъпостью выраженія. — «Понятіе о пространствъ... можетъ имъть, какъ и понятіе о числь, безчисленныя примъненія» (стр. 228). — «Обозначать подъ названіемъ» (стр. 249).

Эти и другія подобныя, легко поправимыя, погрѣшности не мѣшають этой книжкѣ быть вообще хорошимъ переводомъ хорошаго сочиненія. Какъ и другіе труды Рибо, «Эволюція общихъ идей» отличается опредѣленностью задачи, занимательностью многихъ фактическихъ указаній, разсудительностью и умѣренностью общихъ заключеній и легкостью изложенія.

Мицкевичъ.

Рѣчь на обѣдѣ въ память Мицкевича 27 декабря 1898 г.

Онъ вдохновенъ былъ свыше И съ высоты взиралъ на жизнь.

(Пушкинъ.)

Смотръть на жизнь съ высоты совстви не то же, что смотръть на нее свысока. Для последняго нужно только иметь заранее высокое мниніе о своей личной значительности при дийствительномъ отсутствій некоторыхъ нравственныхъ качествъ. Но, чтобы смотръть на жизнь съ высоты, нужно этой высоты достинуть, а для этого мало взобраться на ходули, или даже влёзть на свою приходскую колокольню. Вотъ почему при такомъ множествъ людей, смотрящихъ на все свысока, нашелся въ цёлое столетіе между великими только одинъ, про котораго можно было, не измѣняя истинъ, сказать, что онъ не взглянуль только въ минуту поэтическаго вдохновенія, а всегда взирало на жизнь съ высоты. Славный праздникъ братскаго народа имветь — то-есть можеть имвть, могь бы получить — особое значеніе для нась и независимо отъ русско-польскихъ отношеній, если бы воскрешенный образъ великаго челов'вка, еще къ намъ близкаго, еще не отошедшаго въ тъму въковъ, помогъ возстановить въ нашемъ сознаніи очевидно потерянную мірку человіческаго величія, напомнить намъ тъ внутреннія условія, которыя дълають не великаго только писателя, или поэта, мыслителя, или политика, а великаго человька, или сверхчеловька въ разумномъ смыслъ этого злоупотребляемаго слова. Ни самыя высокія притязанія на свою личную сверхчеловъчность, ни самыя великія способности къ какому-нибудь особому дъланію, ни самое успъшное ръшеніе какой-нибудь единичной исторической задачи не могутъ существенно и действительно поднять насъ надъ общимъ уровнемъ и датъ то, что даетъ только цёлость нравственнаго характера и жизненный подвигъ.

Онъ «съ высоты взиралъ на жизнь». Когда Пушкинъ отъ немногихъ бесъдъ съ нимъ получилъ такое о немъ впечатлъніе, Мицкевичъ стояль только на первой ступени этой высоты, сделаль первый духовный свой подъемъ. Какимъ образомъ живущій можетъ смотръть на жизпь съ высоты, если эта высота не будеть имъ добыта какъ правда самой жизни? И какимъ образомъ добыть эту высшую правду, если не оторваться отъ низшихъ, недостаточныхъ, неоправданныхъ явленій жизни? И если высота жизненнаго взгляда должна быть дъйствительно добытою, а не придуманною, то и разрывъ съ низшимъ должень быть на дълъ пережить и мучительно испытань. Ребенокъ, рождающійся на вольный світь Божій, одинь разъ порываеть органическую связь съ темнотою и тъснотою утробной жизни, но, чтобы стать окончательно на ту высоту, откуда видна вся, цълая правда жизни, чтобы освободиться отъ всякой утробной темноты и тъсноты. нужно пережить не одинь, а цълыхъ три жизненныхъ разрыва, три внутреннія катастрофы.

И прежде всего нужно разорвать съ основною и самою крѣпкою связью, которая тянетъ насъ къ личному счастью въ его главномъ средоточіи — половой любви, когда кажется, что вся правда и все благо жизни воплотилось для насъ въ женщинъ, въ этой единственной женщинъ, когда мъ съ искреннимъ убъжденіемъ готовы повторять слова поэта:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый Дремлющихъ кленовъ шатеръ, Только въ мірѣ и есть, что лучистый Дѣтски задумчивый взоръ.

Въ этой сосредоточенности любовнаго ощущенія есть великая правда, истинное предчувствіе того, что должно быть, безусловнаго значенія полной человъческой личности. Но великая неправда здъсь въ томъ, что предчувствіе принимается за исполненіе, и вмъсто открывшейся огромной задачи предполагается готовое и даровое благополучіе. Между тъмъ, чтобы экзальтація чувства не оказалась пустымъ обманомъ, нужно во всякомъ случат порвать съ темнотою и тъснотою всепоглощающей стихійной страсти и понять умомъ и сердцемъ, что правда и благо жизни не могутъ зависъть отъ сдучайностей личнаго счастья. Этотъ первый и глубочайшій жизненный разрывъ

есть, конечно, и самый мучительный, и много прекрасныхъ и благородныхъ душъ его не выносятъ. И Мицкевичъ чутъ не кончилъ, какъ гётевскій Вертеръ. Когда онъ одолѣлъ слѣпую страсть, глубоко испытанная душевная сила подняла его, еще юношу, чтобы смотрѣтъ на жизнь съ этой первой, смертельною борьбою достигнутой, высоты.

Такимъ узналъ его Пушкинъ, когда сказалъ о немъ свое проницательное и прорицательное слово 1, потому прорицательное, что скоро Мицкевичу пришлось пережить второй, а потомъ и третій нравственный разрывъ, и войти на новыя высоты жизненнаго взгляда.

Про любовь къ народу или къ отчизнъ должно сказать то же, что и про любовь къ женщинъ. Здѣсь и въ самой исключительности чувства есть предвареніе великой правды, что и народность, также какъ личность человъческая, имъетъ въчное и безусловное назначеніе, должна стать одною изъ непреходящихъ, самоцѣнныхъ и незамѣнимыхъ формъ для совершенной полноты жизненнаго содержанія. Но, чтобы предвареніе высшей правды не превратилось въ пустую, лживую и пагубную претензію, нужно, чтобы изъявительное наклоненіе простого патріотическаго чувства: «я люблю родину» переходило въ повелительное наклоненіе патріотическаго долга: «помогай родинъ въ сознаніи и исполненіи ея высшей задачи». Патріотизмъ, какъ и всякое чувство, растетъ, конечно, не изъ головы, а коренится глубже; онъ имъетъ свои утробные корни, которые остаются и еще крѣпнуть отъ внѣшняго разрыва:

Litwo! Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całéj ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie! ²

Безъ этихъ натуральныхъ корней нѣтъ настоящаго патріотизма. Всякій знаетъ, однако, что никогда въ природѣ не бываетъ и того, чтобы цвъты и плоды росли прямо изъ корней. Для расцвъта и плодотворности патріотизма нужно ему подняться надъ своими утробными

¹ Сказано оно было публично лишь впослёдствіи, но впечатл'вніе получено при первой встрёчь.

Отчизна милая! Подобна ты здоровью: Тотъ истинной къ тебъ исполнится любовью, Кто потерялъ тебя. Въ страданьяхъ и борьбъ, Отчизна милая, я плачу о тебъ!

корнями въ свътъ нравственнаго сознанія. И этотъ подъемъ не дается даромъ и не добывается одною отвлеченною мыслью. Требуется на опытъ пережить новый жизненный разрывъ.

ется на опыть пережить новый жизненный разрывь.

Когда духь Мицкевича впервые поднядся надъ рупнами мечтательнаго личнаго счастья, онъ беззавътно отдался другимъ, болъе широкимъ мечтамъ о счастьъ національномъ. Польскій Вертеръ, Густавъ, былъ спасенъ отъ самоубійства своимъ превращеніемъ въ Конрада Валленрода. Идея здѣсь, при всей сложности сюжета, есть въ сущности идея простого натуральнаго патріотизма, который хочеть только доставить своему народу во что бы то ни стало внѣшнее благополучіе въ видъ политической независимости и торжества надъ врагомъ. Тутъ есть пеправда формальная: во что бы то ни стало бы то ни стало, — и неправда по содержанію: внъшнее благополучіе. Эта обманчивая мечта была разрушена для Мицкевича катастрофою 1830 года. Порвалась вторая жизненная связь, и совершился второй духовный подъемъ.

рой духовный подъемъ.

Я вижу этотъ подъемъ въ тъхъ мысляхъ о значени и призвани Польши, которыя Мицкевичъ высказывалъ на чужбинъ въ Книгъ польскаго народа и паломничества и въ нъкоторыхъ чтеніяхъ въ Collège de France. Эти мысли, получившія потомъ большую опредъленность подъ вліяніемъ Товянскаго, явились однако у Мицкевича раньше знакомства съ этимъ мистикомъ. Перерожденіе своего патріотизма нашъ поэтъ пережилъ самъ. Я знаю, что не только русскіе, но и большинство поляковъ несогласны видътъ въ заграничной проповъди Мицкевича его духовный подъемъ и успъхъ національной идеи. Я не стану здъсь, конечно, доказывать свою точку зрѣнія. Для поясненія ея скажу только два слова. Важно не то, что кто-нибуль считаетъ свой народъ избраннымъ, — это свойственно почти всѣмъ, — а важно то, въ чемъ полагается избранничество. Не то важно, что мицкевичъ объявиль Польшу народомъ-Мессіей, а то, что онъ преклонился передъ нею, какъ передъ Мессіей не торжествующимъ, а страждущимъ, понялъ, что торжество не дается даромъ и не добывается одною внѣшнею силою, а требуетъ тяжелой внутренней борьбы, должно быть выстрадано. То заблужденіе, въ которое при этомъ впаль Мицкевичъ, было на дѣлѣ безвредно: онъ думалъ, что польскій народь своими страданіями искупаетъ грѣхи другихъ народовъ. Конечно, это не такъ. Развѣ польскій народъ не имѣетъ своихъ собственныхъ національныхъ и историческихъ грѣховъ? Насколько искуственныхъ національныхъ и историческихъ гръховъ? Насколько искупленіе другихъ своимъ страданіемъ вообще возможно, оно уже совершилось разъ навсегда. А теперь всякій народъ, какъ и всякій человъкъ, страдаетъ только за себя, и, конечно, не въ дикомъ и фантастическомъ смыслъ кары и отмщенія, а въ нравственномъ и реальномъ смыслъ неизбъжнаго пути отъ худшаго къ лучшему, -- къ большей силъ и полнотъ своего внутренняго достоинства. Разъ даны низшія, несовершенныя формы жизни и разъ дана естественная привязанность людей и народовъ къ этимъ формамъ, уже логически необходимо, чтобы переходъ отъ нихъ къ лучшему и высшему сознанію совершался черезь тяжелые разрывы, борьбу и страданія. Какъ бы ни были различны историческія судьбы народовъ, но ясно, что путь внутренняго возвышенія для всёхь одинь; и вь новыхь воззрёніяхь Мицкевича важно именно то, что онъ призналъ для своего народа этоть нравственный путь, ведущій къ высшей и всеобъемлющей цыли черезъ самоотречение, вивсто прежняго Валленродовскаго пути. Важенъ этотъ со временъ еврейскихъ пророковъ небывалый подъемъ національнаго сознанія въ область высшаго нравственнаго порядка. Передъ этимъ исчеваетъ и то, что Мицкевичъ имълъ невърныя или преувеличенныя представленія о фактахъ польской исторіи, и даже то, что онъ впослъдстви спотыкался на имъ же указанномъ пути.

Но ему предстояло еще третье и, можеть быть, самое тяжкое испытаніе.

Юноша всю правду и весь смысль жизни сосредоточиваеть въ образѣ избранной женщины, которая должна ему дать личное счастье. Изъ крушенія этой мечты юноша Мицкевичь вынесь вмѣстѣ съ расцвѣтомъ своей дивной поэзіи и то сознаніе, что правда личнаго счастья должна быть не началомъ, а концомъ жизненнаго пути, что полноту личнаго бытія нужно заслужить. Передъ кѣмъ? Прежде всего передъ другой избранницей, — передъ отчизной. Созрѣвши, Мицкевичъ ей посвящаетъ всѣ свои силы, и изъ ея несчастъя и изъ разлуки съ нею вмѣстѣ съ плѣнительнымъ образомъ родного края (въ «Панъ Тадеушъ») выноситъ высшую національную идею, — что внѣшнее благополучіе народа должно быть добыто его нравственнымъ подвигомъ. Откуда для него силы? Уже въ своемъ дѣтствѣ Мицкевичъ имѣлъ предваряющій отвѣть:

Panno Swięta, co Jasnéj bronisz Częstochowy I w Ostréj świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem' Jak mnie dziecko do zdrowia powrociłaś cudem Gdy od płaczącéj matki pod Twoją opiekę Ofiarowany martwą podnioslem powiekę, I zaraz moglem pieszo do Twych świątyń progu Iść za wrócone życie podziękować Bogu,—
Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono 3

Какъ Мицкевичъ свое личное счастье подчинилъ счастью отчизны, такъ судьбу отчизны онъ и по чувству, и по сознанію подчинилъ религіи, — третьей, сверхличной и сверхнародной избранниць. Но и тутъ Мицкевича ждала еще, на порогъ старости, великая внутренняя борьба. Въдь была правда въ его юной жаждъ счастья и любви личной, но ему пришлось сказать себь, что правда не можеть зависьть отъ того, предпочтетъ ли Мариля Верещакъ его, Адама, господину Путткаммеру, или не предпочтеть; онъ долженъ быль понять, что смыслъ дичной жизни не можетъ существовать самъ по себъ, какъ случайность, а должень быть связань сь самою всеобщею правдой, чтобы освободиться въ ней ото всякой случайности. Пусть затемъ эта правда воплощается въ избранницъ иного порядка — въ отчизнъ, но въдь не отчизна есть источникъ и мърило правды, а сама правда есть норма и для отчизны, — какою она должна быть, — и не могь истинный патріотизмъ при всей благочестивой памяти прошлаго не отмътить въ немъ того, что требовало историческаго чистилища. Мицкевичъ поняль, что носительницею высшей правды въ мірь не могла быть Польша XVIII въка съ ел политическою неправдою анархіи и съ ея соціальною неправдой жестокаго порабощенія низшихъ классовъ.

И черезъ народную жизнь долженъ непрерывно проходить острый мечъ, раздъляющій между добромъ и зломъ, правдой и неправдой, и здъсь должно безъ устали отбрасывать случайное, преходящее, недолжное. На чемъ же утолится наша жажда полнаго довърія, беззавътной преданности, окончательнаго успокоенія? Не на ней ли, на третьей избранницъ, родной и сверхнародной, исторической и сверх-

мать Ченстоховская, на Ясной что Горф!
Какъ умирающій лежаль я на одрф
Устами жаркими хвалу Тебф читая,
И Ты спасла меня, Заступница святая, —
Такъ благостынею божественныхъ щедротъ
Спасешь когда-нибудь отверженный народъ.

псторической, вселенской церкви? Но хорошо ли съ нашей стороны смотрѣть на нее только какъ на успокоеніе, — этой избранницѣ приносить одну лѣность ума и воли, усыпленіе совѣсти, и на такомъ плохомъ дарѣ основывать наше соединеніе съ нею? И развѣ она въ самомъ дѣлѣ приметъ отъ насъ этотъ даръ? На что онъ ей? Не примутъ ли ето подъ ея именемъ другіе, которые имѣютъ интересъ въ томъ, чтобы атрофировался нашъ разумъ, и оглохла наша совѣсть? Нѣтъ, никогда не будетъ и не должно бытъ успокоенія человѣческому духу въ этомъ мірѣ. Нѣтъ, не можетъ и не должно бытъ такого авторитета, который замѣнилъ бы нашъ разумъ и совѣсть и сдѣлалъ бы ненужнымъ свободное изслѣдованіе. Церковь, какъ и отчизна, какъ и библейская «жена юности», должна бытъ для насъ внутреннею силою неустаннаго движенія къ вѣчной цѣли, а не подушкою успокоенія. Я не укоряю устающихъ и отстающихъ, но, поминая великаго человѣка, приходится напомнить и то, что духовная усталость не есть признакъ великихъ людей.

Не забудемъ при томъ, что умственная усталость и отсталость имъють двъ формы, которыя стоють одна другой: услокоеніе на слъимъють две формы, которыя стоють одна другой. успокоенте на слъпой преданности какому-нибудь внъшнему авторитету, съ одной сторены, а съ другой — успокоенте на пустомъ и легкомъ отрицанти.
Одни, чтобы не утруждать своего ума и воли, довольствуются патентованною истиною карманнаго формата и домашняго приготовленія, а другіе, въ тъхъ же видахъ духовнаго комфорта, заранъе отрицаютъ, какъ нелъпый вымыселъ, всякую задачу, которая для нихъ не сразу понятна и легка. И тъ, и другіе — и люди лъниваго до-върія, и люди лъниваго невърія — имъютъ общаго смертельнаго врага въ томъ, что они называють мистицизмомъ. И Мицкевичъ съ объихъ сторонъ подвергся осужденію, какъ мистикъ, особенно по поводу движенія, возбужденнаго среди польской эмиграціи Андреемъ Товянскимъ. Насколько это движеніе мнѣ извѣстно, здѣсь рядомъ съ нѣкоторыми второстепенными заблужденіями (какъ, напр., культъ Наполеона) были нъкоторыя первостепенным истины, имъвшія право существованія въ христіанскомъ міръ, и прежде всего истина продолжающагося внутренняго роста христіанства. Если міръ стоитъ столько въковъ послъ Христа, значитъ дълается что-то, приготовляется въ пемъ желательное для нашего спасенія; и принимать участіе въ этомъ дъланіи — есть наша обязанность, если только христіанство дъйствительно есть богочеловъческая религія.

Религіозный кризись, пережитый Мицкевичемъ на порогъ старости, не быль для него разрывомъ съ самою церковью, какъ и прежде его патріотическій кризись не быль разрывомь сь самою отчизною, и какъ еще раньше его любовное крушеніе не уничтожило въ немъ личной жизни сердца. Мицкевичъ разошелся не съ церковью, а только съ маловъріемъ иныхъ церковныхъ людей, которые хотъли видъть въ христіанствъ лишь основанное на преданіи прошлаго правило житейскаго обихода, а не жизненное и движущее начало всей будущности человъчества. Внъшнему авторитету церкви Мицкевичь протпвопоставляль не себя, а обязательный и для церкви принципъ общаго духоваго права: est Deus in nobis — есть Богь въ насъ, — и не видно, чтобы Мицкевичъ когда-нибудь отступилъ отъ того религіознаго настроенія, которое выражено въ одномъ письмъ, где онь, отказываясь отъ титула учителя, говорить такъ: «Не верьте слъпо ни одному изъ людей и мое каждое слово судите, потому что сегодня я могу говорить правду, а завтра ложь, сегодня дъйствовать хорошо, а завтра — дурно». Всякому вившнему авторитету онь противополагаль только безусловную правду Божію, о которой свидътельствуетъ совъсть.

Истинно быль онь великимъ человъкомъ и могь смотръть на жизнь съ высоты, потому что жизнь возвышала его. Тяжкія испытанія не подавили, не ослабили и не опустошили его душу. Изъ крушенія личнаго счастья онъ не вышель разочарованнымъ мизантропомъ и пессимистомъ; крушеніе счастья національнаго не превратило его въ равнодушнаго космополита; и борьба за внутреннее религіозное убъжденіе противъ внъшняго авторитета не сдълала его врагомъ церкви. Онъ великъ тъмъ, что, подымаясь на новыя ступени правственной высоты, онъ несь на ту же высоту съ собою не гордое и пустое отрицаніе, а любовь къ тому, надъ чъмъ возвышался.

Идея сверхчеловъка.

1899.

Въ послъдней книжкъ московскаго философскаго журнала (январь—февраль 1899), въ разборъ одного недавняго перевода изъ Ницше, В. П. Преображенскій, знатокъ и любитель этого писателя, замъчаетъ, между прочимъ, что «къ нъкоторому несчастью для себя, Ницше дълается, кажется, моднымъ писателемъ въ Россіи; по крайней мъръ, на него есть замътный спросъ» («Обзоръ книгъ», стр. 48).

«Несчастье» такой моды есть однако лишь необходимое отраженіе во внѣшности того внутренняго факта, что извѣстная идея дѣйствительно стала жить въ общественномъ сознаніи: вѣдь прежде, чѣмъ сдѣлаться предметомъ рыночнаго спроса, она, разумѣется, дала отвѣть на какой-нибудь духовный запросъ людей мыслящихъ.

Лѣтъ пятъдесятъ-шестъдесятъ тому назадъ была мода на Гегеля — тоже не безъ нѣкотораго несчастъя для самого Гегеля. Однако, если бы оказалось, что русская образованность, кромѣ чарующихъ прѣтовъ нашей поэзіи, даетъ еще и зрѣлые плоды истиннаго разумѣнія и устроенія жизни, то первою, неясною завязью такихъ плодовъ, конечно, придется признать это русское гегельянство 30—40-хъ годовъ.

То же слъдуетъ сказать и объ умственныхъ увлеченіяхъ, смънившихъ гегельянство «къ нъкоторому несчастью» для Дарвина, Конта и многихъ другихъ. Я думаю, что на все это нужно смотръть какъ на смъщныя по внъшнему выраженію, но въ существъ неизбъжныя переходныя ступени, — какъ на «увлеченія юности», безъ которыхъ не можетъ наступить настоящая зрълость.

Я нисколько не жалью, что одно время величайшимъ предметомъ моей любви были палеозавры и мастодонты. Хотя «человъколюбіе къ мелкимъ скотамъ», по выраженію одного героя Достоевскаго, за-

ставляетъ меня досель испытывать нъкоторыя угрызенія совъсти за тъхъ піявокъ, которыхъ я искрошилъ бритвою, добывая «поперечный разръзъ», — и тъмъ болье, что это было злодъйствомъ безполезнымъ, такъ какъ мон гистологическія упражненія оказались болье пагубными для казеннаго микроскода, нежели назидательными для меня, — но, раскаиваясь въ напрасномъ умерщвленіи этихъ младшихъ родичей, я только съ благодарностью вспоминаю пережитое увлеченіе. Знаю, что оно было полезно для меня, думаю, что пройти черезъ культъ естествознанія посль гегельянскихъ отвлеченностей было необходимо и полезно для всего русскаго общества въ его мололыхъ покольніяхъ.

Переходя отъ воспоминаній къ тому, что передъ глазами, мы замътимъ одно различе между прежними и теперешними идейными увлеченіями въ русскомъ обществъ. Прежде такія увлеченія хотя и смънялись довольно быстро, но въ каждое данное время одно изъ нихъ господствовало нераздъльно (хотя, конечно, съ различіемъ всякихъ оттънковъ). Внутренній рость нашего общества представлялся какимъ-то торжественнымъ шествіемъ прямо впередъ, и кто не желаль прослыть «отсталымъ» и подвергнуться общему презрънію, долженъ быль одновременно со всъми «передовыми людьми» достигать одной и той же умственной станціи. Такая прямолинейность и, если можно сказать одностанціонность нашего образовательнаго движенія давно уже исчезла, во-первыхъ, потому, что людей, причастныхъ нѣкоторому образованию, стало гораздо больше, и объединить ихъ не такъ просто и легко, а, во-вторыхъ, потому, что эти люди оказываются если не болье зрълыми, то во всякомъ случав менье наивными и, слъдовательно, менъе способными къ стадному «единомыслію». Поэтому всюду видны и лица, и частныя группы, обособленныя, идущія своей дорогой, не примыкая къ болъе общирному и общему движенію. Да и людьми, особенно чуткими къ общимъ требованіямъ исторической минуты, не владъетъ одна, а по крайней мъръ, три очередныя или, если угодно, модныя идеи — экономическій матеріализмъ, отвлеченный морализмъ и демонизмъ «сверхчеловъка». Изъ этихъ трехъ идей, связанныхъ съ тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая захватываеть отчасти и завтрашній день, а третья связана съ тъмъ, что выступитъ послъзавтра и далье. Я считаю ее самою интересною изъ трехъ.

Всякая идея сама по себъ есть въдь только умственное окошко. Въ окошко экономическаго матеріализма мы видимъ одинъ задній или, какъ французы говорять, нижній дворъ (la basse cour) исторіи и современности; окно отвлеченнаго морализма выходитъ на чистый, но ужъ слишкомъ, до совершенной пустоты чистый дворъ безстрастія, опрощенія, непротивленія, недѣланія и прочихъ безъ и не; ну, а изъ окна — ницшеанскаго «сверхчеловѣческаго» прямо открывается необъятный просторъ для всякихъ жизненныхъ дорогъ, и если, пускаясь безъ оглядки въ этотъ просторъ, иной попадетъ въ яму, или завязнеть въ болотъ, или провалится въ живописную, величавую, но безнадежную пропасть, то въдь такія направленія ни для кого не представляютъ безусловной необходимости, и всякій воленъ выбрать вонъ ту върную и прекрасную горную дорожку, на концъ которой уже издалека сіяютъ средь тумана озаренныя въчнымъ солицемъ надземныя вернины.

Теперь я хочу не разбирать ницшеанство съ философской или исторической точки зрвнія, а лишь примвнить къ нему первое условіе истинной критики: показать главный принципъ разбираемаго умственнаго явленія, — насколько это возможно, — съ хорошей стороны.

I.

Я думаю, итть спора, что всякое заблужденіе, — по крайней мізрів, всякое заблужденіе, о которомъ стоить говорить, — содержить въ себів несомитнную истину, и есть лишь боліве или меніве глубокое искаженіе этой истины; ею оно держится, ею привлекательно, ею опасно, и чрезъ нее же только можеть оно быть какъ слідуеть понято, оцівнено и окончательно опровергнуто.

Поэтому первое дёло разумной критики относительно какого-нибудь заблужденія — опредёлить ту истину, которою оно держится и которую оно извращаетъ.

Дурная сторона ницшеанства бросается въ глаза. Презрѣніе къ слабому и больному человѣчеству, языческій взглядь на силу и красоту, присвоеніе себѣ заранье какого-то исключительнаго сверхчеловѣческаго значенія — во-первыхъ, себѣ единолично, а затѣмъ себѣ коллективно, какъ избранному меньшинству «лучшихъ», т. е. болѣе сильныхъ, болѣе одаренныхъ, властительныхъ, или господскихъ натуръ, которымъ все позволено, такъ какъ ихъ воля есть верховный

законъ для прочихъ, — вотъ очевидное заблуждение ницшеанства. Въ чемъ же та истина, которою оно сильно и привлекательно для живой души?

Различіе между истиною и заблужденіемъ не имѣетъ здѣсь для себя даже двухъ отдѣльныхъ словъ. Одно и то же слово совмѣщаетъ въ себѣ и ложь и правду этой удивительной доктрины. Все дѣло въ томъ, какъ мы понимаемъ, какъ мы произносимъ слово «сверхчеловѣкъ». Звучитъ въ немъ голосъ ограниченнаго и пустого притязанія, или голосъ глубокаго самосознанія, открытаго для лучшихъ возможностей и предваряющаго безконечную будущность?

Изо всъхъ земныхъ существъ одинъ человъкъ можетъ относиться къ себъ самому критически — не въ смыслъ простого недовольства тъмъ или другимъ своимъ положеніемъ или дъйствіемъ (это возможно и для прочихъ животныхъ), а также и не въ смыслъ смутнаго, неопредъленнаго чувства тоски, свойственной всей «стенающей твари», а въ смыслъ сознательной отрицательной оцънки самаго способа своего бытія и основныхъ путей своей жизни, — какъ не соотвътствующихъ тому, что должно бы бытъ. Мы себя судимъ, а при судъ разумномъ, добросовъстномъ и осуждаемъ. Какой-то голосъ высшей природы въ глубинъ души человъческой заставляетъ насъ хотътъ безконечнаго совершенства; размышленіе указываетъ намъ на всегдашній и всеобщій фактъ нашего несовершенства, а совъсть говоритъ, что этотъ фактъ не есть для насъ молько внъшняя необходимость, а зависить макже и отъ насъ самихъ.

Человъку естественно хотъть быть лучше и больше, чъмъ онь есть въ дъйствительности, ему естественно тяготъть къ идеалу сверхчеловъка. Если онъ взаправду хочеть, то и можеть, а если можеть, то и долженъ. Но не есть ли это безсмыслица — быть лучше, выше, больше своей дъйствительности? Да, это есть безсмыслица для животнаго, такъ какъ для него дъйствительность есть то, что его дължеть и имъ владъетъ; но человъкъ, хотя тоже есть произведеніе уже данной, прежде него существовавшей дъйствительности, вмъсть съ тымъ можетъ воздъйствовать на нее изнутри, и слъдовательно, эта его дъйствительность есть такъ или иначе, въ той или другой мъръ, то, что онъ самъ дълаетъ, — дъдаетъ болъе замътно и очевидно въ качествъ существа собирательного, менъе замътно, но столь же несомнънно и въ качествъ существа личнаго.

II.

Можно спорить о метафизическомъ вопросъ безусловной свободы выбора, но самодъятельность человъка, его способность дъйствовать по внутреннимъ побужденіямъ, по мотивамъ болье или менъе высокаго достоинства, наконецъ, по самому идеалу совершеннаго добра — это есть не метафизическій вопросъ, а фактъ душевнаго опыта. Да и вси исторія только о томъ и говоритъ, какъ собирательный человъкъ дълается лучше и больше самого себя, перерасмаемъ свою наличную дъйствительность, отодвигая ее въ прошедшее, а въ настоящее вдвигая то, что еще недавно было чъмъ-то противоположнымъ дъйствительности — мечтою, субъективнымъ идеаломъ, утопіей.

Внутренній рость человіка и человічества въ своемь дійствительномъ началъ тъсно примыкаетъ къ тому процессу усложненія и усовершенствованія природнаго бытія, къ тому космическому росту. который особенно ярко выражается въ развитіи органическихъ формъ растительной и животной жизни. Раньше появленія человька широко и разнообразно развиваются формы жизни чувственной; человъкомъ доисторически начинается и на глазахъ исторіи продолжается развитіе жизни разумной. Съ точки зрвнія самой объективной и реалистической, — помимо всякихъ спорныхъ различій, — есть одно безспорное, коренное и общее различие между міромъ природы и міромъ исторіи, именно то, что рость физической организаціи происходить черезъ постепенное вырабатывание новыхъ тълесныхъ формъ, которыя по мъръ продолжающагося хода развитія такъ удаляются отъ старыхъ, такъ становятся на нихъ непохожи, что сразу и не узнать бы ихъ генетической связи. Кто бы, напримъръ, безъ помощи науки заметиль естественное родство коня сь улиткой, оленя сь устрицей, жаворонка съ губкой, орла съ коралловымъ полипомъ, пальмы съ грибомъ?

На такомъ всестороннемъ видоизмѣненіи и осложненіи тѣлесныхъ формъ держится и развитіе душевной жизни организмовъ (по крайней мѣрѣ въ животномъ царствѣ). Если бы образованіе новыхъ тѣлесныхъ формъ остановилось, положимъ, на формѣ устрицы, то никакого дальнѣйшаго развитія и въ психическомъ отношеніи больше не было бы, такъ какъ совершенно очевидно, что въ этой формѣ бытія — устрицы — не могло бы вмѣститься не только духовное творчество человѣка, но и дущевная жизнь собаки, обезьяны или хотя бы

пчелы. Значить нужень быль длинный рядь новыхь телесныхь организацій какть условій возможности для роста жизни внутренней, психической. Но воть съ появленіемь тела челов'яческаго вступаеть въ міръ такая животная форма, которая, благодаря особенно развитому въ ней нервно-мозговому аппарату, не требуеть бол'ве новыхь существенныхъ перем'янь въ телесной организаціи, потому что эта самая форма, сохраняя вс'в свои типичныя черты, оставаясь существенно тою же, можето вм'ястить въ себ'в безпредъльный рядъ степеней внутренняго — душевнаго и духовнаго — возрастанія: отъ дикаря-полузв'яря, который почти лишь потенціально выд'яляется изъміра прочихъ животныхъ, и до величайшихъ геніевъ мысли и творчества.

Этотъ внутренній ростъ, совершающійся въ исторіи, отражается, конечно, и на внѣшнемъ видѣ человѣка, но въ чертахъ для біологіи несущественныхъ, нетипичныхъ. Одухотвореніе человѣческой наружности не измѣняетъ анатомическаго типа, и какъ бы высоко ни поднималось созерцаніе генія, все-таки и самый грубый дикарь имѣетъ одинаковое съ нимъ строеніе головы, позволяющее ему свободно смотрѣть въ безпредѣльное небо.

III.

Не создается исторіей и не требуется никакой новой сверхчеловіческой формы организма, потому что форма человіческая можеть безпредільно совершенствоваться и внутренно и наружно, оставаясь при этому тою же: она способна по своему первообразу, или типу, вмістить и связать въ себі все, стать орудіемъ и носителемъ всего, къ чему только можно стремиться, — способна быть формою совершеннаго всеединства, или божества.

Такая морфологическая устойчивость и законченность человъка, какъ органическаго типа, нисколько не противоръчить признаваемой нами истинъ въ стремленіи человъка стать больше и лучше своей дъйствительности, или стать сверхчеловъкомъ; потому что истинность этого стремленія относится не къ тъмъ или другимъ формамъ человъческаго существа, а лишь къ способу его функціонированія въ этихъ формахъ, что ни въ какой необходимой связи съ самими формами не находится. Мы можемъ, напримъръ, быть недовольны дъйствительнымъ состояніемъ человъческаго зрънія, но не тъмъ конечно.

что у насъ только два глаза, а лишь тѣмъ, что мы ими плохо видимъ. Вѣдь для того, чтобы видѣть лучше, человѣку нѣтъ никакой надобности въ измѣненіи морфологическаго типа своего зрительнаго органа. Ему вовсе не нужно вмѣсто двухъ глазъ имѣть множество, потому что при тѣхъ же двухъ глазахъ слабостъ зрѣнія (въ смыслѣ буквальномъ) устраняется посредствомъ придуманныхъ самимъ же человѣкомъ зрительныхъ трубъ, телескоповъ и микроскоповъ; а въ болѣе высокомъ смыслѣ, при тѣхъ же двухъ глазахъ у человѣка могутъ раскрыться «вѣщія зеницы, какъ у испуганной орлицы», при тѣхъ же двухъ глазахъ онъ можетъ стать пророкомъ и сверхчеловѣкомъ, тогда какъ при другой органической формѣ существо, хотя бы снабженное и сотнею глазъ, остается только мухой.

IV.

Какъ нашъ зрительный органъ, точно также и весь прочій срганизмъ человъческій ни въ какой нормальной чертъ своего морфологическаго строенія не мъшаетъ намъ подниматься надъ нашей дурной дъйствительностью и становиться относительно ея сверхчеловъками. Препятствія тутъ могутъ идти лишь съ функціональной стороны нашего существованія, и при томъ не только въ единичныхъ и частныхъ уклоненіяхъ патологическихъ, но и въ такихъ явленіяхъ, которыхъ обычность заставляетъ многихъ считать ихъ нормальными.

Таково прежде и болье всего явленіе смерти. Если чьмъ естественно намь тяготиться, если чьмъ основательно быть недовольнымь въ данной дъйствительности, то, конечно, этимъ заключительнымъ явленіемъ всего нашего видимаго существованія, этимъ его нагляднымъ итогомъ, сводящимся на нѣтъ. Человѣкъ, думающій только о себь, не можетъ помириться съ мыслью о своей смерти; человѣкъ, думающій о другихъ, не можетъ примириться съ мыслью о смерти другихъ: значитъ, и эгоистъ, и альтруистъ — а вѣдъ логически необходимо всѣмъ людямъ принадлежать, въ разной степени чистоты или смѣшенія, къ той или другой изъ этихъ нравственныхъ категорій — и эгоистъ, и альтруистъ одинаково должны чувствоватъ смерть какъ нестерпимое противорѣчіе, одинаково не могутъ принимать этотъ видимый итогъ человѣческаго существованія за окончательный. И вотъ на чемъ должны бы по логикъ сосредо-

точить свое вниманіе люди, желающіе подняться выше наличной дѣйствительности, — желающіе стать сверхчеловѣками. Чѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, особенно отличается то человѣчество, надъ которымъ они думаютъ возвыситься, какъ не тѣмъ именно, что оно смертно? «Человѣкъ» и «смертный» — синонимы. Уже у Гомера люди

«Человѣкъ» и «смертный» — синонимы. Уже у Гомера люди постоянно противополагаются безсмертнымъ богамъ именно какъ существа, подверженныя смерти: Эєої тє βотої тє. Хотя и всё прочія животныя умирають, но никому не придеть въ голову характеризовать ихъ какъ смертныхъ, — для человѣка же не только этотъ признакъ принимается какъ характерный, но и чувствуется еще въ выраженіи «смертный» какой-то тоскливый упрекъ себѣ, чувствуется, что человѣкъ, сознавая неизбѣжностъ смерти какъ существенную особенность своего дѣйствительнаго состоянія, рѣшительно но хочетъ съ нею мириться, нисколько не успокаивается на этомъ сознаніи ея неизбѣжности въ данныхъ условіяхъ. И въ этомъ, конечно, снъ правъ; потому что, если смерть совершенно необходима въ этихъ наличныхъ условіяхъ, то кто же сказалъ, что сами эти условія неизмѣнны и неприкосновенны?

Животное не борется (сознательно) со смертью, и следовательно, не можеть быть ею побъждаемо, и потому его смертность ему не въ укорь и не въ характеристику; человъкъ же есть прежде всего и въ особенности «смертный», въ смыслъ побъждаемаго, преодольваемаго смертью. А если такъ, то, значитъ, «сверхчеловъкъ» долженъ быть прежде всего и въ особенности побъдителемъ смерти, освобожденнымъ освободителемъ человъчества отъ тъхъ существенныхъ условій, которыя делають смерть необходимою, и следовательно, исполнителемо тъхъ условій, шри которыхъ возможно или вовсе не умирать, или, умеревъ, воскреснутъ для въчной жизни. Задача смълая. Но смълый — не одинъ, съ нимъ Богъ, который имъ владъетъ. Допустимъ, что и съ этой помощью при теперешнемъ состояніи человъчества побъда надъ смертью не можеть быть достигнута вообще въ предъдахъ единичнаго существованія. Хотя въ этомъ позволено сомнъваться, ибо нътъ возможности доказать это заранъе, до опыта, но допустимъ, какъ будто бы доказанное, что каждый изъ насъ, людей исходящаго н наступающаго въка и многихъ послъдующихъ въковъ, непремънно умретъ, не приготовивъ себъ и другимъ немедленнаго воскресенія. Положимъ, цъль далека и теперь, какъ она оказалась далекой для тъхъ неразумныхъ христіанъ перваго въка, которые думали, что въчная жизнь въ воскресшихъ и нетлиниыхъ тилахъ сейчасъ же упадетъ къ нимъ съ неба, — положимъ, она далека и теперь. Но въдь путь-то, къ ней ведущій, приближеніе къ ней по этому пути, хотя бы и медленное, исполненіе, хотя бы и несовершенное, но все совершенствующееся, тъхъ условій, полнота которыхъ требуется для торжества надъ смертью, — это-то, въдь, несомивнио, возможно и существуеть дъйствительно.

Ть условія, при которыхъ смерть забираетъ падъ нами силу и побъждаетъ пасъ. — опи-то намъ достаточно хорошо извъстны и по личному, и по общему опыту, такъ, значитъ, — должны быть намъ извъстны и противоположныя условія, при которыхъ мы забираемъ силу надъ смертью и въ концъ концовъ можемъ побъдить ее.

V.

Если бы даже и не вставалъ въ нашемъ воспоминаніи образъ подлинаго «сверхчеловъка». дъйствительнаго побъдителя смерти и «первенца изъ мертвыхъ» (а не слишкомъ ли это было бы большая забывчивость съ нашей стороны?), или если бы даже этотъ образъ былъ такъ затемненъ и запутанъ разными наслоеніями, что уже не могъ бы ничего сказать нашему сознанію о своемъ значеніи для нашей жизненной задачи (почему же бы, однако, намъ не распутатъ и не проясиить его?), — если бы и не было передъ нами дъйствительнаго «сверхчеловъка», то во всякомъ случав есть сверхчеловъческій путь, которымъ шли, идутъ и будутъ идти многіе на благо всъхъ, и конечно важивійній нашъ жизненный интересъ — въ томъ, чтобы побольше людей на этотъ путь вступали, прямѣе и дальше по немъ проходили, потому что на концѣ его — полная и рѣшительная побъда надъ смертью.

И вотъ настоящій критерій для сцілки всіхъ діль и явленій въ этомъ мірії: насколько каждое изъ нихъ соотвітствуетъ условіямь, необходимымъ для перерожденія смертнаго и страдающаго человіка въ безсмертнаго и блаженнаго сверхчеловіка. И если старая традиціонная форма сверхчеловіческой идли, окаменівшая въ школьныхъ умахъ, заслонила для множества людей живую сущность самой этой илен и привела къ ея забвенію, — къ забвенію человікомъ его нетіцинаго, высекаго назначенія, къ примиранію его съ участью прочихъ тварей — то не слідуеть ли радоваться уже и простому факту,

что это забвеніе и это малодушное примиреніе съ дъйствительностью приходить къ концу, что раздаются, — хотя бы и голословныя по-ка, — заявленія: «я — сверхчеловъкь», «мы — сверхчеловъки». Такія заявленія, сначала возбуждающія досаду, въ сущности должны радовать ужъ потому, что они открываютъ возможность интереснаго разговора, чего никакъ нельзя сказать о нъкоторыхъ иныхъ точкахъ зрънія.

Въ ту пору, когда я рѣзалъ піявокъ бритвою и зоолога Геккеля предпочиталъ философу Гегелю, мой отецъ разсказалъ мнѣ однажды довольно извъстный анекдотъ о томъ, какъ «отсталый» московскій купецъ сразилъ «передового» естественника, обращавшаго его въ дарвинизмъ. Это ученіе, по тогдашней модѣ и къ «нѣкоторому несчастью» для самого Дарвина, понималось какъ существенное приравненіе человѣка къ прочимъ животнымъ. Наговоривъ очень много на эту тему, передовой просвѣтитель спрашиваетъ слушателя: «Понялъ?» — «Понялъ». — «Что жъ скажешь?» — «Да что сказать? Ежели, значитъ, я — песъ, и ты, значитъ, — песъ, такъ у пса со шсомъ какой же будетъ разговоръ?»

Нынъ, благодаря Ницше, передовые люди заявляютъ себя, напротивъ, такъ, что съ ними логически возможенъ и требуется серьевный разговоръ — и при томъ о дълахъ сверхчеловъческихъ. Приступъ къ такому разговору я и хотълъ сдълать на этихъ страницахъ.

Особое чествованіе Пушкина. 1899.

Противъ исполнительнаго листа. 1899.

•

Значеніе поэзіи въ стихотвореніяхъ Пушкина.

1899.

Лермонтовъ. 1899.

Особое чествованіе Пушкина.

Письмо въ редакцію "Въстника Европы".

Это особое и достопримъчательное чествованіе устроено нѣсколькими господами «оргіастами» (таковъ ихъ главный новѣйшій титулъ) на страницахъ извѣстнаго и весьма занимательнаго журнала «Міръ Искусства». Вы совершенно напрасно не читаете этого журнала, я хочу обратить на него ваше вниманіе своимъ разсказомъ. Но съ этимъ особымъ литературнымъ поминаніемъ Пушкина связано сдно маленькое личное происшествіе; разскажу вамъ и его, такъ какъ и оно при всей своей микроскопичности кажется миѣ тоже любопытнымъ.

Стольтній юбилей Пушкина засталь меня въ Швейцаріи, въ мъстечкъ, называемомъ Уши и составляющимъ приозерное предмъстье города Лозанны. Я прівхаль туда за ньсколько дней передь тьмь изъ приморскаго города Каннъ, гдъ прожилъ около двухъ мъсяцевъ въ гостяхъ у одного дружескаго русскаго семейства. также помъстился въ ближайшемъ сосъдствъ съ этими друзьями. Наканунъ юбилейнаго дня у насъ былъ разговоръ о томъ, какъ жалко. что никто не захватилъ за границу сочиненій Пушкина, и что въ Лозанить невозможно достать ничего, кромъ запрещеннаго изданія съ паполовину подложными и болбе чёмъ наполовину непристойными стихотверсніями. Такимъ образомъ мы были лишены единственнаго и наилучшаго способа помянуть Пушкина чтеніемъ его твореній. Въ полдень 26 или 27 мая входить въ мою комнату почтальонъ съ толстой бандерольной посылкой и заказнымъ письмомъ. И то и другое — отъ редакціи «Міра Искусства». Читаю письмо и сначала пичего не понимаю. Редакція, препровождая мит полное собраніе сочиненій Пушкина, торопить прислать къ началу мая статью или заитку о Пушкинт для юбилейнаго выпуска журнала. Послъ нъсколькихъ минутъ недоумънія смотрю на помѣтку числа отправленія (съ чего, конечно, слѣдовало бы начать) и вижу что-то въ родѣ 6 или 9 апрѣля. На конвертѣ и на бандероли тоже какія-то апрѣльскія числа и на петербургскомъ, и на каннскомъ штемпелѣ. Вспоминаю, что дѣйствительно, передъ отъѣздомъ далъ условное обѣщаніе постараться что-нибудь написать, но за невозможностью достать въ Каннѣ Пушкина считалъ себя отъ этого обѣщанія свободнымъ. Но почему каннская почта, которую я своевременно извѣстилъ о своемъ тамошнемъ и вовсе не извѣщалъ о лозаннскомъ адресѣ, — почему она держала эту посылку болѣе мѣсяца и почему вдругъ ее отправила и какъ разъ въ пушкинскіе дни — это оставалось непонятнымъ. Матеріальныя причины этой странности и до сихъ поръ мнѣ неизвѣстны, хотя, разумѣется, онѣ были. «Конечная» же «причинность» или «цѣ-песообразность» этого маленькаго происшествія оказалась несомнѣнная и при томъ двойная. Это, впрочемъ, выяснилось для меня лишь впослѣдствіи, по возвращеніи въ Россію. А пока можно было только радоваться, что и намъ съ друзьями пришлось подобающимъ образомъ помянуть dona Dei per роёtат. Нѣсколько вечеровъ кряду — кажется, всю юбилейную недѣлю — читалъ я Пушкина вслухъ и прочель такимъ образомъ всѣ лучшія его творенія.

Вернувшись въ Россію, я познакомился съ № 13—14 названнаго художественнаго журнала. Текстъ этого № посвященъ весь Пушкину и его юбилею и составленъ четырьмя писателями: г. Розановымъ («Замѣтка о Пушкинѣ»), г. Мережковскимъ («Праздникъ Пушкина»), г. Минскимъ «(Завѣты Пушкина») и г. Сологубомъ¹ («Къ всероссійскому торжеству»). Въ замѣткѣ г. Розанова, увѣнчанной изображеніемъ дракона съ вытянутымъ жаломъ, Пушкинъ объявленъ поэтомъ безсодержательнымъ, ненужнымъ для насъ и ничего болѣе намъ не говорящимъ, и это поясняется черезъ противопоставленіе ему Гоголя, Лермонтова, Достоевскаго и Л. Толстого. Почему-то, говоря объ этихъ четырехъ писателяхъ и называя ихъ всѣхъ четырехъ, то вмѣстѣ, то порознъ, г. Розановъ упорно считаетъ ихъ тремя: «эти три», «тѣ три». Оказія сія по мнѣ ужъ не нова. Вѣдь историческій романъ Александра Дюма-отца, описывающій похожденія четырехъ мушкетеровъ, почему-то называется «Три мушкетера». Нъ кого же изъ четырехъ писателей г. Розановъ ставитъ не въ счетъ?

¹ Псевдонимъ.

Въ самомъ концѣ своей замѣтки онъ дѣйствительно называетъ вмѣстѣ только трехъ: Достоевскаго, Толстого, Гоголя. Выкинутъ, значитъ, Лермонтовъ. Но немного выше (стр. 7), сдѣлавъ выписку именно изъ Лермонтова, г. Розановъ замѣчаетъ: «Да, они всѣ, т. е. эти три были пьяны» ². Значитъ, въ числѣ трехъ считается и четвертый — Лермонтовъ, и твердымъ остается убѣжденіе г. Розанова, что четыре есть три.

Но это, конечно, не важно. Любопытно, въ чемъ найдена противоположность между Пушкинымъ и этими четырьмя (они же и три) писателями. Чтобы не обидъть какъ-нибудь нечаянно г. Розанова. я приведу цъликомъ главное мъсто его замътки:

«Душа не нудила Пушкина състь, пусть въ самую лучшую погоду и звъздно-уединенную ночь, за столъ, передъ листомъ бумаги; тъхъ трехъ — она нудила, и собственно абсолютной внъшней свободы, «въ Римъ», «на бъломъ свътъ», они искали какъ условія, гдъ ихъ никто не позоветъ въ гости, къ нимъ не придетъ въ гости никто. Отсюда восклицаніе Достоевскаго, черезъ героя-автора «Записокъ о Мертвомъ Домъ» — объ этомъ испытанномъ имъ Мертвомъ Домъ: «Едва я вошелъ въ камеру (острогъ), какъ одна мыслъ съ особеннымъ и даже исключительнымъ ужасомъ встала въ душъ моей: я никогда больше не буду одинъ . . . долго, годы не буду.

Лепечетъ громко, безъ сознанья Давно забытыя названья; Давно забытыя черты Въ сіяньи прежней красоты Рисуетъ память своевольно: Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ,

тинги изыкъ

И въришь снова имъ невольно
И какъ-то весело и больно
Тревожить язвы старыхъ ранъ...

Тогда пишу.

² Такъ какъ опрометчивая редакція "Міра Искусства" ошибочно упрекала меня, будто въ цёляхъ осмѣянія г. Розанова я обрѣзалъ его изреченіе, то я долженъ обратить вниманіе читателя на слѣдующія страницы, гдѣ все разсужденіе почтеннаго оргіаста выписано цѣликомъ во всей своей неприкосновенной прелести. А дѣлать это два раза я считалъ и считаю излишествомъ.

«Что «пишу», что «написалъ»? Даже не разберешь: какой-то наборъ словъ, точно бормотанье пьянаго человъка в. Да, они всъ т. ө. эти три — были пьяны, т. е. опьянены, когда Пушкинъ былъ существенно трезвъ. Три повыхъ писателя, существенно повыхъ суть оргіасты въ томъ значенін и, кажется, съ тъмъ же родникомъ, какъ и Пивія, когда она садилась на треножникъ, «Въ расщелинъ скаты была дыра. въ которую выходили сърные одуряющіе пары» записано с дельфійской пророчиць. И они всь. т. е. эти три писателя, побывали въ Дельфахъ и принесли намъ существенно древпее, но и въчно новое, каждому поколънію нужное языческое пророчество. Есть нъкоторый всемірный пиоизмъ не какъ особенность Дељфъ, но какъ принадлежность исторіи и. можетъ быть. какъ существенное качество міра, космоса. По країней мъръ. когда я думаю о движении по кругамъ небесныхъ свътилъ, я не могу не поправлять космографовъ: «хороводы». «танецъ», «пляска» и въ концъ конповъ пменно «пиоизмъ» свътилъ. какъ свъжая ихъ самовозбужденность «подъ одуряющими вившними парами». Въдь и подтверждаютъ же новые ученые въ кинетической теоріи газовъ старую картезіанскую гипотезу космическихъ влекущихъ «вихрей». Этотъ пиопамъ. коего канелька была даже у Ломоносова:

"Восторгъ внезапный умъ плънилъ"

и была его бездна у Державина: онъ исчезъ, испарился, выдогся у Пушкина 5. оголивъ для міра и поученія потомковъ его громадный умъ. Да, Пушкинъ больше умъ, чъмъ поэтическій геній. У него былъ геній всѣхъ литературныхъ поэтическихъ формъ; дивный наборъ октавъ и ямбовъ 6, которымъ онъ распоряжался свободно; и сверхстарческаго ума — душа какъ резонаторъ всемірныхъ звуковъ:

Реветь ли звърь... Поеть ли дъва... На всякій звукъ Родишь ты откликъ.

Онъ принималъ въ себя звуки съ цълаго міра, но пивійской «расщелины» въ немъ не было , изъ которой вырвался бы существенно

в Курсивъ мой. В. С.

⁴ Тоже.

⁵ Тоже.

⁶ Тоже.

⁷ Тоже.

для міра новый звукъ и міръ обогатиль бы. Можно сказать, міръ сталь лучше послѣ Пушкина: такъ многому въ этомъ мірѣ, т. е. въ сферѣ его мысли и чувства. онъ придаль чеканъ послѣдняго совершенства. Но послѣ Пушкина міръ не сталъ богаче, обильные. Вотъ почему въ звѣздную ночь:

— Баринъ всю ночь игралъ въ карты" ⁸

— н. кто знаеть, не въ эту ли и не объ этой ли самой ночи Лер-монтовъ написаль 9:

Ночь тиха. Пустыня внемлеть Богу, И звъзда съ звъздою говоритъ".

Остановимся на минуту. Вотъ характерная черта: въ ней весь писатель. Говорю не про Лермонтова, а про Розанова. Онъ спрашиваетъ. т. е. въ вопросительной формъ догадывается: кто знаетъ, пе въ эту ли и не объ этой ли самой ночи (когда Пушкинъ игралъ въ карты) Лермонтовъ написаль свое стихотвореніе «Выхожу одинь я па дорогу». Можно подумать, что біографія Пушкина и Гоголя, хро-пологія лермонтовскихъ стихотвореній— все это предметы, «покрытые мракомъ неизвъстности». «Кто знаетъ»? На въть всякий, если не знаетъ, то по надлежащей справкъ легко можетъ узнать, когда именно Гоголь познакомился съ Пушкинымъ, и къ какому именно времени относится Лермонтовское стихотвореніе, а, узнавши это, всякій можеть видыть, что діло идеть о двухь фактахь, разділенныхь долгими годами, и что осенияя петербургская ночь, которую Пушкинъ просидълъ за картами, никакъ не могла быть тою самою сіяющею ночью, которая много спустя послѣ смерти Пушкина вдохновила Лермонтова среди кавказской пустыни. Что же такое этотъ вопросъ: «кто знаетъ»? Право, я не буду теперь слишкомъ удивленъ, если какой-нибудь «оргіастическій» мыслитель печатно предъявитъ въ одно прекрасное утро такой, напримъръ, вопросъ: «Кто знаетъ, та ночь, въ которую родился Мухаммедъ, не была ли она та самая Варооломеева ночь, когда Александръ Македонскій поразилъ мавританскаго дожа Густава Адольфа на равнинъ Хереса, Малаги и Портвейна».

⁸ Разумъется ночь, послъ которой Гоголь въ цервый разъ пришелъ къ Пушкину и услыхалъ отъ его слуги этотъ отвътъ. Почему г. Розановъ считаетъ эту ночь звъздною — совершенно неизвъстно.

⁹ Курсивъ мой.

И если бы еще отсутствіе реальной правдивости въ соображеніяхъ г. Розанова замънялось какимъ-нибудь идеальнымъ смысломъ, хотя бы фантастическимъ. А то въдь чъмъ обогащается умъ и сердце при замъчаніи, что въ ту ночь, когда Пушкинъ игралъ въ карты, Лермонтовъ, можетъ быть, написалъ стихотвореніе «Выхожу одинъ я на дорогу»? Какъ единичное сопоставленіе, это было бы такъ же малоинтересно, какъ и то, что, когда Пушкинъ писалъ «Роняетъ лъсъ багряный свой уборъ», Гоголь, можетъ быть, строилъ гримасы какому-нибудь своему нъжинскому профессору, а Лермонтовъ бъгалъ за своими кузинами. А если бы сопоставление г. Розанова можно было обобщить, т. е., что Пушкинъ будто бы шостоянно игралъ въ карты по ночамъ, а въ это время его якобы антиподы, которыхъ «нудило» къ перу и письменному столу, прилежно занимались поэзіею, то, въдь, если бы этимъ что-нибудь доказывалось, то разв'в только прямо противоположное тому, къ чему кло-нится вся зам'втка г. Розанова, — доказывалось бы, что Пушкинъ быль, подобно Моцарту, «гуляка праздный», но очевидно геніальный, если постоянная игра и гульба съ пріятелями не пом'яшала ему дать въ поэзіи то, что онъ даль, а его три-четыре антипода оказались бы, въ родъ Сальери, художниками трезвыми и усердвыми, но не столь геніальными. Между тъмъ г. Розановъ стоитъ какъ разъ на томъ, что Пушкинъ былъ болъе трезвый умъ, нежели творческій геній, тогда какъ тъ его три-четыре преемника выставляются какими-то вдохновенными пиоіями (что, не мъщало у Гоголя «надуманности» и «искусственности» его твореній).

Но я опять боюсь, не взвести бы чего лишняго на г. Розанова и спѣшу къ его ipsissima verba въ заключении его замѣтки о Пушкинъ:

«Пушкинъ, по многогранности, по все-гранности своей — въчный для насъ и во всемъ наставникъ. Но онъ слишкомъ строгъ. Слишкомъ серьезенъ. Это — во-первыхъ. Но и далъе, тутъ уже начинается наша правота: его грани суть всего менъе длинные и тонкіе корни, и прямо не могутъ слъдовать и ни въ чемъ не могутъ помочь нашей душъ, которая растетъ глубже, чъмъ возможно было въ его время, въ землю, и особенно растетъ живъе и жизненнъе, чъмъ опять же было возможно въ его время, и чъмъ какъ онъ самъ росъ. Есть множество темъ у нашего времени, на которыя онъ, и

зная даже о нихъ, не могъ бы никакъ отозваться; есть много болей у насъ, которымъ онъ уже не сможетъ дать утьшенія; онъ слъпъ, «какъ старецъ Гомеръ», — для множества случаевъ. О, какъ зорче... Эврипидъ, даже Софоклъ; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевскій, Толстой, Гоголь. Они намъ нужнѣе, какъ ночью, въ лѣсу — умълые провожатые. И вотъ эта практическая нужность создаетъ обильное имъ чтеніе, какъ ея же отсутствіе естъ главная причина удаленности отъ насъ Пупікіна въ какую-то академическую пустынность и обожаніе. Мы его «обожили»; такъ поступали и древніе съ людьми, «которыхъ нътъ больше». «Ромулъ умеръ»; на небо вознесся «богъ Квиринъ».

Прекрасно. Когда г. Розановъ говоритъ, что Пушкинъ намъ не нуженъ, то вопросъ можетъ быть только о точномъ опредѣленіи тѣхъ «мы», отъ имени которыхъ онъ это говоритъ. Но во всякомъ случаѣ ненужность Пушкина для этихъ «мы» неужели происходитъ отъ того, что онъ былъ слишкомъ строгъ, слишкомъ серьезенъ? Можетъ быть, эти слова имѣютъ здѣсь какой-нибудь особый смыслъ — а въ обыкновенномъ смыслѣ откуда бы взяться излишней строгости и серьезности у того Пушкина, котораго самъ г. Розановъ нѣсколько выше характеризуетъ такъ:

- «Ночь. Свобода. Досугь:
- «— Върно, всю ночь писалъ?
- «— Нътъ, всю ночь въ карты игралъ.

«Онъ любилъ жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, въ калошахъ, — и онъ непремѣнно выходилъ. Нѣтъ карантина, хотя бы въ видѣ непролазной грязи, — и онъ съ друзьями. Вотъ ещо черта различія: Пушкинъ всегда среди друзей, онъ — дружный человѣкъ; и примѣняя его глаголъ о «гордомъ славянинѣ» (?) и архаизмъ историческихъ его симпатій, мы можемъ «дружный человѣкъ» передѣлатъ въ «дружинный человѣкъ». «Хоровое начало», какъ ревѣли на своихъ сходкахъ и въ неуклюжихъ журналахъ славянофилы».

Вотъ я, кажется, привелъ все существенное изъ увънчанныхъ дракономъ изліяній г. Розанова. О Пушкинъ мы здъсь, конечно, ничего не узнаемъ. Ничего не узнаемъ и о противоположныхъ, будто бы, Пушкину позднъйшихъ русскихъ писателяхъ. Изліянія г. Розанова даютъ достаточное понятіе лишь объ одномъ писателъ — о немъ

самомъ. Съ удивительною краткостью и мѣткостью характеризуетъ онъ свое собственное творчество, всображая, что говорить о Лермонтовъ:

«Что пишу? Что написалъ? Даже и не разоерешь: какой-то наборъ словъ. точно бормотанье пьянаго человъка».

Онъ называетъ это оргідамомо, или пивизмомо, и считаетъ чёмъто «ужасно великолъйнымъ», и хотя ему совсъмъ не удалось показать, чтобы Гоголь и Лермонтовъ. Достоевскій и Толстой были въ этомъ виновны, зато себя онъ обнаружилъ вполнъ какъ литературнаго «оргіаста», «чиенка», корибанта, а проще — юродствующаго. Русскій народъ знаетъ и очень почитаетъ «Христа ради юроливыхъ». Конечно, не къ ихъ числу принадлежитъ этотъ писатель. Онъ, впрочемъ, не скрываєть, ради чего и во имя чего производятся его литературныя юродства: онъ указываетъ на языческую пивію, на ея дельфійскую расщелину, гдь «была дыра, въ которую выходили сърные одуряющіе нары». Вдохновляющая сила идеть здъсь во всякомъ случав откуда-то снизу. И вотъ почему Пушкинъ «не нуженъ»: едохновенія, идущаго сверху, не изъ расщелины, гдъ сърные, удушающіе пары, а оттуда, гдв свободная и светлая, недвижимая и вѣчная красота.

Пришелъ сатрапъ къ ущельямъ горнымъ И видитъ: тъсныя врата Замкомъ замкнуты непокорнымъ, Грозой грозится высота. И, надъ тъсниной торжествуя, Какъ мужъ на стражъ, въ тишинъ Стоитъ, бълъясь, Ветилуя Въ недостижимой вышянъ.

Въ недостижимой — для г. Розанова, не менъе, чъмъ для Олоферна. И для того, и для другого поэзія не идетъ дальше пляшущихъ сандалій Юдиен, а Ветилуя 10, это «слишкомъ строго», «слишкомъ серьезно». И вотъ почему Пушкинъ причтенъ къ тъмъ, «которыхъ нътъ больше». Не то, чтобы и у Пушкина не было «пляшущихъ сандалій», — на иной взглядъ у него ихъ даже слишкомъ много, — но чувствуетъ г. Розановъ, — и я радъ отдать должное върности его чутья въ этомъ смыслъ, — чувствуетъ онъ, что Вети-

¹⁰ Значить "домъ Божій".

луя-то въ этой поэзіи перевъшиваетъ, и что это образь настоящей, неподдъльной, не дельфійской Ветилуи! Ну, и не нужно Пушкина. А тѣ три-четыре, хотя г. Розановъ безбожно раздулъ ихъ «пивизмъ», но и тутъ чутье все-таки не обмануло его: розановскаго «пивизма», положимъ, въ нихъ мало, но и Ветилуи настоящей почти не видатъ. Гоголь и Достоевскій всю жизнь тосковали по ней, но въ писаніяхъ ихъ она является болѣе дѣломъ мысли и правственнаго сознанія, нежели прямого чувства и вдохновенія, при томъ главнымъ образомъ лишь по контрасту съ разными Мертвыми Душами и Мертвыми Домами; Лермонтовъ до злобнаго отчаянія рвался къ ней — и не достигаль, а Толстой подмѣнилъ ее «Нирваной», чистой, но тустой и дажэ не объльющейся въ вышинъ.

Какимъ образомъ отверженіе «пенужнаго» Пушкина сошлось въ «Мірѣ Искусства» съ его идолопоклонническимъ прославленіемъ? Дѣло въ томъ, что г. Розановъ хотя мало смыслитъ въ красотѣ, поэзін и Пушкинѣ, но отлично чувствуетъ дельфійскую расщелину и дыру съ сѣрными парами: поэтому онъ по инстинкту отмахивается отъ Пушкина, — это цѣльное явленіе въ своємъ родѣ. Что же касается до гг. Мережковскаго и Минскаго, то при большихъ литературныхъ заслугахъ (хорошіе переводы изъ древнихъ) они лишены «пивической» цѣльности и въ этой области болѣе поверхностны. Несомиѣнный вкусъ къ «пивизму» и «оргіазму» соединяетъ ихъ съ г. Розановымъ, по. вмѣстѣ съ тѣмъ. сами поэты, они искренно восхищаются и анти-пивическою поэзіей Пушкина. То же, кажется, дольно сказать и о четвертомъ мушкетерѣ этой символической компаніи.

пании.

У почтеннаго г. Мережковскаго его пноизмъ или оргіазмъ выражается телько формально — въ неясности и нечленораздъльности его размынилній. И г. Мережковскій могъ бы спросить себя: «что нишу? что написаль?» Во всякомъ случав дѣло идетъ у него не о Пушкинъ, а е предметахъ постороннихъ — прежде и больше всего о всемогуществъ издателя «Новаго Времени», который названъ великимъ магомъ. Все это, конечно, пронія, но точный смысль ея совершенно неясенъ. А затѣмъ г. Мережковскій указываетъ на контрастъ между теперешнимъ всероссійскимъ чествованіемъ Пушкина и

тімь, что происходило еще «вчера». А именно вчера три писателя высказали о Пушкині мнінія, которыя не нравятся г. Мережковскому. Но въ чемъ же туть контрасть между «вчера» и «сегодня»? Відь ни одинь изъ этихъ писателей отъ своихъ «вчерашнихъ» мніній не отказался «сегодня», а съ другой стороны, эти мнінія были такими же одинокими въ русской печати «вчера», какъ остаются и сегодня. Мнініе Спасовича сейчась же было приписано его польской предвзятости, мнініе Толстого тотчась же подверглось почтительному замалчиванію, какъ оно замалчивается и теперь, а что касается до меня, то «Судьба Пушкина» при первомъ своемъ появленіи уже вызвала единодушную брань всей печати. Въ чемъ же та переміна и тотъ контрасть, на которые укаызваеть г. Мережковскій? Это указаніе, какъ и все прочее, есть только дань «пиеизму» и ничего болье.

Настоящее сліяніе между «пинизмомъ» и свободною отъ него поэзіей Пушкина произведено г. Минскимъ. Пріємъ поражаєть своєю простотою и смѣлостью. Чтобы сдѣлать Пушкина своимъ единомышленникомъ, г. Минскій приписалъ ему свои мысли, вотъ и все. Побъда эстетическаго идеала надъ этическимъ — вотъ одна изъ творческихъ идей Пушкина, смѣло утверждаетъ г. Минскій. Побъда инстинкта надъ разсудкомъ — вторая изъ нихъ. Г-нъ Минскій указываетъ на Онѣгина, пожелаєщаю счастья именно тогда, когда для его достиженія понадобилось разрушить семейный міръ любимой женщины и опозорить ее въ глазахъ свѣта. Давно ли пожеланіе называется побѣдой? Неужели г. Минскій думаетъ, что его читатели совсѣмъ забыли Пушкина, не помнятъ даже, что въ его романѣ побѣда осталась не за «эстетическимъ» Онѣгинымъ, а за «этическою» Татьяной, весьма позорно побъдъ Онѣгина, объ убійствѣ Ленскаго... (стр. 25).

Три завѣта нашелъ г. Минскій у Пушкина. Первый завѣтъ — противоположеніе поэзіи разсудку и нравственности. «Второй завѣтъ Пушкина гласитъ, что художникъ призванъ не съ тѣмъ, чтобы баюкать и согрѣвать души людей, а съ тѣмъ, чтобы вѣчно ихъ мучитъ и жечъ». Сущность третьяго и самаго великаго завѣта — равнодушіе къ добру и злу.

Довольно однако. Я думаю, вы согласитесь теперь, что я испыталь двоякую цълесообразность. Какъ будто какая-то благодътель-

ная сила хотъла оказать мнъ двойную услугу: давая мнъ способъ помянуть Пушкина наилучшимъ образомъ, она вмъстъ съ тъмъ избавила меня отъ всякаго, хотя бы невольнаго и отдаленнаго участія въ этомъ покушеніи — сбросить «бъльющуюся Ветилую» нашего несравненнаго поэта въ темную и удушливую расщелину Пивона.

Противъ исполнительнаго листа. 1899.

25 августа сего года предъявленъ миъ былъ исполнительный листь отъ редакціи журнала «Мірь Искусства». Какъ исходящій отъ фгана нашихъ «сверхчеловѣковъ», этотъ исполнительный листь быль, разумфется, предъявлень мнв въ сверхполицейскомъ и въ сверхсудебномъ порядкъ; составленъ же онъ былъ въ порядкъ сверхлогическомъ. Это быль корректурный оттискъ статын, подписанной Д. Философовымъ и озаглавленной: «Серьезный разговоръ съ ницшеанцами» («Отвътъ Вл. Соловьеву»). Сверхлогичность начинается съ заглавія. Что значить отвъть Д. Философова Вл. Соловьеву, когда последній къ первому никогда не обращался ни съ какимъ вопросомъ, кромъ развъ съ вопросомъ о добромъ здоровьъ? При томъ, будучи по существу и назначенію своему исполнительнымъ листомъ, требующимъ меня къ отвъту, статья Д. Философова никакъ не можеть быть его ответомъ мив. Дело же воть въ чемъ: на основанія того, что въ 9-мъ № «Міра Искусства», въ статьй «Идея сверхчеловъка» 1, я сказалъ, между прочимъ, что съ ницшеанцами логически возможень и требуется серьезный разговорь, и при томъ о дълахъ сверхчеловъческихъ. — г. Философовъ, усмотръвъ въ этомъ прямое объщаніе, требуеть эть меня его исполненія. Онь думаль было, что и началь исполнять это объщаніе письмомь въ редакцію «Въстника Европы» объ особомъ чествованін Пушкина². Почему онъ могъ думать, что разговоръ съ ницинеанцими можетъ происходить въ формъ письма въ редакцію «Въстника Европы», которая не только не состоить изъ ницшеанцевъ, но самымъ существованіемъ такого народа едва ли особенно интересуется. — это остается тайной сверх-

¹ См. выше, стр. 265.

² См. выше, стр. 277.

догичнаго автора. Какъ бы то ни было, по его словамъ, увидавъ это, ни къ нему и ни къ кому изъ ницшеанцевъ не адресованное, письмо, онъ почему-то невольно подумалъ: «Вотъ онъ, серьезный-то разговоръ!»...

Но, прочтя мою замътку, онъ убъдился, что «въ сущности весь серьезный разговоръ г. Соловьева сводится къ вышучиванію статьи Розанова и къ двумъ-тремъ небрежнымъ щелчкамъ по адресу Мережковскаго и Минскаго».

Вотъ что върно, то върно. Но вольно же было г. Философову шутку, обращенную къ людямъ, шутки понимающимъ, принятъ, безъ мадъйшаго основанія и повода, за серьезный разговоръ, да еще съ ницшеанцами. Насколько моя замътка могла быть серьезнымъ разговоромъ, видно уже изъ того, что она болъе, чъмъ наполовину, представляетъ выписку подлинныхъ словъ г. Розанова.

Да, я позволить себѣ вышучивать такимъ способомъ этого писателя, а если г. Философову угодно нѣсколько моихъ словъ о статьяхъ Мережковскаго и Минскаго называть «щелчками», то я и противъ этого по существу спорить не буду. — Ну, такъ что же? Г-нъ Философовъ, очевидно, ставитъ мнѣ это въ укоръ. Наставительнымъ, менторскимъ тономъ, столь идущимъ этому маститому писателю по отношенію къ такому птенцу, какъ я, онъ какъ будто внушаетъ мнѣ: «Нехорошо, нехорошо вышучиватъ ближняго своего и давать щелчки искреннему своему».

Позвольте, почтеннъйшій менторь, почему нехорошо? И опять мнъ слышится назидательно-внушительный голось г. Философова: «Такъ какъ вы сами, конечно, не желаете, чтобы васъ вышучивали и давали вамъ щелчки, то не должны этого дълать и другимъ».

Ну, такого страннаго примѣненія нравственной истины я и отъ этого своего досточтимаго ментора вынести не въ состояніи. Неправда и тысячу разъ неправда! Рѣшительно и торжественно заявляю: если бы въ прочіе дни живота моего случилось мнѣ напечатать что-нибудь столь непроницаемо-туманное, какъ статья Мережковскаго, или столь нелѣпое по содержанію, какъ статья Минскаго, то я отъ души желаю и убѣдительнѣйше прошу всякаго меня вышучивать и давать мнѣ щелчки, по мѣрѣ силъ своихъ, чтобы не пропадалъ здравый смыслъ и не глохло чувство писательскаго долга въ русской литературѣ.

И не призналь бы я за собой смягчающаго обстоятельства даже

въ томъ случав, если бы такое мое писаніе заключало въ себъ, подобно стать Розанова, крупицу истины, или отличалось бы такимъ грустно-возвышеннымъ тономъ, какъ статья Мережковскаго, или быдо бы такъ красиво въ литературномъ смыслъ, какъ статья Минскаго.

Итакъ обвинение въ недолжномъ отношени къ этимъ тремъ

писателямъ я ръшительно отвергаю, — но какъ быть съ исполнительнымъ листомъ?

Въдь я дъйствительно объщаль что-то относительно ницшеанцевъ.

Чтобы вы видъли, что именно и въ какомъ смыслъ объщалъ, нужно вась познакомить съ основаніемъ предъявленнаго мнъ требованія. Въ статьъ «Идея сверхчеловъка» я говорю, въ сущности. слъдующее.

Между различными теченіями мысли въ русской литературѣ и обществъ за послъднее время выдъляются три болъе замътныхъ: экономическій матеріализмъ, связанный съ именемъ Маркса, отрицательный морализмъ, обозначаемый именемъ Толстого, и третье— еще только опредъляющееся направленіе, которому можно пока дать условное названіе ницшеанства. Первое дълаеть изъ человъка ничтожное колесо огромной экономической машины; для второго — человъкъ есть инструментъ, предназначенный къ осуществленію отрицательныхъ нравственныхъ правилъ, каковы: не кури, не пей вина, не женись или женись какъ можно меньше, а главное — не поступай на военную службу.

Что касается до третьяго умственнаго теченія, то, при своемъ еще неопредълившемся характеръ, оно оставляетъ открытою догическую возможность настоящей нравственной свободы, какъ пути къ пстинному человъческому назначению. При томъ, нъкоторое, хотя и очень общее, указаніе на это назначеніе уже заключаєтся здісь, въ идей сверхчеловіка. Объ этой идей наши «ницшейцы» говорили и говорять безъ яснаго сознанія ея смысла, въ родѣ того, какъ аенняне перваго вѣка по Рождествѣ Христовѣ говорили, по свидѣтельству книги Дѣяній, о невѣдомомъ богѣ, которому посвятили алтарь.
Мнѣ захотѣлось указать на тѣ логическія условія, при которыхъ

идея сверхчеловъка можеть имъть опредъленный смыслъ.

Первое изъ этихъ условій заключается въ побѣдѣ человѣка, желающаго быть сверхчеловѣкомъ, надъ владычествомъ смерти. Если человъкъ фактически есть смертный, то сверхчеловъкъ логически

долженъ быть безсмертнымъ. И вотъ точка зрѣнія, съ которой открывается поле для того серьезнаго разговора съ ницшеанцами, о которомъ твердитъ г. Философовъ. Но онъ слово «серьезный разговоръ» запомнилъ, а о чемъ разговоръ — забылъ. Это не клевета и не шутка: въ самомъ дѣлѣ, г. Философовъ предлагаетъ мнѣ говорить о разныхъ предметахъ — о происхожденіи трагедіи по Ницше, о древне-греческихъ мистеріяхъ, о судьбѣ Пушкина и т. д. Не спорю, что обо всемъ этомъ можно вести серьезные разговоры съ разными лицами, но съ ницшеанцами я вѣдь намѣревался говорить не объ этихъ предметахъ, въ которыхъ они, конечно, не болѣе свѣдущи, чѣмъ всякій другой, а о томъ, что по-моему прямо ихъ касается: о связи между фактомъ смерти и идеею сверхчеловѣка. Чтобы не оставлять никакого сомнѣнія насчетъ того, что именно такова была моя мысль, позвольте привести буквально мои заключительныя слова.

«Если бы даже и не вставаль въ нашемъ восноминаніи образъ подлиннаго «сверхчеловѣка», дѣйствительнаго побъдителя смерти и «первенца изъ мертвыхъ» (а не слишкомъ ли это было бы большая забывчивость съ нашей тсороны), или если бы даже этотъ образъ былъ такъ затемненъ и запутанъ разными наслоеніями, что ужъ не могъ бы ничего сказатъ нашему сознанію о своемъ значеніи для нашей жизненной задачи (почему же бы, однако, намъ не распутатъ и не прояснить его?), — если бы и не было передъ нами дѣйствительнаго сверхчеловѣка, то во всякомъ случаѣ есть сверхчеловъческій путь, которымъ шли, идутъ и будутъ идти многіе на благо всѣхъ, и конечно, важнѣйшій нашъ жизненный интересь — въ томъ, чтобы побольше людей на этотъ путь вступали, прямѣе и дальше по немъ проходили, потому что на концѣ его — полная и рѣщительная побѣда надъ смертью.»

«И воть настоящее мърило для оцънки всъхъ дълъ и явленій въ этомъ міръ: насколько каждый изъ нихъ соотвътствуетъ условіямъ, необходимымъ для перерожденія смертнаго и страдающаго человъка въ безсмертнаго и блаженнаго сверхчеловъка? И если старая традиціонная оболочка сверхчеловъческой идеи, окаменъвшая въ школьныхъ умахъ, заслонила для множества людей живую сущность самой этой идеи, что привело къ ея забвенію, — къ забвенію человъкомъ его истиннаго, въксокаго назначенія, къ примиренію его съ участью прочихъ тварей, — то не слъдуетъ ли радоваться уже и простому факту, что это забвеніе и это малодушное примиреніе съ

дъйствительностью какъ будто приходить къ концу, что раздаются, — хотя бы и голословныя пока, — заявленія: «я — сверхчеловъкъ; мы — сверхчеловъкъ». Такія заявленія, съ перваго раза возбуждающія досаду, въ сущности должны радовать ужъ потому, что они открывають возможность интереснаго разговора, чего никакъ нельзя сказать о нъкоторыхъ иныхъ точкахъ зрѣнія.

«Въ ту пору, когда я рѣзалъ піявокъ бритвою и зоолога Геккеля предпочиталъ философу Гегелю, мой отецъ разсказалъ мнѣ однажды довольно извѣстный анекдотъ, какъ отсталый московскій купецъ сразиль передового естественника, обращавшаго его въ дарвинизмъ. Это ученіе, по тогдашней модѣ, и къ нѣкоторому несчастью для самого Дарвина, понималось какъ существенное приравненіе человѣка къ прочимъ животнымъ. Наговоривъ очень много на эту тему, передовой просвѣтитель спрашиваетъ слушателя: «Понялъ?» — «Понялъ». — «Что же скажешь?» — «Да что сказатъ? Ежели, значитъ, я — песъ и ты, значитъ, — песъ, такъ у пса со псомъ какой же будетъ разговоръ?

«Нынъ, благодаря Ницше, передовые люди заявляють себя, напротивъ, такъ, что съ ними логически возможенъ и требуется серьезный разговоръ — и при томъ о дълахъ сверхчеловъческихъ» . . .

Ясно теперь, что я быль въ заблужденіи, предполагая въ своихъ будущихъ собесѣдникахъ открытую возможность и склонность къ обсужденію такихъ вопросовъ по существу. Пушкинскій № «Міра Искусства» открыль миѣ глаза. Ника-

Пушкинскій № «Міра Искусства» открыть мнѣ глаза. Никакого вопроса для нихъ нѣтъ, все уже рѣшено и подписано, и требуется только пропаганда. Естъ въ человѣкѣ и мірѣ нѣчто кажущееся
таинственнымъ, но все болѣе и болѣе раскрывающее свою тайну. Это
нѣчто, подъ разными именами — оргіазма, пиеизма, демонизма и т. д.,
ужасно какъ нравится этимъ людямъ, они дѣлаютъ изъ него свое
божество, свою религію и за свое посильное служеніе этому «нѣчто»
считаютъ себя избранинками и сверхчеловѣками. Хотя служеніе
этому божеству прямо ведетъ къ немощи и безобразію, хотя его
реальный символъ естъ разлагающійся трупъ, они сговорились называть это «новой красотой», которая должна замѣнитъ устарѣлыя
идеи истины и добра. Они знаютъ, что логически это безсмыслица,
но, объявивъ себя здорово-живешь сверхчеловѣками, они тѣмъ самымъ признали себя существами и сверхъ-разумными и сверхъ-логическими.

Никакого общаго принципіальнаго вопроса для нихъ не существуетъ, а развъ только такіе частные вопросы, какъ, напримъръ: быль ли Пушкинъ оргіастомъ, представителемъ пиоизма, какъ утвержлаетъ Минскій, или вовсе этимъ не былъ, какъ думаетъ Розановъ? А что пиоизмъ, или оргіазмъ, или все то, что они поль этимъ разумъють, есть нъчто въ высочайшей степени прекрасное и желательное, — это для нихъ уже давно ръшено. Они уже отдались ему, принашежать ему всецьло... А, можеть быть, я и туть о нихь слишкомъ высокаго мнънія? Я думалъ прежде (до Пушкинскаго №), что имъю дъло съ пытливыми и открытыми для истины умами, и несомнънно въ этомъ ошибался. Теперь я говорю о нихъ, какъ о душахъ, преданныхъ... «пиоизму». Но, можетъ быть, и это слишкомъ «серьезно»... да и можно ли говорить о нашихъ декадентахъ (это, кажется, будеть самое подходящее по своей неопредъленности общее названіе), какъ объ одномъ, солидарномъ въ себъ цъломъ? Въдь Мережковскій очень не похожъ на Минскаго, оба они не похожи на Волынскаго, и еще меньше, я думаю, сходства между Д. Философовымъ и В. Розановымъ. Итакъ, чтобы никого не обидъть, воздержусь отъ всякаго общаго сужденія и ограничусь необходимымъ и совершенно серьезнымъ заявленіемъ: такъ какъ исполнительный листъ отъ репакціи «Міра Искусства» основанъ на явной ошибкъ, то я его не принимаю, объщание же свое исполню непремънно, какъ только встръчу серьезных ницшеанцевъ ...

Значеніе поэзіи въ стихотвореніяхъ Пушкина. 1899.

Въ концѣ нынѣшняго юбилейнаго года, послѣ того, какъ Пушкинъ освъщался и разсматривался со всякихъ сторонъ, осталось еще сказать о немъ развъ только какъ о поэтъ, -- не потому, конечно, чтобы о Пушкинской поэзіи вовсе не говорилось при чествованіи поэта, а потому, что о ней говорилось или слишкомъ мало, или недостаточно принципіально, а то и слишкомъ неладно 1. Въ другихъ отношеніяхь эта стольтняя годовщина не прошла безследно, и было бы неблагодарностью не помянуть ее добрымъ словомъ. Кромъ перваго тома академическаго изданія сочиненій Пушкина, следуеть указать еще на очень важныя, хотя и не бросающіяся въ глаза данныя для личной характеристики поэта — въ біографическихъ изслъдованіяхъ Л. Н. Майкова о нъсколькихъ близкихъ Пушкину лицахъ (особенно о его товарища Пущина и объ А. П. Кернъ); затамъ на чрезвычайно полный и обстоятельный трудъ Ө. Е. Корша объ особенностяхъ Пушкинской версификаціи (по поводу вопроса объ окончаніи «Русалки»), интересный и въ нъкоторыхъ другихъ отношеніяхъ; далье, по счастливому совпаденію, въ этомъ году вышель IV томъ обширной «Исторіи русской литературы» А. Н. Пынина: значительная часть этого тома занята Пушкинымъ, съ приложеніемъ полнъйшей библіографіи о немъ. Изъ общихъ взглядовъ и разсужденій касательно Пушкина, кром'в несколькихъ прекрасныхъ юбилейныхъ ръчей въ Петербургъ и въ Москвъ (съ одною изъ петербургскихъ читатели «Въстника Европы» хорошо знакомы), — слъдуеть въ особенности отмътить только что появившуюся статью М. О. Меньши-

¹ Образцы *неладных* рѣчей были мною показаны въ замѣткѣ объ "Особомъ чествованіи Пушкина" (см. выше стр. 277.).

кова, защищающаго Пушкина отъ «клеветы обожанія» ². Правда, это заглавіе, при всемъ своемъ остроуміи, есть одна изъ немногихъ ошибокъ въ талантливой и симпатичной статьъ г. Меньшикова: клевета, какъ въ юридическомъ, такъ и въ житейскомъ смыслъ, есть завъдомо-ложное, слъдовательно, злоумъппленное приписывание комунибудь дурныхъ свойствъ, ему не принадлежащихъ, или постыдныхъ дъяній, имъ не совершенныхъ. Обожатели Пушкина, конечно, не клеветали и не могли клеветать на него, когда высказывали о немъ свои чрезвычайно неосновательныя, хотя весьма къ нему благожелательныя и, следовательно, никакъ не клеветническія сужденія, п г. Меньшиковъ правильнъе бы выразилъ свой упрекъ словами: не-разсудительность обожанія, безсмыслица обожанія и т. п. Въдь если бы какой-нибудь обожатель Петра Великаго сталъ утверждать, что славнъйшее дъло этого государя есть судъ надъ царевичемъ Алексъемъ, то состава клеветы тутъ не было бы, а была бы лишь нелъпая оцънка историческихъ фактовъ; или если бы чья-нибудь извращенная мысль подарила насъ заявленіемъ, что вся сила и красота солнца заключается въ его пятнахъ, то и это была бы не клевета, а только глупость. Кромъ цеточности заглавія, авторь этой примъчательной статьи заслуживаеть упрека за невърную мысль о ненужности и зловредности Петербурга. Мнимая опибка Петра Великаго — дъйстви-тельная опибка г. Меньшикова. Впрочемъ, къ этому анти-историческому и противо-пушкинскому взгляду мы еще вернемся.

Никто не скажеть, конечно, чтобы и тъ вопросы касательно

Никто не скажеть, конечно, чтобы и тѣ вопросы касательно Пушкина, которые внимательно разсматривались въ годъ его столътія, были исчерпаны; но менѣе всего это можно сказать объ эстетической сторонѣ дѣла, о значеніи Пушкинской поэзіи по существу. Поздніе пришельцы на роскошное словесное пиршество этого года, вмѣсто ожидаемыхъ — по латинской пословицѣ — костей, къ удивленію своему находять лучшее блюдо почти нетронутымъ. При всей должной скромности, трудно не воспользоваться такимъ счастливымъ случаемъ. Задачу эстетическаго обсужденія Пушкинской поэзіи я облегчилъ для себя тѣмъ, что заранѣе (болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ) разсмотрѣлъ съ своей точки зрѣнія важнѣйшій изъ не-эстетическихъ вопросовъ касательно Пушкина, именно вопрось о нравственномъ смыслѣ той роковой катастрофы, которая прервала земную жизнь

^{2 &}quot;Книжки Недвли", октябрь 1899 г.

поэта, давъ ему, впрочемъ, время для окончательнаго душевнаго очищенія и просвътленія.

Этическій взглядь, изложенный въ стать в «Судьба Пушкина»³ и сводящійся къ тому простому положенію, что геній обязываеть, и что кому много дано, съ того много и взыгщется, вызваль общее неудовольствіе и единогласное осужденіе въ печати 4. Но могивы такого неудовольствія относились ко всему, что угодно, только не къ тому, что было действительно мною высказано и что осталось совсемь незатронутымъ въ многочисленныхъ статъяхъ и заметкахъ, появлявшихся въ эти два года по поводу «Судьбы Пушкина». Не имъя никакой разумной причины останавливаться на такой «критикь». или въ чемъ-нибудь изменять те мысли, которыя встретили столько пориданій, но ни одного возраженія, мало-мальски относящагося къ дълу, — я могу теперь, говоря о поэзіи Пушкина, не возвращаться снова къ вопросу о его личной судьбъ. Въ тъхъ случаяхъ, когда мнъ придется по естественной связи предметовъ мимоходомъ коснуться и этого вопроса, читалели «Въстника Европы» позволять мнъ предподагать, что взглядь мой на дъло имъ извъстенъ и не требуетъ повторительнаго изложенія.

T.

Пупкинская поэзія есть поэзія по существу и по преимуществу, — не допускающая никакого частнаго и односторонняго опредёленія. Самая сущность поэзіи, — то, что собственно ее составляеть, или что поэтично само по себі, — ниіді не проявлялась сь такою чистотою, какъ именно у Пушкина, — хотя были поэты сильніе его. Въ самомъ ділі, признавать Пушкина поэтомъ по преимуществу еще не значить признавать его величайшимъ изъ поэтовъ. Сила поэтическаго творчества можеть проистекать изъ разнородныхъ источниковъ, и самое чистое и полное выраженіе поэзіи какъ такой можеть еще и не быть самымъ сильнымъ и грандіознымъ. Не тревожа колоссальныхъ тітей Гомера и Данте, Шекспира и Гёте, — можно предпочитать Пушкину и Байрона и Мицкевича. Съ извъстныхъ

^{· &}lt;sup>3</sup> "Въстникъ Европы", сентябрь 1897 г. (въ слъдующемъ году изд. отдъльно). (См. выше, стр. 27. Г. Р.)

⁴ Точнве — почти единогласное: среди нвскольких десятков бранных отзывов, попавшихся мнв на глаза, я помню одинь не бранный.

стороно такое предпочтеніе не только понятно какъ личный вкусь, но и требуется безпристрастною оцінкой. И все-таки Пушкинъ остается поэтомъ по преимуществу, болье безприміснымъ, — чімъ всів прочіе, — выразителемъ чистой поэзіи. То, чімъ Байронъ и Мицкевичь были значительные его, вытекало не изъ существа поэзіи какъ такой и не изъ поэтической стороны ихъ дарованія, а зависьло отъ другихъ элементовъ ихъ душевной природы. Байронъ превосходиль Пушкина напряженною силой своего самочувствія и самоутвержденія; это быль болье сосредоточенный умъ и болье могучій характерь, что выражалось, разумітется, и въ его поэзіи, усиливая ея внушающее дійствіе, ділая изъ поэта «властителя думъ». Мицкевичь быль больше Пушкина глубиною своего религіознаго чувства, серьезностью своихъ нравственныхъ требованій отъ личной и народной жизни, высотою своихъ мистическихъ помысловь, и главное — своностью своихъ нравственныхъ требованій отъ личной и народной жизни, высотою своихъ мистическихъ помысловъ, и главное — своимъ всегдашнимъ стремленіемъ покорять все личное и житейское тому, что онъ сознавалъ какъ безусловно должное, — и все это, конечно, звучало и въ стихахъ Мицкевича, — хотя бы и не имѣвшихъ прямо религіознаго содержанія, — сообщая имъ особую привлекательностъ для душъ, соотвѣтственно настроенныхъ. Но какъ демоническое высокомѣріе Байрона, такъ и религіозная высота Мицкевича были такія ихъ свойства, которыя проявились бы такъ или иначе и въ томъ случаѣ, если бы эти два могучіе человѣка не написали ни одной поэтической строки. А такъ какъ они были при томъ Божіею милостью и геніальные поэты, то господствующія стороны ихъ личности, сверхъ своего общаго значенія, естественно нашли себѣ выраженіе и въ ихъ поэзіи, хотя у Мицкевича стихотворенія намъренно религіозныя, понятно, слабѣе другихъ; выражаясь въ поэзіи, эти особые эдементы вѣдь не выражали ея собственной эстетической сущлигіозныя, понятно, слабве другихъ; выражаясь въ поэзіи, эти особые эдементы вѣдь не выражали ея собственной эстетической сущности. Байронъ и Мицкевичь ото себя привносили такое содержаніе, которое при всей своей значительности не было, однако, существенно для поэзіи какъ такой: одинъ внесъ свой демонизмъ, другой — свою религіозную мистику. У Пушкина такого господствующаго центральнаго содержанія личности никогда не было; а была просто живая, сткрытая, необыкновенно воспріимчивая и отзывчивая ко всему душа — и больше ничего. Единственно крупное и важное, что онъ знать за собою, быль его поэтическій дарь; ясно, что онъ ничего обще-значительнаго не могь ото себя заранъе внести въ поэзію, которая и оставалась у него чистою поэзіей, получавшею свое содержа-

ніе не извиѣ, а изъ себя самой. Основной отличительный признакъ этой поэзіи— ея *свобода* отъ всякой предвзятой тенденціи и отъ всякой претензіи. Господствующая тенденція Мицкевича была вывсякой прецензій. Тосподствующай тенденцій шицкевича облас высока и прекрасна; но когда она слишкомъ явно выступаетъ въ его поэзій, она нарушаетъ ей красоту; въдь потому и признается по справедливости «Панъ Тадеушъ» самымъ дучшимъ, если и не самымъ характернымъ произведеніемъ Мицкевича, что поэтъ здъсь почти не отступаетъ отъ своей чисто-поэтической задачи и настолько же приотступаеть отъ своей чисто-поэтической задачи и настолько же при-ближается къ Пушкину, насколько отдаляется отъ Байрона. А что касается до этого «властителя думъ», то вёдь онъ весь былъ какъ бы одною гигантскою претензіей, обращенной къ Творцу и къ творе-нію. — Никакой предвзятой, сознательной и преднамъренной тенден-ціи и никакой претензіи мы у Пушкина не встрътимъ, если только будемъ смотръть на него прямо, если только сами подойдемъ къ нему свободные отъ предвзятой тенденціи и несправедливаго притязанія непремънно высмотръть у поэта то, что для насъ самихъ особенно пріпремънно высмотрътъ у поэта то, что для насъ самихъ осооенно прамътно, получить отъ него не то, что онъ даетъ намъ — поэтическую красоту — Богъ съ ней совсѣмъ! — а то, что намъ нужно отъ него: авторитетную поддержку въ нашихъ собственныхъ помыслахъ и заботахъ. При сильномъ желаніи и съ помощью вырванныхъ изъ цѣлаго отдѣльныхъ кусковъ и кусочковъ можно, конечно, приписатъ Пушкину всевозможныя тенденціи, даже прямо противоположныя пункину всевозможным тенденцім, даже примо противоположных другь другу: крайне-прогрессивныя и крайне-ретроградныя, религіозныя и вольнодумныя, западническія и славянофильскія, аскетическія и эпикурейскія. Довольно трудно разобрать, какой изъ двухъ оттънковъ наивнаго самолюбія преобладаетъ здъсь въ каждомъ случаъ: желаніе ли сдълать честь Пушкину причисленіемъ его къ такимъ превосходнымъ людямъ, какъ мы, или желаніе сдѣлать честь себѣ чрезъ единомысліе съ нами такого превосходнаго человѣка, какъ Пушкинъ.

На самомъ дѣлѣ въ радужной поэзіи Пушкина — всѣ цвѣта, и попытка окрасить ее въ одинъ сама себя обличаетъ явными натяжками и противорѣчіями, къ которымъ она приводитъ. Дѣйствительная разноцвътность Пушкинской поэзіи бросается всякому въ глаза, и внѣшній, поверхностный взглядъ видитъ здѣсь безсодержательность, безъндейность, безхарактерность. На языкъ просится выраженіе: хамелеонъ, — которое не звучитъ похвалою. Но какой разумный смыслъ можетъ имѣтъ такое сужденіе? Какого рода содержаніе требуется

здѣсь отъ поэзіп? Кажется, всякое, кромѣ только поэтическаго. Но если вы у химика будете искать богословскихъ положеній, а у богослова — химическихъ опытовъ, то, конечно, найдете безсодержательнымъ и того, и другого. Съ такимъ же приблизительно логическимъ правомъ можно требовать заранѣе отъ поэта опредѣленнаго образа мыслей — религіознаго, политическаго, соціологическаго и т. д. Искать въ поэзін непремѣнно какого-то особеннаго, посторонняго ей содержанія — значитъ не признавать за нею ея собственнаго, а въ такомъ случаѣ стоитъ ли и толковать о поэтахъ? Логичнѣе будетъ махнуть на нихъ рукою, какъ на пустыхъ и безполезныхъ людей.

Но есть въ поэзіи свое содержаніе и своя польза. Поэзія можеть и должна служить дѣлу истины и добра на землѣ, — но только по-своему, только своею красотою и ничѣмъ другимъ. Красота уже сама по себѣ находится въ должномъ соотношеніи съ истиной и добромъ, какъ ихъ ощутительное проявленіе. Слѣдовательно, все дѣйствительно-поэтичное — значитъ, прекрасное — будетъ тѣмъ самымъ содержательно и полезно въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Ни въ чемъ, кромъ красоты, настоящая поэзія не нуждается: въ красотъ — ея смыслъ и ея польза. Правда, истекающій XIX въкъ опредълился къ свеому концу какъ эпоха поддълокъ. Поддълываются молоко и вино. Но тутъ если не собственная стыдливость, то страхъ передъ полиціей и покупателями внушаеть виновнымъ нъкоторую умъренность и приличіе; въдь никакой фальсификаторъ не увшится утверждать, что молоко и вино по самому назначению своему могутъ и должны быть безполезны и даже вредны. Другое дъло фальсификація красоты: этому «вольному художеству» законъ не писанъ. Въчная красота объявляется старою красотою, и на ея руинахъ водружается знамя новой красоты, на которомъ лица, похожія на разныхъ героевъ не то Щедрина, не то Достоевскаго, пишутъ свои девизы: — «Дерзай!» — «Посягнемъ!» — «Плюй на все и торжествуй!» Между старою и новою красотою — то различіе, что первая жила въ тъсномъ естественномъ союзъ съ добромъ и правдой, а вторая нашла такой союзъ для себя не только излишнимъ, но и прямо неподходящимъ, нежелательнымъ. Тутъ всего любопытнъе вотъ что: сначала объявляется, что красота свободна отъ противоположности добра и зла, истины и лжи, что она выше этого дуализма и равнодушна къ нему, а подъ конецъ вдругъ оказывается, что эта свобода и красота, и божественное, какъ будто, безпристрастіе къ обвимъ

сторонамъ незамѣтно перешли въ какую-то враждебность къ одной сторонѣ (именно правой: къ истинѣ и добру) и въ какое-то неодолимое «влеченье — родъ недуга» къ другой сторонѣ (лѣвой: къ злу и лжи), — въ какой-то пиеизмъ, демонизмъ, сатанизмъ и прочія «новыя красоты», въ сущности столь же старыя, какъ «чортъ и его бабушка».

Но почему я говорю туть о поддълкъ? Развъ нъть въ дъйствительной жизни красиваго зда, изящной джи, эстетическаго ужаса? Конечно, есть; безъ этого нечъмъ было бы и поддълывать красоту. Но что же отсюда слъдуеть? Блескъ одова по природъ похожъ на блескъ серебра, и желтая мъдь своимъ натуральнымъ цвътомъ напоминаетъ золото; но если мнъ поднесутъ одовянный подтинникъ, или мъдный имперіалъ, то я, кажется, имъю право назвать ихъ фальшивыми. Дъйствительныя свойства дожной красоты даются природой, но выдавать ее за настоящую — это уже дъло людей, и дъло фальшивое. Такой обманъ, какъ всякій другой, обличается негодностью своихъ дъйствій. И гнилушка свътится, но такое освъщеніе годится только для совъ и филиновъ; и на болотъ вспыхиваютъ сгоньки, но на такомъ огить не согръться и дягушкамъ.

Свътъ и огонь Пушкинской поезіи шли не изъ гніющаго болота. Ея неподдъльная красота была внутренно нераздъльна съ добромъ и правдой. Можетъ быть, семиствольная цъвница, которую дала ему Муза, была сдълана изъ болотнаго тростника, но —

Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ И душу наполнялъ святымъ очарованьемъ —

и ничего не говориль о «новой красоть». Служителямь послъдней приходится такимъ образомъ или насильно навязывать Пушкину свои вождельнія, вовсе ему чуждыя, или объявлять его поэзію безсодержательною, неинтересною, ненужною.

II.

Настоящая чистая поэзія требуеть оть своего жреца лишь неограниченной воспріимчивости душевнаго чувства, чутко послушнаго высшему вдохновенію. Умъ, какъ начало самодъятельности въ человъкъ, тутъ не при чемъ. Лично Пушкинъ былъ безспорно умнъйшій человъкъ; блестящія искры его ума разсъяны въ его письмахъ.

запискахъ, статъяхъ, эпиграммахъ и т. д. Все это очень цънно, но не зпъсь безивиное достоинство и значение Пушкина; онъ намъ безусловно дорогъ не своими умными, а своими вдохновенными произвеленіями. Передъ вдохновеніемъ умъ молчить. Острый и ясный умъ Пушкина въ соединеніи съ тонкимъ вкусомъ, съ върнымъ словеснымъ тактомъ и съ широкимъ литературнымъ образованіемъ все это выступало впередъ и вступало въ свои права, когда исчезалъ «быстрый холодъ вдохновенья», когда приходилось окончательно обрабатывать, отдълывать по сужденію ума то, что было сдылано не (ть ума, а создано подъ высшимъ наитіемъ. Не все, написанное Пушкинымъ, даже въ стихахъ, принадлежитъ къ Пушкинской поэзіи: выть и человыкь, въ высокой степени способный къ вдохновению, не всегда испытываеть его дъйствіе, когда берется за перо. Но если прио идеть о настоящихъ Пушкинскихъ стихахъ, то всякій чуткій къ поэзіи читатель такъ же забудеть про то, что Пушкинь быль умень, какъ и про то, что у него быль изящный почеркъ. Ну, изъ какого ума могь выйти тоть божественный вздохь, которымъ живутъ и дышуть воть такія простайшія и обыкновеннайшія слова:

> Еще кого не досчитались вы? Кто измънилъ плънительной привычкъ? Кого изъ васъ увлекъ холодный свътъ? Чей гласъ умолкъ на братской перекличкъ? Кто не пришелъ? Кого межъ нами нътъ?...

Искусство ума человъческаго можетъ изъ простой глины сдъдать прекраснъйшій горшокъ, но вложить въ глину живую душу не его дъло. И какой умъ въ нъсколькихъ словахъ можетъ воплотить такой захватывающій душу образъ:

> Сидишь ли ты въ кругу друзей, Чужихъ небесъ любовникъ безпокойный, Иль снова ты проходишь тропикъ знойный, И въчный ледъ полуночныхъ морей?

> Ты простиралъ изъ-за моря къ намъ руку, Ты насъ однихъ въ младой душѣ носилъ И повторялъ: на долгую разлуку Насъ тайный рокъ, быть можетъ, осудилъ...

Гдё же туть работа ума? Какъ можно придумать эту геніальную простоту? Здёсь вёсть «духъ песенъ» изъ свётлаго отрочества, здёсь воскресаеть материнская ласка Музы:

Съ младенчества духъ пъсенъ въ насъ горълъ, И дивное волненье мы познали; Съ младенчества двъ Музы къ намъ летали, И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удълъ.

Но «духъ пъсенъ» и «ласка Музы», это все — метафоры. Положимъ. Но вотъ совершенно трезвое, точное, можно сказатъ, наукообразное, чуть не протокольное описаніе той наличной реальности, которую эти метафоры объясняютъ, а на иной взглядъ — только затемняютъ. Вотъ простое описаніе самимъ поэтомъ его творческаго процесса, — описаніе, подходящее, конечно, и къ внутреннему опыту всѣхъ другихъ поэтовъ, насколько они сами близки къ Пушкину, какъ чистому поэту, — поэту по преимуществу. Первое условіе: полное уединеніе, — и къ счастью, оно нерѣдко выпадало на долю невольнаго и вольнаго изгнанника. Лучшее мѣсто — глухая деревня; лучшее время — глухая осень — дни поздней осени, когда . . .

Роняетъ лъсъ багряный свой уборъ, Сребритъ морозъ увянувшее поле...

Весною мѣшаетъ смутное, физіологическое, а не поэтическое, волненіе крови: «Я не люблю весны, весной я боленъ», — высшая сторона человъческой души тяготится матеріальною солидарностью съ безсловесною природой, съ растеніями и животными. Лѣтомъ тоже выступаетъ, хотя съ другой стороны, зависимостъ человѣка отъ внѣшней физической среды:

Охъ, лъто красное, — любиль бы я тебя, Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты, всъ душевныя способности губя, Насъ мучишь; какъ поля, мы страждемъ отъ засухи; Лишь какъ бы напоить, да освъжить себя — Иной въ насъ мысли нътъ...

Наивность или эстетическое непониманіе могуть сказать: «Развъ это серьезно? Развъ можно придавать такое значеніе временамъ года? Откуда такая легкая капитуляція духовной силы передъ силою внъшнихъ вліяній? Неужели, въ самомъ дълъ, лътней температуры въ союзъ съ комарами да мухами достаточно, чтобы «губить всъ душевныя способности» въ великомъ поэтъ? Неужели его высокій умъ не могъ подняться надъ высотой термометра, и крылатый стихъ не могъ унести его далеко отъ крылатыхъ насъкомыхъ?» Конечно. могъ, — да и поднимался, и уносился: разныя эпиграммы, шутливыя

посланія, альбомная лесть дамамъ и дъвицамъ, — все, что сочиняется умомъ съ помощью формальнаго стихотворческаго искусства, — все это навърное Пушкинъ писалъ и лътнею, и весеннею порой; а вотъ настоящихъ-то своихъ чисто-поэтическихъ произведеній — не писалъ. Если бы Пушкинъ въ самомъ дълъ былъ только, или хотя главнымъ образомъ, «огромный умъ», то, конечно, этотъ огромный умъ сумъль бы освободиться отъ силы тълесныхъ воздъйствій и производиль бы свое дъло по собственнымъ намъреніямъ, независимо отъ впечатлъній извить. Могь же Демосеень съ камешками во рту ораторствовать надъ шумящимъ моремъ; могь же Архимедъ рѣшать задачи механики подъ грохотъ непріятельскаго штурма. Въ ораторскомъ искусствъ, какъ и въ точныхъ наукахъ, дъйствуетъ по преимуществу умъ, активное, самодъятельное начало въ человъкъ, которое, при умь, активнос, сымодытельное начало вы человых, которое, при навъстной степени силы и при соотвътственномъ характеръ, можетъ до нъкоторой степени успъшно сопротивляться всякимъ тълеснымъ воздъйствіямъ. И если бы творенія Пушкина были дъломъ ума и формальнаго словеснаго искусства, если бы онъ былъ только ораторомъ въ стихахъ, подобно Ломоносову или Ламартину, то, конечно его умъ былъ достаточно силенъ, чтобы производить свою работу независимо отъ измѣненій во внѣшней природѣ и отъ своихъ собственныхъ тълесныхъ состояній. Но какой бы величины ни быль умъ Пушкина, настоящая Пушкинская поэзія не была дъломъ ума, а зависъла отъ воспріимчивости его души къ воздъйствіямъ изъ надсознательной области; а воспріимчивость къ нимъ, во-первыхъ, не имъетъ того характера самодъятельности, который принадлежитъ уму, а во-вторыхъ, она глубже, тъснъе и разностороннъе связана съ матеріальною, физіологическою подкладкою человъческой жизни. Поэтому темныя и смутныя впечатлънія изъ внъшней среды должны быть уже ослаблены и нейтрализованы въ соотвътствующей имъ низшей, чувственной области душевной жизни, чтобы они не могли вторгаться въ иную, высшую область, отвращая силы души отъ ихъ дучшаго назначенія. Животные голоса въ человъкъ должны затихнуть, умолкнуть, чувственная пестрота и яркость должны поблѣднѣть, чтобы поэтъ могь слышать «божественные глаголы» и видѣть «видънья первоначальныхъ, лучшихъ дней».

Но голоса животной природы — въ самомъ человъкъ, какъ и вокругъ него, — не молчатъ ни тогда, когда она весною, возбужденная, ликуетъ и свътло радуется новымъ приливамъ темной жизни,

ни тогда, когда она, удрученная, изнываетъ и томится лътнимъ зноемъ. Вотъ причина той, на первый взглядъ, странности, что кипучая и жизнерадостная душа Пушкина тяготилась не только краснымъ лътомъ, но и животворною весною. Какъ поэтъ жизни, онъ ощущалъ, конечно, и жизнь природы, но его крылатая поэзія не любила медлить на этихъ первыхъ ступеняхъ. Раскрытіе поэтическаго смысла природной жизни Пушкинъ какъ бы предоставилъ своему глубокомысленному современнику — Тютчеву, а лирическую живопись ея явленій — одному изъ главныхъ птенцовъ своего «лебединаго» гнъзда — Фету. Поэзію же самого Пушкина тянуло отъ природы къ жизни человъческой и отсюда — въ высь и въ даль. Усиленное біеніе земного пульса весною и лътомъ тяготило его, мъщало свободъ его лучшихъ вдохновеній:

Суровою зимой я болье доволенъ...

Но если зимній сонъ природы не нарушаєть тишины и уединенія въ деревнъ, то въ обычной городской жизни является туть новая помъха для творческихъ настроеній — со стороны среды общественной: возбужденіе низшей, страстной души «суетнымъ свътомъ», или «свътскою суетой». Да и въ деревнъ частая смъна «жгучаго» мороза съ искусственнымъ жаромъ волнуютъ кровь не хуже вешняго солнца. Всего лучше осень:

Унылая пора, очей очарованье,
Пріятна мив твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и золото одвтые лвса.
Въ ихъ свняхъ ввтра шумъ и сввжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рвдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленные свдой зимы угрозы.

Съ увяданіемъ природы расцвътаетъ въ душть поэзія. Вотъ --

. . . . гаснеть краткій день, и въ камелькъ забытомъ Огонь опять горить, — то яркій свъть ліеть, То тлѣеть медленно; а я надъ нимъ читаю, Иль думы долгія въ душѣ моей питаю. И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ, И пробуждается поззія во мнт.:

Душа стъсняется лирическимъ волненьемъ, Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ, какъ во снъ,

Излипися, наконецъ, свободныль проявленьемъ.

II тутъ ко мнъ пдетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

II мысли въ головъ волнуются въ отвагъ,
И риемы легкія навстръчу имъ бъгутъ,
II пальцы просятся къ перу, перо — къ бумагъ,
Минута и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль въ недвижной влагъ,
Но чу!.. матросы вдругъ кидаются, ползутъ
Вверхъ. внизъ — и паруса надулись, вътра полны:
Громада двинулась и разсъкаетъ волны:
Плыветъ... Куда жъ намъ плыть?

Этотъ отчетъ поэта о процессъ своего творчества говоритъ самъ за себя; никто, я подагаю, не усомнится въ его поднъйшей правдивости. Ну и что же тутъ описывается? Какія-нибудь тонкія изобрътенія и сложныя комбинаціи огромнаго ума? Ничуть не бывало. Успеніе природы, успеніе тълесной жизни въ поэтъ — и пробужденіе въ немъ поэзіи не какъ дъямельности ума, а какъ состоянія души, охваченной лирическимъ волненіемъ и стремящейся излиться въ свободномъ проявленіи — свободномъ, значитъ, не придуманнномъ, не сочиненномъ. Тутъ поэтъ уже ничего не ищетъ: все — и звуки, и образы — приходитъ къ нему само собой. Никакой преднамъренности и даже никакого предвидънія: «Плыветъ . . . Куда жъ намъ плыть?»

Правдивое описаніе настоящаго творчества прекрасно оттъняется въ другомъ стихотвореніи такимъ же описаніемъ безнадежно-тщетной попытки нампреннаго сочинительства въ поэзіи:

Беру перу, сижу, насильно вырываю У Музы дремлющей несвязныя слова. Ко звуку звукъ... Теряю всё права Надъ риемой, надъ моей прислужницею странной: Стихъ вяло тянется, холодный и туманный... Усталый, съ лирою я прекращаю споръ.

III.

Поэтъ не воленъ въ своемъ творчествъ. Это — первая эстетическая аксіома. Такъ называемая «свобода творчества» не имъетъ ничего общаго съ такъ называемою «свободой воли». Какъ ясно изъ геніально-простого свидътельства Пушкина, творчество свободно ни-

какъ не въ темъ смыслъ, чтобы умъ поэта могъ по своей волъ, по своему заранъе обдуманному выбору и намъренію создавать поэтическія произведенія. Такія сочиненія могуть быть только поддълками подъ поэзію; настоящій же поэть, когда и захочеть насиловать свою музу, проявить надъ нею свою свободу воли и творчества — не можеть, и изъ этихъ попытокъ совсемъ ничего не выходитъ. Настоящая же свобода творчества им'етъ своимъ предварительнымъ условіемъ пассивность, чистую потенціальность ума и воли, — свобода туть принадлежить прежде всего тъмъ поэтическимъ образамъ, мыслямъ и звукамъ, которые сами, свободно приходятъ въ душу, готовую ихъ встрътить и принять. И сама поэтическая душа свободна въ томъ смыслъ, что въ минуту вдохновенія она не связана ничъмъ чуждымъ и противнымъ вдохновенію, ничему низшему не послушна, а повинуется лишь тому, что въ нее входить или приходить къ ней изъ той надсознательной области, которую сама душа тутъ же признаетъ иною, высшею, и вмъстъ съ тъмъ своею. родною. Въ міръ поэзіи душа человъческая не является какъ начало дъятельнаго самоопредъленія, — здёсь она опредъляется къ действію темъ, что во ней лучше ея и что открывается сознанію лишь въ самой действительности, только чрезъ самый опыть поэтическихъ явленій, какъ чего-то даннаго свыше, а не задуманнаго или придуманнаго умомъ. Если бы поэтъ могъ самъ сочинять свои произведенія, или хотя бы только предвидъть, что и когда ему дастъ вдохновение, то онъ не брался бы за перо, чтобы только грызть его въ напрасной борьбъ сь «лирой», или «Музой».

Бывають стихотворцы отъ ума, принимающіе себя и другими иногда принимаемые за поэтовъ: образець ихъ — Вольтеръ. Но, несмотря на французское образованіе Пушкина, на его незрѣлое вольнодумство и на общій школьническій вкусь къ нескромнымъ шуткамъ, онъ тщетно пытался перевести «Орлеанскую Дъвственницу»: душа, сродная истинной красотъ, могла на минуту остріемъ своего ума касаться ея противоположности, но войти въ это уродство, надолго себъ усвоить эту чужеродную стихію было для нея невозможно. У Пушкина есть безподобныя эпиграммы, а также шутки, которыхъ нескромность связана изяществомъ формы, не допущена до цинизма и расплывается въ игривой и добродушной веселости; это словно яркія, легкія бабочки, которыхъ гадкое червеобразное туловище совсьмъ закрыто и пересилено роскошными порхающими крылышками.

Есть у Пушкина и chef d'oeuvre сосредоточеннаго юмора — лѣтопись села Горохина. Но попытки запрягать поэзію въ ярмо сложнаго порнографическаго острословія не удавались Пушкину: «Гавриліада», «Царь Никита», переводъ «Дѣвственницы» — слабы и остались неконченными.

Поэтическій геній не зависить отъ самодівлельности ума, но онъ не лишенъ самосознанія. И безъ философскаго размышленія истинный поэть непосредственио знаеть о существенномъ характеръ творчества, о его безвольной, нассивной основъ. Мы видъли его описаніе самаго процесса, какъ создаются поэтическія произведенія. Въ другихъ стихотвореніяхъ мы находимъ болье общіе, суммарные очерки того, что есть поэзія по мысли, или, лучше сказать, по внутреннему опыту, по творческому самосознанію Пушкина. Будемъ внимательны: вёдь это сама поэзія свидетельствуеть о себе устами своего любимаго сына, или — прозаичнъе говоря — въдь это показаніе эксперта. Будемъ внимательны, но, благочестиво внимая голосу генія, говорящаго о томъ, что ему всего лучше извъстно, не откажемся отъ правъ разумной критики. Въдь и въ точнъйшей спеціальнонаучной экспертизъ не все есть голосъ самой науки, — есть непремънно и субъективный элементъ, привнесенный личностью этого опредъленнаго ученаго; понятливый судья заметить и выделить эту примъсь. Тъмъ болъе присутствуетъ она въ поэтической исповъди поэта о томъ, что составляетъ сердцевину его существванія, что тончайшими нитями переплетается со всею жизнью его души. Мы должны принять въ расчетъ этотъ личный элементъ, не преувеличивая и не умаляя его значенія, и никогда не теряя изъ виду, въ этомъ поэтическомъ свидътельствъ, тъхъ главныхъ чертъ, которыя несомивнно выражають всеобщую и объективную правду самаго двла.

IV.

Въ семи произведеніяхъ открываетъ намъ Пушкинъ свои мысли или свои внутренніе опыты относительно существеннаго характера и значенія поэзіи, художественнаго генія вообще и настоящаго призванія поэта. Эти произведенія — неодинаковаго характера и неравнаго художественнаго достоинства — внутренно связаны между собою и представляютъ въ сущности лишь варіаціи одной главной темы. Всю они принадлежатъ зрълой поръ въ жизни поэта: три первыя, именно

«Пророкъ», «Поэтъ» («Пока не требуетъ поэта къ священной жертвъ Аполонъ») и «Чернь», явились на порогъ между отходящею юностью и наступающею возмужалостью (1826—1828), а остальныя четыре, именно: «Поэту» («Поэтъ, не дорожи любовію народной»). драматическая сцена «Моцартъ и Сальери», «Эхо» («Реветь ли звърь въ лъсу глухомъ») и «Памятникъ» — принадлежатъ послъднему семильтію Пушкинской поэзіи (1830—1836). Само собою понятно, что такая поэзія о поэзіи могла явиться только во вторую половину жизни поэта: для того, чтобы въ его душть могло сложиться хотя бы самое поэтическое, самое вдохновенное и, слёдовательно, независимое отъ умственной преднамъренности выражение для существеннаго смысла пережитыхъ творческихъ опытовъ, прежде Всего нужно было ихъ *пережить*. Вотъ почему превосходное въ своемъ родъ стихотвореніе «Муза» 5, при всей своей художественной прелести, не можетъ быть причислено къ настоящимъ выраженіямъ поэтическаго самосознанія Пушкина, хотя сущность поэзіи уже указана здъсь въ самой общей своей чертъ. Но именно слишкомъ общей. Въ началъ 1811 года, когда создалось это стихотворение, Пушкинъ созрълъ для художественнаго творчества, но не для углубленія въ его смысль. Онъ шель впередъ къ созиданію многихъ геніальныхъ произведеній, но за нимъ, въ прошедщемъ, ихъ было еще слишкомъ мало; его поэтическій опыть не могь быть великь и ясень. Онъ и

⁵ Такъ какъ Пушкина въ настоящее время гораздо болѣе хвалять, чѣмъ читають и изучають, то я не могу предполагать, чтобы многіе знали наизусть это стихотвореніе, и для ясности своихъ замѣчаній долженъ привести его вполнѣ:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила

И семиствольную цъвницу мнъ вручила;
Она внимала мнъ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной;
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала.
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

самъ. въ этотъ первый годъ своего совершеннольтія, обращаясь назадъ, къ прошлому, видить только Музу своего младенчества:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила...

Впрочемъ, признать здѣсь дѣйствительное воспоминаніе о чемънио́удь опредѣленно пережитомъ душою поэта въ его младенчествѣ, — точнѣе, отрочествѣ или ранней юности, — было бы очень рискованно, тѣмъ болѣе. что литературный источникъ этого произведенія налицо: Андрей Шенье́. Копечно, впослѣдствій тридцатисемилѣтній Пушкинъ могъ взять въ своемъ «Памятникѣ» гораціанскую форму и вложить въ нее собственное содержаніе. Но Пушкинъ двадцатилѣтній бралъ у Шенье́ и содержаніе вмѣстѣ съ формой, хотя въ настоящемъ случаѣ онъ далъ своему подражанію такое поэтическое совершенство, до котораго далеко его образцу. Это есть, однако, совершенство классической формы, заключающей, для русскаго поэта XIX вѣка, непремѣнно и нѣкоторую школьную условность (муза, боги, цѣвница, фригійскіе пастухи), что опять таки мѣшаетъ пользоваться этимъ стихотвореніємъ какъ документомъ поэтическаго опыта.

V.

Изъ отмъченныхъ нами семи произведеній первое по времени, а также и по достоинству, есть знаменитый «Пророкъ». Прежде чъмъ воспользоваться имъ для нашей задачи, мы должны оградить его права на присвоенное ему нами значеніе документа или прямого поэтическаго самосвидътельства. По мысли нъкоторыхъ критиковъ, въ этомъ стихотвореніи вовсе нътъ ръчи о поэзіи и о призваніи поэта: «Пророкъ» Пушкина принимается ими за дъйствительнаго, въ собственномъ смыслъ пророка, при чемъ иные признаютъ его пророкомъ библейскимъ, другіе относятъ его къ Корану и видятъ въ немъ самого Мухаммеда. Начнемъ съ этого второго мнънія, недавно высказаннаго въ печати и усердно защищаемаго. Дъйствительныхъ основаній, однако, въ пользу такого мнънія не было приведено, и мы не знаемъ, откуда ихъ можно взятъ. Несомнънно, что Пушкинъ читалъ Коранъ и писалъ стихотворныя подражанія нъкоторымъ мъстамъ изъ него, — вотъ единственный положительный и неоспоримый фактъ, сюда относящійся, и понятно, что онъ самъ по себъ ничего не доказываетъ, такъ какъ столь же несомнънно, что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно, что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно, что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно. что Пушкинъ внимательно и съ увлетакъ какъ столь же несомнънно предектакъ прадектъ предектакъ примън предектакъ п

ченіемъ читалъ Библію п также пользовался ею для стихотворныхъ подражаній. Значить, даже въ томъ предположеніи, что Пушкинскій «Пророкъ» дслженъ быть принятъ въ собственномъ смыслѣ, еще нужно рѣшить вопросъ, на кого онъ больше похожъ: на библейскаго пророка, или на Мухаммеда. Но быть болье похожимъ на послѣдняго онъ не можетъ уже потому, что между нимъ и Мухаммедомъ вовсе нѣтъ никакого сходства. Авторъ оспариваемаго мнѣнія, при всемъ своемъ стараніи, не могъ привести ни одной черты, которая бы ихъ дѣйствительно связывала. Вмѣсто признаковъ специфическихъ и индивидуальныхъ, приводятся критикомъ лишь такіе общіе и неопредѣленные, которые принадлежатъ Мухаммеду столько же, сколько и всякому другому пророку, библейскому или нному, и даже многимъ провиденціальнымъ дѣятелямъ, не имѣвшимъ пророческаго званія в. Именно такой общій характерь имѣють двѣ главныя черты сходства съ Мухаммедомъ, найденныя критикомъ у Пушкинскаго «Пророка».

Во-первыхъ, пустыня, — съ нея начинается Пушкинское стихотвореніе:

Духовной жаждою томимъ, Въ пустынг мрачной я влачился.

Извъстно, что Мухаммедь въ началъ своего поприща удалялся на цълые дни въ близкую къ Меккъ пустыню Хира, гдъ размышлялъ объ истинной въръ и сильно тосковалъ и сокрушался о религіозномъ невъжествъ своихъ земляковъ-идолопоклонниковъ. Вотъ и готовъ первообразъ для Пушкинскаго «Пророка»! Однако, можно ли найти хоть одного такого «пророка», который не подходилъ бы подъ эти два стиха? Какъ всъмъ «конямъ ретивымъ» свойственно быстро бъгать, такъ всъмъ «пророкамъ» свойственно томиться духовной жа-

⁶ Замътимъ кстати, что Коранъ не приписываетъ этого званія и самому Мухаммеду, обозначая его всегда какъ посланника Божія, значить, скоръе, какъ апостола, чъмъ пророка. Выраженіе: "посланникъ" Божій (рассуль-Алла) осталось за Мухаммедомъ, какъ его главный титулъ, и въ позднъйшемъ словоупотребленіи мусульманъ. Для нашего вопроса это, впрочемъ, не имъетъ значенія, такъ какъ Пупкинъ, читая Коранъ въ тогдашнихъ вольныхъ переводахъ, звалъ Мухаммеда, по старому обычаю, пророкомъ въ своихъ подражаніяхъ Корану и въ примъчаніяхъ къ нимъ, изъ чего, конечно, не слъдуетъ, чтобы онъ имълъ въ виду этого "пророка" въ особомъ болъе позднемъ стихотвореніи, не зависящемъ отъ тъхъ подражаній.

ждой и влачиться въ мрачной пустынъ: въдь этимъ всь они и отличаются отъ простыхъ обывателей, которымъ болъе свойственно томиться жаждею тълесною, и которые не столько влачатся въ пустынъ, колько взаять и прогуливаются въ мъстахъ населенныхъ и осевщенныхъ. А «пророки», тъ — всъ удалялись въ пустыню. Илія и Іоаннъ Креститель тамъ даже пребывали. И кромъ пророковъ, собственно такъ называемыхъ, многія другія историческія лица, болъе или менъе близкія къ пророческому типу, уходили въ пустыню и на болѣе долгіе сроки, чъмъ Мухаммедъ: — такъ, напримъръ, Шакъямуни-Будда, апостоль Павелъ, Іоаннъ Златоустъ. Францискъ Ассизскій, Раймундъ Люллій, даже Игнатій Лойола. На поэтическомъ языкъ нельзя назвать ли, даже инатти ловола. На поэтическомъ языкъ нельзя назватъ иначе, какъ пустыней, и то осеннее уединеніе въ глухой русской деревнъ, гдъ самого Пушкина посъщали его лучшія вдохновенія. И мрачное настроеніе испытываль въ пустынъ не одинъ Мухаммедъ. И для Пушкина его любимая пустыня имъла тяжелую сторону, и лучшимъ вдохновеніямъ предшествовали долгія состоянія унынія и даже отчаянія. Во-вторыхъ, ангелъ — въ Пушкинскомъ «Пророкъ»:

II шестикрылый серафимъ На перепуть в мн явился.

Относительно Мухаммеда изв'єстно изъ Корана, что его посланничество началось съ какого-то особаго явленія, истолкованнаго зат'ємъ какъ явленіе ангела. Это явленіе им'єло опред'єленный характеръ кошмара по списанію самого Мухаммеда: кто-то сильно и продолжительно давиль его среди сна, заставляя прочесть слова въ открытой книгъ. Послъ того, какъ Мухаммедъ прочелъ, онъ всталь и вернулся домой, гдъ разсказаль о происшествіи своей женъ. Вскоръ занулся домой, гдь разсказаль о происшествіи своей жень. Вскорь за-тьмь онь имьль другое «видьніе», но не вы пустынь, а у себя вы садовой бесьдкь: онь видьль на нькоторомы разстояніи какую-то огромную и свытлую фигуру, которая также потомы была признана за ангела, но вы описаніи Мухаммеда это второе явленіе отличается еще большею неопредыленностью, чымы первое. Неприкрашенный, безыс-кусственный разсказы Мухаммеда о бывшихы ему явленіяхы «ангела» характеризуеты его самого сы лучшей стороны, какы искренняго, правдиваго человыка. Но то, что ему представилось, такы же не по-хоже на «шестикрылаго серафима», какы его скромное и робкое воз-вращеніе домой и смущенное объясненіе сы женою мало напоминаеть предписанный Пушкинскому «Пророку» образы дыйствій: И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей!

Шестикрылый серафимъ, и по имени, и по образу, принадлежитъ Библіи (попавши туда по всей въроятности изъ Египта), п котя многое перешло изъ Библіи въ Коранъ, но серафимъ остался нетронутымъ — ясное свидътельство того, какъ чуждо было это представленіе Мухаммеду. И ангелы Божіи вообще крайне ръдко являются въ Коранъ: для него скоръе характерны джинны, геніи — существа демоническія неопредъленной нравственной природы. Между тъмъ, Библія вся полна ангельскими явленіями. «Ангелъ Господень» посылаются не только къ пророкамъ, но и къ простымъ людямъ, и не только къ людямъ, но и къ животнымъ. Очевидно, Пушкину не было надобности ходить за ангеломъ въ Коранъ.

Эти двъ черты (пустыня, ангель), не имъющія ничего характернаго для Мухаммеда, соединяются въ этомъ стихотвореніи съ двумя другими чертами, прямо не позволяющими отождествить Пушкинскаго «Пророка» съ основателемъ ислама. Послъ того, какъ серафимъ коснулся очей и ушей «пророка», послъдній получаетъ способность высшаго познанія, — ему открывается тайная жизнь вселенной:

И вняль я неба содроганье, И горній ангеловъ полеть, И гадъ морскихъ подводныхъ ходъ. И дольней лозы прозябанье.

Между тъмъ, Мухаммедъ въ Коранъ постоянно и настойчиво повторяетъ заявленіе, что Богъ никогда не открывалъ ему никакого знанія вещей сокровенныхъ и вообще ничего кромъ того, что поручилъ ему: проповъдовать истину единобожія арабамъ-идолопоклонникамъ. — Далъе: у Пушкина, въ концъ стихотворенія, «Божій гласъ» повелъваетъ пророку, для исполненія его призванія, обходить моря и земли. Помимо уже упомянутаго несоотвътствія между такимъ повельніемъ и дъйствительнымъ скромнымъ началомъ Мухаммедова посланничества, — всякое отношеніе этого «Божьяго гласа» къ Мухаммеду прямо устраняется многократными и ръшительными заявленіями арабскаго «апостола», что онъ не былъ посланъ Богомъ ни къ какому другому народу, кромъ только однихъ арабовъ-идолопо-клонниковъ. Всъ народы, — твердилъ Мухаммедъ, — имъли своихъ пророковъ, или апостоловъ, открывавшихъ имъ истинную въру, —

одни только арабы Хеджаса и Нэджеда еще не имъли такого откровенія и блуждають во тымъ невъдънія о единомъ Богъ; и вотъ Богь посылаеть къ нимъ его, Мухаммеда, только къ нимъ и только съ этою проповъдью единобожія. Пушкинъ не только читалъ Коранъ, но и сиштывался въ него, какъ видно изъ его подражаній, и слъдовательно онъ никакъ не могъ пропустить тъ многочисленныя мъста этой книги, гдъ Мухаммедъ ръшительно отказывается отъ всякихъ притязаній какъ на проникновеніе въ тайны всемірной жизни, такъ и на универсальность своего посланничества. Нашъ поэтъ навърное замътилъ эти мъста, и слъдовательно, если бы онъ дъйствительно хотълъ въ своемъ «Пророкъ» изобразить именно Мухаммеда, то, конечно, не допустилъ бы такихъ противоръчащихъ этой задачъ стиховъ. Да и зачъмъ бы понадобилось Пушкину въ 1826 году давать завъдомо невърное изображеніе Мухаммедова посланничества, когда въ 1824 году онъ уже изобразилъ его въ чертахъ върныхъ? Въ самомъ дълъ, первое изъ его подражаній Корану оканчивается такимъ Божьимъ голосомъ къ Мухаммеду:

Мужайся жъ, презирай обманъ, Стезею правды бодро слъдуй, Люби сиротъ и мой Коранъ Дрожащей твари проповъдуй.

Вотъ это дъйствительно то, что нужно: это дъйствительно близко къ мысли и языку Мухаммеда. «Презирай обманъ», «люби сиротъ» — это буквально. Но, чтобы оцънить всю върность послъдняго стиха, котя онъ и не букваленъ, нужно вспомнить разсказъ Мухаммеда о томъ, какъ однажды на дорогъ его окружила толпа джинновъ-идоло-поклонниковъ; замътивъ ихъ, онъ сталъ имъ проповъдовать единаго истиннаго Бога, и джинны съ трепетомъ слушали его. Если подъ «дрожащею тварью» разумъть, какъ и слъдуетъ, арабовъ-идолопо-клонниковъ вмъсть съ ихъ джиннами, то дъйствительное повелъне Божіе Мухаммеду получитъ въ Пушкинскомъ стихъ самое върное и полное свое выраженіе. И зачъмъ же послъ этого относить къ Мухаммеду небывалый и невозможный въ такомъ примъненіи Божій гласъ: «и, обходя моря и земли, глаголомъ жги сердца людей»? Эти, сами по себъ превосходные два стиха — при мнимомъ тождествъ Пушкинскаго «Пророка» съ Мухаммедомъ — звучатъ фальшиво. Они заразъ и слишкомъ широки, и слишкомъ узки: зачъмъ обходить моря и земли, когда велъно оставаться здъсь на мъстъ, среди своего на-

рода, и зачёмъ «сердца людей», когда въ этомъ народе, къ которому посланъ проповедникъ, кроме людей есть и джинны?

Пушкинъ всегда — и ранее, въ пору «Руслана и Людмилы», и поздве — въ «Каменномъ госте» и въ «Русалке» — охотно раскрывалъ двери поэзіи для стихіи фанмастической, въ которой онъ, какъ и все великіе поэты безъ исключенія, чуллъ реальную основу; но Пушкинъ никогда не допускалъ въ поэзіи элемента фальши, искусственнаго искаженія живой правды чертами внутренно-неправдоподобными. Мухаммедъ, проповедующій единаго Бога передъ «дрожащею тварью» джинновъ, хорошо ему знакомыхъ, — такой Мухаммедъ можетъ быть со стороны названъ фантастомъ, но, несомнённо, это есть тотъ самый настоящій, живой Мухаммедъ, котораго знаетъ исторія, который оставилъ намъ Коранъ и остался въ немъ. Между тёмъ, Мухаммедъ, обходящій неведомыя ему моря и земли, чтобы жечь сердца людей вообще, явился бы Мухаммедомъ не только небывалымъ, но и внутреннно-фальшивымъ, безтолково сочиненнымъ и ни къ чему ненужнымъ. Такого Мухаммеда могли бы придумать Озеровъ, или Кукольникъ, но никакъ не Пушкинъ.

VI.

Достаточно ясно, кажется, что геніальное созданіе Пушкинскаго «Пророка» не можеть имѣть никакого прямого положительнаго отношенія къ Мухаммеду, котораго самъ Пушкинъ передъ тѣмъ совершенія къ Мухаммеду, котораго самъ Пушкинъ передъ тѣмъ совершенно иначе изобразиль въ цѣлой группѣ прекрасныхъ стихотвореній. Они относятся къ 1824 году, «Пророкъ» — къ 1826; а какъ разъмежду этими двумя датами — на 1825 годь — приходится время усиленнаго чтенія Библіи, отмѣченнаго и двумя стихотворными подражаніями ей. Такимъ образомъ «Пророкъ» отдѣленъ отъ Корана Библіей, которая и должна была оказать на это стихотвореніе ближайшее и сильное воздѣйствіе. Прямо подражать Пушкинъ только одной изъ священныхъ книгъ, именно «Пѣсни Пѣсней», но несомнѣнно, что въ ту же эпоху онъ много читалъ и другія части Библіи, особенно пророческія, и мы видимъ дѣйствительно, что это недавнее птеніе какъ и стѣлова по оживать на востито на его «Пророма» самую чтеніе, какъ и слѣдовало ожидать, наложило на его «Пророка» самую явственную и свѣжую печать. Кромѣ библейскаго образа шестикрылаго серафима, въ основѣ своей взято изъ Библіи и послѣднее дъйствіе этого посланника Божія:

И онъ мнъ грудь разсъкъ мечомъ, И сердце трепетное выпулъ, И углъ, пылащій огнемъ, Во грудь отверстую водвинулъ.

Библіи принадлежить и общій тонь стихотворенія, невозмутимо величавый, что-то недосягаемо возвышенное. И какъ ясно отличается этотъ тонь отъ кипучаго, нервнаго краснорьчія Корана, также прекрасно переданнаго поэтомъ въ его «Подражаніяхъ»! И самый грамматическій складъ еврейской ръчи, бережно перенесенный въ греческую, а оттуда въ церковно-славянскую Библію, удивительно выдержанъ въ нашемъ стихотвореніи. Отсутствіе придаточныхъ предложеній, относительныхъ мъстоименій и логическихъ союзовъ при нераздъльномъ господствъ союза и (въ тридцати стихахъ онъ повторяется двадцать разъ) настолько приближаютъ здъсь Пушкинскій языкъ къ библейскому, что для какого-нибудь талантливаго гебраиста, я думаю, ничего бы не стоило дать точный древне-еврейскій переводъ этого стихотворенія.

Итакъ, по формъ мы, безъ сомнънія, имъемъ здъсь дъло съ удачнъйшимъ, безукоризненнымъ подражаніемъ Библіи. Но что сказать о содержаніи этого стихотворенія? Конечно, мы не найдемъ въ немъ того опредъленнаго противоръчія съ Библіей, въ какомъ оно находится съ Кораномъ, гдъ говорится: нътъ по тъмъ самымъ пунктамъ, по которымъ въ стихотвореніи стоитъ: да. Между содержаніемъ этого стихотворенія и содержаніемъ библейской пророческой идеи противоръчія нътъ, но есть отсутствіе внутренняго совпаденія — дъло идеть не соъ одномъ и томъ же. Пушкинскій «Пророкъ» испытываетъ, слышитъ и говоритъ не противоположное, но совсъмъ другое, по существу отличное отъ того, что испытывать, слышалъ и говорить настоящій библейскій пророкъ — Амосъ или Іезекіиль, Исаія или Іеремія — и всъ, сколько ихъ ни было, отъ загадочнаго Валаама до загадочнаго Даніила.

Я долженъ здъсь опять указать на тъ же два пункта: 1) открывающееся «пророку» новое проникновеніе въ тайны всемірной жизни и 2) отвлеченный универсализмъ его «пророческаго» призванія.

Во-первыхъ. Если еврейскіе пророки не заявляли такъ рѣшительно, какъ Мухаммедъ, что имъ не открыто никакихъ тайнъ природы, то это вѣдь потому, что съ нихъ никто и не спрашивалъ этихъ тайнъ, какъ требовали ихъ отъ Мухаммеда искушавшіе его корейшиты. Но что и єврейскіе пророки не имъли никакого притязанія на это новое высшее познаніе — достаточно ясно пзъ ихъ писаній. Если и говорится здёсь въ одномъ мёсть, что новое познаніе нѣкогда какъ море покроетъ всю землю, — то, во-первыхъ, это относится къ будущему пришествію Мессіи и къ новому возрожденному состоянію Израиля и всего человъчества, а не утверждается пророкомъ какъ фактъ его личнаго опыта: начатокъ высшаго зпанія быль, конечно, и у самихъ пророковъ, но — и это во-вторыхъ — само это знаніе, какъ у нихъ, такъ и у будущаго человъчества, о которомъ они возвъщали, не имъетъ ничего общаго съ проникновениемъ въ подводный ходъ морскихъ гадовъ, ни въ прозябаніе лозы, ни даже въ летаніе ангеловъ и въ содроганіе неба: это новое знаніе не есть высшая біологія, или космологія, а только высшая теологія: видъніе Ягвэ и ничего болъе.

Настоящіе библейскіе пророки менѣе всего интересовались порядкомъ природной жизни хотя бы въ самыхъ глубокихъ ея основахъ, хотя бы въ самыхъ возвышенныхъ ея явленіяхъ; нужно было двойное давленіе эллинской и египетской стихіи въ александрійскую эпоху, чтобы возбудить въ отдъльныхъ евреяхъ интересъ къ міровому строю, и если впослъдствіи каббалисты усматривали уже у пророка Іезекіили тайное ученіе (содъ) о круговращеніи душъ, міровъ и божественныхъ сферь (меркаба — колесница), то самъ Іезекіиль быть тутъ, по всему въроятію, ни душою, ни тъломъ не виноватъ. Во всякомъ случаъ, для типичнаго еврейскаго пророка, какъ и для халдейскаго царя (въ книгъ Даніила), высшій вопросъ знанія быль одинь: что будетъ посль сего?

Главный предметь ихъ умственнаго интереса, какъ и ихъ сердечной заботы, — не въ области природы, а въ области *исторіи*. Вотъ почему пророческія писанія въ Библіп, не менъе историческихъ, полны собственными именами лицъ и народовъ. Самая наглядная черта разсобственными именами лицъ и народовъ. Самая наглядная черта различія между исторіей и природой — въ томъ, что первая вся держится собственными именами, тогда какъ для второй имѣютъ значеніе только имена нарицательныя. Можно ли передатъ правдиво рѣчь еврейскаго пророка безъ всякихъ собственныхъ именъ?

И если бы вдохновеніе побудило Пушкина возсоздать подлинный образъ дѣйствительнаго библейскаго пророка, то онъ, конечно, вложилъ бы въ его уста настоящую, не по формѣ только, но и по содержанію пророческую рѣчь Библіи, гораздо болѣе, чѣмъ рѣчь араба,

насыщенную историческимъ элементомъ и его выраженіемъ — собственными именами. И библейское стихотвореніе Пушкина, подобно самой Библіи, пестрѣло бы собственными именами — Израиля и Ассура, Мицраима и Эдома, Моаба и Аммона. Неужели Пушкинъ, читая Библію и восхищаясь ею, не понималъ ел основного смысла, не замѣтилъ, что ел существенный характеръ и интересъ — въ богочеловѣческой исторіи, а не въ природѣ и не въ отвлеченной нравственности? А если замѣтилъ и понялъ, то какъ могло случиться, что въ 1826 году Пушкинъ потерялъ ту способность, которою уже обладалъ два года тому назадъ — способность возсозданія живыхъ историческихъ образовъ? Вѣдь Мухамиедъ въ «Подражаніяхъ Корану» гораздо ярче, живѣе и историчнѣе «пророка» въ стихотвореніи этого имени, — если предположить, что дѣло идетъ о библейскомъ пророкѣ. У такого пророка, наслѣдника долгаго историческаго процесса, опредѣленный историческій характеръ долженъ бы, однако, выступать сильнѣе, нежели у Мухаммеда, явившагося среди полудикаго, уединеннаго племени, чтобы еще только начамь его исторію. Между тѣмъ, въ «Подражаніяхъ Корану» Пушкинъ переноситъ насъ на историческую почву:

А вы, о, гости Магомета... - И т. д.

И затъмъ:

Онъ милосердъ: Онъ Магомету Открылъ сіяющій Коранъ. Да притечемъ и мы ко свѣту, И да падеть съ очей туманъ...

— тогда какъ «Пророкъ», несмотря на библейскую форму, находится въ какой-то неопредъленной и анонимной средъ: во всемъ стихотвореніи ни одного собствечнаго имени, а говорится только о морскихъ гадахъ да небесныхъ ангелахъ, и все это можетъ быть превосходнымъ, каково оно и есть, лишь при условіи не изображать библейскаго пророка, не передавать его рѣчи.

Во-вторыхъ. То же должно сказать и о заключительныхъ сти-

Во-вторыхъ. То же должно сказать и о заключительныхъ стихахъ: и они совсъмъ не подходятъ къ предполагаемой библейской темъ. Прямое призваніе всъхъ еврейскихъ пророковъ относилось не къ людямъ вообще, а къ еврейскому народу, и универсализмъ ихъ былъ не отвлеченнымъ и предвзятымъ, а представлялъ живое переростаніе національной религіозной идеи. ея реальное расширеніе въ

идею всемірно-религіозную, при чемъ живымъ средоточіемъ до конца оставалось національное «я» Израиля. Богъ въ Библіи никогда не новелѣвалъ своимъ пророкамъ сбходить моря и земли, а напротивъ, возвѣщалъ черезъ нихъ, что всѣ народы сами придутъ къ Израилю. Люобпытно, что единственный пророкъ, пустившійся было въ морское плаваніе — Іона, — сдѣлалъ это не въ силу повелѣнія Божія, а какъ разъ наоборотъ, вопреки волѣ Божіей, убѣгая отъ даннаго ему свыше посланничества; посылался же онъ не къ людямъ вообще, а къ жителямъ Ниневіи, столицы той міровой державы, отъ которой ближайшимъ образомъ зависѣла судьба царства израильскаго. При всей загадочности такой миссіи, какъ и прочаго содержанія этой любопытной священной былины, ясно, что и въ ней пророческое сознаніе хотя является свободнымъ отъ національной замкнутости и исключительности (что несомнѣнно и было на самомъ дѣлѣ), но ничуть не лишеннымъ національнаго средоточія, какимъ и для Іоны оставался Израиль.

Откровеніе, которое получали дѣйствительные пророки, вообще, относилось всегда къ судьбамъ народовъ, и у пророковъ библейскихъ сосредоточивалось на судьбѣ избраннаго народа Божія. Этому исмотическому характеру пророческаго откровенія соотвѣтствоваль такой же характерь той миссіи, которая давалась имъ свыше: они должны были возвѣщать Израилю, а по связи съ нимъ и другимъ народамъ, чего требуетъ отъ нихъ Богъ въ данный историческій моментъ и что ожидаетъ ихъ въ случаѣ сопротивленія волѣ Божіей. Это есть существенная основа и собственное содержаніе пророческаго служенія, то, что всегда въ немъ присутствуетъ, хотя можетъ болѣе или менѣе расширяться въ разныя стороны. Внѣ этой основы можно быть моралистомъ, мудрецомъ, чѣмъ угодно, но только не пророкомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Между тѣмъ, ничего подобнаго историческому библейскому содержанію мы не находимъ въ «Пророкѣ» Пушкина. Откровеніе, имъ полученное, относится не къ судьбамъ и движеніямъ народовъ, не къ дѣятелямъ исторіи, а къ подводному ходу морскихъ гадовъ и къ другимъ существамъ низшей и высшей природы. А повелѣніе, которое ему свыше дается, имѣетъ характеръ отвлеченно-нравственный, безразлично-универсальный, относясь опять таки не къ опредѣденнымъ субъектамъ историческимъ, — личнымъ или собирательнымъ, а къ людямъ вообще:

Но въ чемъ же эта водя?

II, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей...

Но какимъ же глаголомъ, — глаголомъ о чемъ? Въдь пріобрътенное пророкомъ знаніе о морскихъ гадахъ и прочемъ, хотя бы самое глубокое и проникновенное, не имъетъ жгучаго свойства, а ни на какое другое содержаніе проповъди нътъ намека.

Если бы въ этомъ стихотвореніи имѣлось въ виду дать образъ пророка въ собственномъ смыслѣ, то оно страдало бы сплоты крайнею неясностью, противо-художественною неопредѣленностью, а отчасти и несообразностью. Между тѣмъ, оно безспорно прекрасно отъ начала до конца. Значитъ, его смыслъ — другой.

VII.

Всякій настоящій пророкъ имъетъ исторически-опредъленное призваніе; Пушкинскій «Пророкъ» никакого опредъленнаго призванія не имъетъ; въ его образъ и въ его рѣчи нътъ ни малъйшей исторической черты; слъдовательно. онъ — не настоящій пророкъ. Это такъ же върно, какъ то, что Пушкинъ — настоящій поэтъ. Кого же онъ даль намъ въ своемъ «Пророкъ»? Уже давно было угадано и простыми читателями Пушкина, и критиками, что это — идеальный образъ истиннаго поэта въ его сущности и высшемъ призваніи. Я не знаю, кто первый сталъ оспаривать нъчто столь очевидное; приходится, однако, устранить возраженія, созданныя невнимательностью и несообразительностью.

«Зачъмъ бы Пушкинъ нарядилъ поэта въ неподобающій ему библейскій костюмъ, зачъмъ онъ изобразилъ его не тъмъ, что онъ есть въ дъйствительности, а тъмъ, чтмъ онъ не былъ и быть не могъ?» — Этотъ вопросъ значитъ въ сущности: зачъмъ Пушкинъ изобразилъ поэта поэтически, а не прозаически, — въ видъ современнаго литератора? Въ отвътъ на это достаточно указать на тъ близкіе случаи, гдъ Пушкинъ даетъ поэту еще менъе свойственный ему видъ, представляя его то какъ жреца языческаго бога Аполлона, то какъ простое, обыжновенное эхо.

Впрочемъ, именно въ виду того, что Пушкинъ для идеи поэта пользуется всякими симводическими образами, мы должны признать

особенное значеніе за тѣмъ фактомъ, что въ 1826 году Пушкинъ какъ разъ находился въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ въ минуту творчества его поэтическое самосознаніе всего естественнѣе выразилось въ грандіозномъ образѣ древняго пророка.

1826 годъ быль важнымъ годомъ въ жизни Пушкина. какъ поэта. Будучи уже хронологически точною серединой, дѣлящею двадатилѣтнюю поэтическую дѣятельность Пушкина (1816—1836) на двѣ равныя половины, этотъ годъ совпалъ съ большимъ переломомъ, и внѣшнимъ, и внутреннимъ, въ его судьбѣ. Безъ всякаго искательства, которое было бы унизительно для его достоинства, какъ человѣка и писателя, Пушкинъ былъ освобожденъ отъ продолжительной государственной опалы, которою онъ начиналъ сильно тяготиться. Возстановленный въ своемъ полноправіи и лично обласканный новымъ государемъ, впечатлительный поэтъ испыталъ то бодрое, повышенное настроеніе. которое вскорѣ затѣмъ выразилось въ стансахъ:

Въ надеждъ славы и добра, Гляжу впередъ я безъ боязни...

При томъ онъ имълъ право признать себя именно за пророка, или, по крайней мъръ, въщуна, въ виду того положительнаго и опредъленнаго предсказанія, которое онъ сдълалъ въ 1825 году и которое въ точности исполнилось въ 1826 году:

Пора и мнв... Пируйте, о, друзья! Предчувствую отрадное свиданье; Запомните жь поэта предсказанье: Промиится годь — и съ вами снова я! Исполнится завъть моихъ мечтаній; Промиится годь — и я явлюся къ вамь!

Къ повышенному настроенію, вызванному извит, присоединилась и внутренняя перемтна, связанная съ двухлѣтнимъ уединеніемъ Пушкина въ деревить. Какъ человткъ по темпераменту живой, экспансивный, общительный, онъ тяготился этимъ уединеніемъ, но какъ поэтъ — онъ обязанъ ему зрѣлостью своего генія. Если прежнія невольныя странствія на югть — Бессарабія, Одесса, Крымъ — дали ему обильный запасъ разныхъ впечатлѣній, то послѣднее двухлѣтнее заключеніе въ глухой сѣверной деревить образовало и укрѣпило въ немъ самостоятельный творческій даръ. «Ты геній свой воспитывалъ въ тиши», — обращается онъ къ Дельвигу. Это дружеское преувели-

ченіе. дізлающее честь сердцу Пушкина, было бы точною истиною въ приміненій къ нему самому. Во всякомъ случай, и само по себі ясно, и многократными свидітельствами Пушкина подтверждается; что поэтическій геній воспитывается въ тиши, а не на толкучемъ рынкі темнаго світа. Какъ видно уже изъ хронологическаго перечня поэтическихъ произведеній Пушкина, его «изгнаніе» было самымъ плодотворнымъ временемъ для его поэзіи. Онъ вышель изъ своего заключенія, иміня за собою опытъ двухлітняго усиленнаго творчества. Повышенное житейское настроеніе совпало съ могучимъ подъемомъ поэтическаго самосознанія; среди внішнихъ стісненій онъ ясніве прежняго позналь внутреннюю свободу творчества, и призваніе его, какъ поэта, стало представляться ему въ чертахъ грандіозныхъ. Въ одну изъ вдохновенныхъ минутъ это представленіе воплотилось въ библейскомъ образів «пророка». Посмотримъ, что говорить намъ это стихотвореніе о значеніи поэзіи.

VIII.

Духовной жаждою томимъ, Въ пустыт мрачной я влачился...

Въ этихъ двухъ стихахъ указано все, что требуется со стороны истиннаго поэта. Отъ него не требуется никакого дѣйствія и никакого опредъленного и предвзятаго утвержденія о чемъ бы то ни было. Онъ долженъ быть нищъ духомъ, его душа должна быть такъ же пуста, какъ та пустыня, куда его тянетъ. И эта пустота души не только не дѣдаетъ его «пустымъ человѣкомъ», но составляетъ основную противоположность между нимъ и дѣйствительно пустыми людьми, которыхъ первый признакъ есть незнаніе о своей пустотѣ. Да какъ имъ и знать о ней, когда они такъ явно полны — въ смыслѣ Пушкинской эпиграммы:

Да ты чёмъ полонъ, шутъ нарядный? А, попимаю: самъ собой,— Ты полонъ дряни, милый мой.

Всегда занятые и вполнъ довольные этою и прочею дрянью, такіе люди въ началъ, когда слава истиннаго поэта еще не утверждена потомствомъ, признаютъ его виновнымъ въ пустотъ, хотя и заслуживающимъ снисхожденія: — Хоть, впрочемъ, онъ поэтъ изрядный, Эмилій человъкъ пустой, —

а впослъдствіи ихъ внуки, охотно принявъ fait accompli, съ услужливою торопливостью удъляють прославленному человъку отъ своей полноты.

Пустота истиннаго поэта жаждеть, конечно, иного наполненія. Все то житейское содержаніе, что наполняеть сердца и умы занятыхь людей, весь ихь мірь должень стать для истиннаго поэта пустынею мрачной — болье мрачною и пустою, чымь та, въ которой онъ влачится, и которая даеть ему убъжище отъ мнимой и суетной полноты жизни, и внышнее условіе для будущаго утоленія его духовной жажды. Онъ ничего не дылаеть, ничымь не занять, не сочиняеть никакого новаго, своего содержанія — изъ своей пустоты, не думаеть оплодотворить свою душу отъ пустыннаго вытра главы своей, — жаждеть духовнаго удовлетворенія и влачится къ нему. Сь его стороны больше ничего и не требуется: алчущіе и жаждущіе насытятся...

И шестикрылый Серафимъ на перепутьъ мнъ явился.

«На перепутьт» — черта автобіографическая: на жизненномъ перепутьть Пушкина въ 1826 году, между прошлыми мечтами и надеждами будущаго, явился многокрылый духъ втиной свободной поэзіи. Тотъ геній чистой красоты, о которомъ ему прежде мимолетно напоминали случайныя встрти съ живыми образами прекраснаго, явился теперь самъ, и не какъ мимолетное видтніе, а какъ втрный благодтель, — явился, коснулся его и открылъ ему... не новыя какія-нибудь, невиданныя и неслыханныя чудеса и тайны. — нтъ, онъ только открылъ его глаза и уши:

Перстами легкими, какъ сонъ, Моихъ зъницъ коснулся онъ: Отверались въщія зъницы, Какъ у испуганной орлицы; Моихъ ушей коснулся онъ, И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ.

Новыхъ чувствъ не даетъ геній поэту; онъ только усиливаетъ, возводитъ на выстую ступень прежнія чувства, дѣлаетъ поэта духовно болѣе зоркимъ и болѣе чуткимъ? И что же онъ воспринимаетъ этою новою чуткостью? Опятъ таки ничего небывалаго; повышенныя, перерожденныя чувства не помогаютъ ему сочинять то, чего

нъть, выдумывать что-нибудь новое, а только помогають ему лучше видъть и слышать то, что всегда есть:

II внялъ я неба содроганье,II горній ангеловъ полетъ,II гадъ морскихъ подводныхъ ходъ,II дольней лозы прозябанье.

Все, что есть на небесахъ и на землѣ, изначала положенное Предвѣчнымъ и въ шесть творческихъ дней устроенное, — все это шестикрылый геній открываетъ вниманію поэта. Онъ даетъ ему слышать не то, чего нѣтъ, или не было. а то, что ускользаетъ отъ грубаго чувства:

II сталъ я слышать съ этихъ поръ,Что для другихъ неуловимо. (А. Толстой.)

Все и такъ существующее, всякому извъстное, но не такъ, какъ оно извъстно, а въ въчной силъ своего образа, насквозъ просвътленное все, до послъдней пылинки, стоитъ передъ духовнымъ воспріятіемъ поэта:

Этотъ листокъ, что засохъ и свалился, Золотомъ въчнымъ горитъ въ пъснопъньи. (Фета.)

Вотъ это въчное золото, которымъ у Бога горитъ все существующее, — его-то и показалъ Серафимъ поэту, въ немъ-то и сущность поэзів.

Но что же такое вдругь случилось? Отчего этоть Серафимъ, божественно-невозмутимый и женственно-нѣжный, съ перстами легкими, какъ сонъ, вдругъ, вмѣсто божественной невозмутимости, начинаетъ проявлять невозмутимость опытнаго хирурга, а женственную нѣжность замѣняетъ свирѣпостью краснокожаго индѣйца?

И онъ къ устамъ моимъ приникъ, И вырвалъ гръшный мой языкъ, И празднословный, и лукавый...

Откуда вдругъ взялись эти категоріи порядка нравственнаго?

И жало мудрыя змёй Въ уста замершія мои Вложилъ десницею кровавой

Откуда это превращеніе перстовъ легкихъ, какъ сонъ, въ кровавую десницу? Впрочемъ, если бы Серафимъ просто вырвалъ языкъ у пророка, естественно запачкавшись при этомъ кровью, и Пушкинъ передаль бы этоть факть безь всякаго объясненія, то наши эстеты и гиперэстеты нашли бы туть новый поводь для восхищенія и для причисленія Пушкина кь своимъ: воть, моль, до какой степени поэть быль проникнуть идеей новой красоты, которая выше различія добра и зла, — что даже Серафима заставляеть злодъйствовать, и при томъ безо всякихъ угрызеній совъсти — не Борису Годунову или Сальери чета! Но бъда въ томъ, что дъйствіе Серафима имъетъ у Пушкина внутренній смыслъ, и при томъ самый непріятный для гиперэстетической тенденціи: языкъ вырывается не ради красоты этого хирургическаго «жеста», а ради пользы, и при томъ — что еще ужаснъе — ради пользы нравственной: грѣшный, празднословный и лукавый языкъ человъческихъ страстей и слабостей нужно замѣнить жаломъ сосредоточеннаго и мудраго слова.

Если бы Пушкинъ остановился на половинъ стихотворенія — на «дольней лозы прозябанье», — то онъ заслужилъ бы всецьлое одобреніе эстетовъ, тъхъ сравнительно безобидныхъ между ними, которыхъ заблужденіе состоитъ именно лишь въ томъ, чтобы половину принимать за цълое. Небесный геній возводитъ избранника — пророка по формъ, поэта по существу — въ область чистой поэзіи, въ міръ въчной и всеобъемлющей красоты, озаряющей своимъ сіяніемъ всякое бытіе, отъ ангела до гада, отъ движенія небесныхъ сферъ до незамътно прозябающаго растенія. Чего же еще? Что можно къ этому прибавить? Если бы Пушкинъ прибавилъ только кровавыя дъйствія Серафима, безъ ихъ нравственнаго основанія, онъ заслужилъ бы искренній восторгъ тъхъ неистовыхъ гиперэстетовъ, которые отъ идеи безразличія добра и зла перешли къ сатаническому почитанію «прекраснаго» злодьйства, «святой» жестокости, «небеснаго» звърства.

Но Пушкинъ не былъ ни гиперэстетомъ, ни даже эстетомъ, а просто поэтическимъ геніемъ; поэтому онъ не могъ угодить ни тѣмъ, ни другимъ; зато угодилъ истинъ.

Тутъ, въ переходъ отъ горнихъ ангеловъ и отъ дольней дозы, отъ всего, что слъдуетъ созерцатъ и слышатъ, къ лукавому языку, котораго не должно ни созерцатъ, ни слушатъ, а нужно вырватъ, — въ изображении этого перехода сказалась вся истинная геніальностъ Пушкина и его значеніе какъ чистаго, безпримъснаго поэта. Если бы онъ писалъ это стихотвореніе отъ своего ума и чувства, вторая половина была бы, во всякомъ случать, мягче. Моральный ригоризмъ

вовсе не быль въ натурѣ Пушкина, въ его личномъ характерѣ. Кажется, никто еще не упрекалъ Пушкина въ томъ, чтобы онъ преднамъренно ставилъ себѣ или другимъ слишкомъ строгія нравственныя требованія. Но онъ былъ чистый поэтъ имѣетъ своимъ предметомъ чистую красоту и — ничего болѣе; а красота сама по себѣ, по самому существу своему, по внутренней природѣ своей, есть ощутительная форма истины и добра. Отдѣлить ее отъ нихъ можно только насильно и искусственно; отнятъ ихъ у нея значитъ лишить ее не посторонняго чего-нибудь, а ея собственнаго внутренняго содержанія.

Красота просвітляеть все существующее; но відь этоть ен світь есть вічная истина. Просвітляя все, что есть, чистая красота оставляеть за всімь его собственное существенное качество, и, слівдовательно, если искусство служить чистой красоті, то оно должно брать все существующее въ его истині. Въ элементарныхъ случаяхъ это совершенно ясно и безспорно. Если художникъ станеть изображать прямое какъ кривое, круглое какъ квадратное, если въ какомънибудь тілесномъ образі то, что выше, онъ поставить ниже, и то, что назади, переставить впередъ, — если, напримірь, живописець изобразить человіка съ носомъ выше ліба, и грудь переставить назадь, а спину впередъ, то, погрішая прежде всего противь истины, онъ, вмісті съ тімь и тімь самымъ, погрішить противъ красоты, произведя нічто безобразное. Значить, художнику достаточно быть вірнымъ красоті, а она уже сама сділаеть его произведенія сообразными истинік по своему внутреннему сродству съ нею.

Но если это такъ въ тѣхъ случаяхъ, когда художество возсоздаетъ образы міра физическаго, то откуда возьмется иное отношеніе къ міру нравственному? Если предметы нашего чувственнаго возэрѣнія — формы математическія — подлежатъ красотѣ и искусству въ своемъ собственномъ качествѣ — прямое какъ прямое и кривое какъ кривое, кругъ какъ кругъ и треугольникъ какъ треугольникъ, и для красоты вовсе не безразлично, принимается ли данный предметъ за самого себя или за что-нибудь другое и противоположное, — то откуда же вдругъ явится такое безразличіе относительно категорій нравственнаго порядка? Красотѣ подлежитъ все, что существуетъ. Ей подлежатъ и прямыя и кривыя линіи, ибо и тѣ и другія существуютъ. Но вотъ чего вовсе не существуетъ и что, слѣдовательно

не можетъ принять и форму красоты, это — безразличіе между прямотою и кривизною. такъ чтобы можно было по произволу брать кривое какъ прямое и прямое какъ кривое; и еще менте возможно изобразить такую кривизну, которая была бы прямте прямоты. Красотт подлежатъ и добро и зло, такъ какъ и то и другое существуетъ; но вотъ чего вовсе не существуетъ и что, значитъ, не можетъ принятъ форму красоты, это — безразличіе между добромъ и зломъ, такъ чтобы можно было считать ихъ одно за другое; и еще менте возможно прекрасно изобразитъ такое зло, которое было бы предпочтительнъе, лучше, добрте добра. Послъ этого оставалось бы только искатъ того безобразія, которое было бы прекраснъе красоты.

IX.

Міръ физическій, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, — мірь ангеловъ и гадовъ, — представляется для поэзіи непосредственно какъ предметъ усиленнаго, повышеннаго и углубленнаго вниманія въ интересъ чисто-созерцательномъ, при чемъ, однако, уже и этотъ міръ, будучи міромъ естественныхъ *различій*, не допускаетъ безразличнаго отношенія къ себъ со стороны поэта (или художника вообще), — въ томъ смыслъ, что если художникъ кисти или слова изобразитъ прямой полетъ ангела какъ кривое пресмыканіе гада, и наоборотъ, то онъ погръшитъ противъ истины, а тъмъ самымъ и противъ красоты, — произведетъ нъчто ложное и безобразное. Міръ нравственный, міръ свободнаго добра и зла, по самому своему существенному качеству уже сразу предстоить и поэзім не какъ предметь созерцательнаго вниманія только, но и какъ предметь жизненнаго ръшенія; ибо онъ по существу своему есть міръ не различія только, но и противоборства. Кривая и прямая линія различаются другь отъ друга, но не борются между собою; добро и зло, правда и лукавство не останавливаются на теоретическомъ различіи, а по необходимости вступають въ дъятельную борьбу; это для нихъ совершенно существенно: если бы зло не противоборствовало добру, то оно не было бы зломъ, а было бы лишь натуральнымъ явленіемъ, какъ кривая динія или морской гадъ; но въдь оно въ дъйствительности вступаетъ въ борьбу съ добромъ, показывая себя какъ дъйствительное нравственное зло и тъмъ открывая и добро какъ такое въ нравственномъ его качествъ; а безъ противоборства злу добро оставалось бы только естественнымъ образомъ бытія, какъ прямая линія или какъ парящій въ небесахъ ангелъ.

Но въдь нравственное добро и зло въ ихъ собственномъ качествъ существуютъ въ дъйствительности, а слъдовательно составляють и предметъ поэзіи именно въ этомо правственномъ качествъ. Странно было бы поэту внимательно созерцать морскихъ гадовъ и небесныхъ ангеловъ и закрывать глаза на человъческую жизнь, насквозь проникнутую нравственными категоріями, всю состоящую изъ относительнаго движенія по всьмъ степенямъ злодьйства и добродьтели, между двумя неподвижными полюсами добра и зла. Ангелы небесные, въ своемъ горнемъ полетъ, и гады морскіе, въ своемъ подводномъ ходъ. пребывають правственно неподвижны, безъ внутреннихъ перемънъ, а потому и со стороны поэта требуютъ только невозмутимаго вниманія; жизнь человъческая опредъляется внутреннимъ нравственнымъ движеніемъ въ ту или другую сторону — или подвигомъ добра, или злодъяніемъ, — а потому и отъ настоящаго объективнаго поэта требуетъ, кромъ созерданія, — нравственной оцънки, внутренняго движенія — симпатіи или антипатіи. Въдь и злодъйства и подвиги добра существують действительно въ этой самой своей нравственной противоположности, и настоящій поэть, воспринимающій и передающій другимъ то, что есть, никакъ не можеть отвлечься отъ существеннаго противоборства добра и зла. Зло существуеть дъйствительно, но по необходимости какъ отрицаемое и уничтожаемое. Поэть одинаково отступиль бы отъ истины, и темъ самымъ отъ красоты, и въ томъ случат, если бы онъ принялъ и изобразилъ зло какъ уничтоженное теперь, а также и въ томъ, если бы онъ не призналь въ немъ отрицаемаго и уничтожаемаго. Внимательно созерцая кривой ходъ ползущаго или плавающаго гада, истинная поэзія не вздумаеть его исправлять, не станеть отрицать или уничтожать кривой линіи: и не за чъмъ, и не за что! Но, входя въ область нравственную, приступая къ двуногому гаду, или хотя бы только къ гръшному, лукавому и празднословному языку самого избранника, истинная поэзія не можеть отнестись къ нему иначе какъ отрицательно, она должна признать его подлежащимъ уничтоженію:

И вырваль гръшный мой языкъ...

Чтобы раскрыть зрѣніе и слухъ для болье тонкихъ и глубокихъ воспріятій, не нужно было истреблять ихъ органовъ, — высшей силь

довольно было ихъ коснуться. Тутъ нечего было истреблять, такъ какъ ни слабость зрѣнія, ни тупость слуха, не представляють ничего активно-дурного — прямого грѣха тутъ нѣтъ. Замѣтимъ, однако, что и это раскрытіе и поднятіе немощныхъ чувствъ на высшую ступень силы не происходить совсѣмъ безболѣзненно: зѣницы отверзаются какъ у испуганной орлицы, — такой испугъ не можетъ бытъ пріятенъ; а также непріятно. когда уши вдругъ наполняются шумомъ и звономъ. Но если подъемъ немощныхъ, хотя и безгрѣшныхъ чувствъ связанъ съ непріятными состояніями, то органы активнаго зла, или прямого грѣха, требуютъ, очевидно, не возвышенія (это значило бы усиливать эло), а полнаго перерожденія чрезъ подавленіе и истребленіе въ нихъ злого начала, что предполагаєтъ настоящее страданіе, состояніе прямо мучительное. Но нуженъ ли такой глубокій переворотъ нравственной природы, нужны ли такія муки новаго рожденія для поэта, баловня свободы, друга лѣни, какимъ въ нѣкоторой мѣрѣ всегда оставался Пушкинъ? И совершилось ли въ немъ самомъ что-нибудь подобное въ эпоху, когда написанъ «Пророкъ»? Въ такомъ вопросѣ автобіографическій элементъ, несомнѣнно присутствующій въ этомъ стихотвореніи, получаєть невѣрный смыслъ и преувеличенные размѣры.

Я долженъ опять напомнить, что Пушкинъ лично никогда, ни въ эту эпоху, ни прежде, ни послѣ, не требовалъ ни отъ самого себя, ни отъ другихъ того глубокаго и полнаго нравственнаго перерожденія, къ которому онъ, однако. былъ таки волей-неволей трагически приведенъ въ три послѣдніе дня своей земной жизни; но за десять слишкомъ лѣтъ до того вопросъ о духовномъ перерожденіи, о вырванномъ языкѣ и о вынутомъ сердцѣ, — все, что изображено во второй половинѣ стихотворенія «Пророкъ», — не имѣло и не могло имѣтъ у Пушкина прямого автобіографическаго значенія. А дѣло было, какъ мы знаемъ, вотъ въ чемъ. Поэтическое самосознаніе Пушкина, созрѣвшее и повышенное въ силу внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ, облеклось въ минуту вдохновенія величавымъ образомъ библейскаго пророка, — образомъ, подходящимъ, конечно, не ко всякому поэту, а лишь къ тому идеальному, свыше призванному, для великаго служенія предназначенному поэту, для той высшей потенціи творческаго генія, которую въ этомъ поднятомъ настроеніи ощущалъ въ себѣ Пушкинъ. А разъ этотъ образъ вдохновеннаго и повышеннаго поэтическаго самосознанія овладѣлъ душою Пушкина, то онъ уже былъ

неволенъ распоряжаться имъ по своимъ мыслямъ и личнымъ житейскимъ опытамъ, а предоставлялъ ему свободно, или, что то же, по внутренней необходимости полнъе и полнъе раскрывать все, что въ немъ содержится, весь его собственный смысль, отъ одного присущаго ему положенія переходя къ другому, еще болье глубокому и содержательному. Не будучи къмъ-нибудь изъ библейскихъ пророковъ и еще менъе Мухаммедомъ, Пушкинскій «Пророкъ» не есть также и какой-нибудь изъ поэтовъ, онъ не есть также и самъ Пушкинъ, а есть чистый носитель того безусловнаго идеальнаго существа поэзіи, которое было присуще всякому истинному поэту, и прежде всего самому Пушкину въ зръдую эпоху его творчества и въ дучшія минуты его вдохновенія. У него это существо поэзіи находило свое чистъйшее, безпримъсное выражение, никогда не достигая, однако, ни у него, ни у другого какого-либо поэта, своего полнаго жизненнаго воплошенія. Но въдь мы говоримъ о стихотвореніи, гдъ живая полнота и всецълость поэтическаго призванія раскрываются поэтически, а не осуществияются практически. И эта идея взята здъсь на той высотъ, въ той тончайшей, разръженной атмосферъ мысли, гдъ сущность привванія поэтическаго сближается и сливается съ чистыйшею сущностью призванія пророческаго, оставляя внизу историческія — національныя и личныя — особенности всёхъ пророковъ вмёстё съ такими же особенностями всёхъ поэтовъ.

Этоть поэто въ одеждѣ пророка, созданный вдохновеніемъ и съ внутреннею, свободною необходимостью раскрывающій полноту своего смысла, не совпадая ни съ кажимъ изъ дѣйствительныхъ поэтовъ, никакъ не можетъ, однако, быть простымъ отвлеченіемъ отъ нихъ, потому что, живя въ нихъ всѣхъ, онъ больше ихъ всѣхъ. онъ есть то въ нихъ, что они всѣ знаютъ въ себѣ какъ лучшее ихъ самихъ, то, что «прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ»; онъ не есть отвлеченіе отъ нихъ, а ихъ существенная норма, какъ чистая геометрическая линія не есть отвлеченіе отъ всякихъ приблизительныхъ эмпирически данныхъ линій, — она есть ихъ существенная норма, безъ которой онъ не имѣли бы смысла и вовсе не существовали бы какъ линіи. Или болѣе близкій примѣръ: «этотъ листокъ, что засохъ и свалился», — не избѣжалъ тлѣнія, его форма не осилила расторгающихъ матеріальныхъ процессовъ, — но должна бы была осилить, если бы жизнь полнѣе и глубже осуществлялась въ этомъ листкѣ; — и вотъ это самое долженствованіе, эта существенная норма — стоитъ передъ

нами въ иномъ и, однако. томъ же самомъ листкъ, что «золотомъ въчнымъ горитъ въ пъснопъны», — или на картинъ. Пустъ ни одинъ поэтъ не провелъ въ сеоъ самомъ до конца того, что требуетъ полный и могучій идеалъ поэтическаго призванія. Но этотъ идеалъ естъ норма, — и вотъ она стоитъ передъ нами въ этомъ образъ Пушкинскаго «Пророка», — стоитъ и безпрепятственно раскрываетъ все свое — болъе чъмъ дъйствительное — внутренно-необходимое содержаніе. Оно не придумано умомъ Пушкина, а дано ему и передано имъ какъ высшая норма. Не будемъ же здъсь искатъ сообразности съ личнымъ характеромъ поэта, съ его фактическимъ способомъ дъйствія, или поведеніемъ, а лучше отмътимъ въ этомъ поэтическомъ самораскрытіи логическую связь его моментовъ и ихъ полную сообразность съ внутреннею необходимостью, или истиннымъ смысломъ самаго дъла.

X.

Поэтъ-пророкъ изощреннымъ вниманіемъ проникъ въ жизнь природы высшей и низшей, созерцаль и слышаль все, что совершается, отъ прямого полета ангеловъ до извилистаго хода гадовъ, отъ круговращенія небесь до прозябанія растенія. Что же дальше? Превратится ли онъ весь безъ остатка въ зръніе и слухъ? Въдь это было бы ималеніе, а не возвышеніе человъка. Критики, думающіе, что вся задача поэта — только созерцать, и сами до нъкоторой степени причастные такому созерцанію, не ограничиваются, однако, имъ однимъ, — они дъйствують, они пишутъ и печатають, для распространенія своей теоріи, и дълають въдь это не въ противоръчіе, а въ силу своего — дъйствительнаго или мнимаго — высшаго призванія. Они не могутъ, да въроятно и не хотятъ бытъ полулюдьми, а поэтъ идеальный, поэтъ-пророкъ долженъ быть и оставаться получеловъкомъ! Требованіе безсмысленное, которое, впрочемъ, никогда и не исполнялось. Геній поэзіи не терпить односторонности, и въдь нашъ «пророкъ» былъ въ рукахъ не однокрылаго, а шестикрылаго серафима: кто помогъ его вниманію, тогъ приготовить его и къ гвйствію.

Кто прозрѣлъ, чтобы видѣть красоту мірозданія, тотъ тѣмъ мучительнѣе ощущаетъ безобразіе человѣческой дѣйствительности. Онъ будетъ боротъся съ нею. Его дѣйствіе и оружіе — слово правды. Онъ — не служитель внѣшняго порядка, хотя и не врагъ ему; онъ вполнъ признаетъ его пользу, но самъ не хочетъ и не можетъ быть орудіемъ этой пользы: ни метлы, ни меча! (см. ниже). Его собственное орудіе радикальнъе метлы, остръе меча. Мы говоримъ на всъхъ языкахъ: горькая правда, сладкая лестъ, — и никто не скажетъ наоборотъ. Правда огорчаетъ, но еще болъе того: она колетъ глаза, жалитъ, пронзаетъ, язвитъ. Конечно, за правду часто принимается и то, что слишкомъ поверхностно и односторонне для такого дъйствія. Такъ. напримъръ, если сказатъ человъческой толпъ даже по какомунибудь справедливому поводу: «ахъ вы подлецы, подлецы!» — то такая правда, — черезчуръ элементарная, и по содержанію и по формъ, — если и огорчитъ людей, то, конечно, не очень глубоко; а какъ пронзительно жалитъ настоящая правда. облеченная въ мудростъ, объ этомъ можно судитъ по силъ вызываемаго ею противодъйствія, которое по физическому закону прямо пропорціонально дъйствію: въдь Сократъ потому и долженъ былъ выпить яду, что его правдивыя и мудрыя ръчи были слишкомъ ядовиты для его ближнихъ, — его отравняи потому, что онъ отравлялъ жизнь своимъ согражданамъ.

Но отравлять жизнь другихь, котя бы ложную, и быть отравленнымъ ими, котя бы за одну только правду, — есть ли это настоящій конець дѣла? Мы по справедливости преклоняемся передъ человѣкомъ, мужественно и мудро свидѣтельствующимъ о жизненной правдѣ, мы охотно признаемъ такого человѣка исповѣдникомъ и пророкомъ правды; но если скажемъ, что въ этомъ — весь идеалъ совершенства, вся красота, то въ такомъ утвержденіи не будетъ ни правды, ни мудрости, ни мужества. Есть еще высшая ступень пророческаго, т. е. идеально-поэтическаго, служенія. Мудрое и безстрашное слово правды есть уже, копечно, болѣе чѣмъ слово, — это есть дѣйствіе, предполагающее подвигъ перерожденія грѣшнаго языка — орудія лукавства и праздномыслія — въ чистое орудіе Божьей правды; это есть дѣйствіе и подвигъ, но еще не совершенное дѣйствіе, не высшій подвигъ, —

Подвигъ есть и въ сраженіи, Подвигъ есть и въ борьбѣ, — Высшій подвигъ въ терпѣніи, Въ любви и мольбѣ.

(Xомяковъ.)

Дъло высшей правды *объявляется словом*ъ правды, но *совершается* огнемъ любви. Въ области слова идетъ явная борьба добра со зломъ, но побъда дается только тайному подвигу сердца. Не язвить

вло, а спалить его — воть окончательная задача избранника, требующая отъ него полноты совершенства. Все предыдущее есть только необходимый путь къ нему, гдъ каждый необходимый шагъ необходимо добывается страданіемъ. Бользненно раскрытіе зрвнія и слуха для высшаго вниманія, мучительна заміна грышнаго языка жаномъ мудрости, а послъднее высшее условіе совершеннаго подвига представляется прямо смертельнымъ. Но оно необходимо. Въдь дъло идеть объ идеальной полноть, о томъ, что должно быть доведено до конца. Если, идя этимъ путемъ, нельзя остановиться на совершенствъ зрительнаго и слухового воспріятія, а необходимо перейти къ совершенному дъйствію, первое орудіе котораго есть языкь, то нельзя также остановиться и на перерождении этого органа, при всей его важности и силь (см. Посл. Гакова, III, 2—10). Настоящій центрь жизни и существа человъческаго, конечно, не въ языкъ, а въ сердцъ его, н оно ли останется нетронутымъ въ процессъ совершенствованія? Задача — спалить эло. Для этого у избранника одно средство — слово. Но для того, чтобы слово правды, исходящее изъ жала мудрости, не язвило только, а жгло сердца людей, нужно, чтобы само это жало было разожжено сердечнымъ огнемъ любви. А этотъ огонь не выходитъ изъ земли, и «пророкъ» не найдеть его въ своемъ собственномъ сердцъ. Не потому, чтобы оно было по природъ злое. Для злого сердца недоступна и первая половина совершенства: не внидеть премудрость въ душу злохудожну. Конечно, у «пророка», уже владъющаго жаломъ мудрости, сердце доброе. Но оно плотское, — трепетное: оно готово на всякое добро, но спалить зло собственными силами оно не можетъ, — для этого нуженъ Божій огонь. И вотъ послъднее окончательное дъйствіе щестикрылаго серафима —

И онъ мит грудь разстить мечомъ И сердце трепетное вынулъ, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинулъ.

Какъ все суетное, не-божье въ міръ еще прежде должно было стать для «пророка» *пустынею*, такъ теперь все суетное, не-божье въ немъ становится *трупомъ* —

Какъ трупъ въ пустынъ я лежалъ...

Смертно-животворный процессъ конченъ. Избранникъ готовъ для новой жизни и для новой всепобъдной дъятельности. Напитанный но-

выми созерцаніями, умудренный внутреннимъ опытомъ и отъ сердца до языка наполненный высшею волею, онъ будетъ отнынъ говоритъ и дъйствовать не отъ себя, не отъ своей немощи, а именемъ и силою посылающаго его божества —

И Божій гласъ ко мей возваль: Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей 7.

XI.

Въ Пушкинскомъ «Пророкъ» значеніе поэзіи и призваніе поэта являются во всей высотъ и цълости идеальнаго образа. Въ шести другихъ, однородныхъ по предмету, стихотвореніяхъ этотъ цъльный образъ хотя не понижается, но какъ бы отступаетъ въ даль. А на первый планъ выдвигается та или другая сторона поэзіи, та или другая стадія въ призваніи поэта, и въ особенности его отношеніе къ человъческой толігъ. «Пустыня», гдъ «пророкъ» встръчаетъ серафима и слышитъ Божій гласъ, помъщается очень высоко надъ подьми, гдъ-нибудь близъ Кармильскихъ или Синайскихъ вершинъ. Люди тутъ не существуютъ для пророка, на нихъ лишь издали ука-

⁷ Я слышалъ такое замъчаніе: "Если слова: — "обходя моря и земли", не подходять ни къ Мухаммеду, ни къ библейскому пророку, то въдь они также не подходять и къ Пушкину". Совершенно справедливо. Но сила этого указанія, какъ направленнаго противъ моего взгляда, ускользаеть отъ меня. Въдь и съ біографической точки зрънія (которая, впрочемъ, ничуть не преобладаетъ въ моемъ пониманіи этого стихотворенія) слідуеть замівтить, что въ 1826 году Пушкинъ никакъ не могъ знать, придется ли ему, или нътъ, предпринимать заграничныя путешествія. Положительное же значеніе этого стиха, кажется, ясно. Призваніе совершеннаго поэта, въ которомъ обновлены и возведены на высшую степень всв душевныя силы, непремънно должно быть универсально, относиться ко встыть людимъ Какъ же лучше указать на эту универсальность, не нарушая поэтической наглядности, какъ не словами: "и обходя моря и земли"? Пушкинское стихогвореніе отличается до конца выдержанною библейскою формою, безъ спеціальнаго библейскаго содержанія, и этотъ предпослъдній стихъ несомивино звучить по библейски, хотя и не совпадаеть по содержанію съ библейскою пророческою идеей: голось Іакова, а руки — руки Исава.

зано въ послъднемъ стихъ. какъ на задачу будущаго: «глаголомъ жги сердца людей». Этимъ указаніемъ на людей кончается все стихотвореніе.

Въ тъхъ другихъ стихотвореніяхъ в поэтъ сходитъ съ пророческой вершины и приближается къ людямъ; онъ вспоминаетъ, что и самъ онъ наполовину принадлежитъ къ нимъ; затъмъ онъ сталкивается съ людскою толною, враждуетъ съ нею во имя лучшей половины своего существа, съ досадою отворачивается отъ нея, но подъ конецъ смягчается и, при мысли о лучшемъ будущемъ народа, вступаетъ съ нимъ въ добродушный компромиссъ. Но и то враждебное столкновеніе и это заключеніе мира были бы непонятны, если бы за ними не стоялъ на едва досягаемой высотъ тотъ идеальный образъ поэта, который данъ въ «Пророкъ».

Ближайшая по времени (1827) къ «Пророку» характеристика поэзіи и поэта есть по содержанію прямое дополненіе того перваго стихотворенія. И поэтическій образь здісь близкій, хотя меніве строгій и грандіозный — образъ Аполлонова жреца. А главная мысль все та же: поэтъ не воленъ въ своихъ произведеніяхъ; онъ лишь повинуется высшему признанію и вельнію, и такъ же мало можеть по собственному произволу опредълять сроки и выражение своего творчества, какъ жрецъ не воленъ въ выборъ сроковъ, чина и словъ священнодъйствія. Это въ сущности то же, что было и у «пророка»: въдь и тамъ въ пустынъ онъ былъ безволенъ и страдателенъ, дъйствующими были серафимъ и Богъ. Но тутъ, во второмъ стихотворенія, выступаеть еще другая важная сторона, которой не было и не могло быть въ «Пророкъ». Поэтъ, въ своемъ новомъ качествъ жреца, долженъ признаться, — и этимъ признаніемъ начинается стихотвореніе, — что онъ существенно отличается отъ толпы только въ храмъ, только у адтаря, только во время жертвоприношеній; отойдя отъ святыни, онъ, какъ и всѣ жреды, становится простымъ смерт-

⁸ Я, разумъется, не утверждаю, чтобы о значеніи поэзіи и о призваніи поэта говорилось у Пушкина только въ отмъченныхъ мною теперь семи стихотвореніяхъ. Кромъ нъсколькихъ мъсть въ "Евгеніи Онъгинъ" и въ другихъ большихъ произведеніяхъ, этой темы касаются еще нъсколько отдъльныхъ стихотвореній ("Наперсница волшебной старины", "Не дорого цъню я громкія права", "Герой", "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ"), но касаются съ такихъ сторонъ, которыми я буду заниматься особо въ послъдующихъ статьяхъ о Пушкинъ.

нымъ среди другиъ простыхъ смертныхъ, сыномъ праха не лучше, а можетъ быть и хуже другихъ.

Пока не требуеть поэта
Къ священной жертвъ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свъта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дътей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всъхъ ничтожнъй онъ.

Вотъ указаніе — несмотря на Аполлона и священную жертву вполнъ реальное и несомивнио автобіографическое. Но какъ же объяснить это понижение и эту двойственность? Какимъ образомъ поэтъ вь качествъ «жреца» можеть лишь въ особыхъ случаяхъ, такъ скавать лишь по праздникамъ, перерождаться въ существо высшаго порядка, когда онъ же въ качествъ «пророка» уже всецъло перерожденъ и наполненъ волею Божіей? Какимъ образомъ можетъ онъ въ житейскіе будни душевно уподобляться, внутренно сливаться сь ничтожнымъ, суетнымъ свътомъ, котораго жизнь вся держится на гръщномъ языкъ, и празднословномъ, и лукавомъ, когда у него — пророка — этотъ языкъ уже вырванъ и замъненъ совсъмъ другимъ? . Какимъ образомъ его душа можетъ вкушать *хладный сонъ*, когда въ его грудь, вмъсто холоднаго и трепетнаго сердца смертныхъ, вложенъ уголь, пылающій божественнымъ огнемъ? Какимъ образомъ можетъ поэтъ, послъ перенесенныхъ имъ отъ руки серафима операцій, еще жить въ міру какъ простой смертный, когда все мірское въ немъ уже сдълалось трупомъ, а началась совсемъ новая жизнь, сь новымъ зрвніемъ и слухомъ, новымъ сердцемъ? Нътъ ли зувсь, на разстояніи нъсколькихъ мъсяцевъ времени, существеннаго, основного противоръчія между авторомъ «Пророка» и авторомъ «Поэта»?

Никакого дъйствительнаго противоръчія между этими двумя стихотвореніями, конечно, нътъ. Если съ высокой горы я смотрю, вонъ, на это село, то вижу его все какъ на ладони, и всъ его дома видны мнъ вмъстъ сразу; когда же, сойдя внизъ, буду проходитъ мимо ближайшихъ домовъ и останавливаться, чтобы разсмотръть ихъ, то тъхъ, что дальше. не буду видътъ вовсе, а ближайшіе буду видъть иначе, нежели съ горы, — но между этими двумя взглядами

на предметъ никакого противоръчія не будетъ, какъ его нътъ между частями и ихъ пълымъ.

Въ «Пророкъ» высшее значение поэзии и поэтическаго призванія взято какъ одинъ идеально законченный образъ, во всей цълости, въ совокупности всехъ своихъ моментовъ, не только прошедшихъ и настоящихъ, но и будущихъ. Болъзненный и мучительный процессъ духовнаго перерожденія проходить передъ нами въ міновенныхъ картинахъ и тутъ же завершается целикомъ. Но въ действительности онъ въдь не завершенъ. Пусть поэтъ въ самомъ дълъ ощутиль себя пророкомъ, пусть онъ въ самомъ дълъ восходилъ на пустынную гору высшаго вдохновенія, гдѣ видѣлъ серафима и слышалъ голосъ Божій. Все это было, но полное его внутреннее перерождение — еще впереди: онъ пока сошелъ съ вершинъ своего поэтическаго Синая лишь съ пророческимъ задаткомъ того совершенства, которое еще должно быть. Въ идеальномъ образъ нътъ никакого раздвоенія между житейскимъ сознаніемъ и поэтическою сверхсознательностью; эта двойственность представлена пережитою, пересиленною, превзойденною. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Въ действительности будущее совершенство еще не въ нашихъ рукахъ, мы еще переживаемъ настоящее, а его законъ — именно та половинчатость, то раздвоеніе между праздникомъ и буднями, между поэтическою высотою и житейскимъ ничтожествомъ, которое яркимъ контрастомъ выступаетъ въ стихотвореніи «Поэтъ». Замътимъ, что вторая его подовина возвращаетъ насъ къ «Пророку» (въ особенности къ его началу).

Но лишь божественный глаголь До служа чуткаго коснется, Душа поэта встрепенется, Какт пробудившійся орелт. Тоскуєть онь въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы; Къ ногамъ народнаго кумира Не клонить гордой головы, Бъжить онъ дикій и суровый И звуковъ и смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы.

Здёсь почти всё стихи повторяють (въ очень смягченномъ видё) образы и выраженія изъ «Пророка». Сравнимъ въ самомъ дёлё:

здѣсь — «до слуха чуткаго коснется»; тамъ — «моихъ ушей коснулся онъ»; здѣсь — «и звуковъ и смятенья полнъ»; тамъ — «и ихъ наполнилъ шумъ и звонъ»; здѣсь — «какъ пробудившійся орелъ»; тамъ — «какъ у испуганной орлицы»; рѣзкій образъ въ «Пророкъ»: «и вырвалъ грѣшный мой языкъ, и празднословный и лукавый» замѣненъ здѣсь такою невинною отвлеченною фразой: «людской чуждается молвы», что сразу, пожалуй, и не признаешь ихъ тождественнаго смысла; зато «берега пустынныхъ волнъ», куда бѣжлтъ поэтъ, очевидно — та же «пустыня мрачиая», гдѣ влачился «пророкъ».

Насколько поэтъ приближается къ прежнему образу пророка настолько же онъ удаляется отъ своего первоначальнаго образа жреца, котораго смыслъ здѣсь лишь въ одной общей чертѣ, соединяющей его съ поэтомъ въ одинаковой безвольности, пассивности и исключительности какъ поэтическаго вдохновенія, такъ и священнической благодати. Все остальное у нихъ совсѣмъ разное, и образъ жреца во второй половинѣ стихотворенія брошенъ и забытъ. Какое отношеніе къ нему могутъ, въ самомъ дѣлѣ, имѣть стихи:

Къ ногамъ народнаго кумира Не клонитъ гордой головы...?

А далъе, человъкъ, въ дикомъ видъ бъгущій въ пустынныя мъста, можетъ быть похожъ на все, что угодно, но только не на жреца, торжественно шествующаго для жертвоприношенія въ многолюдный храмъ, съ главою. умащенною елеемъ. Ясно, что все значеніе поэзіи, какъ его сознавалъ нашъ поэтъ, не могло бытъ связано съ образомъ жреческаго служенія, и что этотъ образъ, давши первую ноту стихотворенія, не могъ образовать его общей формы. Поэтому Пушкинъ, давъ своей первой картинъ поэтическаго призванія титулъ пророка, не продолжалъ аналогіи и не назвалъ вторую жречомъ, а обозначилъ ее прямо какъ характеристику поэта.

XII.

Людская толпа не довольствуется тъмъ, что поэтъ въ свои о́удни сливается душою съ ея ничтожествомъ, — она посягаетъ и на праздникъ его вдохновенія, идетъ за нимъ въ храмъ, разсаживается кру-

гомъ алтаря, требуя, чтобы онъ и здёсь своими вдохновенными пъснями служилъ только ей.

Поэть на лирв вдохновсиной Рукой разсвянной бряцаль. Онь пвль, — а, хлодный и надменный Кругомь народь непосвященный Ему безлысленно внималь. И толковала чернь тупая: "Зачымь такь звучно онь поеть? Напрасно ухо поражая, Къ какой онь цёли нась ведеть? О чемь бренчить? Чему нась учить? Зачымь сердца волнуеть, мучить, Какь своенравный чародый? Какь вытерь пыснь его свободна Зато какь вытерь и безплодна: Какая польза намь оть ней?"

Такое начало заранъе, казалось бы, дълаетъ невозможными тъ кривотолкованія, которымъ, тъмъ не менъе, подвергалось и досель полвергается это важное, ясное и прекрасное стихотвореніе. Даже такой остроумный и въ другихъ случаяхъ понятливый современный критикъ, какъ тотъ, котораго я похвалилъ въ началѣ этой статьи, объявляетъ стихотвореніе «Чернь» загадочнымъ, а затемъ, разгадывая его смыслъ, приходитъ къ неблагопріятнымъ, для этого поэтическаго разговора, заключеніямъ, менъе всего основательнымъ. Между тъмъ Пушкина можно здъсь упрекнуть развъ за излишнее, можетъ быть, не совсимь художественное, накопление въ началь разныхъ эпитетовъ, объясняющихъ, въ чемъ дъло. Для одной стороны — для поэта — употреблены лишь два эпитета — его лира названа вдохносенною, а его рука, на ней бряцающая, — разсъянною; но и этого достаточно. Такъ какъ далъе слъдуетъ враждебное столкновение поэта съ другою стороною, то эти два эпитета сразу объясняють, что это за столкновеніе, изъ-за чего оно происходить: ясно, что это борьба за права поэтического вдохновенія, за его свободу, независимость отъ внъшнихъ, постороннихъ цълей, за его непринужденность и преднамфренность; — борьба противъ кого? — ясно, что противъ тъхъ, кто не понимаетъ значенія поэзіи, не цінить ея собственнаго, независимаго содержанія. Но Пушкинъ еще поясняеть это пятью эпитетами, которыми онъ снабжаетъ противниковъ поэта: они хладные и

надменные, непосвященные, безсмысленные, тупые. Ну, развъ допустимо, чтобы всв эпитеты, или котя бы одинъ изъ нихъ, были употреблены Пушкинымъ для презрительной характеристики народа, или черни въ собственномъ смыслъ? Что могло бы значить такое сочетаніе словъ: «хладные земледъльцы»; надменные водовозы»; «непосвященные извозчики»; «безсмысленные половые»; «тупые сапожники или плотники»? Между тъмъ, на зло очевидности, не позволяющей принимать въ буквальномъ смыслъ слова «чернь» и «наролъ». Пушкина до сихъ поръ одни восхваляють, а другіе порицають за его аристократизмъ по отношенію къ народу! А съ другой стороны, его вражду къ этой «черни» пытаются истолковать наобороть, въ смыслъ анти-аристократическомъ, разумъя подъ «чернью» — «свътскій кругъ» общества, будто бы преслъдовавшій Пушкина. Но если поэтъ не могъ имъть враждебнаго столкновенія съ простымъ народомъ изъ-за поэзіи, этому народу неизвъстной, то онъ не могь враждовать и противъ того общественнаго слоя, къ которому принадлежали его лучшіе друзья и самые восторженные ценители его поэзіи. Значить, враждебная поэту толпа вовсе не имъетъ, да и не можетъ имътъ, сословныхъ или вообще соціальныхъ признаковъ. Это есть не общественная, а умственная и нравственная чернь, — люди формально образованные и потому могущіе вкривь и вкось судить о поэзіи, но по внутреннимъ причинамъ неспособные ценить ея истинаго значенія, требующіе отъ нея рабской службы практическимъ цълямъ. Къ этой черни менъе всего могутъ припадлежать, конечно, земледъльцы, пастухи и ремесленники, не ради ихъ мнимаго демократическаго преимущества, а просто по отсутствію у нихъ (особенно во времена Пушкина) всякаго формальнаго образованія, всявдствіе чего, не имъя о поэзіи никакихо мнтній, они не могуть имтть и ложныхь. читъ, Пушкинская «чернь» могла набираться только изъ людей средняго и высшаго общества, то-есть изъ единственной тогда публики поэта, и набираться, очевидно, не въ силу общественнаго положенія, а въ силу того внутренняго личнаго свойства, которое нъмцы окрестили филистерствомъ, а римляне обозначили: profanum vulgus. Въдь этотъ profanum vulgus имъетъ мало общаго съ плебействомъ, и ему противополагаются никакъ не патриціи. А кто же? Справимся съ Гораціемъ:

> Odi profanum vulgus et arceo. Favete linguis: carmina non prius Audita, musarum sacerdos, Virginibus puerisque canto.

Непосвященной черни противополагаются... джвы и мальчики, то-есть, на современномъ языкъ, самодовольнымъ и непроницаемымъ филистерамъ противополагаются юныя, внутренно дъвственныя души (хотя бы и въ старческихъ тълахъ), души, открытыя для всего истинно прекраснаго и высокаго, будь оно и неслыханнымъ прежде —carmina non prius audita.

На вопросъ «черни»: — какая польза намъ отъ твоей пъсни? — поэтъ гивно отвъчаетъ:

Молчи, безсмысленный народъ, Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ! Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій. Ты червь земли, не сынъ небесъ. Тебѣ бы пользы все — на вѣсъ Кумиръ ты цѣнишъ Вельведерскій, Ты пользы, пользы въ немъ не зришъ; но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что же? Печной горшокъ тебѣ дороже: Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

О Пушкинъ разные люди бывали разнаго мнънія. Нэ, кажется, никто никогда не признаваль за нимь безвкусія и слабоумія. Но какая высокая степень безвкусія нужна была бы для того, чтобы бранить «поденщиками» дъйствительных поденщиковъ и укорять людей, матеріально нуждающихся, за эту ихъ нужду; и какая высочайшая степень слабоумія потребовалась бы для того, чтобы изобразить поэта пререкающимся съ дъйствительными поденщиками о статуъ Аполлона Бельведерскаго! А въдь именно такое безпредъльное безвкусіе и такое безпредъльное слабоуміе пришлось бы приписать Пушкину, если только его «народъ» признать за дъйствительный простой народъ, и въ презрительно-гнъвномъ отвращеніи и враждъ поэта къ этому народу видъть проявленіе «аристократизма». Но вотъ сь какимъ холодно-надменнымъ, лицемърно-наглымъ издъвательствомъ обращаются къ поэту эти мнимые «поденщики»:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ, Свой даръ, божественный посланникъ, Во благо намъ употребляй! Сердца собратьевъ исправляй! Мы малодушны, мы коварны, Безстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердпемъ хладные скопцы; Клеветники, рабы, глупцы; Гивздятся клубомъ въ насъ пороки; Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смълые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Послъдній стихъ, даже по фомръ выраженія, есть явная пронія и насмъшка: ты. молъ, поговори, а мы тебя послушаемъ.

Трудно придти въ себя отъ изумленія, будто бы это, переданное Пушкинымъ, циничное зубоскальство безпредъльно самодовольныхъ филистеровъ, такъ же безпечныхъ насчетъ нравственности, какъ и насчетъ поэзіи, — будто бы оно есть дъйствительное, искрешнее раскаяніе и даже «вопль раскаянія»! — Однако! — Кто же написалъ эту покаянную ръчь толпы? Въдь Пушкинъ? А развъ онъ съ начала до конца не объявляетъ этихъ людей хладно-надменными, тупо-лукавыми глупцами? Считая же ихъ надменными, какъ могъ онъ приписать имъ пскреннее смиреніе, какъ могъ вложить въ ихъ лукавыя уста слова и «вопли» истиннаго раскаянія?

На лживый, лицемърпо наглый вызовъ «черни» отвъчаетъ благородный и правдивый гнъвъ поэта:

Подите прочь — какое дёло Поэту мирному до вась! Въ разврать каментите слигло: Не оживить васъ лиры гласъ! Душт противны вы какъ гробы. Для вашей глупости и злобы Имъли вы до сей поры Вичи, темищы, топоры! Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ — полезный трудъ! — Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Нірецы ль у васъ метлу берутъ?

Гнъвъ поэта правдивъ и понятенъ: не такъ возмутительна прямая вражда къ доброму и прекрасному, какъ притворное къ нимъ уваженіе, дълающееся лукавымъ средствомъ вражды. Гнъвъ поэта правдивъ, языкъ поэта безгръшенъ, свободенъ отъ празднословія и лукавства; но . . . похожа ли его прямолинейная правдивость на «жало мудрыя змъи»? Если гнъвному красноръчію поэта дать сжатое и простонародное выраженіе, не сойдетъ ли оно на ту фразу: «ахъ вы подлецы, подлецы!» — которая была выше приведена какъ образ-

чикъ элементарной правдивости, способной только огорчить, но не пронзить эло насквозь? «Ахъ вы подлецы, подлецы!» — эта элементарная истина приняла въ устахъ поэта благородную форму, сохранивъ, однако, всю свою элементарность. М. О. Меньшиковъ, которому гнусно-лицемърныя слова «черни» страннымъ образомъ показались «благородными», пазываетъ отвътъ поэта «крайне грубымъ и злобнымь». Другимь онь кажется благороднымь и правдивымь. Это зависитъ отъ различнаго понятія правды: для однихъ правда всецьло сводится къ одному незлобію; другіе понимають правду какъ истинное единство любви и гнъва. Но во всякомъ случат слъдуетъ признатъ, что отвъту поэта недостаеть той змъиной тонкости, которую серафимъ сообщилъ въ пустынъ Божію избраннику. Правдивый гивых такого избранника не исчерпывался бы крыпкими словами, а производиль бы крыпкое дыйствіе: онъ произаль бы насквозь и до тла сжигалъ души злохудожныя. Но въ поэтъ еще не было той полнсты духовнаго перерожденія, которая необходима для такого дъйствія.

Онъ въ своемъ «Пророкѣ» вдохновенно изобразилъ идеалъ вѣщаго избранника, но не осуществилъ его въ себъ. Перерожденіе въ немъ только начиналось, и, не будучи «поденщикомъ, рабомъ нужды, заботъ, червемъ земли», онъ лишь наполовину былъ сыномъ небесъ, оставаясь передъ чернью невольникомъ душевнаго раздвоенія. Онъ это чувствуетъ, и, махнувъ рукою на каменѣющую толиу, непроницаемую для «гласа лиры», онъ уходитъ въ свою неприступную крѣпостъ, къ своему неотъемлемому достоянію:

> Не для житейскаго волненія, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдожновенія, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Вдохновенье — вотъ начало и конецъ этой поэтической исповъди. Вся она — только борьба за безусловныя права вдохновенія. Что значать всѣ лукавыя приставанія «черни» къ поэту, какъ не покушенія на верховность его вдохновенія? «Пой намъ не то, что внушаєть твое вдохновеніе, которое кажется намъ безплоднымъ, а то, что намъ нужно, и чего ты также долженъ хотъть, — въдь долженъ же ты быть альтруистомъ, долженъ желать намъ блага!»

^{- &}quot;Подите прочь!"

XIII.

Душа поэта, какъ человъка (его личная воля и умъ), пассивна бъ области поэзіи, молчить передъ грядущимъ вдохновеніемъ, и только можетъ тосковать по немъ, жаждать его и готовиться къ его пріему. Но когда оно пришло, и принято душою, и овладѣло ею, то сама эта душа становится верховною властью въ своемъ мірѣ. Въ поэзіи вдохновенный поэтъ есть царь. Здѣсь. какъ истинный царь-самодержецъ, онъ не зависитъ отъ «народа», не слушаетъ его, не угождаетъ ему, и для своего собственнаго дѣла, для вдохновеннаго творчества, не нуждается ни въ чьемъ постороннемъ внушеніи и не подчиняется никакому постороннему суду.

Поэтъ отошелъ отъ толны, смягчился, успокоился. То сознание своей поэтической самозакснности (автономіи), которое въ «Черни» приняло форму ръзкой полемики съ врагами этой автономіи, выразилось въ сонетъ: «Поэту», какъ задумчивый и продуманный монологъ:

Поэтъ, не дорожи любовію народной! Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ, Услышишь судъ глупца и смъхъ толпы холодной: Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.

«Чернь» показала намъ въ драматическомъ изображеніи этотъ судъ глупца и этотъ смѣхъ толны холодной и гнѣвный отвѣтъ поэта. Теперь опъ безъ негодованія поминаеть этотъ судъ и смѣхъ; онъ поняль ихъ неизобъжность и остается въ невозмутимомъ сознаніи своей верховной независимости.

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, Не требуя наградъ за подвигъ благородный

Вдохновеніе безусловно свободно по своему началу, оно приходить само собою — но не съ пустыми руками: оно несетъ съ собою плоды любимыхъ думъ и налагаетъ на поэта благородный подвигъ ихъ усовершенствованія. Но этотъ подвигъ совершается въ области внутренняго самосознанія поэта, и его награды не зависять отъ посторонняго одобренія:

Онъ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшій судъ. Всъхъ строже оцънить умъешь ты свой трудъ.

Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ, И плюетъ на алтарь, гдъ твой огонь горитъ, И въ дътской ръзвости колеблетъ твой треножникъ.

Замътьте смягченіе: та самая толпа, то-есть тъ враги поэтической автономіи и верховныхъ правъ вдохновенія, которые въ разговоръ съ «чернью» представлялись каменьющими въ разврать, — вдъсь укоряются только за дътскую ръзвость.

Мы не будемъ останавливаться на прекрасномъ маленькомъ стикотвореніи «Эхо». Оно само было эхо, которымъ откликнулся Пушкинъ на голосъ Томаса Мура. Однако нельзя выпустить и его изъ числа самосвидѣтельствъ Пушкинской поэзіи; въ немъ особенно ярко выдвипута одна основная черта, всегда присущая поэтическому самосознанію Пушкина — невольность, пассивность творчества. Эхо не по своему произволу и выбору повторяетъ подходящіе звуки — «таковъ и ты, поэтъ!» Замѣтимъ, однако, въ концѣ слегка грустную ноту: «тебѣ жъ нѣтъ отклика».

Подробный разборъ чудной драматической сцены «Моцартъ и Сальери» еще предстоитъ намъ. Здѣсь замѣтимъ только, какъ прежнія характеристики творческаго генія подтверждаются и дополняются этою новою. «Пророкъ», «жрецъ», «царь» — къ этимъ тремъ обравамъ присоединяется четвертый — «гуляка праздный». Но все это сходится въ одномъ: свобода и самозаконность относительно низшей и внѣшней, чужеродной условности и полная зависимость, пассивность передъ внутренними наитіями, изъ сверхсознательной области вдохновенія. Этотъ существенный характерь поэзіи съ особенно яркою наглядностью выступаетъ здѣсь вслѣдствіе трагическаго столкновенія между истиннымъ геніемъ, Моцартомъ — онъ же и «гуляка праздный» — и самоотверженнымъ, добросовѣстнымъ, но лищеннымъ выспаго вдохновенія подвижникомъ искусства, — Сальери.

XIV.

Идутъ годы. Въ груди поэта бъется все то же трепетное человъческое сердце, кругомъ него все то же зло, и не чувствуетъ онъ въ себъ того огня, который могъ бы спалить это зло. Въ умъ его все болъе и болъе укореняется сомнъніе въ томъ необъятномъ призваніи, котораго величавый образъ явился ему нъкогда на серединъ его

жизненнаго пути. Вниманіе его обращается на ближайшую будущность его поэзіи. За нъсколько мъсяцевъ до смерти онъ еще разъ восходить, — но не на пустынную вершину серафическихъ вдохновеній, а на то предгорье, откуда взоръ его видитъ большой народъ, потомство его поэзіи, ея будущую публику. Этотъ большой народъ, конечно, не та маленькая «чернь». свътская и старосвътская, что его окружаеть. Этотъ новый большой пародь не вырываетъ гнъвныхъ словъ у поэта, эти народныя колыбели не противны его душъ, какъ живые грсбы. Въ этомъ большомъ пародъ есть добро, и оно дастъ мания гранича на то, что найдеть добрымь въ поэзіи Пушикна. Поэть не провидить, чтобы этоть большой пародь весь состояль изъ цънителей чистой поэзін: и эти люди будутъ требовать пользы отъ поэзін, но они будуть искренно желать истинной пользы нравственной; — павстръчу такому требованію поэть можеть пойти безь униженія: въдь и чистая поэзія приносить истинную пользу, хотя не преднамъренно. Такъ что жъ? Эти люди цънять поэзію не въ ней самой, а въ ея правственныхъ дъйствіяхъ. Отчего же не показать имъ этихъ дъйствій въ Пушкинской поэзіи? «То добро, которое вы имъ этихъ двиствии въ пушкинской поэзит «то дооро, которое вы цвните, — оно есть и въ моемъ поэтическомъ запасѣ; за него вы будете въчно цвнить мою поэзію; оно воздвигнетъ мив среди васъ неруктворный и несокрушимый памятникъ». Вотъ достойный и благородный «компромиссъ» поэта съ будущимъ народомъ, составляющій сущность стихотворенія «Памятникъ». Это стихотвореніе есть не поэтическое, а практическое (въ хорошемъ смыслъ слова) credo Пушкина, — непостыдное соглашение его съ потомствомъ. Для поэта главное въ поэзіи — она сама. но онъ не можетъ отрицать и ея нравственной пользы; для «народа» главное въ поэзіи — эта нравственная польза, но вёдь онъ цёнитъ и ея прекрасную форму. Значитъ, нётъ надобности обращать эти два взгляда остріемъ другъ противъ друга, когда они могутъ сойтись въ одной и той же, хотя неодинаково обоснованной оцёнкъ.

Н памятникъ себъ воздвигъ нерукотворный; Къ нему не заростеть народная тропа; Вознесся выше онъ главою непокорной Александрійскаго столпа.

Высота поэтическаго самосознанія уже не обращена здѣсь противъ народа, да и не имѣетъ причины обращаться. Вѣдь этотъ будущій народъ не посягаеть на права вдохновенія, ничего не требуетъ

отъ поэта, — онъ только береть въ созданіяхъ поэта то, что особенно цѣнитъ. Самъ поэтъ выше всето цѣнитъ у себя чистую поэзію; отъ этого онъ и теперь не отрекается:

Нътъ! весь я не умру! Душа въ завътной лиръ Мой прахъ нереживетъ и тлънья убъжитъ.

Самое важное для поэта — поэтическое вдохновеніе, завътная лира. Это есть первое и главное основаніе его славы среди избранниковъ:

И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ Живъ будетъ хоть одицъ піцтъ.

Но поэтъ, прежде забывавшій даже о средь избранниковъ, утверждавшійся въ своемъ безусловномъ сдиночествъ — «ты царь: живи одинъ», — теперь не ограничивается уже и своею славою среди «піитовъ», — онъ утверждаетъ свою всенародную славу:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой, И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ: И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикой Тунгузъ, и другъ степей — калмыкъ.

Поэтъ знаетъ, что эта пестрая народная толпа будетъ цѣнить его главнымъ образомъ не за чистую поэзію. не за вдохновеніе «звуковъ сладкихъ и молитвъ», — для нея болѣе цѣнно нравственное дѣйствіе поэзіи: —

И долго буду тъмъ любезенъ я народу, Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, Что въ мой жестокій въкъ возславилъ я свободу И милость къ падшимъ призывалъ.

Это дорого народу, но вѣдь это дорого и самому поэту, хотя и не дороже всего. Въ послѣдней строфѣ, какъ бы полагая нерушимую печать безупречнаго благородства на свое соглашение съ потомствомъ, поэтъ опять настаиваетъ на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзіи:

Велвнью Вожію, о муза, будь послушна: Обиды не страшись, не требуй и вънца, Хвалу и клевету пріемли равнодушно И не оспаривай глупца. При всемъ различи разобранныхъ нами стихотвореній, они сходятся въ томъ, что по мысли и внутреннему чувству Пушкина все значеніе поэзін — въ безусловно-независимомъ отъ внѣшнихъ цѣлей и намѣреній, самозаконномъ вдохновеніи, создающемъ то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе.

Этимъ достаточно опредъляется *значение* поэзіи, но не содержаніе ея. Чтобы ближе узнать это содержаніе, всего лучше послъдовательно пройти черезъ весь рядъ Пушкинскихъ твореній.

Лермонтовъ. 1899.

Произведенія Лермонтова, такъ тѣсно связанныя съ его личной судьбой, кажутся мнѣ особенно замѣчательными въ одномъ отношеніи. Я вижу въ Лермонтовѣ прямого родоначальника того духовнаго настроенія и того направленія чувствъ и мыслей, а отчасти и дѣйствій, которыя для краткости можно назвать «ницшеанствомъ», — по имени писателя, всѣхъ отчетливѣе и громче выразившаго это настроеніе, всѣхъ ярче обозначившаго это направленіе.

Какъ черты зародыша понятны только благодаря тому опредълившемуся и развитому виду, какой онъ получилъ въ организмъ взросломъ, такъ и окончательное значеніе тъхъ главныхъ порывовъ, которые владъли поэзіей Лермонтова, — отчасти еще въ смѣшанномъ состояніи съ иными формами, — стало для насъ вполнѣ прозрачнымъ съ тъхъ поръ, какъ они приняли въ умѣ Ницше отчетливо раздъльный образъ.

Кажется, всё уже согласны, что всякое заблужденіе, — по крайней мёр'в всякое заблужденіе, о которомъ стоитъ говорить, — содержить въ себ'в несомн'внную истину, которой оно есть лишь бол'ве или мен'ве глубокое искаженіе, — этою истиною оно держится, ею привлекаеть, ею опасно, и черезъ нее же только можеть оно быть какъ сл'вдуеть обличено и опровергнуто. Поэтому, первое д'вло разумной критики относительно какого-нибудь заблужденія — найти ту истину, которою оно держится и которую оно извращаеть.

Презрѣніе къ человѣку, присвоеніе себѣ заранье какого-то исключительнаго сверхчеловѣческаго значенія — себѣ, или какъ одному а, или Я и К°, — и требованіе, чтобы это присвоенное, но ничѣмъ еще не оправданное величіе было признано другими, стало нормою дѣй-

отвительности. — вотъ сущность того направленія, о которомъ я говорю, п, конечно, это большое заблужденіе.

Въ чемъ же та истина, которою оно держится и привлекаетъ умы? Человъкъ — единственное изъ земныхъ существъ, которое можетъ относиться къ самому себъ критически, подвергать внутренней оцънкъ не отдъльныя свои положенія и дъйствія (что возможно и для животныхъ). а самый способъ своего бытія въ цъломъ. Онъ себя судитъ, а при судъ разумномъ и безпристрастномъ — и осуждаетъ. Разумъ свидътельствуетъ человъку о фактъ его несовершенства во всъхъ отношеніяхъ, а совъсть говоритъ ему, что этотъ фактъ не есть для него молько внъшияя необходимость, а зависитъ макже и отъ него самого.

Человъку естественно хотъть быть больше и лучше, ивыт онт есть въ дъйствительности. Если онъ взаправду этого хочето, то и можето, а если можеть, то и должено. Но не есть ли безсмыслица — быть лучше, выше или больше своей дъйствительности? Да, это есть безсмыслица для животнаго, такъ какъ для него дъйствительность есть то, что его дълаетъ, но человъкъ, хотя и есть также произведене уже существующей, данной дъйствительности, но вмъстъ съ тъмъ эта его дъйствительность есть, такъ или иначе, въ той или другой мъръ, — то, что оно само дълаетъ шли иначе, въ той или почевидно въ качествъ существа собирательного, менъе замътно, но столь же несомивнно и въ качествъ существа личнаго.

Можно спорить о метафизическомъ вопросъ безусловной свободы выбора, но самодъятельность человъка, т. е. его способность дъйствовать по внутреннему побужденю, — окончательно по сознаню долга или по совъсти, — есть не метафизическій вопросъ, а фактъ опыта. Вся исторія состоитъ въ томъ, что человъкъ дълается лучше и больше самого себя, переростаеть свою наличную дъйствительность, отмодвигая ее въ прошедшее, а въ настоящее вовигая то, что еще недавно было противоположнымъ дъйствительности, — мечтою, субъективнымъ идеализмомъ, утопіей.

Внутренній, духовный, самодъятельный рость есть такой же безспорный фактъ, какъ и рость внъшній, физическій, пассивный, съ которымъ онъ связанъ какъ съ своимъ предположеніемъ.

Теперь спрашивается, въ какомъ же направленіи, съ какой стороны жизни должно совершаться измѣненіе даннаго человѣчества вълучшее и высшее — въ «сверхчеловѣчество»?

Если человъкъ недоволенъ собою и хочетъ быть сверхчеловъкомъ, то въдь тутъ дъло идетъ, конечно, не о внъшней (а также и не о внутренней) форми человъческаго существа, а только о плохомъ функціонированіи этого существа въ этой его формѣ, что отъ самой формы не зависитъ. Мы, напримъръ, можемъ быть недовольны не тъмъ, что у насъ два глаза, а лишь тъмъ, что мы ими плохо видимъ. А, чтобы лучше видътъ, нътъ никакой надобности человъку измънятъ морфологическій типъ зрительнаго органа, напримъръ, вмъсто 'двухъ имътъ множество глазъ, потому что при тъхъ же двухъ глазахъ могутъ раскрыться у него «въщія зъницы, — какъ у испуганной орлицы». При тъхъ же двухъ глазахъ можно стать сверхчеловъкомъ, а при сотнъ глазъ можно оставаться только мухой.

Точно такъ же и весь прочій организмъ человъческій ни въ какой нормальной чертъ своего морфологическаго строенія не препятствуетъ намъ возвышаться надъ нашей дурной дъйствительностью и становиться относительно ея сверхчеловъкомъ. Другое дъло — сторона функціональная и при томъ не только въ единичныхъ и частныхъ уклоненіяхь *патологическихъ*, но и въ такихъ явленіяхъ, которыхъ обычность заставляетъ многихъ считать ихъ нормальными. Таково прежде всего и болъе всего явление смерти и разложения организма. Если чёмъ мы естественно тяготимся, если чёмъ основательно недовольны въ своей данной дъйствительности, то, конечно, — этимъ заключительнымъ явленіемъ нашего видимаго существованія, этимъ его нагляднымъ итогомъ, сводящимся на нътъ. Человъкъ, думающій только о себъ, не можеть примириться съ мыслью о своей смерти; человъкъ, думающій о другихъ, не можетъ примириться со смертью другихъ; значитъ, и эгоистъ, и альтруистъ, — а всъ люди принадлежатъ въ разныхъ степеняхъ чистоты и смѣшанности къ тому или другому роду, — и эгоистъ, и альтруистъ одинаково должны чувствовать смерть какъ нестерпимое *противоръчіе*, т. е. одинаково не могутъ внутренно принимать этотъ видимый итогъ человъческаго существованія за окончательный. И вотъ куда должны бы, по логикъ, съ особеннымъ вниманіемъ смотрѣть люди, желающіе подняться выше данной дѣйствительности, — желающіе стать сверхчеловѣками. Потому что, чёмъ же въ особенности отличается то человъчество, надъ которымъ они хотять подняться, какъ не тѣмъ именно, что оно смертно? Человѣкъ и смертный синонимы. Уже у Гомера мы находимъ, что два главные разряда существъ — боги и люди — по-

стоянно характеризуются тъмъ, что одни подвержены смерти, а другіе нътъ, — ϑ єой τ є ϑ оотой τ є. — Хотя и всъ прочія животныя умираютъ, но никому не придетъ въ голову характеризовать ихъ какъ смертныхъ, — для человъка же этотъ признакъ не только принимается какъ характерный, но и чувствуется еще въ выраженіи «смертный» какой-то грустный упрекъ себъ. Чувствуется, что человъкъ, сознавая неизбъжность смерти, какъ центральной особенности своего дъйствительнаго состоянія, рышительно не хочеть съ нею мириться, нисколько не успокаивается на этомъ сознании ея неизбъжности въ данныхъ условіяхъ. И въ этомъ, конечно, онъ правъ, потому что, если смерть совершенно необходима въ этихъ наличныхъ условіяхъ, то кто же сказалъ, что эти условія неизмънны и неприкосновенны? Теперь ясно, что ежели человъкъ есть прежде всего и въ особенности смертный, т. е. подлежащій смерти, побъждаемый, преодолъваемый ею, то сверхчеловъкъ долженъ быть прежде всего и въ особенности побъдителемъ смерти, т. е. освобожденнымъ (освободившимся?) отъ существенныхъ условій, дълающихъ смерть необходимою, и, слъдовательно, исполнить тъ условія, при которыхъ возможно или вовсе не умирать, или, умерши, воскреснуть. Положимъ, такая побъда надъ смертью не можеть быть достигнута сразу, что совершенно несомивнно. Положимъ, также, — а это уже сомнительно, потому что не можетъ быть доказано, — что такая побъда, при теперешнемъ состояни человъка, не можетъ быть достигнута вообще въ предълахъ единичнаго существованія, — пусть такъ, но путь-то, къ ней ведущій, приближеніе къ ней по этому пути, совершенствующееся, хотя бы и далекое до совершенства, исполнение тъхъ условій, полнота которыхъ требуется для достиженія цъли, для побъды и одольнія надъ смертью, — это-то въдь возможно и существуеть. Условія, при которыхъ смерть забираетъ надъ нами силу и побъждаетъ насъ, достаточно хорошо намъ извъстны; такъ должны быть извъстны и противоположныя условія, при которыхъ мы забираемъ силу надъ смертью и, въ концъ концовъ, можемъ побъдить ее. Хотя бы и не было передъ нами настоящаго сверхчеловъка, но есть сверхчеловъческій путь, которымъ шли, идутъ и будутъ идти многіе, на благо всехъ, и, конечно, важитиній нашъ интересъ въ томъ, чтобы побольше людей на него вступали, прямъе и дальше по немъ проходили. И вотъ настоящій критерій для оцънки всъхъ дълъ и явленій

жизни человъческой, а въ особенности справедливо и полезно прила-

гать этоть критерій въ техъ случаяхь, когда люди, сверхъ общаго уровня одаренные, чувствующіе истинную цёль и смыслъ нашего существованія. способные, а следовательно и призванные, т. е. обязанществованія. споссоные, а слъдовательно и призванные, т. е. соязанные болье прочихъ къ ней приблизиться и другихъ приблизить, превращаютъ эту общую цъль въ личное и безплодное притязаніе, заранье отвергая необходимое условіе для ея достиженія.

Лермонтовъ, несомнѣнно, быль геній, т. е. человѣкъ, уже отъ рожденія близкій къ сверхчеловѣку, получившій задатки для великаго дъла, способный, а, слъдовательно, обязанный его исполнить.

Въ чемъ заключалась особенность его генія?

Какъ онъ на него смотрълъ? Что съ нимъ сдълалъ? — Вотъ три основные вопроса, которыми мы теперь займенся.

Относительно Лермонтова мы имъемъ то преимущество, что глу-бочайшій смыслъ и характеръ его дъятельности освъщается съ двухъ сторонъ — писаніями его ближайшаго преемника Ницше и фигурою его отдаленнаго предка.

Въ пограничномъ съ Англією краю Шотландіи, вблизи монастырскаго города Мельроза, стоялъ въ XIII въкъ замокъ Эрсильдонъ, гдъ жилъ знаменитый въ свое время и еще болъе прославившійся впо-слъдствін рыцарь Томасъ Лермонтъ. Славился онъ какъ въдунъ и прозорливецъ, смолоду находившійся въ какихъ-то загадочныхъ отношеніяхъ къ царству фей и потомъ собиравшій любопытныхъ людей вокругъ огромнаго стараго дерева на ходить Эрсильдонъ, гдт онъ прорицательствовалъ и между прочимъ предсказалъ шотландскому королю Альфреду III его неожиданную и случайную смерть. Виъстъ съ тъмъ эрсильдонскій владълецъ быль знаменитъ какъ поэтъ, и за нимъ осталось прозвище стихотворца, или, по-тогдашнему, риемача — Thomas the Rhymer; конецъ его быль загадочень: онъ пропаль безъ тпомая the клумет; конець его оыль загадочень: онь пропаль оезь въсти, уйдя вслёдь за двумя бёлыми оленями, присланными за нимъ, какъ говорили, изъ царства фей. Черезъ нъсколько въковъ одного изъ прямыхъ потомковъ этого фантастическаго героя, пъвца и прорицателя, исчезнувшаго въ поэтическомъ царствъ фей, судьба занесла въ прозаическое царство московское. Около 1620 года «пришель съ Литвы въ городъ Бълый изъ Шкотской земли выходецъ именитый человъкъ Юрій Андреевичъ Лермонтъ и просился на службу великаго государя, и въ Москвъ своею охотою крещенъ изъ кальвинской въры въ благочестивую. И пожаловалъ его государь царь Михаилъ Өеодоровичъ восемью деревнями и пустошами Галицкаго уъзда, Заблоцкой волости. И по указу великаго государя договаривался съ нимъ бояринъ князь И. Б. Черкасскій, и приставленъ онъ. Юрій, обучать рейтарскому строю новокрещеныхъ нъмцевъ стараго и новаго выъзда, равно и татаръ». Отъ этого ротмистра Лермонта въ восьмомъ поколъніи пропсходитъ нашъ поэтъ, связанный и съ рейтарскимъ строемъ, подобно этому своему предку XVII в., но гораздо болъе близкій по духу къ древнему своему предку, въщему и демоническому Өомъ Риемачу, съ его любовными пъснями, мрачными предсказаніями, загадочнымъ двойственнымъ существованіемъ и роковымъ концомъ.

Первая и основная особенность Лермонтовского генія — страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себъ, на своемъ я, страшная сила личнаго чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая такъ чаруеть въ поэзіи Пушкина. Пушкинъ, когда и о себъ говоритъ, то какъ будто о другомъ; Лермонтовъ, когда и о другомъ говоритъ. то чувствуется, что его мысль и изъ безконечной дали стремится вернуться къ себъ, въ глубинъ занята собою, обращается на себя. Нътъ надобности приводить этому примъры изъ произведеній Лермонтова, потому что изъ нихъ немного можно было бы найти такихъ, гдъ бы этого не было. Ни у одного изъ русских поэтовъ нётъ такой силы личнаго самочувствія. какъ у Лермонтова. На Западъ это не было бы отличительною чертою. Тамъ неменьшую силу субъективности можно найти у Байрона, пожалуй, у Гейне, у Мюсса. У нашихъ же, гдв эта черта особенно ярко выражена, она есть подражаніе. Отличіе же Лермонтова здъсь въ томъ, что онъ не быль подражателемъ Байрона, а его младшимъ братомъ. и не изъ книгъ, а развъ изъ общаго происхожденія получилъ это западное наслъдіе, съ которымъ ему тъсно было въ безличной русской средь. И не одною позой или праздной фантазіей были чувства, выраженныя имъ въ раннемъ юношескомъ стихотвореніи — «Зачъмъ я не птипа, не воронъ степной»:

> На западъ, на западъ помчался бы я, Гдъ цвътуть моихъ предковъ поля, Гдъ въ замкъ пустомъ на туманныхъ горахъ Ихъ забвенный покоится прахъ.

Межъ мной и холмами отчизны моей Разстилаются волны морей. Послъдній потомокъ отважныхъ бойцовъ Увядаетъ средь чуждыхъ снъговъ.

Сильнъйшее развитие личнаго начала есть условие для наибольшей сознательности жизненнаго содержанія, но этимъ не дается само это содержание жизни, и при его отсутствии сильное я остается пустымъ. Оставаться совершенно пустымъ колоссальное я Лермонтова не могло, потому что онъ быль поэть Божіей милостью, и, следовательно, все имъ шереживаемое превращалось въ созданія поэзіи, давая новую пищу его я. А самымъ главнымъ въ этомъ жизненномъ матеріаль Лермонтовской поэзіи, беть сомньнія, была личная любовь. Но любовные мотивы, ръшительно преобладавшіе въ произведеніяхъ Лермонтова, какъ видно изъ нихъ же самихъ. лишь отчасти занимали личное самочувствіе поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жестокость, но не наполняя всецьло и не покрывая его я. Во всьхъ любовныхъ темахъ Лермонтова главный интересъ принадлежитъ не любви и не любимому, а любящему я, — во всёхъ его любовныхъ произведеніяхь остается нерастворенный осадокь торжествующаго, хотя бы и безсознательнаго, эгоняма. Я не говорю о тъхъ только произведеніяхъ, гдъ, какъ въ «Демонъ» и «Героъ нашего времени», окончательное торжество эгоизма надъ неудачною попыткой любви есть намъренная тема. Но это торжество эгоизма чувствуется и тамъ, гдь оно не имъется прямо въ виду, — чувствуется, что настоящая важность принадлежить эдесь не любви и не тому, что она делаеть изъ поэта, а тому, что онз изъ нея дълаетъ, какъ онз къ ней относится. Когда огромный глетчерь освъщается солнцемь, то является, говорять, эрълище восхитительное.

Новая эта красота происходить не оттого, чтобы солнце дълало что-нибудь новое изъ глетчера, — оно вѣдь его и растопить не можеть, — а только отъ того, что глетчеръ, оставаясь неизмѣнно самимъ собою, дѣлаетъ изъ солнечныхъ лучей, различнымъ образомъ отражая и преломдяя ихъ своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть Лермонтовскихъ любовныхъ стиховъ, — прелесть оптическая, прелесть миража. Замѣтъте, что въ этихъ произведеніяхъ почти никогда не выражается любовь въ настоящемъ, въ тотъ моментъ, когда она захватываетъ душу и наполняетъ жизнь. У Лер-

монтова она уже прошла, не владъетъ сердцемъ, и мы видимъ только чарующую игру воспоминанія и воображенія.

Разстались мы, но твой портреть Я на груди моей храню; Какь блюдный призрать лучшихь льть, Онь душу радуеть мою.

Или другое:

Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю, Не для меня красы твоей блистанье, — Люблю въ тебъ лишь прошлое страданье И молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ, Таинственнымъ я занятъ разговоромъ, Но не съ тобой — я съ сердцемъ говорю. Я говорю съ подругой юныхъ дней, Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія, Въ устахъ живыхъ уста давно нѣмыя, Въ глазахъ — огонь угаспувшихъ очей.

И тамъ, гдъ глаголъ любить является въ настоящемъ времени, онъ служитъ только поводомъ для меланхолической рефлексіи:

Мнъ грустно потому, что я тебя люблю, H знаю молодость цвътущую твою... — H т. д.

Въ одномъ чудесномъ стихотвореніи воображеніе поэта, обыкновенно занятое памятью прошлаго, играеть съ возможностью будущей любви:

Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски Звучалъ мнё голосъ твой отрадный, какъ мечта, Свётили мнё твои плёнительные глазки, И улыбалися лукавыя уста.

И создалъ я тогда въ моемъ воображеньи По легкимъ признакамъ красавицу мою, И съ той поры безплодное видънье Ношу въ душъ моей, ласкаю и люблю.

.

Любовь уже потому не могла быть для Лермонгова началомъ жизненнаго наполненія, что онъ любилъ главнымъ образомъ лишь собственное любовное состояніе, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь рамкой, а не содержаніемъ его я, которое оставалось одинокимъ и пустымъ. Это одиночество и пустынность напря-

женной и въ себъ сосредоточенной личной силы, не находящей себъ достаточнаго удовлетворяющаго ее примъненія. есть первая основная черта Лермонтовской поэзіи и жизни.

Вторая, тоже отъ западныхъ его родичей унаслъдованная черта, — быть можеть, видоизмъненный остатокъ шотландскаго двойного зръницы обычнаго переступать въ чувствъ и созерцании черезъ границы обычнаго порядка явленій и схватывать запредъльную сторону жизни и жизненныхъ отношеній.

Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависи-мости отъ первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова въ себъ навала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сътъ внъшней причинности и проникать въ другую, болъе глубокую связь существующаго, — это была способность пророческая; и если Лермонтовъ не быль ни пророкомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, ни такимъ прорицателемъ, какъ его предокъ Өома Риемачъ, то лишь потому, что онъ не давалъ этой своей способности никакого объекпотому, что онъ не давалъ этой своей способности никакого объективнаго примъненія. Онъ не былъ занять ни міровыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своихъ ближнихъ, а единственно только своею собственной судьбой, — и тутъ онъ, конечно, былъ болъе пророкъ, чътъ кто-либо изъ поэтовъ. Далъе я приведу нъсколько примъровъ того, какъ ясна была для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотвореніе. въ которомъ особенно ярко выступаетъ своеобразная способность Лермонтова ко второму зрѣнію, а именно знаменитое стихотвореніе «Сонъ». Въ немъ необходимо, конечно, различатъ дъйствительный фактъ, его вызвавшій, и то, что прибавлено поэтомъ при передачъ этого факта въ стройной стихотворной формъ, при чемъ Лермонэтого факта въ стройной стихотворной формъ, при чемъ Лермонтовъ обыкновенно обнаруживалъ излишнюю уступчивость требованіямъ риемы, но главное въ этомъ стихотвореніи не могло быть придумано, такъ какъ оно оказывается «съ подлиннымъ вѣрно». За нѣсколько мѣсяцевъ до роковой дуэли Лермонтовъ видѣлъ себя неподвижно лежащимъ на пескѣ среди скалъ въ горахъ Кавказа, съ глубокою раной отъ пули въ груди, и видящимъ въ сонномъ видѣніи близкую его сердпу, но отдѣленную тысячами верстъ женщину, видящую въ сомнамбулическомъ состояніи его трупъ въ той долинъ. — Тутъ изъ одного сна выходитъ, по крайней мѣрѣ, три: 1) сонъ здороваго Лермонтова, который видѣлъ себя самого смертельно раненымъ — пѣло сравнительно обыкновенное, хотя во всякомъ случаѣ это былъ дъло сравнительно обыкновенное, хотя, во всякомъ случав, это былъ

сонъ въ существенныхъ чертахъ своихъ въщій, потому что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ это стихотвореніе было записано въ тетради Лермонтова, поэтъ былъ дѣйствительно глубоко раненъ пулею въ грудь, дѣйствительно лежалъ на пескѣ съ открытою раной, и дѣйствительно уступы скалъ тѣснилися кругомъ. 2) Но, видя умирающаго Лермонтова, здоровый Лермонтовъ видѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что снится умирающему Лермонтову:

И снился мив сіяющій огнями Вечерній пирь въ родимой сторопъ... Межь юныхъ жень, увънчанныхъ цвътами, Шель разговоръ веселый обо мнъ.

Это уже достойно удивленія. Я думаю, немногимъ изъ васъ случалось видя кого-нибудь во снѣ, видѣть вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ сонъ, который видится этому вашему сонному видѣнію. Но такимъ сномъ (2) дѣло не оканчивается, а является сонъ (3):

Но, въ разговоръ веселый не вступая, Сидъла тамъ задумчива одна, И въ грустный сонъ душа ея младая Богъ знаетъ чъмъ была погружена. И снилась ей долина Дагестана, Знакомый трупъ лежалъ въ долинъ той, Въ его груди, дымясь, чернъла рана, И кровь лилась хладъющей струей.

Лермонтовъ видълъ, значитъ, не только сонъ своего сна, но и тотъ сонъ, который снился сну его сна — сновидъніе въ кубъ.

Во всякомъ случав остается фактъ, что Лермонтовъ не только предчувствовалъ свою роковую смерть, но и прямо видвлъ ее заранве. А та удивительная фантасмагорія, которою увъковвчено это видвніе въ стихотвореніи «Сонъ», не имветъ ничего подобнаго во всемірной поэзіи и, я думаю, могла быть созданіемъ только потомка въщаго чародвя и прорицателя, исчезнувшаго въ царствъ фей. Одного этого стихотворенія, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовымъ врожденный черезъ голову многихъ покольній переданный ему геній. Теперь намъ остается посмотръть, какъ самъ Лермонтовъ приняль этотъ задатокъ великой судьбы и что онъ ивъ него сдълать.

Въ отроческихъ и раннихъ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова (которыхъ сохранилось гораздо больше, чъмъ эрълыхъ), почти

во всъхъ или прямо высказывается. или просвъчиваетъ ръшительное сознаніе, что онъ существо избранное и сильное, назначенное совершить что-то великое. Въ чемъ будетъ состоять и къ чему относиться это великое, онъ еще не можетъ и намекнуть. Но что онъ призванъ совершить его — несомиънно. На семнадцатомъ году онъ говоритъ:

Я рождень, чтобъ цёлый мірь быль зритель Торжества иль гибели моей.

Подобных этому заявленій у начинающаго поэта не оберешься, и было бы слишкомъ долго ихъ приводить. Мы могли бы смѣяться надъ самоувъренной заносчивостью мальчика, если бы онъ дѣйствительно не обнаружилъ нѣсколько лѣтъ спустя чрезвычайныхъ силъ ума, воли и творчества. А такъ какъ онъ ихъ обнаружилъ, то въ этихъ раннихъ заявленіяхъ о своемъ будущемъ величіи мы должны признать не пустую претензію и не начало маніи, а лишь вѣрное самочувствіе, или инстинктъ самооцѣнки. который дается всѣмъ избраннымъ людямъ. Отличіе Лермонтова здѣсь въ томъ, что эта высокая самооцѣнка уже отъ раннихъ лѣтъ связана у него съ слишкомъ низкой оцѣнкой другихъ, — всего свѣта, оцѣнкой заранѣе составленной, выражающей черту характера, а не результатъ какого-нибудъ дѣйствительнаго опыта. Въ томъ же стихотвореніи, гдѣ достойнымъ зрителемъ своей великой судьбы онъ признаетъ только цѣлый міръ, сейчасъ же затѣмъ слѣдуетъ:

Что хвала иль гордый смъхъ людей? Души ихъ пъвца не постигали, Не могли души его любить, Не могли понять его печали И его восторговъ раздълить.

А въ другомъ, также раннемъ, стихотвореніи сообщается, что жизнь научила поэта встрѣчать невольно и повсюду «подъ гордой важностью лица — въ мужчинѣ глупаго льстеца и въ каждой женщинѣ Гуду». Болѣе замѣчательна другая черта. Такъ же часто, какъ заявленія о своемъ величіи и о своемъ презрѣніи къ человѣчеству, въ раннихъ (а затѣмъ также и въ позднѣйшихъ) стихотвореніяхъ Лермонтова выражается его явственное предчувствіе неизбѣжной и преждевремнной гибели. Нѣкоторая ходульность въ обозначеніи этой гибели могла бы тоже, по крайней мѣрѣ въ раннихъ стихотвореніяхъ, вызвать улыбку, но и охота и право смѣяться совершенно исчезаютъ при мысли, что вѣдь поэтъ въ самомъ дълъ преждевременно погибъ.

Ясно. что эти двѣ черты Лермонтовскаго самочувствія прямо вытекають изъ тѣхъ особенностей его генія, о которыхъ я раньше говориль, т. е. его мизантропія — изъ сосредоточенности и напряженности въ немъ личнаго начала, а его постоянное и вѣрное предчувствіе гибели — изъ его второго зрѣнія.

Съ раннихъ лътъ ощутивъ въ себъ силу генія, Лермонтовъ приняль ее только какъ право, а не какъ обязанность, какъ привилегію, а не какъ службу. Онъ думалъ, что его геніальность уполномочила его требовать отъ людей и отъ Бога всего, что ему хочется, не обязывая его относительно ихъ ни къ чему. Но шусть Богъ и люди великодушно не настаиваютъ на обязанности геніальнаго человъка. Въдь Богу ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за тъ искры. которыя летять съ костра, на которомъ сжигаеть себя геніальный человъкъ. Пусть Богь на небъ и люди на землъ отпустять ему его медленное самоубійство. Но развъ легче отъ этого третьему обиженному, — самому генію, который попусту сжегь и закопаль въ прахъ и тлънъ то, что было ему дано для великаго подъема, какъ могучему вождю людей, на пути къ сверхчеловъчеству? Но какъ же онъ могъ кого-нибудь поднимать, когда самъ не поднялся? А поднимается человъкъ только по трупамъ — по трупамъ убитыхъ имъ враговъ, т. е. злыхъ личныхъ страстей. Можно ли этого требовать? Не отъ всякаго и требуется. Судьба или высшій разумъ ставятъ дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловъческое призваніе, исполни необходимое для него условіе, подними дійствительность, поборовши въ себъ то злое начало, которое тянеть тебя внизъ. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее тебя, что ты даже бороться съ нимъ отказываешься, то признай свое безсиліе, признай себя простымъ смертнымъ, хотя и геніально одареннымъ. Вотъ, кажется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань дъйствительно выше другихъ, или будь скромнымъ. А кто не желаетъ принять этой дилеммы и безумно возстаетъ противъ такихъ азбучныхъ требованій разума, какъ противъ какой-то обиды, — кто не можетъ подняться и не хочетъ смириться, — тотъ самъ себя обрекаетъ на неизбъжную гибель.

Сознавая въ себъ отъ раннихъ лътъ геніальную натуру, задатокъ сверхчеловъка, Лермонтовъ также рано сознавалъ и то злое

начало, съ которымъ онъ долженъ бороться, но которому скоро удалось, вмъсто борьбы, вызвать поэта лишь на идеализацію его.

Четырнадцатильтній Лермонтовъ еще не умьеть, какъ то сльдуеть, идеализировать своего демона. а даетъ ему такое простое и точное описаніе:

Онъ недовърчивость вселяеть Онъ презрълъ чистую любовь, Онъ всъ моленья отвергаетъ, Онъ равнодушно видитъ кровь. И звукъ высокихъ ощущеній Онъ давитъ голосомъ страстей, И муза кроткихъ вдохновеній Страшится неземныхъ очей.

Черезъ годъ Лермонтовъ говоритъ о томъ же:

Двъ жизни въ насъ до гроба есть. Есть грозный духъ: онъ чуждъ ему; Любовь, надежда, скорбь и месть — Все, все подвержено ему. Онъ основалъ жилище тамъ, Гдъ можемъ память сохранять, И предвъщаетъ гибель намъ, Когда ужъ поздно избъжать. Терзать и мучить любить онъ; Въ его ръчахъ неръдко ложь... Онъ точитъ жизнь, какъ скорпіонъ. Елу повърилъ я...

Еще черезъ годъ Лермонтовъ, уже юноша, опять возвращается къ характеристикъ своего демона:

Къ ничтожнымъ, хладнымъ толкамъ свъта Привыкъ прислушиваться онъ, Ему смъшны слова привъта. И всякій върящій смъшонъ. Онъ чуждъ любви и сожальнья, Живеть онъ пищею земной, Глотаетъ жадно дымъ сраженья И паръ отъ крови пролитой.

И гордый демонъ не отстанеть, Пока живу я, отъ меня, И умъ мой озарять онъ станетъ Лучомъ небеснаго огня.

.

Покажетъ образъ совершенства И вдругъ отниметъ навсегда, И, давъ предчувствіе блаженства, Не дастъ мнъ счастья никогда.

Всв эти описанія Лермонтовскаго демона можно бы принять за пустыя фантазіи талантливаго мальчика, если бы не было извъстно изъ біографіи поэта, что уже съ дътства, рядомъ съ самыми симпатичными проявленіями души чувствительной и нъжной, обнаруживались у него ръзкія черты злобы, прямо демонической. Одинъ изъ панегиристовъ Лермонтова, болье всъхъ, кажется, имъ занимавшійся, сообщаеть, что «склонность къ разрушенію развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду онъ то и дъло ломалъ кусты и срывалъ лучшіе цвъты, усыпая ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удовольствіемъ давилъ несчастную муху, и радовался, когда брошенный камень сбивалъ съ ногъ бъдную курицу». Было бы, конечно, нелъпо ставить все это въ вину балованному мальчику. Я бы и не упомянулъ даже объ этой чертъ, если бы мы не знали изъ собственнаго интимнаго письма поэта, что взрослый Лермонтовъ совершенно также вель себя относительно человъческаго существованія, особенно женскаго, какъ Лермонтовъ-ребенокъ — относительно цвътовъ, мухъ и курицъ. И тутъ опять значительно не то, что Лермонтовъ разрушаль спокойствіе и честь свътскихъ барынь, — это можетъ происходить и нечаянно, а то, что онъ находиль особенное наслаждение и радость въ этомъ совершенно негодномъ дълъ, также какъ онъ ребенкомъ съ истиннымъ удовольствиемъ давилъ мухъ и радовался зашибленной камнемъ курицъ.

Кто изъ большихъ и малыхъ не дълаетъ волей и неволей всякаго зла и цвътамъ, и мухамъ, и курицамъ, и людямъ? Но всъ, я думаю, согласны, что услаждатъся дъланіемъ зла естъ уже черта нечеловъческая. Это демоническое сладострастіе не оставляло Лермонтова до горькаго конца; въдь и послъдняя трагедія произошла оттого, что удовольствіе Лермонтова терзатъ слабыя созданія встрътило, вмъсто барышни, браваго майора Мартынова, какъ роковое орудіе кары для человъка, который долженъ и могь бы быть солью земли, но сталъ солью, такъ жалко и постыдно обуявшею. Осталось отъ Лермонтова нъсколько истинныхъ жемчужинъ его поэзіи, попирать которыя могутъ только извъстныя животныя; осталось, къ несчастью, и въ произведеніяхъ его слишкомъ много сроднаго этимъ самымъ

животнымъ, а главное, осталась обуявшая соль его генія, которая, по слову Евангелія, дана на попраніе людямъ. Могутъ и должны по слову евангелія, дана на попраніе людямъ. могуть и должны люди попирать обуявшую соль этого демонизма съ презрѣпіемъ и враждою, конечно, не къ погибшему генію, а къ погубившему его началу человѣкоубійственной лжи. Скоро это злое начало приняло въ жизни Лермонтова еще другое направленіе. Съ годами демонъ кровожадности слабѣетъ, отдавая большую часть своей силы своему брату — демону нечистоты. Слишкомъ рано и слишкомъ безпрепятственно овладъль этотъ второй демонъ душою несчастнаго поэта и слишкомъ много слъдовъ оставилъ въ его произведеніяхъ. И когда, въ одну изъ минутъ просвътлънія, онъ говорить о «порокахъ юно-сти преступной», то это выраженіе — увы! — слишкомъ близко къ дъйствительности. Я умолчу о біографическихъ фактахъ, — скажу лишь нъсколько словъ о стихотворныхъ произведеніяхъ, внушенныхъ этимъ демономъ нечистоты. Во-первыхъ, ихъ слишкомъ много, вовторыхъ, они слишкомъ длинны: самое невозможное изъ нихъ есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная авторомъ уже совершеннольтнимъ. и, въ-третьихъ, и главное — характеръ этихъ писаній производить какое-то удручающее впечатльніе полнымъ отсутствіемъ той легкой игривости и граціи, какими отличаются, напримъръ, подлинныя произведенія Пушкина въ этой области. Такъ тами, то поясню его сравненіемъ. Въ одинъ пасмурный день въ детами, то поясню его сравненіемъ. Въ одинъ пасмурный день въ деревнъ я видъть дасточку, детающую надъ большой болотной лужей. Что-то ее привлекало къ этой темной влагъ, она совсъмъ опускалась къ ней и, казалось, вотъ-вотъ погрузится въ нее или хотъ зачерпнетъ крыломъ. Но ничуть не бывало: каждый разъ, не коснувшись поверхности, дасточка втруть поднималась вверхъ, и щебетала что-то невинное. Вотъ вамъ впочатлъніе, производимое этими шутками у Пушкина: видипъ тинистую лужу, видишь дасточку и видишь, что прочной связи вътъ между ними, — тогда какъ порнографическая муза Лермонтова — словно лягушка, погрузившаяся и прочно засъвшая въ тинъ шая въ тинъ.

Или, — чтобы сказать ближе къ дѣлу, — Пушкина въ этомъ случаѣ вдохновлялъ какой-то шривый бѣсенокъ, какой-то шутникъгномъ, тогда какъ перомъ Лермонтова водилъ настоящій демонъ нечистотъ.

Сознавалъ ли Лермонтовъ, что пути, на которые толкали его

эти демоны, были путями ложными и шагубными? И въ стихахъ, и въ письмахъ его много разъ высказывалось это сознаніе. Но сдълать дъйствительное усиліе, чтобы высвободиться изъ-подъ власти двухъ первыхъ демоновъ, мѣшалъ третій и самый могучій — демонъ гордости; онъ нашептывалъ: — Да, это дурно, да, это низко, но ты геній, ты выше простыхъ смертныхъ, тебѣ все позволено, ты имѣешь отъ рожденія привилегію оставаться высокимъ и въ низости... Глубоко и искренно тяготился Лермонтовъ своимъ паденіемъ и порывался къ добру и чистотѣ. Но мы не найдемъ ни одного указанія, чтобы онъ когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался къ смиренію. И демонъ гордости, какъ всегда хозяинъ его внутренняго дома, мѣшалъ ему дѣйствительно поборотъ и изгнатъ двухъ младшихъ демоновъ, и когда хотѣлъ — снова и снова отворяль имъ дверь...

Говоря о гордости и смиреніи, я разуміню нічто вполні реальное и утилитарное. Гордость потому есть коренное эло или главный изъ смертныхъ гръховъ, по богословской терминологіи, что это есть такое состояніе души, которое ділаеть всякое совершенствованіе или возвышение невозможнымъ, потому что гордость въдь въ томъ и заключается, счтобы считать себя ни въ чемъ не нуждающимся, чъмъ исключается всикая мысль о совершенствованіи и подъемъ. Смиревіе потому несть основная для человька добродьтель, что признаніе своей недостаточности прямо обусловливаеть потребность и усиліе совершенствованія. Другими словами, гордость для человъка есть первое условіе, чтобы никогда не сдълаться сверхчеловъкомъ, и смиреніе есть первое условіе, чтобы сдълаться сверхчеловъкомъ; поэтому сказать, что геніальность обязываеть ко смиренію, значить только сказать, что геніальность обязываеть становиться сверхчеловъкомъ. Лермонтову тымь легче было исполнить эту обязанность, что онь, при всемъ своемъ демонизмъ, всегда върилъ въ то, что выше и лучше его самого, а въ иныя свътлыя минуты даже ощущаль надъ собою это лучшее:

II въ небесахъ я вижу Бога...

Это религіозное чувство, часто засыпавшее въ Лермонтовъ, никогда въ немъ не умирало и, когда пробуждалось, — боролось съ его демонизмъ. Оно не исчезло и тогда, когда онъ далъ побъду злому началу, но приняло странную форму. Уже во многихъ раннихъ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ говоритъ о Высшей волъ съ какою-то личною обидою. Онъ какъ будто считаетъ ее виноватою противъ него, глубоко его оскорбившею.

Въ этихъ раннихъ произведеніяхъ тяжба поэта съ Богомъ имъетъ, конечно, ребяческій характеръ. Лермонтовъ упрекаетъ Творца за то, что онъ сдълалъ его некрасивымъ; за то, что люди и осоза то, что онъ сдълалъ его некрасивымъ; за то, что люди и особенно кузины и другія барышни не понимаютъ и не цѣнятъ его, и т. п. Но когда, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ порывовъ къ возрожденію, — безплодныхъ потому. что съ дѣтскихъ лѣтъ заведенное въ его душѣ демоническое хозяйство не могло бытъ разрушено нѣсколькими субъективными усиліями, а требовало сложнаго и долгаго подвига, на который Лермонтовъ не былъ согласенъ, — итакъ, когда, послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ попытокъ перемънить жизненный путь. Лермонтовъ перестаетъ бороться протимъ демоническихъ силъ и находитъ окончательное ръщеню жизненнаго вопроса въ фамализмъ («Герой нашего времени» и «Валерикъ»), — онъ вмъстъ съ тъмъ даетъ новую, ухищренную «Валерикъ»), — онъ витстъ съ тъмъ даетъ новую, ухищренную форму своему прежнему дътскому чувству обиды противъ Провидънія, — именно въ послъдней обработкъ поэмы «Демонъ». Герой этой поэмы есть тотъ же главный демонъ самого Лермонтова — демонъ гордости, котораго мы видъли въ раннихъ стихотвореніяхъ. Но въ поэмъ онъ ужасно пдеализованъ (особенно въ послъдней ея обработкъ), хотя, несмотря на эту идеализацію, образъ его дъйствій, если судить безпристрастно, скоръе приличествуетъ юному гусарскому корнету, нежели особъ такого высокаго чина и такихъ древнихъ лътъ. Несмотря на великолъпіе стиховъ и на значительность замысла, говорить съ полной серьезностью о совержаніи поэмы «Лемонъ» тля говорить съ полной серьезностью о содержаніи поэмы «Демонъ» для меня такъ же невозможно, какъ вернуться въ пятый или шестой классъ гимназіи. Но сказать о немъ все-таки нужно. Итакъ. — идеаклассъ гимназіи. Но сказать о немъ все-таки нужно. Итакъ, — идеализованный демонъ вовсе ужъ не тотъ дукъ зла, который такими правдивыми чертами былъ описанъ въ прежнихъ стихотвореніяхъ геніальнаго отрока. Демонъ поэмы не только прекрасенъ, онъ до чрезвычайности благороденъ и, въ сущности, вовсе не золъ. Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумѣніе съ Всевышнимъ, но онъ тяготится этой размолвкою и желаетъ примиренія. Случай къ этому представляется, когда демонъ видитъ прекрасную грузинскую княжну Тамару, пляшущую и поющую на кровлѣ родительскаго дома. По Библіи и по здравой логикъ. — что одно и то же, — увлеченіе сыновъ Божішхъ красотою дочерей человъческихъ есть паденіе, но для демонизма это есть начало возрожденія. Однако, возрожденія не происходить. Послъ смерти жениха и удаленія Тамары въ монастырь демонъ входить къ ней, готовый къ добру, но, видя ангела, охраняющаго ея невинность, воспламеняется ревностью, соблазняеть ее, убиваеть и, не успъвши завладѣть ея душою, объявляетъ, что онъ хотѣлъ стать на другой путь, но что ему не дали. и съ сознаніемъ своего полнаго права становится уже настоящимъ демономъ.

Такое ръщение вопроса находится въ слишкомъ явномъ противоръчии съ логикою, чтобы стоило его опровергать.

Итакъ, натянутое и ухищренное оправданіе демонизма въ теорів, а для практики принципъ фатализма, — вотъ къ чему пришелъ Лермонтовъ передъ своимъ трагическимъ концомъ. Фатализмъ, самъ по себъ, конечно, не дуренъ. Если, напримъръ, человъкъ воображаетъ, что онъ роковымъ образомъ долженъ бытъ добрымъ, и дълаетъ добро, и неуклонно слъдуетъ этому року, то чего же лучше? Къ несчастію, фатализмъ Лермонтова покрывалъ только его/дурные пути.

Образъ его дъйствій за послъднее время я разсказывать не стану: скажу только, что онъ былъ не лучше прежняго. Между тъмъ, полнаго убъжденія въ истинъ фатализма у Лермонтова не было, и онъ, кажется, захотълъ убъдиться въ немъ на опытъ. Всъ подробности его поведенія, приведшаго къ послъдней дуэли, и во время самой этой дуэли, носятъ черты фаталистическаго эксперимента.

На дуэли Лермонтовъ велъ себя съ благородствомъ, — онъ не стрѣлялъ въ своего противника, — но по существу это былъ безумный вызовъ высшимъ силамъ, который во всякомъ случав не могъ имѣтъ хорошаго исхода. Въ страшную грозу, при блескъ молніи и раскатахъ грома, перешла эта бурная душа въ иную область бытія.

Конецъ Лермонтова и имъ самимъ и нами называется *гибелью*. Выражаясь такъ, мы не представляемъ себъ конечно, этой гибели ни какъ театральнаго провала въ какую-то преисподнюю, гдъ пляшутъ красные черти, ни какъ совершеннаго прекращенія бытія. О природъ загробнаго существованія мы ничего достовърнаго не знаемъ, а потому и говорить объ этомъ не будемъ. Но есть нравственный законъ, столь же непреложный, какъ законъ математическій, и онъ не допускаетъ, чтобы человъкъ испытывалъ послѣ смерти превращенія

произвольныя, не обоснованныя его предыдущимъ нравственнымъ подвигомъ. Если жизненный путь продолжается и за гробомъ, то, очевидно, онъ можетъ продолжаться только съ той степени, на котовидно, онъ можеть продолжаться только съ той степени, на которой остановился. А мы знаемъ, что какъ высока была степень прирожденной геніальности Лермонтова, такъ же низка была его степень нравственнаго усовершенствованія. Лермонтовъ ушелъ съ бременемъ неисполненнаго долга — развить тотъ задатокъ великолъпный и божественный, который онъ получилъ даромъ. Онъ былъ призванъ сообщить намъ, своимъ потомкамъ, могучее движение впередъ и вверхъ къ истинному сверхчеловъчеству, — но этого мы отъ него не получили. Мы можемъ объ этомъ скорбъть, но то, что Лермонтовъ не исполнилъ своей обязанности къ намъ, — конечно, не снимаетъ съ насъ нашей обязанности къ нему. Прежде чемъ быть обязаннымъ относительно нашихъ современниковъ — братьевъ по человъчеству и относительно потомства — нашихъ дътей по человъчеству, мы имъемъ обязанность къ отшедшимъ — нашимъ отцамъ въ человъчествъ, и, конечно, Лермонтовъ принадлежитъ къ такимъ отцамъ для современнаго поколѣнія. Такъ не требуеть ли отъ насъ обязанность сыновней любви и почтенія восхвалять Лермонтова за все то многое въ немь, что достойно хвалы, и молчать о другомъ? Я не такъ по-нимаю сыновнюю любовь и ея обязанность. Представьте себъ, что мы видимъ живого отца, исполненнаго заслугъ и высокихъ дарованій. но въ настоящую минуту обремененнаго какой-нибудь тяжестью душевною или физическою, все равно. Обязанность сыновней любви къ такому отцу, конечно, потребуетъ отъ насъ не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарованія, з того, чтобы мы помогли ему спять съ себя или, по крайней мъръ, облегчили удручающее его бремя. Разв'в не то же и относительно отцовъ умершихъ? Облегчить бремя ихъ души — вотъ наша обязанность. И у Лермонтова съ бременемъ неисполненнаго призванія связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можемъ и должны. Облекая въ красоту формы ложныя мысли и чувства, онъ дълаль и дълаетъ еще ихъ привлекательными для неопытныхъ, и если хоть одинъ изъ малыхъ сихъ вовлеченъ имъ на ложный путь, то сознаніе этого, теперь уже невольнаго и яснаго для него, гръха должно тяжелымъ камнемъ лежать на душть, его. Обличая ложь воспътаго имъ демонизма, только останавливающаго людей на пути къ ихъ истинной сверхчеловъческой цъли, мы во всякомъ случат подрываемъ эту ложь и уменьшаемъ

коть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душть. Вы мнт повтрите, что прежде, чты говорить публично о Лермонтовть, я подумаль, чего требуеть отъ меня любовь къ умершему, какой взглядь долженъ я высказать на его земную судьбу, — и я знаю, что тутъ, какъ и вездт. одинъ только взглядъ, основанный на втиной правдт, въ самомъ дтл нуженъ и современнымъ, и будущимъ поколтніямъ, а прежде всего — самому отшедшему.

Предисловіе къ переводу "Исторіи матеріализма" Ф. А. Ланге.

1899.

Предисловіе къ "Упырю" Графа А. К. Толстого.

1899.

Три характеристики:

М. М. Троицкій.— Н. Я. Гротъ.— П. Д. Юркевичъ

1900.

Предисловіе къ переводу "Исторіи матеріализма" Ф. А. Ланге 1.

1899.

«Исторія матеріализма» Ф. А. Ланге, появившаяся болье тридцати льть тому назадь (въ 1865 г.), остается до сихъ поръ незамыненнымъ руководствомъ по этому предмету, что при богатствы философской литературы въ Германіи достаточно ручается за доброе качество книги и за пользу ея перенесенія путемъ переводовъ въ другія, менье обильныя литературы. Здысь я укажу лишь въ нысколькихъ словахъ на отличительный характеръ этой книги и на общее значеніе ея предмета.

Широкое распространеніе матеріалистическихъ взглядовъ и ученій въ XVIII вѣкѣ и шумная ихъ «реставрація» въ половинѣ XIX вѣка послѣ торжествующаго владычества чисто-умозрительнаго идеализма, — обѣ эти эпохи (особенно послѣдняя) породили великое обиліе полемическихъ и апологетическихъ разсужденій на разныя темы, затрагиваемыя матеріализмомъ. При неравныхъ качествахъ эти произведенія отличались одинаковою недолговѣчностью.

Кто прежде зналъ, тотъ позабылъ Всъ ихъ мудреныя названья.

Книга Ланге не принадлежить къ этого рода литературъ. Смотря на свой предметъ съ нъкоторой философской высоты, авторъ не испытываетъ и не вызываетъ наивнаго полемическаго задора. Вмъ-

¹ Настоящее предисловіе пом'ящено въ первомъ том'я изданія: — Ф. А. Ланге. Исторія матеріализма и критика его значенія въ настоящемъ. Переводъ съ пятаго н'ямецкаго изданія, подъ редакціей и съ предисловіемъ Владиміра Соловьева. Южно-русское книго-издательство Ф А. Іогансона. Кіевъ — Харьковъ. 1899—1900. Пва тома. — Г. Р.

сть съ тымъ это не есть молько исторія матеріализма: съ историческимъ изложеніемъ умственныхъ явленій тѣсно связана здѣсь ихъ многосторонняя философская оцтнка съ опредъленной точки зртнія, именно кантіанской, при томъ въ той особой возвышенно-идеалистической окраскъ, которую умственныя построенія Канта получили отъ поэта-мыслителя Шиллера. Я не считаю эту точку зрвнія окончательнымъ выраженіемъ истины, такъ какъ истина не есть только идеаль, а. имъя въчную реальность въ Богъ, становится реальною въ человъкъ и въ исторіи человъчества, конецъ которой есть полное, адэкватное, воплощение абсолютной идеи въ явлении. Но я думаю, что кантіанскій идеализмъ достаточень для окончательной философской критики матеріализма; потому что матеріализмъ, какъ философія, перестаетъ быть возможнымъ убъжденіемъ для ума, поднявшагося до тъхъ мысленныхъ запросовъ и задачъ, которые съ особою силою и ясностью выдвинуты именно критическою философіей Канта. Его критицизмъ есть тотъ мостъ, черезъ который должны проходить всъ философскія ученія, но на которомъ нъкоторыя изъ нихъ проваливаются. Къ последнимъ принадлежитъ и матеріализмъ. Это делается само собою, безо всякой полемики.

Критическая философія разрушительна для матеріализма не со стороны его положительнаго содержанія, которое дается естествознаніемъ, а только со стороны его метафизическихъ притязаній, чуждыхъ всякой научности.

Матеріализмъ, какъ низшая элементарная ступень философіи. имъ̀етъ всегдашнее, прочное значеніе; но, какъ самообманъ ума, принимающаго эту низшую ступень за цѣлую лѣстницу, матеріализмъ естественно исчезаетъ при повышеніи философскихъ требованій, хотя, конечно, до конца исторіи будутъ находиться умы элементарные, для которыхъ догматическая метафизика матеріализма сстанется самою соотвътственною философіей.

По природѣ для ума человѣческаго привлекательна только истина. Отъ древности и до нашихъ дней начинающіе философствовать умы плѣнялись заключенною въ матеріализмѣ истиною — о единой основѣ всякаго бытія, связывающей всѣ вещи и явленія, такъ сказать, снизу — въ темной, безсознательной, «стихійной» области. Но матеріализмъ не останавливается на признаніи этой истины, а также не ставить ея логическое развитіе какъ свою дальнѣйшую задачу; вмѣсто этого онъ сразу, а ргіогі признаетъ матеріальную основу бытія

саму по себѣ за всецѣлое и безусловно достаточное начало мірового единства. т. е. допускаетъ какъ самоочевидпую истину, что все существующее не только связано общею матеріальною основой (въ чемъ онъ правъ), но еще и то, что все въ мірѣ только ею, только снизу и можетъ объединяться, а всѣ прочія начала и стороны всемірнаго единства суть только произвольныя фикціи. А затѣмъ, упростивши такимъ образомъ общую задачу міропониманія, матеріализмъ естественно обнаруживаетъ тенденцію упростить до крайности и самое содержаніе въ представленіи о единой основѣ бытія. Съ теоретической стороны все сводится окончательно къ совокупности простыйшихъ тѣлецъ — атомовъ, а съ практической — къ дѣйствію простыйшихъ матеріальныхъ инстинктовъ и побужденій. Ясно, что этимъ могутъ удовлетворяться лишь простыйшіе умы.

Вотъ передъ вами удивительно сложное, величественной архитектуры зданіе, поражающее васъ единствомъ стиля и плана и загадочностью своего назначенія; а вамъ указываютъ на ту, впрочемъ, несомивнично истину, что это здание состоить изъ одного и того же матеріала, что оно все построено изъ одинаковаго гранита. Вамъ приходится отвъчать, что вы въ этомъ не сомнъваетесь, но что это не интересно и ничего для васъ не объясняетъ. Или вы слышите, положимъ, исторію о страданіяхъ юнаго Вертера и при ней объясненіе, что все это имбеть своею матеріальною подкладкою извъстную физіологическую функцію, свойственную не только всемъ человеческимъ, но и большинству животныхъ и растительныхъ организмовъ. И тутъ вамъ придется сказать, что вы въ этой истинъ не сомнъваетесь, но что васъ интересують не физіологическіе корни, а психодогическіе и этическіе цвёты и плоды на дерев'в жизни. А когда вась увфряють, что единство зданія окончательно сводится къ одинаковости матеріала, и окончательное основаніе любви заключается въ физіологической функціи, то вы можете заявить свое безспорное право относить терминъ «окончательно» не къ одному нижнему, а также и къ верхнему концу той жизненной линіи, среди которой вы себя ощущаете.

Такое право, кажется мий, достаточно явственно и убъдительно выступаеть какъ общій выводъ изъ «Исторіи матеріализма».

Черезъ двадцать лътъ послъ «Исторіи матеріализма» Ланге вышла «Исторія этики» Іодля (2 тома, 1882—1889 гг.; русскій переводъ шодъ моей редакціей появился два года тому назадъ въ Москвъ въ изда-

ніи К. Т. Солдатенкова). Оба сочиненія, написанныя съ одной и той же точки зрѣнія и по одинаковому общему плану, дополняютъ другъ друга, поскольку у Ланге преобладаютъ (хотя не исключительно) вопросы теоретическіе, тогда какъ Іодль разсматриваетъ преимущественно (но также не исключительно) вопросы практической философіи. О тѣхъ частныхъ видоизмѣненіяхъ и дополненіяхъ, которыя вносятся обоими авторами въ общій взглядъ Канта, я еще буду имѣтъ случай говоритъ во ІІ томѣ настоящаго изданія.

При переводъ соблюдена возможная близость къ подлиннику, а въ примъчаніяхъ, для удобства читателей, сдъланы ссылки на существующіе русскіе переводы соотвътственныхъ сочиненій.

Въ конц\$ второго тома, посл\$ прим\$чаній автора, будутъ пом\$- щены мои прим\$чанія къ обойм\$ томам\$ 1 .

¹ Во второмъ томъ помъщено было нижеслъдующее заявленіе редактора изданія: "Принужденный бользнью глазъ отказаться на неопредъленное время отъ всякихъ письменныхъ и книжныхъ занятій, я, къ сожальнію, поставленъ въ невозможность исполнить высказанныя въ предисловіи къ первому тому объщанія относительно примъчаній къ обоимъ томамъ Ланге. Въ этихъ примъчаніяхъ я имълъ въ виду оговорить и выяснить тъ пункты, въ которыхъ я существенно несогласенъ съ авторомъ "Исторіи матеріализма". Владиміръ Соловьевъ. 31 августа 1899 года". — Г. Р.

Предисловіе къ "Упырю" графа А. К. Толстого¹. 1899.

Въ 1841 году вышло въ Петербургъ въ ограниченномъ числъ экземшляровъ первое произведение начинающаго писатсля подъ псевдонимомъ Красногорскаго. Оно было замъчено Бълинскимъ, который въ своей рецензіи оказался пророкомъ.

«Эта небольшая, — пишеть онъ, — со вкусомъ, даже изящно изданная книжка носить на себъ всъ признаки еще слишкомъ мододого, но тъмъ не менъе замъчательнаго дарованія, которое нъчто объщаетъ въ будущемъ. Содержание ея многосложно и исполнено эффектовъ; но причина этого заключается не въ недостаткъ фантазіи. а скорбе въ ен пылкости, которая еще не успъла умъриться опытомъ жизни и уравновъситься съ другими способностями души... Вообще густота и яркостъ красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченія — признаки произведеній юности . . . «Упырь» произведеніе фантастическое... оно можеть насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе» . . . Бълинскій отказывается излагать содержаніе «Упыря», потому что «читатели немного увидъли бы изъ сухого изложенія». «Скажемъ только, — заключаетъ онъ свою рецензію, — что уже самая многосложность и запутанность изобрътенія обнаруживають въ авторъ силу фантазіи, а мастерское изложеніе, умініе сділать изь своихь диць что-то вь роді характеровъ, способныхъ схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогь», словомъ, во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной — все это

¹ Настоящее предисловіе пом'єщено въ изданіи: — Упырь. Разсказъ графа А. К. Толстого. Съ предисловіемъ Владиміра Соловьева. Спб. 1900 г. Г. Р.

заставляеть надъяться въ будущемь многого отъ автора «Упырь». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдълаютъ свое дъло, а въ авторъ «Упыря», повторяемъ, есть ръшительное дарованіе».

Всёми признанная эстетическая чуткость Бѣлинскаго не обманула его и на этотъ разъ. Авторъ «Упыря» былъ графъ А. К. Толстой. Къ сдѣланной знаменитымъ критикомъ краткой оцѣнкѣ литературныхъ качествъ его перваго юношескаго произведенія нельзя прибавить ничего существеннаго, и я хочу здѣсь сказать лишь нѣсколько словъ о томъ, что есть истинно-фантастичное, и указать на нѣкоторыя особыя черты сто проявленія въ этой повѣсти.

Существенный интересъ и значеніе фантастического въ поэзіи держится на увъренности, что все происходящее въ міръ и особенно въ жизни человъческой зависить, кромъ своихъ наличныхъ и очевидныхъ причинъ. еще отъ какой-то другой причинности. болъе глубокой и многообъемлющей, но зато менъе ясной. Если бы жизненная связь всего существующаго была проста и прозрачна какъ дважды два — четыре, то этимъ исключалось бы все фантастическое. — Дадимъ ли мы ему неосмотрительное названіе «сверхъестественнаго», или обозначимъ его болъе осторожно какъ «необычайное»; не имъя своего мъста и смысла въ жизни. оно было бы лишено и всякаго права на изображеніе въ здравой поэзіи, и сама эта поэзія исчерпывалась бы тогда сообщеніемъ красивой формы повседневныму. насквозь прозаическому содержанію. Тогда Германъ и Доромея остались бы въ поэзіи, да и то съ кой-какими выпусками, но Фаусма, если бы онъ былъ написанъ, слъдовало бы уничтожить какъ бредъ сумасшедшаго.

Но представленіе жизни какъ чего-то простого, разсудительнаго и прозрачнаго прежде всего противоръчить дъйствительности, оно не реально. Въдь было бы очень плохимъ реализмомъ — утверждать. напримъръ, что подъ видимою поверхностью земли, по которой мы ходимъ и ъздимъ, не скрывается ничего, кромъ пустоты. Такого рода реализмъ былъ бы разрушенъ всякимъ землетрясеніемъ и всякимъ вулканическимъ изверженіемъ, свидътельствующими, что подъ видимою земною поверхностью таятся дъйствующія и, слъдовательно, дъйствительныя силы. Немногимъ лучше былъ бы и противоположный взглядъ, который, признавая дъйствительность подземнаго, счи-

таль бы его прямо «сверхъестественнымъ». Такой супранатурализмъ достаточно опровергался бы опытомъ рудокоповъ и геологовъ, знаьемыхъ съ естественными наслоеніями и глубинами земной коры.

Существуютъ такія естественныя наслоенія и глубины и въ жизни человъческой, и проявляются онъ не въ однъхъ только историческихъ катастрофахъ. Подъ паружною повседневною связью житейскихъ событій существуєть и чуткому вниманію открывается иная роковая жизненная связь, постоянная и строго-последовательная при всей неожиданности и кажущейся ирраціональности своихъ проявленій. Какъ геологические слои земной коры не расположены вездъ одинаково концентрически, а въ разныхъ мъстахъ пересъкаютъ другъ друга, такъ что, напримъръ въ Финляндіи или въ Шотландіи, прямо подъ растительнымъ покровомъ выступаютъ древиъйшія первозданныя образованія. такъ и мистическая глубина жизни иногда близно подходить къ житейской поверхности; но и въ этихъ случаяхъ «растительный покровъ» повседневнаго сознанія все-таки на-лицо. И вотъ отличительный признакъ подлинно-фантастическаго: оно никогда не является, такъ сказать, въ обнаженномъ видь. Его явленія никогда не должны вызывать принудительной въры въ мистическій смыслъ жизненныхъ происшествій, а скорфе должны указывать, намекать на него. Въ подлинно-фантастическомъ всегда оставляется внъшняя, формальная возможность простого объясненія изъ обыкновенной всегдашней связи явленій, при чемъ однако это объясненіе окончательно лишается внутренней въроятности. Всъ отдъльныя подробности должны имъть повседневный характеръ, и лишь связь цълаго должна указывать на иную причинность.

Отвотьють, обособленных явленій фантастическаго не бываеть, бывають только реальныя явленія, но иногда выступаеть яснѣе обыкновеннаго иная, бслѣе существенная и важная, связь и смыслъ этихъ явленій. Никто не стапеть читать вашей фантастической поэмы, если въ ней разсказывается, что въ вашу комнату внезапно влетълъ шестикрылый ангелъ и поднесъ вамъ прекрасное золотое пальто съ алмазными пуговицами. Ясно, что и въ самомъ фантастическомъ разсказѣ пальто должно дѣлаться изъ обыкновеннаго матеріала и приноситься не ангеломъ, а портнымъ, — и лишь отъ сложной связи этого явленія съ другими происшествіями можетъ возникнуть тотъ загадочный или таинственный смыслъ, какого они въ отдъльности не имѣютъ. Какъ однѣми и тѣми же буквами мы пишемъ ръчи и высокаго и «подлаго» штиля, такъ одинокія явленія при различномъ контекстъ жизни могуть имъть и самое обыкновенное, поверхностное, и самое глубокое значеніе. Такъ оно есть въ дъйствительности, такъ должно быть и въ поэзіи.

Юношеская повъсть Толстого удовлетворяеть этому требованію. Хотя она насыщена фантастическими элементоми, они везди растворенъ житейской реальностью и нигдъ не выступаетъ въ обнаженномъ видъ. Такъ, съ самаго начала хотя можетъ показаться, что мы вдругъ попали въ область довольно дикой мистики, но сейчасъ же обнаруживается, что это литературный пріемъ. На балу, въ Москвъ, главный герой повъсти встръчаетъ страннаго господина, который съ важнымъ и глубоко-убъжденнымъ видомъ объявляетъ ему, что въ числь гостей есть нъсколько безпокойныхъ покойниковъ, на похоронахъ которыхъ онъ недавно присутствовалъ, но которые съ удивительной наглостью притворяются живыми, чтобы продолжать свою давнишнюю профессію — сосать кровь изъ молодыхъ людей и дъвицъ. Для начала фантастическаго разсказа это было бы слишкомъ прямолинейно и недостаточно тонко, но скоро оказывается, что странный господинъ не въ своемъ умъ, и читатель до конца повъсти не принуждается отвергнуть окончательно такого объясненія. И во всемъ дальнъйшемъ нътъ ни одной подробности, которая сама по себъ имъла бы характеръ чудеснаго и не допускала бы естественнаго объясненія. Весь разсказъ есть удивительно-сложный фантастическій узоръ на канвъ обыкновенной реальности. Запутанныя диковинныя происшествія въ Комо имъють своею подкладкой нъсколько кошмаровь, при чемъ незамътные переходы изъ бодрственнаго состоянія въ сонное и обратно изображены такъ художественно тонко и правдиво, что эти юношескія страницы сдѣдали бы честь эрѣлому и опытному мастеру. Диковинныя видѣнія въ подмосковномъ домѣ бригадирши Сугробиной также легко могутъ быть приписаны въ отдѣльности бользненному бреду, тымь болые, что ихь испыталь человыкь тяжело раненый, едва пришедшій въ сознаніе.

Средоточіе разсказа — старинная баллада, найденная въ библіотекъ бригадирши Сугробиной:

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь, Когтями сжалъ ея кости, Какъ рыцарь Амвросій съ толпой удальцовъ Къ сосъду соирается въ гости.

Хоть много цівней и замковъ у воротъ. -Ворота хозяйка гостямъ отопретъ. Что жъ Мареа, веди насъ, гдъ спить твой старикъ! Зачёмъ же ты такъ побледнела? Подъ замкомъ кипить и клубится Дунай. Ночь скроетъ кровавое дъло. Подъ замкомъ бъжить и клубится Дунай. Бъгутъ облака полосою. Ужъ кончено дъло, заръзанъ старикъ. Амвросій пируеть съ толпою. Подъ замкомъ бъжить и клубится Дунай, Надъ замкомъ пламя пожара. Амвросій своимъ удальцамъ говоритъ: "Всвит ръзать отъ мала до стара!" Не сътуй, хозяйка, и будь весельй -Сама жъ ты впустила веселыхъ гостей.

Давнишнее описанное здѣсь злодѣяніе въ венгерскомъ замкѣ, проклятіе измѣннически убитаго старика и отдаленныя слѣдствія этого проклятія на итальянскихъ озерахъ и въ Московской губерніи — все это, въ искусномъ сплетеніи, составляетъ содержаніе «Упыря». Фантастическій элементъ даетъ этой повѣсти ея существенную форму, а общій смыслъ ея — нравственная наслѣдственность, устойчивость и повторяемость типовъ и дѣяній, искупленіе предковъ потомками.

Несмотря на нѣкоторые недостатки, объясняемые возрастомъ автора (наивность любовной интриги, мелодраматическій тонъ нѣкоторыхъ мѣстъ, излишняя яркость другихъ, устарѣлыя выраженія), эта повѣсть до конца остается занимательной и привлекательной. Хотя влеченіе къ таинственному и необычайному все болѣе распространяется въ наши дни, но элементъ истинно фантастичнаго въ современной литературѣ представленъ очень слабо, и тѣмъ болѣе кстати является теперь вновь это прекрасное произведеніе живой юношески свѣжей фантазіи.

Три характеристики.

М. М. Троицкій.— Н. Я. Гротъ.— П. Д. Юркевичъ. 1900.

Чъмъ ръже между нами люди, которые отдаютъ свои силы важному, но не слишкомъ благородному въ Россіи дълу философскаго образованія, тъмъ болъе, конечно, мы обязаны чтить ихъ память. Въ истекшемъ (1899) году мы лишились двухъ такихъ дъятелей, и тогда же минуло четверть въка по смерти третьяго. Я зналъ всъхъ троихъ лично, они для меня живые люди, и хотълось бы закръпить для другихъ оставшіеся во мнъ умственные образы, до противоположности непохожіе между собою.

Ī

Если философія, или — точиве и скромнве говоря — философское образованіе въ Россіи имветь будущность, то, конечно, ими Матвъя Михайловича Троицкаго должно навсегда остаться въ нашей умственной исторіи. Само собою разумвется, что изъ трехъ оставленныхъ имъ сочиненій («Нвмецкая психологія въ XIX ввкв», «Учебникъ логики» и «Наука о духв») никакой западный европеецъ ничему бы не научился, но русскихъ людей первое изъ этихъ сочиненій, появившееся въ половинъ шестидесятыхъ годовъ, научило въ свое время если не многому, то необходимому — безъ чего нельзя было бы идти дальше.

Какое значеніе имѣлъ Троицкій въ свое время, можно видѣть изъ слѣдующаго факта. Когда появилась его первая книга. которую по существу дѣла можно бы назвать — опытомъ разрушенія нъмецкой философіи и пересажденія къ намъ англійской психологіи, между русскими писателями, прикосновенными къ философіи, особенно вы-

давались два: Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ и Николай Николаевичъ Страховъ. Оба они въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ были значительнѣе Троицкаго: Кавелинъ превосходилъ его своею живою и талантливою натурой: Страховъ — болѣе тонкимъ и многостороинеобразованнымъ умомъ. И, тѣмъ не менѣе, Кавелинъ и Страховъ, стоявшіе при томъ очень далеко другъ отъ друга по школѣ, по направленію дѣятельности и по убѣжденіямъ, сошлись въ одинаково высокой оцѣнкѣ Троицкаго, какъ начинателя у насъ нѣкоторой новой умственной эпохи, какъ человѣка. открывшаго нѣчто весьма важное. Открылъ же онъ, какъ извѣстно, англійскую эмпирическую пспхологію.

Конечно, существованіе открытаго Троицкимъ умственнаго міра было у насъ и прежде извъстно — во всякомъ случаъ, Кавелину и Страхову, — какъ и ранъе Колумба доходили до ученыхъ европейцевъ извъстія о заатлантическомъ материкъ. Но все-таки Америку открылъ Колумоъ — не въ силу своихъ знаній и мыслей, которыя у него были односторонни и ошибочны, — а въ силу своей ръшимости плыть за океант наудачу, куда глаза глядять. Такъ и Троицкій своимъ значеніемъ въ исторіи русскаго образованія обязанъ своей отважной ръшимости отказаться отъ всего философскаго наслъдія ради новой твердой почвы для мысли. Увлечение увлекаетъ, и сосредоточеніе исключительно на одномъ, — предполагая иногда ограниченность. — всетда даетъ особую силу, которой могутъ быть лишены умы болъе многосторонніе и зоркіе. Эта сила безповоротнаго, безоглядочнаго увлеченія, зам'єтная въ первомъ труд'є Троицкаго, увлекла Кавелина и Страхова и побудила ихъ къ высокой оцъпкъ начинающаго автора. Впоследствіи они въ немъ разочаровались. Дело въ томъ, что исполненный имъ въ молодости актъ всепьлой отдачи себи англійской психологіи, какъ единственной и окончательной философін, исчерпаль весь духовный капиталь Троицкаго. Въ его послъдующемъ большомъ сочиненіи, не точно и притязательно названномъ: «Наука о духъ», ничего не прибавилось къ прежнему содержанію, но потеряны прежнія достоинства живой. убъжденной ръчи , и пропо-

¹ Въ газетномъ отчетъ о собраніи "Философскаго общества", гдъ я говорилъ объ умершихъ московскихъ мыслителяхъ, мнъ были по ошибкъ приписаны слова, что будто въ сочиненіяхъ Троицкаго языкъ дурной. Въ томъ собраніи я вовсе о нихъ не упоминалъ со стороны языка; теперь же могу по этому поводу сказать, что Троиц-

въдь философскаго скептицизма и эмпиризма облечена въ совершенно ей несоотвътствующую догматическую форму, при чемъ разныя малосодержательныя отвлеченныя положенія подвергаются, по обычаю старинныхъ схоластиковъ, всякимъ внѣшнимъ подраздѣленіямъ и сочетаніямъ.

Тотъ самый Страховъ, который горячо восхищался первою книгою Троицкаго, изъ этихъ новыхъ двухъ томовъ могъ прочесть только пятнадцать страницъ и, узнавъ, что я прочелъ сто восемьдесятъ, сказалъ: «Ну, теперь я вижу, что вы въ самомъ дѣлѣ аскетъ. А впрочемъ, — прибавилъ онъ лукаво, — я тоже усердно рекомендовалъ эту книгу двумъ молодымъ людямъ, интересующимся философіей: пусть и они къ умерщвленію плоти пріучаются».

Все сколько-нибудь значительное, что производять люди, предполагаетъ въ нихъ «смутную тревогу чего-то жаждущей души». Эта тревога, пережитая и Троицкимъ въ началъ его поприща, еще чувствовалась въ первомъ его произведении и, увлекая многихъ читателей, возбуждала большія ожиданія и надежды въ такихъ людяхъ, какъ Кавелинъ и Страховъ. Но, открывъ англійскую психологію, увлекшись ею и увъровавъ въ нее какъ въ абсолютную истину, Троицкій совершенно и навсегда удовлетворился, опочиль отъ всякаго умственнаго движенія. Это окончательное успокосніе выражалось и въ неизменно ровномъ тоне его разговора и въ блаженной улыбке, никогда не сходившей съ его устъ. Достаточно было взглянуть на эту улыбку, чтобы понять, что для этого человъка все уже ръщено и подписано, что это уже не $\varphi\iota\lambda\delta\sigma\sigma\varphi\circ\varsigma$ — «любитель», или «искатель мудрости», а настоящій $\sigma \acute{o} \varphi o \varsigma$ — мудрець, въ род \raiseta т'aiseta древнихъ «гномическихъ» мудрецовъ, которые успокаивались на безсмертныхъ изреченіяхъ: «ничего черезчуръ», или: «поручишься — близка бъда».

Я познакомился съ Троицкимъ, когда единственный порывъ его жизни былъ имъ пережитъ, и онъ уже окончательно уподобился безмятежнымъ богамъ Эпикура, или, если угодно, стоячей водъ. Возбудить въ немъ какой-нибудь умственный вопросъ, или живое участіе къ какому-нибудь теоретическому интересу было такъ же невозможно, какъ произвести бурное волненіе въ закрытомъ акваріумъ.

кій, вообще, насколько помню, *писалз хорошо*, но что въ первомъ его сочиненіи языкь болье живой и яркій, а въ послъдующихъ — только правильный.

Такая духовная насыщенность поражала молодые голодные умы; видь человъка, несомнънно нашедшаго и блаженнаго своею находкой, неотразимо дъйствовалъ на людей по преимуществу ищущихъ и ждущихъ находокъ — отсюда профессорская популярность Троицкаго, особенно между студентами перваго курса. Многіе его слушатели передавали мнъ тъ или другія его лекціи. Особенно типична были одна, которою онъ обыкновенно начиналъ свой курсъ психологіи.

Передавъ въ чертахъ болѣе краткихъ и ясныхъ, чѣмъ вѣрпыхъ, главныя идеи Канта, Фихте и Гегеля, Троицкій дѣлалъ остановку и затѣмъ, смотря на аудиторію съ своею обычною блаженною улыбкой, произносилъ: «Вотъ вы сами, господа, видите. Ну, что же это такое? Что это такое? — Дрова, дрова! Ну, мы ихъ и отправимъ въ печку. — А теперь я перейду къ изложенію основъ нашей науки». И онъ начиналъ ясную и толковую передачу психологическихъ взглядовъ англійской эмпирической школы.

же это такое? Что это такое? — Дрова, дрова! Ну, мы ихъ и отправимъ въ печку. — А теперь я перейду къ изложенію основъ нашей науки». И онъ начиналъ ясную и толковую передачу психологическихъ взглядовъ англійской эмпирической школы.

Въ чемъ же, однако, была дъйствительная заслуга Троицкаго? Конечно, не въ его успокоеніи на англійской психологіи, а въ его первоначальномъ увлеченіи ею. Эта психологія въ самомъ дълъ заключаетъ въ себъ такую точку зрѣнія, которая не только имѣетъ обще-философское значеніе, но безъ которой даже невозможна никакая (теоретическая) философія. И Троицкій, не только самъ усвоившій эту точку зрѣнія, но и съ успѣхомъ ставившій на нее другихъ, болъе кого-либо сдѣлалъ чрезъ это возможнымъ дальнѣйшее серьезное философское образованіе въ русскомъ обществѣ.

Душа теоретической философіи есть отчетливый и послявовательный скептицизмъ — отказъ принимать на въру что бы то ни было. Въ новой философіи дважды выступало на первый планъ сомнѣніе въ самыхъ основныхъ предположеніяхъ общаго сознанія — разумѣю методологическій скептицизмъ Декарта и критицизмъ Канта, получившій съ этой стороны свое крайнее выраженіе у его преемника — Фихте. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ скептицизмъ былъ половинчатымъ, такъ сказать однобокимъ: его удары направлялись только на внѣшній міръ. Декартъ въ началѣ своихъ разсужденій показалъ, что можно безъ внутренняго противорѣчія допустить, что этотъ міръ на самомъ дѣлѣ не существуетъ, а есть лишь призракъ, или сновидѣніе субъекта; а Фихте рѣшительнѣе и глубже подкопалъ самое понятіе внѣшняго бытія, или вещи. Но для нихъ

обонуь безусловная дёйствительность мыслящаго субъекта остается чёмь-то самсочевиднымь.

Но важные успъхи философіи всегда зависъли отъ того, что нъчто, дотоль признанное самоочевиднымъ, подвергалось сомньнію, — философское значеніе англійской исихологоческой школы, введенной къ намъ Тронцкимъ, состоитъ именно въ томъ, что она не принимаетъ этой мнимой самоочевидности субъекта, или я, въ смыслъ какой-то безусловно-самостоятельной реальности, обозначимъ ли мы ее съ Декартомъ какъ мыслящую субстанцію, или съ Фихте — какъ самополагающееся дъяніе (die sich selbst setzende Thathandlung).

Въ этомъ основномъ пунктъ и методологическій скептицизмь Декарта, и критицизмъ нъмецкаго философа разръшаются въ чистъйшій догматизмъ, отъ котораго философская мыслъ дъйствительно свободна лишь у лучшихъ представителей англійской психологіи.

Я не сторонникъ этой исихологи какъ системы, но я вижу, это она начинаемся съ того, съ чего слъдуетъ начинать — съ безспорныхъ данныхъ сознанія, а между ними нътъ ни «мыслящей субстанціи», ни безусловнаго самополагающагося или самоначинающагося ръянія.

Наличныя состоянія сознанія какъ такія — вотъ что дъйствительно самоочевидно и что даетъ настоящее начало умозрительной философіи. Этимъ исчерпываются положительное значеніе и заслуга англійской исихологіи, а слъдовательно — значеніе и заслуга того человъка, который пересадиль ее на почву нашего философскаго образованія.

Само собою разумъется, что взглядъ, по которому все для насъ существующее сводится къ рядамъ субъективныхъ состояній сознанія, соединенныхъ по законамъ ассоціаціи, и затъмъ къ рефлексіи надъ ними, приводящей ихъ въ тотъ или другой порядокъ, но не расширяющей и не углубляющей ихъ по существу, — такой взглядъ, принятый не за исходную точку только, но и за послъднее слово знанія, могъ имътъ лишь отвлеченно теоретическое значеніе, безо всякаго отношенія къ жизни и ея требованіямъ. Троицкій, какъ и другіе, видълъ здъсь единственно научную теорію психологіи, нисколько, впрочемъ, не исключавшую практической увъренности въ житейской подлинеости разныхъ субъектовъ и объектовъ. Я положительно знаю, что Матвъй Михайловичъ нисколько не сомнъвался въ практической. такъ сказать, субстанціальности ректора, попечителя,

министра, и даже, я думаю, университетскаго казначея. Теоретически всё эти лица были только ряды «состояній сознанія», но практически они и для нашего философа имѣли, конечно, такую же обыкновенную дѣйствительность, какъ для самихъ себя, такъ и для всёхъ другихъ. Держась такой практической вѣры въ бытіе ближайшаго, земного начальства, можно было послѣдовательно распространять ее и на дальпѣйшее, небесное начальство, и я рѣшительно не вижу никакого справедливаго основанія сомнѣваться въ искренней религіозности Матвѣя Михайловича.

Между тѣмъ, тутъ произошло одно характерное недоразумѣніе, сильно смутившее Троицкаго и на мітновеніе нарушивщее неподвижность и прозрачность его душевнаго акваріума. Въ 80-хъ годахъ, въ томъ вѣдомствѣ, куда онъ принадлежалъ, начались разныя мѣры пресѣченія и предупрежденія противъ разныхъ людей, опасныхъ своими мыслями. Въ ихъ число, неожиданно для самого себя и для всѣхъ его знавшихъ, попалъ и Троицкій. Тогдашнее начальство подлежащаго вѣдомства, хотя само безвинно состоявшее подъ анаоемой халкедонскаго собора, не умудрилось столь близкимъ примѣромъ авторитетной погрѣшимости и заподозрило правовѣріе Матвѣя Михайловича.

Этотъ странный фактъ можетъ быть понятъ лишь исторически. Дѣло въ томъ, что въ извѣстныхъ русскихъ сферахъ, насчетъ философскихъ системъ и направленій, умы въ другихъ отношеніяхъ острые пребываютъ въ томъ же состояніи невинности, въ которомъ наши до-петровскіе предки находились по части разныхъ западныхъ исповѣданій. Въ одномъ историческомъ документъ XVII вѣка встрѣчается, я помню, такая приблизительно фраза: «а въ жены онъ проклятый воръ Гришка взялъ изъ латынъ поганую дѣвку-басурманку папежскаго костела, ихъ люторской и кальвинской безбожной вѣры». Несомнънно, что для большинства русскаго общества въ 80-хъ годахъ XIX вѣка различіе между англійскою психологіей и нѣмецкимъ матеріализмомъ было такъ же неясно, какъ для нашихъ предковъ различіе между католичествомъ и протестантствомъ. «Эмпирическая психологія», — «позитивизмъ», — «матеріализмъ», — «безбожіе», — «нигилизмъ» — все это соединялось вмѣстѣ, и какъ вловѣщій итогъ получалось слово: отставка.

Матвъй Михайловичъ поъхаль въ Петербургъ для личныхъ объясненій и усиленно доказывалъ кому слъдуетъ, что эмпирическая психологія не имъетъ ничего общаго съ атеизмомъ, и что самъ онъ, Троицкій, всегда быль религіозень и благочестивь. Лица, передь которыми онь защищался, безь труда признали въ Троицкомъ своего человѣка, и онь быль отпущень съ миромъ. Въ Москвѣ многіе осуждали его за эту поѣздку, по-моему — напрасно: страдать за тѣ убѣжденія, которыхъ не имѣешь, не есть обязанность разумнаго человѣка. Я думаю, что объясненія Матвѣя Михайловича были такъ же чистосердечно даны, какъ и приняты.

Къ сожалъню, я познакомился съ Троицкимъ тогда, когда онъ уже принялъ свой окончательный видъ, и въ немъ оставалось лишь «сариt mortuum» того умственнаго движенія, которымъ порождена его первая книга. Но эта книга и отзывы о ней Кавелина и Страхова остаются свидътельствами о несомнънной значительности того, что сдълано Троицкимъ; онъ сдълалъ и другимъ въ Россіи помогъ сдълатъ — первый шагъ къ серьезному философствованію...

11.

Трудно представить болье полный контрасть, какъ тоть, который быль между Троицкимъ и Н. Я. Гротомъ. Тамъ — неподвижность и замкнутость садоваго пруда или акваріума, туть — неустанное, кипучее движеніе горнаго потока — «и пъна, и брызги кругомъ». Я не отрицаю достоинства и пользы замкнутыхъ водохранилицъ но, безспорно, что живые потоки имъють больше будущности — они могуть становиться ръчками и большими ръками, текущими въморя и океаны.

Безъ метафоръ, Троицкій быль однодумъ, навсегда остановившійся на той первой дъйствительно философской точкъ зрънія, которую онь въ молодости хорошо поняль и усвоилъ себъ. Гротъ былъ, напротивъ, многодумъ — и при томъ въ двоякомъ смыслъ: во-первыхъ, онъ съ большею широтою и многосторонностью развивалъ каждую точку зрънія, на которой останавливался, стараясь сблизить и по возможности примирить ее съ другими; а, во-вторыхъ, онъ до конца не могъ остановиться на одной точкъ зрънія, послъдовательно переходя къ другимъ, болье глубокимъ и содержательнымъ.

Эта подвижность и многосторонность, которыми отличались умственная деятельность Грота и его философскіе труды, естественно была связана съ общею характерною чертою его души — съ его чрезвычайною отзывчивостью на всякое новое духовное возбужденіе.

Всякій новый умственный мотивъ или возникавшій жизненный интересь всегда принимались имъ, такъ сказать, съ широко раскрытыми объятіями. По своей удивительной впечатлительности и мгновенной отзывчивости, Гротъ былъ похожъ на поэта, котораго Томасъ Муръ и Пушкинъ сравниваютъ съ эхо:

Реветь ли звёрь въ лёсу глухомъ, Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ. — Поетъ ли дёва за холмомъ, — На всякій звукъ Свой откликъ въ воздухъ пустомъ Родишь ты вдругъ.

Разумѣется, это сравненіе, какъ и всякое другое, хромаєть и въ настоящемъ случаѣ требуеть двухъ оговорокъ: во-первыхъ, откликъ Грота на ревъ звѣря въ глухомъ лѣсу нашей жизни выражался не повтореніемъ этихъ дикихъ звуковъ, а соотвѣтственнымъ словеснымъ противодѣйствіемъ звѣриному или звѣрскому настроенію; а, во-вторыхъ, отзывчивость живой души Грота на всякій здравый общественный запросъ выразилась и въ такихъ отвѣтахъ, какъ, напримѣръ, призваніе къ жизни перваго философскаго общества въ Россіи и основаніе перваго и пока единственнаго у насъ философскаго журнала, — что, надо надѣяться, рождено не «въ воздухѣ пустомъ».

Во всякомъ случав, основною характерною чертою Грога должна быть признана его удивительная впечатлительность и отзывчивость, или — употребляя его собственный терминъ — чрезвычайная полнота и быстрота его психического оборота. Возбуждение извить сейчась же переходило у него въ мысль; мысль вызывала душевное волненіе, и это движеніе чувства неудержимо проявлялось въ словъ и въ замыслъ, а затъмъ въ писании и общественномъ дъйствии. думаю, что безстрастныхъ и неподвижныхъ — холодныхъ — мыслей у него вовсе не бывало. Всякая мысль, возникавшая въ его подвижномъ умъ, вслъдствіе какого-нибудь жизненнаго или книжнаго впечатлънія, сейчась же становилась предметомъ сердечнаго чувства и мотивомъ дъятельности. Все, что онъ думалъ, — онъ говорилъ, и все, что говориль, — писаль и печаталь; при чемь должно замътить, что все это если и не всегда прямо относилось, то всегда было такъ или иначе привязываемо Гротомъ къ интересамъ философскимъ, такъ что во всемъ этомъ пестромъ обиліи словъ, идей, мотивовъ и дъйствій сохранялась не только натуральная однородность личнаго характера, но и сознательная связь общаго замысла.

Самъ по себѣ тогъ отличительный характеръ, который проявлялся у Грота, есть дѣло натуры, и не заслуживаетъ ни похвалы,
ни пориданія. Такой характеръ можетъ быть виною пагубныхъ ошибокъ, — какъ и благотворныхъ дѣяній. Безъ сомнѣнія, Гротъ, при
своей неустанной подвижности, долженъ былъ чаще впадать въ теоретическія и практическія ошибки, чѣмъ, напримѣръ, Троицкій при
своемъ блаженномъ поков. Кто не сходить съ мѣста, тотъ и не падаетъ. Но вотъ что я по совѣсти могу высказать, какъ свое окончательное впечатлѣніе отъ десятилѣтняго близкаго общенія съ Гротомъ: что сумма правыхъ и достойныхъ чувствъ, побужденій и поступковъ у этого человѣка рѣшительно перевѣшивала сумму неправыхъ, и что его жизненныя ошибки были частными слабостями, которыя могли иногда помрачать, но не могли надолго заслонить и еще
менѣе — вытѣснить общій высоко-этическій строй его души. Послѣднее слово во всякомъ дѣлѣ всегда оставалось у него за добромъ.
А отъ кого же можно требовать — и о комъ можно сказать больше?
Грота нерѣдко и съ разныхъ сторонъ упрекали за перемѣнчивость его образа мыслей. Но если онъ дѣйствительно по чисто-

Грота нерѣдко и съ разныхъ сторонъ упрекали за перемѣнчивость его образа мыслей. Но если онъ дѣйствительно по чистовнутреннимъ побужденіямъ не разъ мѣнялъ свои мысли о томъ или другомъ философскомъ предметѣ, то, во-первыхъ, это свойственно всякому живому уму, а, во-вторыхъ, всѣ такія перемѣны не касались у Грота ни формальнаго средотойя, ни общаго направленія его философствованія. Этого онъ никогда не мѣнялъ. Все разнообразіе его взглядовъ и построеній всегда вращалось около чудной срединной идеи — эволюціоннаго процесса, т. е. поступательнаго развитія души и вселенной, а направленіе, въ какомъ измѣнялись его воззрѣнія на психическую и космическую эволюцію, всегда было вглубъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вверхъ.

Я не буду здѣсь перечислять и одѣнивать всѣхъ философскихъ точекъ зрѣнія, бывшихъ для Грота этапами его умственнаго движенія; укажу только три главныя, обозначая ихъ именами тѣхъ мыслителей, которые въ данную эпоху оказывали на него преобладающее вліяніе.

Философское развитіе Грота шло отъ Герберта Спенсера къ Джіордано Бруно, и отъ Бруно — къ Платону и Аристотелю. Какъ же назвать такой ходь развитія, какъ не прогрессомъ вглубь и вверхъ?

Каковы бы ни были наши умственныя симпатіи, но, съ точки зрѣнія чисто-философскихъ задачъ и вопросовъ, мы должны согласиться, что Джіордано Бруно былъ болѣе значительный мыслитель, чѣмъ Гербертъ Спенсеръ, а Платонъ и Аристотель — болѣе значительные, чѣмъ Бруно, который ими же питался. Дѣло тутъ не въ томъ, кто изъ нихъ ближе къ интересамъ современной жизни и къ нынѣшнему изъ нихъ ближе къ интересамъ современной жизни и къ нынѣшнему состоянію положительныхъ наукъ, а въ томъ, кто лучше удовлетворяєть собственно-философскому, умозрительному интересу, и можетъ больше научить насъ самой философіи; въ этомъ отношеніи ходъ развитія Грота отъ современнаго полунаучнаго синтеза къ идеямъ и построеніямъ XVI вѣка, а оттуда къ философіи античной, — этотъ хронологическій регрессъ долженъ быть безспорно признанъ нормальнымъ умственнымъ прогрессомъ, т. е. углубленіемъ и повышеніемъ философской мысли. Измѣняя свои взгляды и точки зрѣнія, Гротъ совершенствовалъ свое философствованіе, шелъ спередъ, и, слѣдовательно, эти измѣненія служатъ ему въ похвалу, а не въ порицаніе. Вѣдь если бы онъ навсегда остался при матеріальномъ, механическомъ эволюціонизмѣ, никакой компетентный судья не призналь бы его настоящимъ философомъ, — такъ можно ли его упрекать за то, что онъ пошель дальше этого, въ философскомъ смыслѣ, элементарнаго воззрѣнія? элементарнаго воззрѣнія?

Въ защиту и похвалу Грота следуетъ прибавить, что въ предметахъ своихъ умственныхъ увлеченій онъ никогда не видёль непогрышимыхъ догматовъ, требующихъ только покорнаго принятія и передачи, — какъ относился, напримъръ, Троицкій къ англійской психологической доктринъ. Нельзя отрицать оригинальныхъ взглядовъ и своеобразныхъ умственныхъ построеній и въ раннихъ сочиненіяхъ Грота, написанныхъ подъ преобладающимъ вліяніемъ Герберта Спенсера, — каковы: «Психологія чувствованія» и «Реформа логики». Болъе рышительно вступаетъ Гротъ на путь самостоятельнаго мышленія въ работахъ послъдняго своего десятильтія, особенно въ трактатахъ о свободь воли, о времени и о превращеніяхъ энергіи, — гдъ ученія античной философіи служатъ лишь путеводными звъздами, а не буксиромъ для его философской ладьи.

Въ первомъ изъ этихъ сочиненій весь космосъ представляется какъ рядъ градацій отъ полной матеріальной пассивности и неволи

какъ рядъ градацій отъ полной матеріальной пассивности и неволи къ совершенной духовной активности, или свободъ, которая понимается здъсь окончательно какъ — actus purus. Въ статьяхъ «о

времени» — самомъ глубокомъ изъ произведеній Грота — то же понятіе «actus purus» служитъ для выраженія вѣчнаго существа души какъ свободной отъ границъ времени, при чемъ вся полнота душевныхъ качествъ и опредѣленій, все существенное и положительно цѣнное въ цѣлой жизни представляются какъ данное разъ навсегда, независимо отъ временнаго распаденія моментовъ, въ одномъ вѣчномъ и всеобъемлющемъ актѣ.

Для всегда подвижной мысли Грота, дотоль вращавшейся, главнымь образомь, вь области относительнаго текущаго бытія, того, что древній философь обозначаль какь $\tau \dot{\sigma}$ $d\epsilon \dot{\epsilon}$ $\gamma i \gamma v \dot{\sigma} \mu \epsilon v o v \tau \epsilon$ $\kappa a \dot{\epsilon}$ $d\tau o \lambda \lambda \dot{\sigma} \mu \epsilon v o v \ddot{\epsilon} v \tau c \sigma \dot{\epsilon}$ (всегда возникающее и погибающее, существенно же никогда не существующее), — подняться вь область вычно и неподвижно сущаго и понять всю пеструю и волнующуюся область душевныхь явленій — sub specie aeternitatis — было настоящимь умственнымь подвигомь, а твердая убъжденность, съ которою Гроть становится на эту первоначально для него непривычную точку зрыня, дылаеть ему, конечно, болье чести, чымь сдылала бы какомунибудь другому, по природь болье созерцательному, уму.

Впрочемъ, и тутъ нашъ мыслитель не отказывается отъ своей всегдалиней руководящей идеи — эволюціи. Какъ съ признаніемъ геліоцентрическаго взгляда постоянное отношеніе между солнцемъ и землею понимается иначе, но нисколько не отридается, такъ и съ признаніемъ въчнаго существа души все временное хотя получаетъ иной смыслъ, однако не превращается въ безсмыслицу, и понятіе эволюціи не замъняется представленіемъ безсвязной сутолоки случайныхъ явленій.

Правда, въ статъяхъ о времени эти двъ стороны міра — временный матеріальный процессь явленій и сверхвременное существо души, какъ полноправнаго члена умопостигаемой въчной полноты божественнаго бытія, — эти двъ стороны берутся и выясняются болье въ своемъ противоположеніи, нежели въ своей связи. Но общая связь между ними была уже указана Гротомъ въ прежнемъ его трактатъ о свободъ воли, а затъмъ сущность этихъ указаній опредъленнъе и подробнъе развивается въ послъднемъ его недоконченномъ философскомъ трудъ — о превращеніяхъ энергіи.

Наука уже установила механическую эквиваленцію такъ назы-

Наука уже установила механическую эквиваленцію такъ называемыхъ физическихъ силь — тепла, свъта, электричества, какъ различныхъ формъ одной и той же энергіи, могущихъ переходить одна

въ другую. Слъдуетъ, идя дальше, признатъ, что чрезъ послъдовательный переходъ низшихъ формъ въ высшія, или чрезъ постепенное одухотвореніе матеріальнаго бытія, оно можетъ, наконецъ, достиглуть своей противоположности, т. е., устойчивой формы бытія духовнаго, не подлежащаго разрушенію во времени, — бытія безсмертнаго и нетлъннаго.

Нѣкоторыя техническія неясности и недоразумѣнія, въ которыя впаль Гроть при разработкѣ своей послѣдней задачи, помѣшали ученымъ спеціалистамъ и публикѣ опѣнить по справедливости этотъ важный философскій трудъ Грота, а оцѣнки несправедливыя, къ которымъ онъ — утомленный и больной — отнесся съ излишнею чувствительностью, не дали ему докончить это дѣло. Въ то самое время, какъ усиліемъ теоретическаго мышленія онъ поднимался въ область безсмертной жизни, обще ослабленіе духовныхъ и тѣлесныхъ силъ до срока приводить его къ смертному концу. Но можеть ли погибнуть какъ рабъ времени тотъ, кто хоть разъ яснымъ умомъ обняль божественную свободу и вѣчность? А если бы и такъ, то ужъ навѣрное живые порывы любящаго сердца приготовили ему достойный предѣлъ въ мірѣ иной, невозмутимой и торжествующей энергіи.

III.

Тотъ взглядъ, къ которому подъ конецъ пришелъ Гротъ, когда понялъ, что міровое бытіе въ своей совокупной эволюціи тяготъетъ къ надмірной области неизмѣнно и вѣчно сущаго, которымъ опредѣляется и отъ котораго зависитъ смыслъ всего дѣйствительно существующаго, — этотъ взглядъ всегда господствовалъ въ мысляхъ и трудахъ покойнаго Памфила Даниловича Юркевича. Его недостаточно знали и цѣнили при жизни, а теперь, черезъ двадцать пять лѣтъ по его смерти, осталось совсѣмъ ужъ немного людей, сохранившихъ по немъ живую память. Поэтому, говоря о немъ, я постараюсь спасти отъ забвенія нѣсколько чертъ біографическихъ, которыя я запомнилъ.

Юркевичъ былъ уроженецъ Полтавской губерніи, коренной малороссь, и навсегда сохраниль въ характерѣ и языкѣ ясный отпечатокъ своего происхожденія. Какъ подвижность, энергія, предпріимчивость и неутомимое трудолюбіе Грота, по всей вѣроятности, были связаны съ его наполовину западно-европейскимъ происхожденіемъ,

такъ индивидуальный характеръ Юркевича несомивно образовался на общемъ фонв малороссійской натуры. Ей соотвітствовала его задумчивость, углубленность въ себя, чувствительность боліве интенсивная, чімъ экстенсивная, — также упрямство и скрытность, доходившая до хитрости. Какъ настоящій «хохоль», Юркевичь быль боліве склонень къ молчаливой созерцательности, или къ тихому обміну мыслей съ немногими друзьями, нежели къ экспансивнымъ разговорамъ на-людяхъ, или къ какой-нибудь публичной дівтельности. Трудился онъ, я думаю, только въ силу прямого долга, поборая въ себі природную лінь. Этимъ достаточно объясняется, что онъ такъ мало написаль.

Ко всёмъ этимъ чертамъ следуетъ присоединить еще одну, также малороссійскую — особый родъ сосредоточеннаго юмора. Я не могу представить лицо Юркевича смеющимся — не помню его такимъ; но я хорошо помню, какъ онъ смешилъ меня, самъ едва улыбаясь.

Мить особенно памятенъ май мъсяцъ 1873 года, когда онъ въ качествъ профессора, а я въ качествъ держащаго кандидатскій экзаменъ оставались въ Москвъ и проводили вмъстъ поздніе вечера, обыкновенно въ сообществъ другого тогдашняго студента, кн. Д. Н. Цертелева, гуляя по московскимъ бульварамъ и переулкамъ. Въ одну изътакихъ прогулокъ Юркевичъ съ важнымъ видомъ выражалъ негодованіе на тонкость и непрочность моей трости, убъждая меня, что палка, по самой идеть своей, отнюдь не должна ограничиваться образомъ бытія о себъ и для себя, но непремънно должна въ полной мърть обнаруживать и свое бытіе для другого».

Призваніе къ философіи Юркевичь почувствоваль очень рано, еще будучи ученикомъ полтавской семинаріи. По окончаніи курса въ ней онъ подвергся большому искушенію, которое окончательно преодольть. Объ этомъ происшествіи, рышительномъ для его судьбы, онъ мнь подробно разсказываль. Отець его, небогатый священникъ въ одномъ изъ городовъ Полтавской губерніи, устроилъ ему къ окончанію семинаріи чрезвычайно выгодную партію — съ единственною дочерью очень богатаго и вліятельнаго соборнаго протоіерея въ ихъ городъ. Молодой Юркевичъ нравился протопопу своею скромною наружностью, добрыми нравами и отличными успъхами въ семинарскихъ наукахъ, и дъло считалось улаженнымъ. Вмъстъ съ красивою поповной женихъ долженъ былъ получитъ хорошее священническое мъсто,

протекцію при жизни тестя и богатое наслідство послів его смерти. При этомъ могла пострадать только одна философія; но философія Юркевича, связанная съ мистикой, суміла постоять за себя. Однажды літнимъ утромъ, въ то время какъ въ родительскомъ доміз уже дізались приготовленія къ свадьбів, Юркевичъ лежалъ въ саду подъ черешней, предаваясь «недізанію» и размышляя о своей судьбів. Вдругь его поразиль пріятный голось въ сосіднемъ огородів. Пришлая поденщица изъ средней Россіи полола грядки и напізвала півсню:

Не женися, молодецъ, Слушайся меня: На тъ деньги, молодецъ, Ты купи коня.

Эти слова, какъ бы отвъчавшія на внутреннія сомнънія Юркевича, произвели на него такое сильное впечатлъніе, что онъ сейчасъ же пошель и объявиль родителямь, что решиль не жениться, священства не принимать, а отправиться въ кіевскую академію, чтобы идти затъмъ по ученой части. Никакіе уговоры не помогли. Хохлацкое раздумье и неръщительность смънились въ юномъ философъ хохлацкимъ же упрямствомъ, и онъ настоялъ на своемъ. Правда, онъ могь послушаться лишь первой отрицательной половины своего оракула — отказаться отъ выгодной женитьбы, — купить же коня ему было не на что, и онъ отправился пъшкомъ въ Кіевъ, гдъ послъ четырехъ лътъ довольно бъдственной студенческой жизни сталъ профессоромъ философіи въ той же академіи. Въ академическомъ журналь онь помъстиль два значительные трактата: одинь по библейской психологіи — о центральномъ значеніи сердца въ душевнотълесной жизни человъка — и другой, критическій — противъ матеріализма ¹. Этотъ трудъ быль замічень въ Москві — Катковымъ и Леонтьевымъ, которые въ то время имъли большое вліяніе въ московскомъ университетъ, куда онъ и былъ, въ 1863 году, приглашенъ занять свободную послъ 1848 года канедру философіи. Здісь для актовой ръчи онъ написаль самое замъчательное свое произведеніе — параллель между философскими точками зрѣнія Платона и Канта

¹ Содержаніе этихъ двухъ трактатовъ было изложено мною двадцать пять лють тому назадъ въ статью о философскихъ трудахъ Юркевича ("Журн. Мин. Нар. Просв." — декабрь 1864 г.). (См. томъ I "Собранія сочиненій", стр. 172.) Г. Р.

Юркевичь быль глубокій мыслитель, превосходный знатокъ исторіи философіи, особенно древней, и весьма дъльный профессорь, читавшій чрезвычайно интересныя для шонимающихъ и содержательныя лекціи. Но по нъкоторымъ постороннимъ причинамъ онъ не подъзовался популярностью, и студенты не извлекали изъ его чтеній той пользы, какую могли бы получить. Плодовитымъ писателемъ онъ не былъ, никакихъ общирныхъ изслъдованій и ничего похожаго на философскую систему не оставилъ. Впрочемъ, онъ былъ сознательнымъ врагомъ поспъшныхъ обобщеній и безпочвенныхъ построеній — тъхъ типичныхъ, для первой половины XIX въка, философскихъ системъ, которыя изъ одного принципа, обыкновенно односторонняго и по необходимости предвзятаго и не удостовъреннаго, смъло выводять все существующее. Онъ любилъ по этому поводу повторять остроумное замъчаніе московскаго митрополита Филарета: «Ко всякой новъйшей системъ философіи можно примънить слова апостола Петра объ Ананіи и Сапфиръ: се ноги погребшихъ мужа твоего при дверехъ — и изнесутъ тя». По мысли Юркевича, мы должны не выводить все существующее изъ одного нами предположеннаго принципа, а постещенно и добросовъстно возводить все существующее къ его истиннымъ началамъ и внутреннему смыслу, и въ этомъ согласномъ смыслъ всего даннаго усматривать, насколько возможно, абсолютную истину. Такимъ образомъ, точкою зрвнія Юркевича быль широкій, ото всякихъ произвольныхъ или предвзятыхъ ограниченій свободный эмпиризмъ, включающій въ себя и все истинно-раціональное, и все истинно-сверхраціональное, такъ какъ и то и другое, прежде всего, существуеть эмпирически въ универсальномъ опытъ человъчества съ неменьшими правами на признаніе, чъмъ все видимое и осязательное.

При этомъ Юркевичъ и самъ особенно остерегался, и другихъ старался предостеречь отъ пагубнаго. какъ онъ думалъ, смѣшенія двухъ понятій: знаніе объ абсолютномъ и абсолютное знаніе.

Объ абсолютномъ мы въ качествъ разумныхъ существъ, конечно, въчто знаемъ, и наша задача — улучшать и увеличивать это знаніе, которое, тъмъ самымъ, опредъляется не какъ абсолютное, а какъ относительное. не какъ совершенное, а какъ совершенствующееся. Абсолютное же знаніе возможно только при полномъ, не отвлеченно-умственномъ только. а всецъломъ единеніи познающаго съ познавае-

мымъ, что при данныхъ условіяхъ для насъ, вообще говоря, недоступно.

Къ познанію же объ абсолютномъ, т. е. о божествъ и о божественномъ, ведутъ три пути: сердечное религіозное чувство, при чистотъ нравственнаго сознанія сообщающее ту «премудрость», которая «не внидетъ въ душу злохудожну»; затъмъ, добросовъстное философское размышленіе о фактахъ всякаго опыта, и, наконецъ, — мистическое созерданіе, въ которомъ человъческій умъ въ болье или менье полной мъръ соприкасается съ самимъ существомъ истины. Каждый изъ этихъ путей имъетъ свои преимущества, согласіе же ихъ окончательныхъ выводовъ даетъ высшую и самую достовърную истину, какая только доступна человъку.

Къ новъйшей умозрительной философіи, которая частью смъшиваетъ, а частью и намъренно отождествляетъ эти два различаемыя Юркевичемъ понятія, онъ относился съ безпощаднымъ осужденіемъ, доходившимъ до явной несправедливости. Я помню, что въ томъ же маъ 1873 года онъ цълый вечеръ объяснялъ мнѣ, что здравая философія была только до Канта, и что послѣдними изъ настоящихъ великихъ философовъ слѣдуетъ считатъ Якоба Бёма, Лейбница и Сведенборга. Отъ Канта же философія начинаетъ сходить съ ума, и это сумасшествіе принимаетъ у Гегеля неизлѣчимую форму маніи величія.

Нѣкоторое возвращеніе къ здравому смыслу видѣлъ онъ у Попенгауэра — не въ его метафизической системѣ, которая была лишь
сборомъ противорѣчій, — а въ отдѣльныхъ, преимущественно этическихъ, указаніяхъ на значеніе симпатіи и особенно аскетизма, которому Юркевичъ всегда давалъ очень высокую цѣну; самъ онъ, впрочемъ, сдѣлавшись профессоромъ въ Кіевѣ, все-таки женился, оправдываясь тѣмъ, что честный бракъ есть самая трудная форма аскетизма и даже мученичества. «Вы, конечно, — говорилъ онъ, — по
молодости думаете, что главное дѣло здѣсь въ любовномъ паеосѣ; но
я вамъ скажу, что это просто чепуха — розовый листокъ, брошенный
на . . . чувственность; а настоящее дѣло — только въ одномъ постоянномъ подвитѣ взаимнаго самоотверженія, и особенно важно то, что
истинный героизмъ сведенъ здѣсь къ самому простъйшему элементарному выраженію и достигается обыкновеннѣйшимъ повседневнымъ
способомъ дѣйствія; такъ что достаточно быть просто честнымъ человѣкомъ, или просто не быть подлецомъ, чтобы уже тѣмъ самымъ

взойти на вершину христіанскаго подвижничества и мученичества. Вотъ почему и церковь при всякомъ вънчаніи поетъ о вънцахъ мученическихъ».

Можно замътить, что взглядь Юркевича, быть можеть и справед ливый, не даеть, однако, достаточнаго основанія для намъреннаго всту пленія въ бракъ, такъ какъ здравая христіанская этика никогда но довволяла человъку самому напрашиваться на подвигь и вънецъ мученичества.

Въ очень краткихъ чертахъ представлены мною три различные образа людей, наиболъе послужившихъ, за послъднія сорокъ лътъ, философскому образованію въ Россіи. Я не ставлю вопросъ объ ихъ собственной внутренней цѣнности, относительныя же ихъ заслуги въ исторіи нашего умственнаго образованія, хотя не одинаковы, но должны быть въ равной мѣрѣ почтены. Вотъ Матвѣй Михайловичъ Троицкій плотно усѣлся на добытомъ изъ-за моря сокровищѣ и не сходить сь мъста. Но въдь имъ въ самомъ дълъ добыто сокровище необходимое условіе серьезнаго философскаго мышленія: свобода сознанія отъ безотчетной предвзятости, какъ матеріалистической, такъ равно и спиритуалистической, — отъ всякихъ вещественныхъ и душевныхъ субстанцій, отъ протяженныхъ и мыслящихъ вещей, отъ мнимо-реальныхъ единицъ матеріи, также какъ и отъ мнимо-реальныхъ единицъ сознанія, — и ото всего прочаго догматическаго кошмара. Прогнать этотъ кошмаръ есть первое условіе для нея, но еще не сама философія. Она невозможна при умственной неподвижности, ее нельзя создать, сидя на одномъ мъстъ, подобно Лао-цзе или Троицкому. Для нея нужно еще другое условіе — благородная тревога и жажда души, неустанно ищущей истины, и это второе условіе ярко воплотилось въ образъ нашего дорогого Грота съ его волнующимся и кипящимъ стремленіемъ впередъ, впередъ. А тамъ, въ отдаленіи, видится мнъ задумчивый обликъ съ пальцемъ, поднятымъ кверху... За мыслителемъ — неподвижнымъ «стражемъ порога», за другимъ мыслителемъ — искателемъ и дъятелемъ — выступаетъ воспоминаніе третьяго мыслителя — спокойнаго какъ первый, живого какъ второй, — успокоившагося, но не на предварительномъ, уже сдъланномъ шагъ, а на ясномъ сознаніи предстоящаго великаго пути; иду-щаго, но медленно, къ высшей цъли и останавливающагося, чтобы полк боваться красою Божьяго творенія.

Я хотъть, отвлекаясь, по возможности, отъ личныхъ симпатій и антипатій, отдать каждому должное, и теперь мит остается сказать въ заключеніе, что будущность философскаго образованія въ Россіи зависить, по моему убъжденію, отъ того, насколько дѣятели этого образованія воспользуются тѣми положительными задатками здраваго философствованія, которыя уже проявились у Троицкаго, Грота и Юркевича, — въ какой мърт преемникамъ ихъ философскаго служенія удастся сочетать въ своихъ трудахъ крѣпость основныхъ сомнъній и отрицаній съ энергіей философскаго исканія истины и съ озерцательною высотою окончательныхъ задачъ и цѣлей.

Памяти К. Н. Леонтьева.

•

Некрологи:

Княжна К. М. Шаховская. — Францискъ Рачкій. — Ө. М. Дмитріевъ. — А. М. Иванцовъ-Платоновъ. — Я. П. Полонскій. — М. С. Корелинъ. — Л. И. Поливановъ. — І. Д. Рабиновичъ. — В. Г. Васильевскій. — Н. Я. Гротъ. — В. П. Преображенскій. В. В. Болотовъ.

1883—1900.

Памяти К. Н. Леонтьева.

Этотъ замъчательный писатель и хорошій человыть, педавно умершій въ Сергієвомъ Посадъ, не быль очень извъстенъ при жизни — да навърпое не будеть и послъ смерти. Но его имя останется въ умственной исторіи Россіи. Въ общей картинъ русской жизни за послъднія два десятильтія эта оригинальная и яркая фигура займеть хотя и пебольшое, но замътное мъсто.

О Леонтьевъ какъ художественномъ писателъ — авторъ романтическихъ повъстей и этнографическихъ разсказовъ — я говорить не берусь. Самъ онъ, впрочемъ, считалъ это второстепеннымъ въ своей дълтельности. Если онъ желалъ популярности и мечталь о славъ, то лишь какъ соціальный мыслитель, идейный проповъдникъ, публицисть. Но въ этой области большое вліяніе и значеніе достигаются только двумя путями: нужно или удовлетворять наличнымъ вкусамъ и инстинктамъ толпы, служить ближайшимъ интересамъ той (болье или менье широкой) соціальной группы, къ которой принадлежищь, или нужно служить въчной правдъ, ставя ея осуществленіе какъ идеаль и задачу для человічества. Писатель-оппортувисть, если онъ достаточно чутко воспринимаеть господствующія въ его сопіальной средв настроенія и достаточно сильно ихъ выражаеть, пользуется обыкновенно немедленнымъ успъхомъ, пріобрътаеть при жизни знаменитость, по по смерти слово его все болъе и болъе тускиветь, онъ перестаетъ быть историческою силой и всецъло причисляется къ историческому матеріалу. Что касается до предваряющихъ будущность служителей идеала, то ихъ при жизни обыкновенно пилятъ деревянными пилами (если не въ буквальномъ смыслъ, какъ ветхозавътнаго пророка, то въ переносномъ), поносятъ и преслъдуютъ; зато послъ смерти (а пногда и подъ конецъжизни, какъ Магометъ) они пріобрътають великую силу и славу, и остаются въ исторіи какъ дъятельные духи, а не какъ мертвые факты.

Нашъ писатель не принадлежить ни къ той, ни къ другой категоріи. Популярность перваго рода была для него педоступна по богатству и своеобразію его мыслей, а также по нікоторой эстетической прихотливости. Удачный оппортунисть не можеть иміть и во всякомъ случай не долженъ пускать въ обороть большой умственный капиталъ; при томъ ему непремѣнео нужно быть или стать до нѣкоторой степени плоскимъ, похожимъ на всѣхъ; а именно этого Леонтьевъ боялся и избъгалъ пуще всего. Онъ даже слишкомъ много настаивалъ на своемъ враждебномъ отношеніи къ толпѣ, на своей ненависти къ демократизму или, какъ онъ выражался, къ хамству, Но дѣйствовать на толпу можно или угождая ей, или забывая про нее, а никакъ не питая къ ней ненависти. Была, правда, толпа, которую Леонтьевъ любилъ по-своему и признавалъ — простой народъ, поскольку онъ сохраняетъ свою бытовую обособленность; но для этой толпы нашъ писатель вовсе не существовалъ.

Если умственныя достоинства Леонтьева мёшали ему сдёлаться популярнымъ публицистомъ, угодникомъ толпы, то действовать на умы силою высшей правды онъ не могъ по другимъ причинамъ. Лично, какъ православный христіанинь, онъ исповъдываль, конечно, абсолютную истину; но его соціально-политическіе и историческіе взгляды не были ни простымъ и прямымъ отраженіемъ этой истины, ни ея логическимъ и органическимъ развитіемъ, а скоръе какими-то оригинальными придатками къ ней. Общее направление его мыслей было крайне односторонне, а въ частностяхъ онъ были слишкомъ пестры и неуравновъшены. Одного идеальнаго средоточія, изъ котораго бы выходили и къ которому бы сходились, какъ радіусы, всъ частныя мысли, — въ міросозерцаніи Леонтьева не было. У него не было одной господствующей и объединяющей любви, но была одна главная ненависть — къ современной европейской цивилизаціи, которая, впрочемъ, была ему извъстна не въ своемъ западномъ подлинникъ, а только въ неполномъ русскомъ и карикатурномъ грекославянскомъ переводъ. Этой ненавистной ему Европъ онъ противопоставляль то старый византизмъ, то еще несуществующую и невъдомую культуру будущаго. "Я върю, — писаль онъ, — что Россія, имъющая стать во главъ какой-то ново-восточной государственности, должна дать міру и новую культуру, зам'внить этою новою славяно восточною цивилизаціей отходящую цивилизацію романо-германской Европы" 1. Но эта новая культура по мысли Леонтьева сводится въ сущности къ тому же византизму, въ которомъ вся внутренняя сила Россіи не только прошедшей, но и будущей. "Византійскій духъ, византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникають насквозь весь великорусскій общественной организмъ" 2.

"Съ какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидимъ, что византизмъ, то-есть Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всякомъ случав глубоко проникаютъ въ самыя нъдра нашего общественнаго организма. Сила наша, дисциплина, исторія просвъщенія, поэзія, однимъ словомъ, все жи-

 $^{^{1}}$ Россія, Востокъ и Славянство, сборникъ статей К. Леонтьева. М. 1875. Т. I стр. 76.

² Тамъ же, стр. 100.

вое у насъ сопряжено органически съ родовою монархіей нашей, освященною православіемъ, котораго мы естественные насл'ядники и представители во вселенной. Византизмъ организовалъ насъ, система византійскихъ идей создала величіе наше, сопрягаясь съ нашими патріархальными, простыми началами, съ нашимъ еще сырымъ и грубымъ вначалѣ славянскимъ матеріаломъ" 3.

Византизмъ, по убъжденію Леонтьева, имфеть для нась не одно историческое, но и пребывающее жизненное значеніе, онъ навъки для нась обязателень. "Измъняя даже вз тайных помыслах нашихъ этому византизму, мы погубимъ Россію. Ибо мыслы рано или поздно могутъ найти себъ случай для практическаго выраженія" 4. "Византійскія идеи и чувство сплотили въ одно тело полудикую Русь. Византизмъ далъ намъ силу перенести татарскій погромъ и долгое данничество... Византизмъ далъ намъ силу въ борьбъ съ Польшей, со шведами, съ Франціей и съ Турціей. Подъ его знаменемъ, если мы будетъ ему върны, мы. конечно, будемъ въ силахъ выдержать натискъ и цёлой интернаціональной Европы, если бъ она, разрушивъ у себя все благородное, осмълилась когда-нибудь и намъ предписать гниль и смрадъ своихъ новыхъ законовъ о мелкомъ земномъ всеблаженствъ (?), о земной радикальной всепошлости" 5.

Вся живая сила прошедшаго и будущаго въ одномъ византизмѣ, но въ чемъ же внутреннее единство самого этого византизма? Не только какъ историческое явленіе, но и какъ идея — въ міровозарѣніи нашего автора это есть что-то мозаическое, составленное изъ многихъ элементовъ, органически между собою несвязанныхъ. "Эта общая идея, — говоритъ Леонтьевъ, — слагается изъ нѣсколькихъ частныхъ идей религіозныхъ, государственныхъ, правственныхъ, философскихъ и художественныхъ... Мы знаемъ, напримѣръ, что византизмъ въ государствъ значитъ самодержавіе. Въ религіи онъ значитъ христіанство съ опредѣленными чертами, отличающими его отъ западныхъ церквей, отъ ересей и расколовъ 6.

Въ нравственномъ мірѣ византизмъ характеризуется какъ отрицаніе высокаго значенія человѣческой личности, а также какъ отрицаніе идеи единаго человѣчества. Такимъ образомъ христіанство есть лишь одинъ изъ элементовъ византизма наряду съ другими, а эти другіе и по происхожденію, и по значенію своему принадлежатъ частью римскому, частью восточному язычеству. Христіанство явяется даже какъ будто служебнымъ орудіемъ другихъ византійскихъ началъ. Упомянувъ о томъ, что послѣдній языческій кесарь, Діоклетіанъ, былъ вынужденъ для укрѣпленія дисциплины государственной систематически организовать новое чиновничество,

⁸ Тамъ же, стр. 100.

⁴ Тамъ же.

⁵ Тамъ же, стр. 98.

⁶ Тамъ же, 81.

новую лъстницу властей, исходящихъ отъ императора, Леонтьевъ продолжаеть такъ: "Съ воцареніемъ христіанскихъ императоровъ кь этимъ новымъ чиновническимъ властямъ прибавилось еще другое несравненно болъе сильное средство общественной дисциплины власть церкви, власть и привилегіи епископовъ. Этого орудія древній Римъ не имълъ; у него не было такого сильнаго жреческаго привилегированнаго сословія. У христіанской Византіи явилось это новое и чрезвычайно спасательное орудіе дисциплины. Итакъ, повторяю, кесаризмъ византійскій имбиъ въ себъ, какъ извъстно, миого жизненности и естественности, сообразной съ обстоятельствами времени. Онъ опирался на двъ силы: на новую религію, которую даже и большая часть не-христіанъ (то-есть атеистовъ и деистовъ) нашего времени признаетъ наилучшею изо всъхъ дотолъ бывшихъ религій, и на древнее государственное право, формулированное такъ хорошо какъ ни одно до него формулировано не было... Это счастливое сочетаніе очень древняго привычнаго (т. е. римской диктатуры и муниципальности) съ самымъ новымъ и увлекательнымъ (т. е. съ христіанствомъ) и дало возможность первому христіанскому государству устоять такъ долго на почвъ расшатанной, полусгнившей, среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ" 7.

Если такимъ образомъ "наилучшая религія" пригодилась вмѣстѣ съ римскимъ правомъ для укрѣпленія политическаго византизма, то самъ византизмъ во всемъ своемъ составѣ есть наилучшее и даже единственно пригодное средство для охраненія Россіи и славянства. Таково 'заключеніе Леонтьева:

"Для существованія славянъ необходима мощь Россіи.

"Для силы Россіи необходимъ византизмъ.

"Тотъ, кто потрясаеть авторитетъ византизма, подканывается самъ, быть можетъ и не понимая того, подъ основы русскаго государства.

"Тотъ, кто воюетъ противъ византизма, воюетъ, самъ не зпан того, косвенно и противъ всего славянства...

"Другого крѣпкаго дисциплинирующаго начала у славянъ разбросанныхъ мы не видимъ. Нравится ли намъ это, или пѣтъ, худо ли это византійское начало, или хорошо оно, но оно единственный падежный якорь нашего, не только русскаго, но и всеславянскаго охраненія 8.

Въ этой политической философіи религіозный элементь, очевидио, не имълъ того безусловнаго значенія и не запималь того центральнаго мѣста, какое принадлежало ему въ личномъ чувствъ автора, половину жизни мечтавшаго о монашествъ и осуществившаго эту мечту незадолго до своей смерти. Такое раздвоеніе между просгою субъективною религіозпостью и объективнымъ культурнымъ иде-

⁷ Тамъ же, стр. 86, 87.

⁸ Тамъ же, стр. 119.

аломъ смѣшаннаго характера съ преобладаніемъ мірскихъ элементовъ — отнимало всю силу у проповъди Леонтьева. Если я утверждаю (какъ это дълалъ Леонтьевъ), что единственное существенное и важное есть отреченіе отъ міра и забота о душеспасеніи, а все остальное — суета суеть и "частью тяжелое, частью очень сладкое но во всякомъ случав скоро преходящее сновидвніе" 1, - то какъ я могу туть же съ убъдительностью проповъдывать такой идеаль, въ которомъ главное значеніе принадлежить этимъ суетнымъ и "соннымъ" интересамъ? Идеалъдолженъ быть одноцентреннымъ. Довольно того, что наша реальная жизнь и исторія расплываются разнородными и противоборствующими началами и интересами. Это есть лишь фактическое несовершенство, а назначение идеала не въ томъ, чтобы воспроизводить такія несовершенства дёйствительности, а въ томъ, чтобы исправлять ихъ. Если мы въ свой высшій идеалъ перенесемъ хаотическую сложность реальной жизни, ея раздробленность и ея компромиссы, то не будеть ли такой идеаль "обуявшею солью", которую уже нечъмъ осолить?

Если все земное, все историческое есть только преходящее сновидъніе, то такимъ же преходящимъ свовидъніемъ нужно признать и идеалъ сложной ново-византійской или ново-восточной культуры Это также есть сновидъніе и при томъ только предполагаемое, слъдовательно, самое пустое изо всъхъ сневидъній. Истинный идеалъ долженъ относиться къ тому, что въчно. Но въчно для насъ, по мнънію Леонтьева, только личное существованіе за гробомъ, а оно въдь нисколько не связано ни съ какими культурными элементами — политическими, экономическими или художественными. Спасать свою душу можно при всякихъ условіяхъ, и для того, кто этимъ занятъ, такіе вопросы, какъ взятіе Царьграда, возрожденіе русскаго дворянства и основаніе новой охранительной цивилизаціи, — совершенно ненужны и неинтересны. Кому охота охранять преходящія сновидънія, а непреходящее въ охраненіи не нуждается.

Чтобы съ успъхомъ проповъдывать какой-нибудь идеалъ, нужно всецьло, всею душою ему отдаться. Но нельзя, психологически невозможно отдаться такимъ предметамъ, которые ни высшаго блаженства, ни низшаго природнаго удовлетворенія не доставляютъ. Или по разуму истины и религіозному чувству я отдаюсь тому, что въчно и безусловно, или по естественной необходимости тому, что даетъ мять хотя преходящее, но тъмъ не менте реальное удовлетворсніе. Но проповъдуемый Леонтьевымъ идеалъ сложной принудительной срганизаціи общества не имъетъ ни въчнаго достоинства, ни минутной пріятности. О немъ можно разсуждать съ точки зръція историческихъ въроятностей, но жить и умирать ради него ръшительно невозможно. Самъ Леонтьевъ, конечно, забылъ о немъ, когда какъ искренно върующій христіанинъ готовился къ смерти. Ему тогда

¹ Тамъ же, томъ II, стр. 94.

понадобились не Царьградъ, не дворянская идея и не византійская культура, а просто священникъ со Св. Дарами, т. е. нѣчто такое, что по нашей въръ сохранится и при Антихристъ и никакого охраненія не требуетъ.

Въ смыслѣ высшаго жизненнаго идеала взгляды Леонтьева на ново-византійскую культуру и т. д. совершенно несостоятельны; но въ нихъ есть много интереснаго съ точки зрѣнія философіи исторіи. Съ этой стороны они заслуживають особаго разбора, къ которому я и намъренъ приступить. А теперь, указавъ на коренной недостатокъ въ проповъди Леонтьева, я долженъ, чтобы быть справедливымъ, упомянуть и о томъ, что было у него существенно хорошаго.

Хорошо было, во-первыхъ, то, что свои крайне охранительные и благочестивые взгляды Леонтьевъ сталъ исповъдывать еще въ концъ шестидесятыхъ годовъ, т. е. тогда, когда кромъ недоумънія, насмъшекъ и поношеній они вичего ему дать не могли. Все, что онъ проповъдываль, онъ самостоятельно продумаль, пережиль мыслью и чувствомъ. Каковы бы ни были его идеи сами по себъ, это во всякомъ случаъ были его идеи а не чужія слова, повторяемыя по расчету, или по стадному внушенію.

А во-вторыхъ, хорошо было въ Леонтьевъ то, что односторонность, исключительность и фанатизмъ его взглядовъ не выходили изъ предъловъ теоріи и не имъли вліянія ни на его жизненныя отношенія, ни даже на его литературныя сужденія. Этотъ проповъдникъ силы и сильныхъ мъръ менте всего былъ склоненъ обижать и оскорблять кого-нибудь и въ частной жизни и въ литературъ. Онъ, какъ писатель, никогда не кривилъ душой изъ-за личнаго самолюбія или парлійнаго интереса и всегда въ полной мъръ отдавалъ справедливость и личнымъ, и идейнымъ врагамъ своимъ.

Отдадимъ же и мы ему полную справедливость. При всёхъ своихъ недостаткахъ и заблужденіяхъ, это былъ замъчательно самостоятельный и своеобразный мыслитель, писатель ръдкаго таланта, глубоко преданный умственнымъ интересамъ, сердечно религіозный, а, главное, добрый человъкъ.

С. Петербургъ, 14 декабря 1891 г.

Некрологи.

Княжна К. М. Шаховская.

1883.

30 ноября скончалась на 75 году княжна Клеопатра Михайловна Шаховская. Нетрудно было ей перейти въ міръ духовъ, который для нея никогда не былъ страшной и темной загадкой. Есть и въ наши дни не мало людей, которые дають религіи мъсто въ какомънибудь уголкъ своего сердца и ума. Покойная К. М. была религіозна не въ этомъ смыслв — она была вся одущевлена религіей. стіанская истина сливалась у нея съ жизнью нераздёльно, владёла ея существованіемъ. Многіе върять въ духовное и божественное: она только во это и върила, только этимъ и жила. Ея глубочайшимъ убъжденіемъ было то, что весь нашъ міръ и вся наша жизнь есть только видимость, только рядъ соотвътствій и подобій высшаго міра. Эта мысль, до которой величайшіе мудрецы доходили путемъ сложныхъ умозрвній, для нея была простой, ясной и несомнънной истиной, и какъ она дорожила всъмъ оклом отр , амёт сдълать эту истину убъдительной для другихъ!

Высшій религіозный интересъ не быль для нея однимь изт мнозият интересовь въ жизни, а быль самымь существомь ея жизни. Все то, чего нельзя было освятить и освётить религіознымь свётомь, то для нея какъ бы вовсе не существовало. Съ удивительной младенческой чистотой сердца, съ горячей любовью къ людямь она соединяла постоянную живость ума; но этоть живой, всегда дёятельный умъ воспринималь только то, что можно было связать съ христіанской идеей, отбрасывая все остальное.

Духовная выссть и дъвственный антузіазмь, который К. М. сохраняла вы свои преклонные годы, вы другой натурь, при другомъ нравственномы стров, быль бы, можеть быть, странень, но у нея этоть энтузіазмы быль вы высшей степени привлекателень, потому что никогда оны не обращался на недостойные или неважные предметы: настоящій предметь этого энтузіазма быль всегда одинь и тоты же — христіанская истина везды и во всемь. Съ особенной восторженностью покойная К. М. относилась кы дылу освобожденія крестьяны и кы послыдней Восточной войны именно потому, что видыла здысь великія дыла христіанской правды и любви. И русскій народь

она любила только за тъ черты христіанскаго характера, каторыя въ немъ можно замътить.

Живя постоянно умственной жизнью и много читая, К. М. и въ литературъ брала только то, что имъетъ нравственное содержаніе и значеніе, что носить на себъ отпечатокь христіанской мысли или христіанскаго чувства. Изъ русскихъ писателей всёхъ симпатичнёе быль для нея Достоевскій, именно за христіанскій лиризмі въ его произведеніяхъ. Въ твореніяхъ человіческаго слова опа цінила только то, что было отраженіемъ Слова Божія. А Слово Божіе было для нея не мертвою лътописью минувшихъ временъ и не сборникомъ отвлеченныхъ правилъ, а откровеніемъ духовнаго смысла вселенной, словомъ въчной жизни. Значение Библіи какъ одушевленной книги, какъ живого слова Божія, было любимой темой ея разговоровъ. И за нъск лько часовъ до своей кончины, съ трудомъ уже владъя языкомъ, она говорила все о томъ же — о духовномъ смыслъ Священнаго Писанія, какъ основаніи всякой истины. Она до конца свидътельствовала о словъ Вожіемъ, а это слово свидътельствуетъ о такихъ, какъ она: блаженни чистіи сердцемъ яко тіи Бога узрять.

Францискъ Рачкій.

 $^{1}/_{13}$ февраля 1894 г. †.

Въ дълъ культурнаго возрожденія хорватскаго народа первое мъсто послъ знаменитаго епископа Штроссмайера несомнънно принадлежитъ его другу и главному помощнику, загребскому канонику и президенту юго-славянской академіи, Франциску Рачкому. Со смертью этого замъчательнаго человъка хорватскій народъ потерялъ самаго твердаго и энергичнаго патріота, а славянская историческая наука — одного изъ лучшихъ своихъ дъятелей.

Рачкій родился 25 ноября 1829 г. въ хорватскомъ поморьъ близъ города Фіуме (Ръка), въ купеческомъ семействъ, котораго родоначальникъ былъ выходцемъ изъ чеховъ. Окончивъ гимназическій курсъ въ Вараждинъ, онъ поступилъ въ духовную семинарію города Сенья, а потомъ на теологическій факультеть вінскаго университета. Принявъ священный санъ въ 1852 г., онъ преподавалъ нъкоторое время въ сенской семинаріи физику и математику. Получивъ затъмъ въ Вънъ степень доктора теологіи, онъ вернулся опять въ свою семинарію какъ профессоръ церковнаго права и церковной исторіи. Первое свое сочинение Рачкій напечаталь еще будучи студентомь; ето быль морально-богословскій трактать "О христіанстві и человівчествъ", появившійся въ загребскомъ церковномъ журналъ "Католицкіе Листы". Въ то же время онъ кромъ духовныхъ наукъ сталъ заниматься славянскою филологіей и исторіей; первыя его изслідованія по этимъ предметамъ пом'вщены въ "Архив'в юго славянской исторіи", проф. Кукулевича. Въ 1857 г. Рачкій сближается съ епископомъ Штроссмайеромъ и по его совъту поселяется на нъсколько льть вь Римь для ученых занятій; первымь ихъ результатомь появляется замъчательная его книга о Кириллъ и Мееодіи ("Вък и дълованье свв. Кирилла и Мееода". Загреб. 1857-1859). Изъ общихъ сочиненій по этому предмету трудъ Рачкаго до сихъ поръ остается самымъ важнымъ. Въ 1861 г. появились два другихъ его изслъдованія: "Письмо словънско" и "Одломци изъ државнаго права хрватскога", а въ 1864 г. онъ вмёстё съ Ягичемъ и Торбаномъ основаль ученый журналъ "Книжевникъ", гдъ между прочимъ помъщена его "Оцънка старих извора за хрватску и србску повъст". Въ 1865 г.

онъ вмъсть съ Ягичемъ издаль древнее глаголитское евангеліе (codex Assemanii). Въ слъдующемъ, 1866 году основана въ средства епископа Штроссмайера академія наукъ и искусствъ. Рачкій быль тогда же избрань ея президентомъ, что повторялось и при всъхъ послъдующихъ выборахъ 1. Едва ли существуетъ во всемъ мірѣ учрежденіе, которое въ столь короткое время издало бы такъ много цънныхъ трудовъ: ученыя изданія загребской академіи (изъ коихъ важнъйшія суть: "Рад югослав. акад.", "Старине", "Стари писцы хрватски") составляють уже несколько сотъ томовъ. Душою и двигателемъ всей этой обширной дъятельности все время оставался неутомимый Рачкій. Но роль внушителя и организатора чужихъ ученыхъ работъ нисколько не мъщала его собственнымъ научнымъ изслъдованіямъ. Послъ двухъ интересныхъ монографій о богомилахъ и патаренахъ и о борьбъ южныхъ славянъ за государственную независимость въ IX въкъ, онъ предприняль въ общирныхъ размърахъ полную и всестороннюю исторію хорватскаго народа. Въ виду его бодрости и быстроты въ работъ можно было надъяться, что и этотъ громадный трудъ (печатавшійся по частямъ въ Радъ ю.-сл. ак.) будеть доведень до конца. Но и то, что имъ оставлено, достаточно, чтобы увъковъчить его имя.

Какъ человъкъ, Рачкій представляль въ высшей степени симпатичный типъ славянской натуры, насквозь проникнутой европейскимъ, въ частности германскимъ, образованіемъ. Это образованіе не только развило его умъ, но и закалило нравственный характеръ. Главнымъ и постояннымъ мотивомъ всей его жизни было чувство долга — явленіе столь рѣдкое между славянами. Оригинально также въ немъ было соединеніе пламеннаго хорватскаго и всеславянскаго патріотизма съ величайшею разсудительностью, здравымъ взглядомъ на вещи и людей. При всемъ своемъ крайнемъ руссофильствъ онъ отлично видълъ недостатки и недуги нашей жизни, хотя и не любилъ распространяться о нихъ передъ своими соотечественниками, — изъ политики. Нѣкоторыхъ нашихъ общественныхъ дѣятелей, которыхъ онъ лишь мелькомъ видълъ во время своего быстраго путешествія по Россіи (въ 1884 г.), онъ сразу оцѣнилъ по достоинству, и я былъ пораженъ мѣткостью его отзывовъ.

Со смертью Рачкаго осиротъли юго-славянскія Аеины... Я, по крайней мъръ, не могу себъ представить Загреба безъ вездъ-сущей, всюду мелькающей фигуры этого малорослаго, но кръпкаго человъка въ короткой сутанъ и высокихъ сапогахъ, быстрыми и ровными шагами переносящагося изъ собора въ академію, изъ академіи въ тинографію, оттуда въ свой рабочій кабинеть, изъ кабинета за городъ въ виноградники (Рачкій сверхъ всего прочаго былъ образцовымъ хозяиномъ вообще и винодъломъ въ особенности).

¹ Съ 1888 г. австрійское правительство не утверждало выбора Рачкаго, но фактически онъ до конца оставался во главѣ академіп.

Когда въ Загребъ было большое землетрясеніе, наполовину разрушившее его готическій соборъ, Рачкій въ этомъ самомъ соборъ служилъ объдню. Всъ въ ужасъ бъжали; онъ остался одинъ и, схватясь за края престола, ничего не видя отъ пыли, поднятой обвалившимся потолкомъ, докончилъ службу и вышелъ весь бълый отъ пыли, но цълый и невредимый. Какъ въ эту трагическую минуту, такъ и во всю свою жизнь онъ былъ прежде всего человъкомъ долга и непоколебимой върности. Въчная ему память!

Ө. М. Дмитріевъ.

(Род. въ 1829 г. — ум. 27 января 1894 г.)

Немного среди насъ оставалось замъчательныхъ людей прошедшаго поколънія; еще одинъ изъ этихъ немногихъ ушелъ — и какъ мало это здъсь замътили! Впрочемъ, лучшая пора жизни Өедора Михайловича Дмитріева принадлежала не Петербургу, а Москвъ и симбирскому краю, — и тамъ навърное сильнъе почувствовали его кончину.

Покойный Ө. М. принадлежаль къ людямъ, которыхъ слъдуетъ цвнить не столько по тому, что они сдвлали, сколько по тому, чвмъ они были. Сильная оригинальная индивидуальность, никогда не теряющая своей духовной свободы, никогда не переходящая всецвло въ какую-нибудь внёшнюю деятельность; острый критическій умъ, всегда владъющій мъткимъ язвительнымъ словомъ, и вмъстъ съ тъмъ замъчательный даръ благоговънія (vénération) ко всему достойному и благородному; высоко-идеальный взглядъ на истинныя начала жизни и безпощадно-скептическое и сатирическое отношеніе къ ея пестрымъ явленіямъ. Съ этими природными свойствами соединялись у Ө. М. благопріятныя вліянія наслідственной и воспитательной среды. Происходя изъ стараго дворянскаго рода, внукъ Ивана Ивановича Дмитріева, извъстнаго писателя и министра юстиціи, Ө. М. совмъщалъ аристократическія традиціи съ литературными. Родившись въ 1829 г., онъ воспитывался въ Москвъ въ то время, когда тамъ сосредоточивался расцевтъ нашей умственной жизни. Ученикъ Грановскаго, товарищъ Чичерина, онъ былъ и студентомъ, и профессоромъ московскаго университета въ самую блестящую эпоху. Между студенчествомъ и профессурою онъ былъ нъкоторое время секретаремъ великой княгини Елены Павловны, около которой собиралось такъ много замъчательныхъ людей. Ръшившись посвятить себя ученой карьерв, Дмитріевъ сдълался скоро однимъ изъ самыхъ блестящихъ и любимыхъ профессоровъ. Его спеціальность была гражданское право, но онъ получилъ канедру иностранныхъ законодательствъ. Въ 1865 г. въ московскомъ университетъ по поводу выборовъ въ деканы юридическаго факультета обнаружилась борьба между большинствомъ профессоровъ-чиновниковъ и меньшинствомъ, державшимся

иного направленія. Дмитрієвъ принадлежаль къ меньшиеству и вышель въ отставку. Слѣдующія пятнадцать лѣть онъ провель въ симбирской деревнь, гдѣ кромѣ хозяйства усердно предавался земской и судебной дѣятельности въ качествѣ мирового судьи и предводителя дворянства. Въ 1881 г. онъ быль назначень попечителемъ петербургскаго учебнаго округа и съ честью занималь три года это трудное въ то время мѣсто. Онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ новаго университетскаго устава, и немедленно вышель въ отставку, какъ только этотъ уставъ сталь закономъ. Это было послѣднимъ общественнымъ дѣйствіемъ Ө. М. Сенатская служба была для него болѣе "присутствіемъ", нежели дѣятельностью.

Кто зналь Дмитріева только въ Петербургі, какъ різдкаго по образованію и остроумію собесіздника, тоть иміветь о немъ далеко не полное понятіе, а преобладающій критическій и сатирическій характерь его ума могь внушать и ложное о немъ представленіе, какъ о человікі желічномь, озлобленномь. Чтобы узнать его настоящимь образомь, нужно было видіть его въ деревні, со своими, среди посаженнаго имъ самимъ сада, которымъ онь такъ гордился. Здісь вмісті съ обычными качествами его ума обнаруживалась и другая сторона: чрезвычайная сердечность, любовь къ дітямь, къ природіь.

Оставленное Дмитріевымъ литературное наслъдіе невелико по объему, но состоитъ изъ вещей образцовыхъ. Кромъ диссертаціи "Исторія судебныхъ инстанцій", которая по компетентнымъ отзывамъ остается незамъненною, опъ печаталъ статьи въ разныхъ журналахъ и издалъ вмъстъ съ Ю. Самаринымъ за границей брошюру "Революціонный консерватизмъ". Очень желательно посмертное собраніе его сочиненій.

Профессоръ прот. А. М. Иванцовъ-Платоновъ.

1894.

Трудно опредълить въ немногихъ словахъ значение скончавшагося 12 ноября профессора протојерея Александра Михайловича Онъ обладалъ натурою разнообразно-одарен-Иванпова-Платонова. ною и былъ замъчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Чтобы начать съ главнаго. — это быль человъкъ необыкновенно впечатлительный къ нравственнымъ мотивамъ, съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства соединявшій ръдкую внимательность къ чужимъ потребностямь и нуждамъ. Затъмъ онъ отличался такою живою сердечною религіозностью, какая далеко не всегда встрівчается у людей его положенія — ученыхъ представителей столичнаго духовенства. Къ евангельской исторіи у него было внутреннее личное отношеніе. Въ московскомъ обществъ онъ пріобръль особую извъстность тою жизненною простотою и выразительностью, съ какою онъ читалъ "двфнадцать евангелій въ великій четвергъ. Искренняя въра при извъстной степени духовнаго развитія исключаеть фанатизмъ, который есть или признакъ духовной незрълости, или же - "проказа лицемърія". Кто, какъ покойный о. Иванцовъ, внутренно въритъ въ христіанское ученіе, для того оно уже не можеть превратиться въ какія-нибудь внъшнія требованія, которыя можно навязывать и поддерживать насильно, дълая изъ религіи любви предлогъ или оправданіе всякой злобы. Личная мягкость характера и добродушіе въ соединеніи съ твердостью убъжденій и глубокою религіозностью естественно производили у покойнаго А. М. Иванцова ту истинную терпимость, которая позволяеть, не поступаясь ничуть безусловною правотой своей въры, признавать относительныя права чужого мнънія. Примыкая отчасти къ славянофильскому кружку, А. М. сохранялъ самостоятельность религіозной мысли. Изъ оригинальныхъ его идей общаго характера приведу двъ, которыя заслуживаютъ особаго вниманія. Основную ощибку славянофиловъ онъ видълъ въ томъ, что они высокое призваніе Россіи считали какъ бы какою-то неотъемлемою роковою привилегіею нашего народа, что, по справедливому мивнію А. М., было несогласно ни съ христіанствомъ, ни съ нравственнымъ принципомъ вообще. Другая идея, которую покойный неоднократно

развиваль въ разговорахъ съ друзьями, состояла въ томъ, что несомнънно присущій церкви атрибуть святости ("во едину святую, соборную и апостольскую (церковь") не есть то же, что непогръшимость: какъ отдёльные святые люди, такъ и церковь, состоящая изъ людей, можетъ погръшать, разумъется, "гръхами не къ смерти", не теряя отъ этого своей святости... Покойный былъ настоящимъ ученымъ. Его главное сочинение "Ереси и расколы первыхъ трехъ въковъ", остановившееся, къ сожальнію, на первомъ томь (изсльдованіе источниковъ), заслужило въ высшей степени похвальнаго критическаго разбора со стороны знаменитаго Гарнака (читающаго порусски). Замъчателенъ также его церковно-историческій этюдъ: "Религіозныя движенія христ. Востока въ IV и V въкахъ". Дъятельность профессора церковной исторіи въ московскомъ университетъ (1872), законоучителя и настоятеля церкви въ александровскомъ военномъ училищъ и разныя другія практическія обязанности не позволяли покойному посвятить все свое время ученымъ трудамъ и сдёлать для церковно-исторической науки все то, чего можно было ожидать отъ его живого таланта, самостоятельнаго ума и общирной учености. Упрекать его, впрочемъ, за это не приходится, такъ какъ служение науки уступало у него не какимъ-нибудь низшимъ интересамъ, а еще болъе высокому, чъмъ наука, интересу нравственно-педагогическому. Достойная опрыка человыка опредыляется окончательно не тъмъ, что онъ сдълаль, а тъмъ, какой былъ преобладающій характеръ его воли. Чистая воля добра была несомивнио преобладающимъ побужденіемъ въ жизни и дъятельности А. М. Иванцова... Все проходить, одна любовь остается. Въчная память почившему служителю любви!

Яковъ Петровичъ Полонскій.

(Род. въ Рязани 6 дек. 1819 г.; сконч. въ Спб. 18 окт. 1898 г.)

Умеръ поэтъ задушевнаго чувства. Этимъ не исчерпывается поэзія Полонскаго, но это, конечно, самая отличительная ея особенность. Надо всёмъ разнообразіемъ житейскихъ, общественныхъ и историческихъ мотивовъ, освёщенныхъ мягкимъ свётомъ его поэзій, господствуетъ у Полонскаго эта внутренняя основа простого и глубокаго человёческаго чувства. Эта простота проявляется даже тамъ, гдъ по сюжету всего менъе можно было бы ее ожидать. Послъ Пушкина и Лермонтова, но не по ихъ слъдамъ, Полонскій отдалъ поэтическую дань Кавказу. Величіе природы, живописность туземнаго быта, героизмъ разнаго рода — русскія и черкесскій, мужской и женскій — все это у него на заднемъ планъ, а посрединъ — задушевная простота чувства, выступающаго и въ его прощаніи съ Кавказомъ:

...Одинокое сердце оглянется

II забъется внакомой тоской.

Вспомню домикь твой, дворикь, увёшанный Виноградными кистями, тёнь, Гдф, твоимъ лепетаньемъ утёшенный, Я вкушаль безмятежную лёнь...

Чёмъ, кромѣ простоты задушевнаго чувства, отличаются тѣ стихотворенія Полонскаго, которыя стали популярными пѣснями: "Погадай-ка мнѣ, старушка"; "Мой костеръ въ туманѣ свѣтитъ"; "Въ одной знакомой улицѣ"? И на тѣ жизненныя темы, которыя возбуждали въ другихъ поэтахъ обличительное негодованіе въ ту или другую сторону, Полонскій отзывался съ тою же задушевною простотою, напримѣръ: "Что мнѣ она? не жена, не любовница, и не родная мнѣ дочь"... Поэтъ не былъ слѣпъ къ сложности исторической жизни, но болѣе всего онъ отзывался на тѣ простыя человѣческія отношенія которыя скрываются за этою сложностью: такъ, въ запутанной и темной исторической трагедіи — второй имперіи — онъ отмѣтилт. только два лица — мать и сына. А удивительный "Кузнечикъ-Музыкантъ", въ которомъ та же глубина чувства превращаетъ зачинавшуюся сатиру въ идиллію и заканчиваетъ такою трогательною элегіей?.. А

какъ та же сила задушевности боролась у Полонскаго съ классическою формою и подъ конецъ одолъвала ее ("Аспазія", "Кассандра")!.. Много оставилъ Полонскій для исторіи русской литературы, но то, что останется отъ него въ душъ русскаго народа, пока живъ русскій языкъ, — то все написано имъ какъ главнымъ послъ Пушкина поэтомъ простого задушевнаго чувства. Это въ немъ самое цънное, что сразу вспомнилось при въсти о его кончинъ. А подробная оцънка его поэзіи — впереди.

23 окт. 1893 г.

М. С. Корелинъ.

(† 3 января 1899 г.)

Ушель съ середины пути человъкъ, еще много объщавшій, и котораго не забудеть никто изъ знавшихъ его. При воспоминаніи о немъ несомнънныя и крупныя его умственныя достоинства заслоняются въ моихъ глазахъ образомъ июлой личности. Михаилъ Сергвевичъ Корелинъ былъ болве чвмъ честнымъ (фактически) человвкомъ, — онъ быль честень характеромь, — а это гораздо раже и особенно радко въ Россіи, гдъ, какъ давно замъчено, даже святыхъ больше, чъмъ людей доблестныхъ. — Корелинъ (родился въ 1855 г., въ крестьянской семьв) началь свою двятельность въ такую пору, когда русское общество подверглось великому искушенію, въ которомъ устоять до конца на пути добра удалось очень немногимъ даже между зрълыми тогда мужами, не говоря уже о юношахъ. Но Корелинъ имълъ нравственную натуру рёдкой цёльности, и, разъ узнавъ его точку зрънія, - которая въ сущности примыкала къ лучщей сторонъ русскаго гуманизма такъ-называемыхъ "сороковыхъ годовъ", -- можно было уже съ безошибочною увъренностью сказать, какъ отнесется онъ къ тому или другому явленію и вопросу нашей жизни. Когда онъ признавалъ что-нибудь чернымъ по существу, онъ совсемъ не умель наводить на то же самое, въ примъненіи, бълую или хотя бы сърую краску. Радостно было встръчать въ нашемъ обществъ человъка, у котораго и собственные пути, и опънка чужихъ — опредълялись окончательно не психологическими соображеніями, а этическими; утъщительно было видёть действіе "практическаго разума" въ такомъ живомъ, горячемъ и страстномъ воплощения. Лишь черезъ долгие промежутки сходясь съ Корелинымъ, я ни разу не испыталъ съ его стороны ни малъйщей изъ тъхъ неожиданностей, которыя даже на хорошихъ людей наносятся мутными житейскими волнами. Снаружи разговоръ Корелина производилъ впечатление не только резкости, но и сердитости, которая, однако, была лишь другою стороною той сердечности, съ которою онъ относился къ дъламъ общественнымъ, также какъ и къ личнымъ, -- душевною подкладкою его практическаго идеализма.

Какъ историкъ, Корелинъ изучалъ жизнь человъчества главнымъ образомъ со стороны развитія идей. Большой двухтомный трудъ о раннемъ итальянскомъ гуманизмъ и его исторіографіи, скромно представленный имъ въ качествъ магистерской диссертаціи, быль по достоинству оцінень историко-филологическимь факультетомь московскаго университета и вмъстъ съ докторскою степенью далъ Корелину мъсто на славной каеедръ Грановскаго. Читая много лекцій, онъ продолжалъ печатать свои труды въ разныхъ изданіяхъ, особенно въ "Въстникъ Европы", въ "Русской Мысли", въ "Вопросакъ Философіи и Психологія" и въ "Энциклопедическомъ Словаръ" Брокгауза-Ефрона. Въ последній годъ онъ сталь между прочимъ заниматься публицистикою (въ обновленной московской газетъ "Курьеръ"). Я не знаю примъровъ, чтобы умственный трудъ самъ по себъ былъ когданибудь вреденъ для здоровья; дъло другое — обильныя лекціи и особенно та сердечная напряженность, съ которою Корелинъ относился ко всёмъ дёламъ. Уже болёе года ходили зловёщіе слухи о состоянім его здоровья, но еще въ этомъ декабрі я виділь его котя замътно измънившимся наружно, но выъзжающимъ и совершенно бодрымъ умственно. Черезъ двъ недъли потомъ произошло кратковременное ухудшеніе, и онъ скончался. Хотя историческая наука въ Россіи, безъ сомнънія, лишилась въ немъ значительной умственной силы, но всего болъе чувствительна потеря настоящаго человтка съ ръдкою твердостью и ясностью взгляда въ различении добра и злаобщественнаго.

22 января 1899 г.

Л. И. Поливановъ.

(† 11 февраля 1899 г.)

Сиротъетъ Москва... Ушла еще одна живая, дъятельная и направляющая сила: 14 февраля похоронили въ Новодъвичьемъ монастырь Льва Ивановича Поливанова, создавшаго тридцать лътъ тому назадъ, въ содружествъ съ нъсколькими московскими учителями, образцовую частную гимназію, которая стала извъстна подъ его именемъ. Какъ характеризовать для незнавшихъ лично Л. И. все своеобразіе этой живой, въчно кинящей души? Развъ черезъ контрасть,соединяя всв черты, прямо противоположныя типу узкаго, сухого, бездушнаго педанта, застывшаго въ опредъленныхъ формахъ... Поливановъ былъ воплощенное душевное движение, безостановочная вибрація ума и сердца. Онъ относился глубоко-патетически даже ко всвить подробностямъ того, что казалось ему важнымъ или интереснымъ, а о томъ, о чемъ опъ могъ говорить равподушно, - онъ обыкновенно вовсе не говориять. Такое, по крайней мъръ, оставалось общее впечатлъніе. Я помню его одушевленно говорящимъ съ вскрикиваніями и жестами, помню - хотя ръже - молчащимъ, но вяло разговаривающимъ о житейскихъ пустякахъ и дрязгахъ - ръшительно не припомню. Никакими вившними условностями онъ вообще не ствснялся, и я никогда не забуду, какъ былъ удивленъ и даже испуганъ однажды въ началъ лъта, увидавши Л. И. въ большой енотовой шубъ и мъховой шапкъ!...

Въ мірт учащихъ и учащихся по всей Россіи имя Л. И. Поливанова встмъ хорошо извъстно. Онъ оставилъ не мало цънныхъ трудовъ педагогическихъ и литературныхъ, — между прочимъ, превосходное изданіе Пушкина, монографію о Жуковскомъ, образцовый разборъ (по порученію академіи наукъ) сочиненій Полонскаго, съ которымъ онъ послѣдніе годы былъ очень близокъ. Но важнѣе этихъ книжныхъ трудовъ было то, что онъ вложилъ въ свою школу живую душу, поднялъ и удержалъ эту школу выше обычной казенности и умѣлъ зажигать въ своихъ воспитанникахъ искры того огня, который горълъ въ немъ самомъ. Вышедшіе изъ поливановской гимназіи не только сохраняли о ней самое теплое воспоминаніе, но и оставались съ Л. ІІ и его сотрудниками въ тъсной личной дружбъ. Одинъ изъ

этихъ "поливановцевъ", ставшій извѣстнымъ профессоромъ московскаго университета, въ замѣткѣ о Л. П. по поводу его смерти приписываетъ вліянію учителя и училища все лучшее, что зарождалось и развивалось въ душѣ учениковъ. Что можно сказать больше такой похвалы?

Левъ Ивановичъ умеръ рано. Хотя онъ дожилъ до 60 лѣтъ и давно уже былъ совсѣмъ сѣдой, но даже въ послѣднее время (передъ смертельною болѣзнью) сохранялъ ту же душевную бодрость и энергію. А его живой умъ выказывалъ иногда большую проницательность и далеко за предѣлами педагогики и литературы. Такъ, въ минувшемъ сентябрѣ, когда я его видѣлъ въ послѣдній разъ, рѣчь зашла объ одномъ событіи русской жизни, получившемъ всемірную огласку, и мнѣ ни до того, ни послѣ, не приходилось слышать объ этомъ такого вѣрнаго и глубоко прочувствованнаго слова, какъ то, которое сказалъ Поливановъ.

Трудно представить себъ поливановскую гимназію безъ Льва Ивановича; а вмъсть съ тьмъ не хотьлось бы думать, что она исчезнеть, совсъмъ потеряеть свой особый характеръ большой педагогической семьи, превратится безъ остатка въ обычное казенное учрежденіе — это было бы настоящею потерей для русскаго общества, да и обидой для покойнаго!

Іосифъ Давидовичъ Рабиновичъ.

(† 5 мая 1899 г.)

Подобно тъмъ евреямъ перваго въка, которые приняли Христа и отдались созиданію христіанства, Іосифъ Давидовичъ, человъкъ, какъ и тъ, воспитанный на писаніи, преданіи отцовъ и тайной мудрости—устной тогда, писанной и даже печатной нынъ (каббала) — пришелъ къ религіозному убъжденію, что галилейскій раввинъ, нъкогда казненный въ Іерусалимъ по обвиненію іудейскихъ жрецовъ и по суду римскаго прокуратора Понція, былъ объщанный пророками помазанный Царь Израиля, чудесно рожденный и по смерти воскресшій въ своемъ собственномъ преображенномъ тълъ. Повърг тъ въ это, Іосифъ Давидовичъ крестился, но не пересталъ быть еврейскимъ патріотомъ, — его патріотизмъ налагалъ теперь на него лишь новую обязанность: проповъдовать своимъ братьямъ-евреямъ въру въ истиннаго Мессію, какъ единственный путь спасенія не для отдъльнаго только человъка, но и для цълаго народа израильскаго вмъстъ со всъми другими народами.

Я зналъ Рабиновича, и не могъ сомнаваться не только въ его совершенной искренности, но и въ томъ, что его душа была того же качества, какъ и тъ еврейскія души перваго въка — души апостольскія. Но положеніе дъла было, увы! совершенно другое. По внъшности оно было, конечно, легче, такъ какъ новому проповъднику нечего было опасаться ни львиныхъ зубовъ, ни ликторскихъ съкиръ. Но внутренно оно было теперь тяжеле и трагичные. Потому что не могли звъри цирка и жельзо римскаго воина такъ отдълять върующую душу отъ христіанскаго Бога, какъ отделяють ее теперь историческія нагроможденія лжи и зла ві самомъ христіанскомъ міръ. И конечно. эти нагроможденія всего щутительные дя евреевъ. Духъ, правда, дышеть, гдъ хочеть; олдъльные избранники, отдъльныя группы немногихъ религіозно - настроенныхъ людей могутъ духовно пробиваться сквозь эти историческія преграды. Но по какому праву (не давая сами примъра) будемъ мы этого требовать отъ всъхъ евреевъ, или хотя бы отъ большинства ихъ, или хотя бы отъ скольконибудь значительнаго меньшинства? Ясно, что еврейство видить въ христіанскомъ мір'в только то, что ему на діль показывають именующіе себя христіанами, и было бы слишкомъ странною фантазіей ожидать, что евреи массами и по искреннему религіозному убъжденію будуть обращаться въ христіанство какъ въ религію любви подъ шумъ еврейскихъ погромовъ и подъ "христіанскіе" крики: "Смерть жидамъ! бей жидовъ!"

Нужно удивляться не тому, что проповъдь Рабиновича не имъла обширнаго успъха, а тому, что она все-таки имъла нъкоторый успъхъ, что ему удалось, не примыкая ни къ какому изъ существующихъ исповъданій, раздъляющихъ христіанство, основать (въ Кишиневъ) общину новозавътнаго Израиля съ храмомъ и постояннымъ богослуженіемъ на древне-еврейскомъ языкъ. Принявъ крещене въ Берлинъ отъ духовнаго лица одной независимой американской секты и не желая присоединиться ни къ православію, ни къ лютеранству, Госифъ Давидовичъ долго не могъ узаконить своего религіознаго положенія, но наконецъ добился по крайней мъръ фактическаго признанія христіанскаго характера за собою и за основанною имъ общиною. Она существуеть теперь уже около двадцати лътъ. Іосифъ Давидовичъ началъ свою религіозную дъятельность въ началь 80-хъ годовь въ зръломъ возрасть. Я познакомился съ нимъ въ 1885 году, какъ съ человъкомъ уже старъющимъ, хотя исполненнымъ духовнаго жара и движенія. Нѣсколько бесѣлъ съ нимъ оставили во мев менагладимое впечатленіе. Основная своеобразность его воззрвнія состояда въ томъ. что онъ исходиль прямо изъ еврейскаго христіанства І въка: "Я продолжаю проповъдовать евреямъ Мессію, — говориль онь, — прямо сь того мъста, гдъ остановился первомученикъ Стефанъ, членъ древнъйшей христіанской общины въ Герусалимъ". Безъ сомнънія, религіозно-національное дъло Рабиновича останется живымъ зерномъ и предвареніемъ будущаго еврейско-христіанскаго единства. Но дальнъйшій рость этого дъла теперь же, при существующихъ условіяхъ, по-моему, невозможенъ, какъ я говорилъ и самому проповъднику. Его ошибка состояла въ томъ, что отъ евреевъ, еще не върящихъ въ истину христіанства, онъ прямо требовалъ, чтобы они относились къ христіанскому міру такъ, какъ если бы они уже были истинными христіанами, требоваль, чтобы они сразу простили и забыли все то эло, которое они перенесли въ христіанскомъ міръ. Онъ, еврейскій патріотъ, отъ всей души простиль это зло своимъ романско-германскимъ и греко-славянскимъ братьямъ. Того же онъ требовалъ и отъ всвхъ евреевъ, забывая, что его собственному христіансь му всепрощенію уже предшествовало его внутреннее пріобщеніе Христу въ въръ — что для большинства евреевъ именно остается психологически и нравственно невозможнымъ при продолжающемся недолжномъ отношении къ нимъ со стороны христіанскаго міра.

Но если Іосифъ Давидовичъ ошибался въ своей практической оцънкъ историческаго положенія, то это не можеть измънить нашей высокой оцънки его лично. Настоящая цъна человъку опредъляется направленіемъ и мърою усилій его собственной воли. Въ этомъ его правственныя дъла, и такими оправдается почившій. "Ей, говорить Духъ, онъ успокоится отъ трудовъ своихъ, и дъла его идуть вслъдъ за нимъ".

Василій Григорьевичъ Васильевскій.

(† 13 мая 1899 г.)

Тихій, добрый и умный человѣкъ, настоящій, первостепенный въ своей области ученый, преданный служитель науки, державшійся съ нею вдалекъ отъ всякихъ постороннихъ цѣлей. Памятна его благодушная улыбка и особый оттѣнокъ легкаго юмора, оживлявшій его краткія бесѣды. Я встрѣчался съ нимъ въ концѣ семидесятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ годовъ въ общихъ мѣстахъ службы и почти не видалъ его впослѣдствіи. Но мое впечатлѣніе подтверждается и усиливается показаніями лицъ, ближе и дольше его знавшихъ. Кромѣ качествъ, бросавшихся въ глаза, эти свидѣтели указываютъ у В. Г. и на положительныя, рѣдкія черты дѣятельнаго добра (см. некрологъ г. Чечулина въ "Новомъ Времени" и статью Л. Н. Майкова въ "Русской Старинѣ"). Это была не только значительная умственная и ученая сила, но и крупный нравственный характеръ.

Внъшняя жизнь Василія Григорьевича не выходила изъ рамокъ трудового существованія профессора и академика и отмъчалась только изданіемъ ученыхъ работь. Всвхъ ихъ было болье шестидесяти. Назову здісь нізкоторыя. Во время учительства Васильевскаго въ Вильнъ онъ собиралъ и изучалъ архивный матеріалъ для сочиненія "Очеркъ исторіи города Вильны" (2 вып. 1872—1874). Ранъе этого изданія появилась его магистерская диссертація Политическая реформа и соціальное движеніе въ древней Греціи въ періодъ ея упадка" (1869). Затъмъ Василій Григорьевичъ спеціализировался въ области византійской исторіи, гдъ и пріобръль европейскую извъстность. Вотъ нъкоторыя изъ его монографій по этой части: "Изъ исторіи Византіи въ XII въкъ (Славянскій Сборникъ, 1877 г.); "Законодательство иконоборцевъ"; "Матеріалы для внутренней исторіи Византійскаго государства"; "Византія и печенъги"; "Русско-византійскія изслъдованія" (2 выпуска); "О жизни и трудахъ Симеона Метафраста" ("Журн. Мин. Нар. Просв." 1880 г.); "Описаніе Порфиріевскаго сборника византійских документовъ" (1885); "Одинъ изъ греческих сборниковъ Московской синодальной библіотеки" (1886); "Обозръніе трудовь по византійской исторіи" и мн. др. Васильевскій могъ утёшаться, что важная, излюбленная имъ область исторической науки не запустветъ. Кромъ прямого ему преемника здъсь, въ лицъ Ө. И. Успенскаго,

осталось и нъсколько младшихъ изслъдователей византистовъ, большею частью непосредственныхъ учениковъ Василія Григорьевича.

"Везъ всякаго преувеличенія надо сказать, — читаемъ въ упомянутомъ некрологъ, — что цълыя эпохи, цълыя обширныя группы фактовъ и явленій византійской исторіи, благодаря трудамъ Васильевскаго, получили совершенно новое освъщение и предстали въ соверпіенно иномъ виді, чіть изображались прежде... изследованіяхь онь всегда умель затронуть предметь чрезвычайно широко и глубоко, умълъ охватить его со всъхъ сторонъ, не упуская ничего, что могло служить для полнаго выясненія изучаемаго явленія, и всё поднимаемые вопросы разрёшаль сь необыкновеннымъ мастерствомъ. Часто онъ находилъ существенно важныя указанія тамъ, гдв ихъ, повидимому, никакъ нельзя было и ожидать, часто изъ источниковъ давно извъстныхъ, повидимому, исчерпанныхъ, извлекаль свъдънія очепь цънныя, но до него остававшіяся незамъченными... Писалъ Васильевскій очень хорошо; его изложеніе всегда отмъчено живымъ интересомъ къ своему предмету, богато остроумными сближеніями и, подчасъ — тонкими, изящными шутками".

Подкошенный тяжкимъ недугомъ, Васильевскій собрался минувшею осенью искать облегченія за границей. Тамъ онъ и скончался на 62-мъ году отъ роду. Происходя язъ духовнаго званія, онъ прежде университета былъ воспитанникомъ ярославской семинаріи.

Николай Яковлевичъ Гротъ.

(† 23 мая 1899 г.)

При горькой въсти о неожиданно ранней кончинъ Грота всъ его знавшіе, я увъренъ, вспомнили прежде всего не о томъ заслуженномъ писателъ и преподавателъ, который несомнънно болъе всъхъ потрудился надъ дъломъ распространенія философскаго образованія въ Россіи, - а вспомнили прежде о живомъ, сердечномъ человъкъ, всегда исполненномъ благоволенія и участія, всегда кипящемъ добрыми мыслями и начинаніями, всегда негодующемъ на разныя бъды и обиды общественныя. Постоянно живя въ литературныхъ и ученыхъ кругахъ, Гротъ остался чуждъ ихъ главному пороку - враждебной завистливости; онъ былъ истинно добрый товарищъ. И если вмъсть съ тъмъ онъ былъ очень самолюбивъ, или, точнъе, — былъ большой любитель похваль, то это свойство не обращалось у него острымъ концомъ противъ ближняго, потому что онъ прежде всего быль справедливь и благожелателень; поэтому онь искренно хотъль, чтобы и всв другіе находили возможно полное удовлетвореніе своему самолюбію, и всегда быль склонень скорве преувеличивать, чвмъ умалять чужія заслуги и достоинства. Главное въ человъкъ есть качество его сердца. Это главное было у него добрымъ. На второмъ мъстъ я ставлю заслуги передъ отечествомъ; онъ были велики у Грота, какъ сказано, въ дълъ распространенія философскаго образованія въ Россіи. Не только живымъ и талантливымъ изложеніемъ философскихъ предметовъ на лекціяхъ (въ Нъжинъ, Одессъ и Москвъ), университетскихъ и публичныхъ, онъ привлекалъ многочисленныхъ слушателей и приготовляль философскихъ читателей, но еще сверхъ того, благодаря своей общительности, симпатичности, неутомимой энергій и несомивниому организаторскому дару, онъ успъль образо. вать первое и до прошлаго года единственное философское общество въ Россіи 1, а затъмъ основалъ первый и доселъ единственный въ Россіи философскій журналь, имъющій сравнительно большое распространеніе. Что касается до собственныхъ философскихъ трудовъ Грота, то и тутъ никакъ ужъ нельзя сказать, чтобы онъ зарывалъ свои таланты въ землю. Все, что онъ мыслиль, онъ говориль, и все,

¹ До него оно существовало нъсколько лъть лишь номинально.

что онъ говориль, онъ писаль и печаталь. Онь началь съ двухъ большихъ оригинальныхъ диссертацій по психологіи чувствованій и по реформъ логики. Я еще не быль съ нимъ знакомъ, когда онъ быль занять этими книгами. Въ послъднія десять-двънадцать льть на моихъ глазахъ, кромъ множества второстепенныхъ этюдовъ, онъ быль занять тремя важнъйшими вопросами: о свободю воли, о природю времени и о превращеніяхъ энергіи. Онъ не успъль продумать эти вопросы до конца, но по каждому изъ нихъ онъ высказаль много и върнаго, и любопытнаго... Но странно и горько мнъ такимъ образомъ говорить о Гротъ, разбирать его качества и заслуги, перечислять его произведенія, — говорить о немъ какъ о покойникъ, который что-то сдълалъ и уже не дълаемъ.

И начатыя пъсни Гаральдъ не скончалъ И лежитъ подъ могельнымъ холмомъ...

До свиданья, добрый товарищъ! — не такъ ли? — До скораго свиданья!

В. П. Преображенскій.

(† 11 апръля 1900 г.)

Среди томительнаго дневного пути, далеко отъ ночлега, разбилось благородное сердце; краткостью и раннею тягостью жизни заплатилъ этотъ труженикъ за право избранниковъ подниматься на парственныя высоты мысли и соверцанія. Сознаніе пробудилось въ немъ у могилы матери, которая умерла, когда ему было пять лётъ. Но онъ вышель на жизненную дорогу съ большимъ запасомъ душевной бодрости. Какъ теперь помню бойкаго мальчика съ живыми глазами и умною усмъшкою, ходившаго ко мнв съ корректурами отъ своего отца, редактора "Православнаго Обозрѣнія", — лучшаго изъ русскихъ духовныхъ журналовъ. Священникъ Петръ Алексвевичъ Преображенскій, ученый переводчикъ Иринея, Іустина Философа и другихъ христіанскихъ писателей первыхъ въковъ, былъ человъкъ отъ природы богато одаренный, но съ неуравновъшеннымъ характеромъ. Сердечно религіозный, съ проницательнымъ умомъ и глубокою преданностью наукъ и образованію, дъятельный, предпріимчивый и трудолюбивый, онъ не успёль освободиться отъ многихъ чертъ бытовой первобытности. Идеальныя стремленія слишкомъ легко мирились у него и съ проявленіями узкой практичности, и съ необузданными порывами "широкой натуры". Лучшая лицевая сторона его души особенно выражалась въ отношеніи къ богослуженію. Рэдко гдв можно было найти такое осмысленное и согратое душевнымъ огнемъ исполненіе литургіи, или всенощной, какъ въ церкви Өеодора Студита, что у Никитскихъ воротъ. Этотъ лучъ высшаго идеализма свътился до самыхъ последнихъ леть ого жизни. Къ идеальнымъ страстямъ нужно отнести и его увлечение ичеловодствомъ. Хотя возникшія на почь практической (воскъ для епархіальныхъ свьчныхъ заводовъ), занятія пчелами приняли у старика характеръ сердечной любви и трогательной заботливости. Пріобрітя себів подмосковную дачу въ Пушкинъ, онъ съ ранней весны по цълымъ мъсяцамъ весь отдавался любимому дълу... Кто посъщаль его въ это время и не находилъ ни дома, ни въ саду, могъ встретить прівхавшаго изъ Москвы по дъламъ причетника, съ одобрительною улыбкою говорившаго: "Теперь, сударь, придется подождать: отецъ протоіерей надъ

маткой сидитъ". — Къ душъ Преображенскаго-отца можно было въ полной мъръ примънить стихи Хомякова:

Она небесъ не забывала, Но и земное все познала, И пыль земли на ней легла

Разумъется, для подрастающаго сына послъдняя сторона была чувствительные первой въ опустыломь со смертью матери отповскомъ домъ. Онъ его покинулъ, когда сталъ студентомъ, тяжелымъ трудомъ корректорства добывая себъ средства для самостоятельнаго существованія. Съ этимъ трудомъ онь, впрочемъ, освоился еще будучи гимназистомъ, когда помогалъ отцу въ веденіи журнала, всецёло помъщавшагося въ тъсной московской квартиръ приходскаго священника съ довольно злою дворовою собакой вмъсто швейцара. Въ университетъ, рядомъ съ принудительною работою для добыванія насущнаго хлъба, В. П. неустанно грудился по внутрениему влечению падъ своимъ умственнымъ и эстетическимъ образованіемъ, которому онъ даль общирный и прочный фундаменть филологическій, литературный и философскій. Кандидатское его сочиненіе, "Реализмъ Герберта Спенсера", обратило на себя внимание профессоровъ, и онъ былъ оставленъ при университетъ, но безъ содержанія, а ставъ, черезъ ивсколько лоть, отцомь семейства, онь должень быль поступить на службу въ московской городской думъ. Послъ краткаго счастливаго брака жена его умерла, оставивъ ему двухъ младенцевъ и правственную обязанность напряженнаго труда.

Ни сердечное горе, ни житейская каторга не повліяли на этотъ сильный созерцательный умъ, не отняли у него способности и мърила для объективной оприки вещей. В. П. быль скептикь лишь въ томъ смысль, что, какъ настоящій философь по призванію, онъ ничего не допускаль безотчетно, безъ критики. Въ чемъ бы и заключалось лостоинство философіи, если бы она позволяна быть рабомъ чужой мысли? Философское призвание требуеть одинаково свободнаго отношенія ко всякой чужой мысли, — будь то мысль вфры, или мысль отрицанія, или хотя бы только мысль сометнія, которое втдь тоже можеть быть пустымъ и незаслуживающимъ вниманія: философія требуеть скептически относиться и къ самому скептицизму, не быть рабомъ чужой скептической мысли. Преображенскій былъ скептикъ въ этомъ полномъ смыслъ слова, и тъмъ доказывалъ свое настоящее философское призваніе. А въ ходячемъ смыслъ безразличнаго, равнодушнаго сомивнія въ началахъ добра и истины — онъ, конечно, менње всего былъ скептикомъ - онъ, горячій поклониикъ истинной красоты, тонкій ценитель всего истинно-хорошаго и въ искусстве, и въ жизни. Правда, онъ любилъ и ценилъ добро и истину, главнымъ образомъ, въ ихъ ощутительномъ явленіи — въ формъ красоты. Но въдь это могло бы быть дурно лишь въ томъ случав, если бы онъ по принципу отдъляль форму отъ содержанія, - а отъ

этого моднаго заблужденія онъ быль совсёмь далекь. Въ частности, преобладание эстетическаго мърила приводило его иногла къ ощибочнымъ сужденіямъ (напримъръ, преувеличенная оцънка Ницше, ради прекрасной литературной формы его произведеній). Но намъреннаго отриданія нравственныхъ и логическихъ нормъ, или хотя бы только невольнаго пренебреженія къ нимъ ради мнимой красоты объ этомъ у него не было и помину. Вообще онъ не только ясно понималь, но и органически чувствоваль, что достойно любви только истинно-прекрасное, а истинно-прекрасное есть прежде всего истинно-добров. Я имъю основание думать, что окончательными мъриломъ сужденія этоть "эстеть" все-таки признаваль этическое, — иногда онъ въ этомъ и проговаривался. Два-три года тому назадъ, обсуждая со мною полемическую статью, которую я приготовиль противь одного почтеннаго ученаго, В. П., бывшій вообще на моей стороні, рішительно возсталь противъ одного замъчанія, которое, повидимому, не было болве рвзкимъ, чвмъ все прочее. "Этого нельзя!" — говорилъ онъ. — "Да почему же? Въдь я указываю на дъйствительный взглядъ Х. Ү. Z., высказанный имъ тамъ-то и тамъ-то, и довольно знаменательный для всего образа мыслей этого человъка". — "Положимъ такъ, но въдь это можетъ быть только головной взглядъ, а твои слова, въ сущности, сводятся къ упреку въ безсердечности, а это есть самое оскорбительное, что только можно кому-нибудь сказать особенно когда упрекъ имъетъ правдоподобіе".

Преображенскій умеръ на 36 году (род. 5 окт. 1864 г.).

То видимое, что такъ добросовъстно и тщательно онъ дълалъего обширныя редакціонныя работы для изданіи "Московскаго Философскаго Общества", многія рецензіи и замітки, два образцовые основательно и тонко продуманные и прекрасно написанные философскіе очерка (о теоріи знанія Шопенгауэра и о морали Ницше) и т. д., - все это заставляеть людей, и не знавшихъ его лично, жалёть о его смерти, какъ объ очень чувствительной и безвременной потеръ для дъла философскаго образованія въ Россіи. А близко знавшіе его потеряли человъка, который достаточно характеризуется тъмъ его замъчаніемъ, которое я сейчасъ привелъ. За краткую и тяжелую твою жизнь, дорогой и несчастный другь, за все, что ты усивлъ претеривть, и за все, чего не усивлъ сдвлать, - пусть будеть тебъ коть одно утъшеніе: ты-то ужъ, конечно, не подвергался и не подвергнешься тому упреку, который считалъ самымъ тяжкимъ — упреку въ безсердечности, — ты, благородное, разбитое жизнью сердце!

Василій Васильевичъ Болотовъ.

(† 5 апръля 1900 г.)

Отрадное и горькое чувство вызывается этимъ именемъ. Отраденъ и запечатлънный смертью образъ этого подвижника духовной науки. Горько думать не только о томъ, что прервано это подвижничество на половинъ жизненнаго пути, но также и о томъ, насколько и въ этихъ предълахъ лътъ оно могло бы быть плодотворнъе при другихъ историческихъ условіяхъ умственной жизни..

Достаточно было два или три раза видѣть Болотова и бесѣдовать съ нимъ, чтобы признать въ немъ человѣка, вполнѣ отдавшагося одному служенію. Церковно-историческая наука въ широкомъ смыслѣ этого слова — со всѣми смежными областями знанія — внѣ этого для него ничто не имѣло интереса и значенія. Какъ глубокорелигіозный человѣкъ строго-христіанскихъ убѣжденій, онъ находиль въ церковной исторіи настоящую жизненную среду для всего истинно-важнаго, и только чрезъ эту среду, чрезъ отраженіе отъ нея, или преломленіе въ ней, всѣ прочіе дѣла и вопросы представлялись ему стоящими вниманія. Знакомство съ нимъ оставляло то неизгладимое впечатлѣніе, которое такъ хорошо выражено его ученикомъ и товарищемъ, проф. Жуковичемъ: "Его жизнь, это — жизнь не аскета, ищущаго въ ученомъ трудѣ противовѣса земнымъ вожделѣніямъ, а мысдителя, въ святомъ увлеченіи высшею истиной забывшаго все земное" 1.

Но если религіозная въра въ соединеніи съ научнымъ призваніемъ изначала предопредълила общій предметь трудовъ В. В., то спеціальныя задачи этихъ трудовъ, темы отдъльныхъ ученыхъ сочиненій, оставались безъ ясной опредъленной связи между собою, и, по словамъ того же ученика, "почившій не успълъ даже, для всъхъ ясно, формулировать своихъ конечныхъ цълей научныхъ" 2, — и я не думаю, чтобы это объяснялось только раннею кончиною.

Сынъ дьячка въ Тверской губерній, Василій Васильевичъ Болотовъ родился 1 января 1854 г. (слъд., смерть застала его на 47-мъ году отъ роду); учился въ осташковскомъ духовномъ училищъ, твер-

^{1 &}quot;Вънокъ на могилу В. В. Болотова", стр. 21.

² Тамъ же.

ской семинаріи и — въ 1875-1879 гг. — въ петербургской Духовной Академіи, гдъ вскоръ по окончаніи курса заняль каоедру древней перковной исторіи. Обладая чрезвычайными способностями къ языкамъ при исключительной памяти, онъ, кромъ пріобрътеннаго еще въ ученические годы основательнаго знанія трехъ древнихъ (еврейскаго, греческаго, латинскаго) и четырехъ новыхъ иностранныхъ языковъ (нъмецкаго, англійскаго, французскаго, итальянскаго), вполнъ овладъль впослъдствіи семью восточными: спрійскимъ, халдейскимъ. арабскимъ, армянскимъ, коптскимъ, эніопскимъ (т. е. древне-абиссинскимъ) и амхарскимъ (ново-абиссинскимъ). Вооруженный всъми вспомогательными знаніями и въ совершенствъ владъя научнымъ критическимъ методомъ изслъдованія, молодой ученый принялся во многихъ отдъльныхъ пунктахъ раскапывать церковно-историческую почву, вынося отовсюду цвиныя находки. Наименте спеціальное изъ его сочиненій — общирная и основательная диссертація "Ученіе Оригена о св. Троицъ" (Спб. 1879). Послъ нея Болотовъ ничего не издаваль больше отдъльными книгами, а печаталь свои многочисленныя изслёдованія, этюды и заметки въ виде журнальных статей, преимущественно въ "Христіанскомъ Чтеніи", и оттисковъ. Вотъ болъе крупные изъ этихъ трудовъ:

- 1) "Къ исторіи внѣшняго состоянія константинопольской церкви подъ игомъ турецкимъ".
 - 2) "Разсказы Діоскора о халкидонскомъ соборъ".
 - 3) "Житіе блаженнаго Афу, епископа пемджескаго".
- 4) "Архимандрить тавеннисіотовъ Викторъ при дворъ константинопольскомъ въ 431 г.".
 - 5) "День и годъ мученической кончины св. евапгелиста Марка".
- 6) "Къ вопросу о соединенія абиссинъ съ православною церковью".
 - 7) "Богословскіе споры въ эвіопской церкви".
 - 8) "Либерій, епископъ римскій, и сирмійскіе соборы".
 - 9) "Реабилитація четырехъ документовъ 343 г.".
 - 10) "Михайловъ день".
 - 11) "Слъды древнихъ мъсяцеслововъ помъстныхъ церквей".
 - 12) "Древнъйшія митрополіи въ церкви персидской".
 - 13) "Смутное время въ исторіи сиро-персидской церкви".
 - 14) "Списокъ католикосовъ селевкіе-ктисифонскихъ".
 - 15) "Что знаетъ о началъ христіанства въ Персіи исторія?".
 - 16) "Изъ эпохи споровъ о пасхъ въ концъ II в.".
 - 17) "Валтасаръ и Дарій Мидянинъ".

Эти статьи печатались въ "Христіанскомъ Чтеніи" за 1882—1900 гг. Около двадцати лѣть атлеть науки какъ будто пробовалъ свои богатырскія силы на разныхъ частичныхъ вопросахъ, такъ и не успѣвши остановиться на обширной задачъ, достойной его высокаго дарованія. Явленіе не случайное уже потому, что не единичное: достаточно вспомнить изъ того же міра русской духовной науки двухъ другихъ —

старшихъ богатырей мысли и знанія: покойныхъ θ . А. Голубинскаго и А. В. Горскаго. Въ другихъ странахъ богословская и церковноисторическая наука представляеть могучее собирательное цълое, гдъ всякая умственная сила находить и всесторонною опору и всестороннія рамки для своей дізтельности и, свободно развивая свои личныя возможности, вмъстъ съ тъмъ постоянно прилагаетъ ихъ къ общему дълу: тамъ есть, изъ преданій прошлаго и современной систематической работы слагающаяся, живая и правильно растущая наука, и отдъльные ученые въ мъру своихъ силъ входять въ эту общую работу, участвуя въ этомъ ростъ цълаго... У насъ и въ другихъ наукахъ, особенно же въ наукъ богословско-церковной, этотъ роста пралиго отсутствуеть... Поэтому наши лучшіе ученые, особенно въ области духовной науки, похожи не на притоки могучихъ ръкъ, текущихъ въ моря и океаны, - а только на ключи, одиноко быощіе въ пустынъ... Тъмъ грустиве было потерять одинъ изъ этихъ немногихъ высокихъ ключей.

Примъчанія.

- Понятие о Боги. Напечатано впервые въ "Вопросахъ Философіи и Психологіи" 1897 г., № 38, стр. 383—414.
- $C'y\partial b \delta a$ Пушкина. Напечатано впервые въ "Въстникъ Европы", въ 1897 г., N 9, стр. 31—156.
- Польская національная церковь. Напечатано впервые въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ" 1891 г., N_2N_2 46, 54, 66.
- Что значить слово "живописность"?, въ "С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" 1897 г., № 41.
- Импрессіонизмъ мысли. Напечатано впервые.
- Тийна прогреса. Напечатано впервые.
- Теоретическая философія. Впервые напечатано: І. Первое начало теоретической философіи, въ "Вопросахъ Философіи и Психологіи" 1897 г., № 40, стр. 867—915. ІІ. Достовърность разума— тамъже, 1898 г., № 43, стр. 385—405. ІІІ. Форма разумности и разумъ истины, тамъже, 1899, № 50, стр. 881—903.
- Письмо о восточномъ вопрость. Напечатано впервые въ сборникъ "Братская помощь армянамъ". Москва, 1898, подъ редакціей Г. А. Джаншіева, стр. 158—159.
- Идея человъчества у Августа Конта. Читано въ публичномъ собраніи Философскаго Общества при петербургскомъ университетъ 7 марта 1898 года по случаю столътней годовщины рожденія Августа Конта. Напечатано впервые въ "Cosmopolis" 1898 г., № 4, стр. 60—73; и № 12, стр. 179—187.
- Жизненная драма Платона. Напечатано впервые въ "Въстникъ Европы" 1898 г., № 3, стр. 334—356; № 4, стр. 769—782.
- Рецензін на книги А. Фулье и Т. Рибо. Напечатано впервые въ "Журналъ Министерства Народнаго Просвъщенія" 1898 г., № 11, стр. 193—200 и 203.
- Мицкевичъ. Напечатано впервые въ "Мірѣ Искусства" 1899 г., № 5, стр. 27—30.
- Идея свержиеловъка. Напечатано впервые въ "Міръ Искусства" 1899 г., № 9, стр. 87—91.
- Особое чествованіе Пушкина. Напечатано впервые въ "Вѣстникѣ Европы" 1899 г., № 7, стр. 432—440.

- Противъ исполнительнаго листа. Напечатано впервые въ "Въстникъ Европы" 1899 г., № 10. стр. 848 и слъд.
- Значение поэзіи є стихотвореніях Пушкина. Напечатано впервые въ "Въстникъ Европы" 1899 г., N 12, стр. 660—711.
- Лермонтовъ. Публичная лекція, сказанная въ Петербургъ въ 1899 г. Напечатано впервые въ "Полномъ собраніи сочиненій".
- Предисловіе къ переводу "Исторіи матеріализма" Ф. А. Ланге Впервые напечатано въ первомъ томъ изданія: "Ф. А. Ланге. Исторія матеріализма и критика его значенія въ настоящемъ. Переводъ съ пятаго нъмецкаго изданія, подъ редакціей и съ предисловіемъ Владиміра Соловьева. Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Іогансона. Кіевъ — Харьковъ 1399-1900 гг. Два тома". Во второмъ томъ было помъщено нижеслъдующее заявленіе редактора изданія: "Принужденный бользнью глазь отказаться на неопредъленное время отъ всякихъ письменвыхъ и книжныхъ занятій, я, къ сожальнію, поставлень въ невозможность исполнить высказанныя въ предисловін къ первому тому объщанія относительно прим'вчаній къ обоимъ томамъ Ланге. Въ этихъ примъчаніяхъ я имълъ въ виду оговорить и выяснить тъ пункты, въ которыхъ я существенно несогласенъ съ авторомъ "Исторіи матеріализма". Владиміръ Соловьевъ. 31 авуста 1899 года".
- Предисловіе къ "Упырю" графа А. К. Толстого. Впервые напечатано въ изданіи: "Упырь". Разсказъ графа А. К. Толстого съ предисловіемъ Владиміра Соловьева. Спб. 1900 г.
- Три характеристики: М. М. Троицкій, Н. Я. Гротъ, П. Д Юркевичъ. Напечагано впервые въ "Въстникъ Европы" 1900 г., № 1, стр. 318—335.
- *Иамяти К. Н. . Теонтьеви.* Напечатано впервые въ "Русскомъ Обозрѣніи" 1892 г., № 1, стр. 352-—359.

Некрологи 1883—1900 г.:

- *Киязина К. М. Шаховская.* Напечатано впервые въ "Руси" 1883 г. № 24, за подписью В. С.
- Францискъ Рачкій. Въ "Въстникъ Европы" 1894 г., № 3, стр. 416—418.
- О. М. Длитріевъ. Тамъ же, 1894 г., № 3, стр. 453—454.
- А. М. Иванцовъ-Платоновъ. Тамъ же, 1894 г., № 12, стр. 893-894.
- *Н. П. Полонскій*. Тамъ же, 1898 г., № 11, стр. 419—420.
- М. С. Карелинг. Тамъ же, 1899 г., № 2, стр. 854—855.
- .Л. И. Поливановъ. Тамъ же, 1899 г., № 3, стр. 421-422.
- Д. Рабиновичъ, В. Г. Васильевскій, Н. Я. Грошъ. Тамъ же, 1899 г., № 7, стр. 453—457.
- В. П. Преображенскій. Тамъ же, 1900 г., № 6, стр. 835—837.
- В. В. Болотовъ. Тамъ же, 1900 г., № 7. стр. 416-418.

Собраніе сочиненій

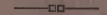
В. С. СОЛОВЬЕВА

въ 10 томахъ.

Подъ редакціей и съ библіографическими примъчаніями

С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова.

Къ изданію приложены три портрета и автографъ.



Содержаніе томовъ:

I и II томы (1873—1880): Философскія сочиненія перваго періода.

Ш и IV " (1877—1887): Богословскія сочиненія.

V " (1883—1897): Національный вопросъ и другія публицистическія статьи.

VI и VII " (1886—1897): Статьи по исторіи религіи, философіи, эстетикъ, критикъ.

VIII " (1894—1897): Оправданіе добра. (Нравственная философія.)

IX и X " (1897—1900): Философскія и другія сочиненія послѣднихъ годовъ. Статьи изъ энциклопедическаго словаря. Біографія.

Цъна наждаго тома 2 руб., въ изящи. перепл. 3 руб.

Допускается разсрочка платежа отъ 1 р. нъ мес.